



"Военные приключения. Выпуск 7"

Читайте больше **БЕСПЛАТНОЙ** литературы
в онлайн-библиотеке
mir-knigi.org

Военные приключения: Выпуск седьмой. Военно-патриотическое литературное объединение «Отечество»

ISBN 5-203-01426-4

В

4702010201 - 017

068(02) - 92

Без объявл. ББК 84Р7

ISBN 5-203-01426-4 © ВПЛО «Отечество», 1991

© Воениздат, 1992

И. ЧЕСТЬ, ОТВАГА, МУЖЕСТВО

Виктор Вучетич

ЧЕТВЕРТАЯ ПУЛЯ

Повесть

1



вот наступила пора расставания. Подальше от лишних глаз, в тени серых ив у брода, возле здоровенной коряги, где вчерашней ночью без славы и пользы делу сгнули недотепы дозорные, стояли две пароконные брички. На задке той, что принадлежала чекистам, задумчиво задрал к небу синеватое рыльце станковый пулемет. Непривычно сумрачный юный Малышев в черной коже, с желтой колодкой маузера под коленом, сидя на месте возницы, без

нужды перебирал ременные вожжи. Его вороные, беспокойно мотая мордами, всхрапывали и переступали копытами — чуяли дальнюю дорогу. Поповские же кони, лоснящиеся широкими рыжими крупами, стояла смирно, свесив до земли понурые гривы. И дедок, Егор Федосеевич, оседлавший бочком облучок, горбатился иссохшим стручком. Зато щедро размалеванная его бричка была сам праздник: разбежались по высоким бортам, по яркой зелени голубые и алые цветики, серебряно сияла оковка колес.

Чекисты, негромко переговариваясь, покуривали на дорожку, держали в поводу верховых коней и ненавязчиво поглядывали на свое начальство.

Маша, в длинном коричневом платье и темной шали, наброшенной на плечи несмотря на шару, притулилась к облупленному крылу малышевской брички. Бледная щека подставлена солнцу, глаза прикрыты, тонкая оголенная шея словно отлита из голубоватого стекла. В руках небольшой холстинный мешочек — все ее добро.

Сибирцев с Нырковым отошли к самой воде. Все было уже сказано, обо всем условлено, оговорено. Оставалось помолчать на дорожку и — с богом! Илья Нырков ласково, с мягкой братской озабоченностью глядел Сибирцеву в глаза, покачивая большой лысой головой.

Набежал ветерок, и от сухого шороха листьев почему-то вдруг запершило в горле. Сибирцев протянул руку, Нырков взял ее в свои, и тут произошел у них разговор, неожиданный, как поначалу показалось Сибирцеву, для обоих.

— Так ты того, Миша, ты теперь охолопись маленько и на рожон не лезь, — опустил глаза, с легким нажимом прогудел Илья. — Да, не лезь. Время нынче, видишь, так повернулось, что конец антоновским бандитам подходит. Пересилили мы, значит, их силу, Миша, хана им теперь. А потому и нам тактику менять пора. Вот ты все уговорами да убеждениями... Было время, приходилось и так действовать. А почему? Мало нас тогда было, Миша, сил не имели, вот что. Теперь же, я говорю, армию двинули против бандитов. И которые до сей поры не сдались, не сложили оружия добровольно, согласно нашему приказу, тех под корень, без сожаления и раздумий. Усек? Пуля, Миша, заглавный твой аргумент. Ты уж постарайся, чтоб помене, понимаешь, жалости да рассуждений, а то ж я тебя знаю...

— Это как же прикажешь понимать? — удивился Сибирцев и вынул руку из ладоней Ныркова. — Получается, раз наша берет, пали без страха и оглядки направо-налево? Потом, что ли, разберемся?

— Палить-то во все стороны не надо, — рассудительно возразил Нырков, — так и своих недолго... Но в на рожон переть, башкой зазря рисковать теперь уж просто совсем ни к чему. Да и за операцию не ты один в ответе... И за свою голову — тоже, — добавил, помолчав.

«Ну да, конечно, — с ласковой признательностью подумал об Илье Сибирцев, — он-то ведь среди своих остается, а я снова один. Я — в деле, а он, получается, как бы в стороне. Мне жалеть себя будет некогда, а ему пребывать в ожидании: как бы чего со мной снова не приключилось. Везучий же я на всякие неприятности... Можно, конечно, его понять...»

Сибирцев криво усмехнулся — снисходительно так к самому себе. Но Илья, видно, растолковал его усмешку по-своему.

— Нет, не нравится мне, Михаил, твоя легкомысленность, — неожиданно горячо, но пока сдерживаясь, повысил он тон. — Говорили мы с тобой, да, вижу, все без толку. Так что давай-ка, хочешь — не хочешь, а еще раз послушай... Говорю это не как твой начальник, мне им и не быть, а просто как старший по возрасту. Ты, я понимаю, человек опытный, умный

достаточно, и смелости тебе не занимать... Это, я скажу, положительные твои качества, революционные, — он круто раскатил свое убежденное «р». — Но есть, есть в тебе, Михаил, такое, что никак наша революция принять не может. Ну, никак. Это знаешь что? А это твоя интеллигентская мягкотелость. Зачем, спрашивается, идти на пустой риск, а? Скажи! Кому от этого польза? Молчишь? А я отведу: врагам нашей революции, вот кому. А раз ты зазя идешь на этот ненужный, вредный поступок, то, выходит, ты объективно никто иной, как пособник контрреволюции. Кто тебе велел под пулю бандита Безобразова спину свою подставлять? Случай спас, не то гнил бы ты в той Гниловке, будь она проклята. Или вот вчера. Это ж надо! Бандиту, мерзавцу оружие отдал, чтоб он, значит, сам над собой суд чести учинил! Да какая ж у него честь! Откуда она? Снова случай, что не укокошил Сивачев тебя в той самой крапиве!.. — Илья махнул рукой в сторону старой усадьбы. — Нет, Миша, — сказал, остывая и вытирая лысину вечным своим клетчатным платком, — я так дальше с тобой не могу. Понимаю, не в моем ты подчинении, а то б я тебя уже закатал революционным судом по всей строгости... Но доложить твоему начальству я, извини, буду обязан. Вот так.

Сибирцев понял, что этот эмоциональный взрыв был вызван его совершенно неуместной ухмылкой. Дернуло ж! А теперь ищи примирения, хоть и не ссорились.

Нет, если всерьез, то, конечно, Илья не прав: пустой, бессмысленный риск, дешевая бравада были, в общем, чужды Сибирцеву. А вот то, о чем упоминал Илья, то — совсем другое.

Когда он, Сибирцев, лихо вышел из смертельной ситуации и точным, мастерским ударом свалил бандита Митьку Безобразова, он сразу указал путь тем темным, запуганным мужикам, что и сами не чаяли покинуть бандитское гнездо на острове среди болот. Однако пуще смерти боялись гнева своего кровавого и безжалостного главаря. Кто же мог предполагать тогда, что у Митьки еще один револьвер в сапоге окажется?..

Но дело все же было сделано, и бандитская шайка ликвидирована. А это главное. Правда, и сам едва богу душу не отдал. Рана-то все болит...

Ну, а что касается Якова Сивачева... Тут, конечно, сложнее. И вряд ли смог бы и на самом высоком суде объяснить Сибирцев, что заставило его протянуть сломленному, уничтоженному врагу — но ведь бывшему товарищу, да к тому же родному брату несчастной Машеньки — револьвер с одним патроном. Будь такая встреча в бою, не дрогнула бы рука, нипочем не дрогнула. Но в тишине, в саду, где прошло детство Якова, когда рядом в доме его сестра и мать... Нет, каким бы врагом революции ни был Яков, им-то ведь он был сыном и братом. Жаль, что не хватило чести, или, вернее, совести у Сивачева, жаль. Вот и убил его Сибирцев. Убил, жалея, что так пришлось, что вынужден был это сделать. Разве такое объяснишь Ныркову?

Логика Ильи проста: Сибирцев вскрыл бандитское гнездо, Нырков — уничтожил. Просто, как в шашках. А то, что могут погибнуть другие, невинные люди... Ну что ж, скажет Илья, такова революционная стратегия. За всем не уследишь, всего не угадаешь. Революция, естественно, по-нырковски через два, а то и три «р», должна быть оплачена кровью. Такова железная необходимость.

Но такова ли? И почему обязательно железная?..

Вот и теперь, собираясь в Сосновку, где, по прикидкам Сибирцева, мог оказаться еще один из центров бандитского восстания, а также целый склад оружия и много чего другого, о чем, возможно, и не догадывается прозорливый начальник Козловской транспортной ЧК Илья Иванович Нырков, думал Михаил вовсе не о том, придется или не придется ему снова, как всю сознательную жизнь, рисковать собой, пет, теперь его беспокоила иная навязчивая мысль о

том, что Илья по своей нелепой убежденности может все разом испортить, вывести его, Сибирцева, из операции.

— Жестокий ты человек, Илья, — вздохнул Сибирцев.

— Революция требует... — вскинулся было Нырков, но Сибирцев, поморщившись, вяло отмахнулся:

— Ну, положим, жестокости-то она вовсе от нас не требует... Мы жестоки, они жестоки... Подумай, к чему все в конце концов придем? Нет, Илья, это не контрреволюционные разговоры, ты не кипятись.

— Я замечаю, Михаил, — вдруг холодным, суровым тоном заговорил Нырков, — что ты ничего не понял. Скажу правду: я был рад, когда ты появился у нас в Козлове. Ну, как же, опытный чекист, из самого Центра, от самого товарища Дзержинского! Лазутчика ты мне того сразу размотал, словом, высочайший класс показал. А что теперь вижу? А теперь мне ясно, что зря я радовался. Поскольку, выходит, ты против нашего революционного порядка и дисциплины, вот... Нет в тебе, понимаешь, нашей высокой революционной беспощадности!

— Ну, ты не рычи, Илья, не надо. От того, что ты сейчас снова будешь на меня рычать, наша с тобой революция мужикам слаще не станет и быстрее не делается. А если конкретно об этой самой твоей революционной беспощадности, то она нынче не столько револьвера, сколько ума от нас с тобой требует. К концу ведь дело идет, сам говоришь, намахались сабельками-то, пора бы и о живых людях подумать...

Сибирцев говорил устало, как бы убеждая Ныркова, что все-то он, Михаил, тоже понимает, и где-то даже согласен с Ильей, но... Вот это «но», прежде безотчетное, неясное, теперь, видел Сибирцев, навсегда встало между ними. Степой поднялось, и ничем ее не сдвинешь, не разрушишь.

Илья сам напомнил, как быстро и ловко допросил, «размотал» Сибирцев бывшего подручного того самого Митьки Безобразова, егеря Стрельцова, как благодаря этому была по сути бескровно обезврежена банда, державшая за горло Козловский железнодорожный увел. А ведь хлипкий вид был тогда у Ильи, растерянный, испуганный, дальше некуда. Еще бы, ни тебе подходов к банде, ни мало-мальски сносных перспектив. А почему? А потому, что не силен Илья там, где думать надо. Вот с одним пулеметом на бричке против сотни выйти — это он может. Тут действительно храбрости ему не занимать. И решительности. А нынче, когда регулярные войска уже дают антоновщину, рассеивая крупные бандформирования, когда и бояться вроде бы особо некого стало, вот теперь Илья осмелел, воспрянул духом и... вылезла из него наконец эта самая революционная беспощадность. Не к открытым врагам, а вообще к людям, к тем, кто в тяжелое время не был с ним бок о бок, не палил из револьвера на все четыре стороны...

А может, оттого появились теперь эти мысли, что сидел в Сибирцеве врач, хоть и недоучившийся, однако требовавший жалеть людей, да, жалеть, и даже на риск идти ради них. Нырков же, похоже, никогда никого не жалел. Не умел и не любил. Вот в чем вся соль.

Но ссориться теперь им, тем не менее, не стоило. Ибо одно общее дело они делали и, в конце концов, во вчерашнем бою с бандой рисковали одинаково. А потому кончился этот их разговор тем, что положил Сибирцев Ныркову руку на плечо, сжал несильно пальцами, потом подмигнул с улыбкой и сказал примирительно:

— Ладно, Илья, обещаю тебе никаких глупостей не совершать, зазря башкой не рисковать и... Ну, словом, не бойся, не подведу тебя. А ты уж постарайся, пригляди за Машенькой, ведь у нее теперь, кроме тех могил, — он кивнул в сторону церкви, — да пас с тобой, ничего на свете не осталось.

Илья засопел, нагнул голову и потащил из кармана свой неразлучный платок в крупную клетку.

— Ну, а остальное, как условились. Да смотри мандат мой не потеряй, — улыбнулся Сибирцев и подмигнул Илье. — Словом, все будет в порядке!

Нырков неожиданно прижался щекой к груди Сибирцева, обнял его обеими руками, резко отстранился и, повернувшись, пошел к бричке.

— По коням! — хрипло крикнул он своим.

Сибирцев видел, как быстро и ловко вскочили в седла чекисты. А вот и Маша, не сводя с него глаз, поднялась в бричку, ее руки судорожно прижали к груди белый мешочек, и лицо ее, и руки были одного с ним цвета. Наконец Малышев, привстав, с оттяжкой хлестнул вороных концами вожжей, и те разом бтяли с места. Мгновенно образовались густые клубы пыли, и в них пропало все — и бричка, и всадники, и белое Машино лицо.

2

Весьма противоречивые чувства вызывал сейчас Сибирцев у Ныркова. За те два месяца, что они были знакомы, успел Илья истинно по-мужски, ну прямо-таки влюбиться в этого умного, серьезного человека, и если по высокому счету, то самого настоящего профессионального чекиста. Нутром чуял он, что за спиной Михаила были не какие-то там заграничные фигли-мигли с барышнями, а большая и опасная работа. Конечно, никакая душевная близость не подвигла бы Илью задавать ему вопросы, тем более интересоваться прошлым, ну, тем, о чем ему, вероятно, и знать не положено. Уже одно то, что прибыл Сибирцев в вагоне особо уполномоченного ВЧК Лациса и с мандатом, подписанным самим товарищем Дзержинским, — тут он, его мандат, — Илья погладил себя по левому борту кожанки, а том, где будет Миша, эта бумажка — прямой путь в петлю, — да, так вот уже одно только это обстоятельство сразу ставило Илью в зависимое положение. Однако оказался Михаил мужиком негордым, простым и свойским, хотя мог бы и приказать, и потребовать, и голос повысить, характер предъявить, но он сразу, с ходу взял на себя самое трудное. Такие вещи, конечно, понимать надо и ценить.

А когда тяжело ранил его бандит и неясно было, выживет он или нет, когда после сообщения Илье уполномоченному ВЧК Левину в Тамбов о происшедшей с Михаилом беде тот всыпал Ныркову так, что ему и присниться не могло даже в самом поганом сне, вот тогда и другое понял Илья, сообразил, что этот Сибирцев — не что иное, как самая что ни на есть настоящая бомба под его, Ныркова, стулом. И взорваться она может в любую непредвиденную минуту.

Взгляды и убеждения Ныркова были прямолинейны и однозначны: все, что на пользу революции, — оправдано. Расстрелять десяток-другой саботажников, пустить в расход заложников или уничтожить сотню-другую бандитов — это добро. И ни разу еще не дрогнула его праведная, революционная, сознательная рука, приводя приговор в исполнение. Время такое, и значит, требуется полная решительность.

Революция всегда права... Истоиво уничтожая ее врагов, Илья Нырков порой чувствовал себя не только верховным судьей, принявшим власть именем большевистской партии, но и... спасителем. Да, да, именно спасителем. Ибо, как говаривал когда-то, пребольно выкручивая

уху ему, мальчишке, учитель закона Божьего: наказуя тело, спасаешь душу. А ведь если всерьез взглянуть на это дело — так оно и было. Знал и видел Илья, где оно — счастье народное, и решительно шагнул сам и вел за собой массы в твердо означенном направлении. Ну, а кто против — того подвергнуть решительному революционному наказанию.

Всякий раз вспоминая жесткий разговор с уполномоченным Левиным, суеверно ежился Нырков. Вопрос был поставлен прямо: «прощенные дни» объявлены, время ограничено, кто не согласен — раздавить. И нечего затевать авантюры, уговаривать кого-то там еще, видишь ли, упрашивать, может статья? Расправляться беспощадно! Вот главный закон революции. Так приказал товарищ Троцкий, а его приказы не обсуждаются. Но если где-то и возникнет сомнение, то трактовать его исключительно в пользу революции, в пользу Советской власти. И никакого снисхождения.

В общем-то, Левин ничего нового Ныркову не сказал, лишь еще больше ужесточил уже известное. Но вот Сибирцев, даже непонятно чем, снова внес сумятицу в абсолютную нырковскую ясность.

И теперь, сидя в качающейся бричке напротив Маши, как-то посторонне разглядывая ее лицо, пытался сообразить Илья, что же такое в самом-то деле заставляет его, уверенного в своей правоте, снова размышлять и сомневаться.

Ну, положим, враг — он и должен поступать как враг. Его можно угадать, занести в ловушку, уничтожить, в конце концов. Хитрость тут нужна. И еще — сила, уверенность, что ты в конечном счете прав. Да, именно так, потому что и революция всегда права. Ну, а свой? Он ведь тоже должен быть ясен, понятен до доньшка. Иначе как же своих от чужих-то отличать? Так и роковую ошибку совершить можно. А если теперь с этой меркой к Сибирцеву? Нет, не выходит что-то. Непонятен он, непредсказуем. И это плохо. В благородство хочет играть. А почему? О каком благородстве с врагами может идти речь? Ведь ясные же указания из Центра были на этот счет, чего ясней. Разве красный террор не вынужденная мера Советской власти? Разве не враги его нарочно спровоцировали? И коли это так, пусть теперь сами и пожинают плоды своих подлых провокаций.

А прочем, если рассуждать всерьез и глубоко о характере Михаила, то вывод-то напрашивается... не в его, к сожалению, пользу. И вывод естественный — не знает он, Михаил, настоящей классовой борьбы. Умен, профессионален, но слаб в убеждениях. Да и где их было взять-то там, за границей? А который качается, это — большая опасность для революции. Такой легко может откачнуться и к врагу. До поры — попутчик, по не исключено, что может скоро стать и смертельным врагом. Духа в нем нет пролетарского, большевистского. Закалки. Вот в чем дело. Шалости в нем много, прощать хочет. А надо драться!

И благородство-то у Сибирцева вот, поди, откуда. Оно — от их благородия. Недаром говорится: ворон ворону глаз не выклюет. Есть в нем, похоже, это ненавистное офицерское презрение к черной кости. Он, поди, и суд чести промеж себя с Сивачевым оттого придумал, что каков бы бандит этот Яков ни был, а оставался он все ж офицером, своим, видать. Вот она — голубая кровь их благородий. Вот где всегда измена гнездится. Много их к народной революции-то нынче примазалось... В конце-то концов, недоверие — это тоже оружие революции. И с какой стати он, Илья Нырков, обязан всем и без разбору доверять?..

Нырков чувствовал нарастающее раздражение, понимая, что в отношении Сибирцева все же, видать, не совсем он прав, но ничего уже не мог поделать с собой, ибо крепко давило его классовое самосознание, хоть и не был он рабочим в чистом виде, а бывший мастер

железнодорожного депо, как ни крути ни верти, не самый угнетенный пролетариат.

Вскипавшая непонятная злость почему-то перекинулась на Машу: ишь сидит, икону с нее писать, а сама — родная сестрица бандита, убийцы, значит. Чуюл Илья ее враждебную классовую сущность, но... просил же ведь за нее Сибирцев. И это тоже злило теперь.

— А скажи-ка мне, красавица, — неожиданно для себя начал он и заметил, как вздрогнула Маша и ее большие серые глаза стали еще больше и круглее, словно от страха, чуёт, поди, кошка-то свой грех... — Как же это так, позволь тебя спросить, братец твой в наших-то краях очутился? По своей ли воле или еще по какой причине?

Маша поняла вопрос и то, что стояло за ним. Глаза ее сузились, краска прилила к щекам, руки непроизвольно прижали к груди белый мешочек.

Вот оно! Неясная догадка снова мелькнула у Ныркова. Ну конечно — одна кровь... Сейчас и тут пузыри пойдут, гордость, видишь ли, станут предьявлять...

Но ответила Маша размеренно и спокойно, только голос у нее вздрагивал и срывался. Видно, оттого, что бричку подкидывало, а ее по другой причине!

— А разве вам Михаил Александрович не рассказывал?

— Ну-у, рассказывал, — протянул Нырков и невольно перешел на «вы». — Одно дело — его рассказ, а другое, так сказать, — он хмыкнул, — ваш.

— Тогда я вряд ли добавлю вам что-то новое. Все, что я узнала о брате... покойном брате, я услышала из разговора о Михаилом Александровичем. В доме. Ночью... Я не могла спать и все слышала.

— Ну и что же вы слышали? — без всякой видимой заинтересованности спросил Нырков и насторожил уши.

Маша пожала плечами.

— Говорил брат... Яков. А Михаил Александрович его слушал. Нет, Илья Иванович, если я правильно понимаю ваш вопрос, Михаил Александрович не мог знать, кем и по какой причине стал Яков. Я ведь так ваш вопрос поняла! Да?

И в этом почти наивном тоне услышал Нырков все то же превосходство проклятых их благородий. Все-то они, выходит, больше его понимают, все наперед носом чуют... Вот взять того же Сибирцева: он и больной, и небритый, и стриженный кое-как, и в тряпье закутанный, а все равно так и норовит барином глядеться... И девица — тоже... Да, им палец в рот не клади.

— Думаю, вы, Маша, извините, кажется, Марья Григорьевна, так? Да, я думаю, мы не совсем верно истолковали мой вопрос. Я вовсе иное имел в виду. Сейчас поясню. Во-первых, ни вас, ни — упаси боже — Мишу я ни в чем не подозреваю. Меня интересует лишь одна мелкая деталь, впрочем, это она для меня деталь, а для кого-нибудь иного, может, и не такая уж мелочь. Я хотел бы знать ваше, Марья Григорьевна, мнение, отчего это Сибирцев, человек, вполне осознающий революционную ответственность, разрешил и, более того, по его собственным словам, поспособствовал вашему... э-э, брату уйти от справедливого революционного суда. Ведь по законам военного времени, а у нас в губернии, как вам известно, введено военное положение и до сегодняшнего дня, насколько известно, его никто не отменял... Так вот, в чем, как вы думаете, причина?

— Во мне, — просто ответила Маша и отвернулась.

— Да-а... — только и смог протянуть Нырков.

— Когда Яша... — она запнулась, — умер вчера днем, Михаил Александрович сказал мне, а я стояла на крыльце и все видела, он сказал, что Яша, оказывается, умер давным-давно, вы понимаете? Давным-давно, когда они с Михаилом Александровичем были молодыми... Там, — Маша показала рукой на восток. — Вы ведь знаете, где они служили?.. Яша оказался слабым и предал товарищей... А Михаил Александрович, не зная этого, был уверен, что Яша — герой, и привез нам его часы... А когда Яша умер, я поняла, что это из-за нас с мамой. Но мама тоже, вы знаете, умерла, не вынесла горя, и осталась я... И Яшин грех не обрушится теперь на мою голову. Или вы думаете иначе? — она строго поглядела на Ныркова, и Илья как-то неопределенно пожал плечами и развел руки в стороны.

— Все может быть, все может быть... — пробормотал он как бы самому себе. — Во всяком случае, думаю, вам нет нужды рассказывать эту историю на каждом углу. И вообще, вам лучше забыть о ней.

— Хорошо, доктор, — согласилась Маша, и Нырков снова поморщился. Он вспомнил, что Сибирцев представлял его Маше как своего врача. Да, впрочем, он и сам, когда перевозили тяжело раненного, еще бредившего Сибирцева из уездного госпиталя в усадьбу Сивачевых, он тоже из конспиративны к соображений представился Маше как доктор. Чего же теперь от нее требовать? Какой-то особой проницательности? Бедная девушка... Вот так, в одночасье лишиться сразу всей родни, и при этом нести на себе тяжкий крест сестры оголтелого бандита... Илья даже нахмурился от такого неожиданного своего признания. Этого ему еще не хватало... А все-таки господский-то гонор в ней есть, есть...

Странно, но Машин рассказ почему-то и успокоил Илью. Он скрестил руки на груди, откинулся на спинку сиденья и, сощурившись, стал глядеть в небо. А в голове его тем временем начали складываться строки донесения.

«Значит, так: Тамбов, Губчека, уполномоченному ВЧК товарищу Левину... Естественно, секретно... Ох, чую, выплет он мне опять за все эти фокусы нашего Михаила... Сообщаю, что 20 мая сего, двадцать первого, значит, года в селе Мишарине Моршанского уезда совместными усилиями сотрудников транспортного отдела Козловской ЧК, бойцов продотряда товарища Баулина... ну, этот в доску свой, рабочий, питерский... а также жителей указанного села, разделяющих идеи Советской власти... Да-а, а тут как раз еще и посмотреть надо, как они разделяют эти наши идеи... одним словом, разгромлена крупная банда сотника Сивачева в числе шестидесяти сабель, остатки которой рассеяны и преследуются. Операцию по уничтожению возглавил... а что, нам чужая слава не нужна, нет, тут голая правда... возглавил, значит, находившийся здесь на излечении вследствие ранения в марте сего года при взятии главара козловской банды Безобразова, деревня Гниловка Козловского уезда, известный вам товарищ Сибирцев. Точка. Им была организована оборона села Мишарина, а также лично уничтожен упомянутый сотник Сивачев. Все верно. При проведении операции был подвергнут аресту антоновский агент, местный священник отец Павел, он же в миру Амвросий Родионович Кишкин, который, однако, сумел уйти от следствия революционного суда путем самоубийства... Ох, не погладит меня Левин за это по головке, нет, не погладит... В силу обстоятельств товарищ Сибирцев, обладая специальными полномочиями ВЧК, перешел на нелегальное положение и выбыл в район села Сосновка, где, по имеющимся у него сведениям, может находиться крупный склад оружия, а также антоновская агентура упомянутого Кишкина. По личному указанию товарища Сибирцева прошу передать это сообщение в Центр товарищу Лацису... Ну вот, пожалуй, и все. И подпись: начальник транспортного отдела

Козловской ЧК Нырков. Точка».

Илья Иванович закрыл глаза, повторил текст и окончательно успокоился. Все он сделал правильно. И себя и Мишу ни в чем не подвел и упреков его не заслужил.

Солнце клонилось к закату, и позади брички в золотистом шлейфе пыли то появлялись, то исчезали согнутые серые фигуры скакавших во весь опор чекистов.

3

«Все устроится... все будет хорошо, — думал Сибирцев, — но отчего ж тогда душа болит?»

Осели клубы пыли, поднятые ускакавшими всадниками. Солнце, взобравшись в зенит, пекло нещадно, не спасала и хилая тень жестяных ив, разбежавшихся вдоль пересыхающей речонки. Вон и старая коряга, выбеленная солнцем, ветрами да редкими, поди, весенними разливами, лежит гигантской костью, перегородив трепу. Единственная свидетельница разгулявшейся тут вчера трагедии. Эти растяпы дозорные, надо понимать, и охнуть не успели, как их зарезали казаки. Опять кровь, кровь...

Господи, да что ж это делается с Россией! Неужто мало еще крови вылилось на эту жаркую землю? Неужто кошмарное остервенение, когда сын на отца, а брат на брата, так и будет кровянить души, рвать перекошенные ненавистью рты, подтверждая предсказания Апокалипсиса?.. Неужто воистину наступает конец света?..

Как легко, самоуверенно заявили о грядущей мировой революции, вот уж и бурное дыхание ее услышали, встречать приготовились, а оно все оборотной стороной вышло — вселенским пожаром и кровью. В справедливость и обещанное всеобщее блаженство штыком не загонишь, нет. Да и что ж она за справедливость, если одна половина народа крушит другую в кровавой мясорубке? Кто ж доберется до этой самой, светлой мировой, кто выживет, останется?..



Присел Сибирцев на корягу, погладил ладонью горячее сухое дерево — гладкое, ни сучка, ни занозы. Окурки вон валяются. Это тех, уже зарытых в братскую могилу... Достал из брючного кармана кисет, привычно свернул самокрутку, закурил и глубоко, до кашля затянулся. Папиросы, что привез Илья, лежали в мешке там, в бричке. Они для другого дела пригодятся.

Тут же вспомнился батюшка, Павел Родионович, его широкий вальяжный жест: прошу покорно, — и протянутая открытая коробка асмоловских папирос. Да, святой отец, вот и ты супротив своего начальства пошел, против Бога, значит, ибо самоубийство — грех непощаемый, в для тебя ж того пуще...

От отца Павла мысль перекинулась к его тоже покойной супруге Варваре Дмитриевне. Так и не довелось познакомиться, увидеться. Говорили, хороша была, высокая, статная, истинная русская красавица. Да вот ведь как все сошлось: ее озверевшие от жратвы и возки казаки изнасиловали, а после сожгли в ее же собственном родном доме, ну а батюшка сам на себя руки наложил.

Вот, видишь ты, и не от нас вовсе, а от своих, так ведь получилось, от тех, кого ожидал и призывал, беду на свою голову накликал. А казаков этих мы вчера побили, постреляли... За малым исключением. Кого ж судить теперь: виноватых, считай, никого и нет в живых. Ну так что, справедливость, значит, восторжествовала? Как бы не так, дорогой товарищ, нету здесь и близко никакой справедливости. А есть грязь и кровь, и под этим бурным разливом всеобщего озверения не сразу угадаешь верную дорогу в царство светлого грядущего.

Они — нас, а мы, стало быть, — их. А ведь революционная беспощадность, которая смолистым факелом то и дело вспыхивает в фанатичных глазах Ильи Ныркова, — опасная субстанция, порождающая снова и снова страшного зверя, поедающего детей своих. Вспоенные кровью в крови же и захлебнутся...

И снова, как нередко в эти долгие недели, проведенные здесь, в рассыпающейся... да чего теперь-то — в рассыпавшейся окончательно старинной барской усадьбе, задумался Сибирцев о причинно-следственных связях той жестокой драмы, которая долго разыгрывалась на Тамбовщине, а нынче уж подошла к своей кульминации. Поначалу-то все было ясно — очередная вспышка бандитизма. Вовремя не подавили, теперь расхлебывай. Но постепенно для Сибирцева стало выясняться к другое; кулаки, бандиты, эсеры — это на поверхности, это — головка, видимая верхушка. Сколько их на круг? А черная невежественная масса? Миллионы людей! Это на четвертом-то году Советской власти? Не аристократы ведь, не баре какие, коим родовые поместья пожгли. Да и сам Антонов — всего-навсего сын слесаря. За что нее им-то до смертельной ярости большевиков и свою собственную власть ненавидеть? Видно, не в одной тут и продразверстке дело. Или не только в ней. Глубже надо глядеть: другое, похоже, мужики узрели. А поняли они, что из одной кабалы хотят их в другую. Оттого и удалось Антонову взметнуть народ, захлестнуть пожаром аж три губернии. Кровь против крови.

Мужика палят, и он палит. Он схватился за ружье, а против него пушки. А что ему всего-то и надо, мужику? Землю свою, что однажды ему уже отдали — безвозмездно, навечно. И тут же надули, вчистую ограбили. Вот он и... Однако спохватились, поняли там, в Москве, что ведь эдак-то придется всех мужиков, всю Россию под корень изводить. А кормить-поить кто тебя будет? Нет, сообразили, успели, главное. Так вот теперь, значит, самое время и подошло: разъяснить, успокаивать, вытирать подолами рубах окровавленные в драке физиономии, миром кончать разбой. А тут снова — на тебе! Как она уже надоела, революционная беспощадность, будь она трижды проклята!

Илья утверждает: кругом враги. Есть и они, не без этого. Но ведь и подумать пора: отчего они

такие, по какой причине врагами сделались и нет ли здесь и нашей собственной вины... Ведь вот же, когда собирался сюда, на Тамбовщину, Сибирцев, удалось ему побеседовать с Феликсом Эдмундовичем, который, кстати, во многом вину за антоновщину брал на себя — и проглядели-прошляпили, и никаких сил, организации не имели, — но главное он видел тогда в другом. Он рассказал тогда о своей беседе с Владимиром Ильичом и передал его слова, точнее мысль: в режиме «военного коммунизма», говорил Ленин, была, конечно, вынужденная необходимость. Это прекрасно видел и понимал теперь и сам Сибирцев. Однако, добавлял Ленин, было бы величайшим преступлением — именно так и сказал, и еще раз повторил, словно подчеркнул, Феликс Эдмундович — не видеть здесь и не понимать, что мы меры не соблюдали. И это точно: какая уж тут мера! Когда мужик за топор да за винтарь схватился. А ведь долго терпел. Почему? Понимал, что надо помогать повой власти. А теперь? Устал ждать. Надоела несправедливость. Вот что.

Вспомнить только, как началось. Прогнал мужик Колчака, Деникина, живым домой пришел, и есть у него теперь земля, дело есть, так зачем же ему было восставать, в лес от жены и детей уходить, свое горбом нажитое огню предавать? И не одному какому-нибудь, дурью придавленному, — десяткам тысяч разом. Или другой пример, совсем близкий, вчерашний. Ведь пожгли бы казачки Мишарино-то, все бы дымом пустили И не совладать с ними тому десятку на круг чекистов да активистов-коммунистов. Так бы и сидели на колокольне и подмоги ожидали. Однако же побии казаков. А отчего? Оттого, что село за винтари взялось. И вовсе не для того, чтоб сельсовет защитить, который, кстати, благополучно сгорел, а чтоб свое хозяйство сохранить. И все эти кулаки, как их честил вчера Илья Нырк, первыми в том деле выступили. Не-ет, дорогой ты мой Илья Иваныч, зря ты шибко на всех мужиков серчаешь, зря, брат.

Сибирцев взглянул на Егора Федосеевича, сгорбившегося на облучке брички.

— Слышь, Егор Федосеевич?

— Ась, милай, — тут же, словно давно ждал, встрепенулся дед.

— Скажи-ка мне, как ты считаешь, отчего мы вчера победили? Казачки-то, поди, посильнее были, а?

— Так чаво, милай друг, — дед взглянул на небо, задрал куцую бороденку, будто именно там, во облаках, предвидел ответ, затем поерзал на сиденье, поиграл бровями и выпалил беглой скороговоркой: — Так и — в милай, мужик, он нипочем сваво не отдасть, хучь ты яво каленым жги, хучь режь ты яво, нет, милай, супротив мужика никака сила не возьмет. Эта козачки — с земли своей согнанные, а мы живем тут.

— Верно говоришь, — вздохнул Сибирцев. — Нет такой силы... А значит?.. Что значат, ну-ка, Егор Федосеевич? — И продолжил уже сам себе, не обращая внимания на старика: — Нельзя действовать вслепую, нельзя саблей размахивать наотмашь, не щадя ни правых, ни виноватых, как бы того тебе, Илья Иванович, ни хотелось... А много ли у вас, в Мишарине, богатых мужиков, Егор Федосеевич? Ну, справных, с крепким хозяйством, кулаков, другими словами.

— Так ить, милай, — дед почесал затылок, хитро усмехнулся, — у нас бедных-то, почитай, акромья меня, и не бывало. Да и я усю жисть при деле, при батюшке, значица, царствие яму небесное... — Он скоренько перекрестил лоб и заинтересованно поглядел на Сибирцева. — Ну, еще Гусак наш ничаво в хозяйстве не иметь. — «Гусак» — это дед о Зубкове, председателе сельсовета. — Да ему и не надоть...

— Это почему ж? — удивился Сибирцев,

— И-эх, милай, власть он, — просто сказал дед. — А власть — она отродясь как птица божья, не сеить — не жнеть, да сыта бываить.

«Вот так-то, — укорил самого себя Сибирцев, — а мы смеем утверждать: кто на работает, тот не ест. Висим тяжелой гирей на шее у мужика и удивляемся, чем это он еще, сукин сын, недоволен?»

Что-то сместилось в сознании Сибирцева за последние два дня, а может быть, что вернее, за две последние ночи. Страшная судьба Машиного брата Якова Сивачева, которого он, Сибирцев, навеки занес в герои, замученные жертвы, оказался бандитом, насильником, предателем. Но если подумать, вспомнить, кто выдержал в семеновской контрразведке? Не было таких! Ибо живыми героя не выходили. Разве что совсем уж невероятный случай... Нет, у Сивачева все оказалось более чем обыденно: не вынес пыток, сдался, предал. Следовательно, и финал был закономерен. На миг пожалел его Сибирцев, отдал ему наган с одним патроном, может, верил, вспыхнет в Якове прошлое, честь, совесть — хоть на мгновенье, которого было бы вполне достаточно для принятия последнего решения. Не вспыхнуло, не озарило. Последний выстрел оказался за Сибирцевым.

А потом, пока собирали убитых и копали могилы, пока пожары в селе гасили, да едва не утерянную власть восстанавливали, все лежал Сибирцев на жесткой койке в опустевшем родовом сивачевском гнезде, где больше месяца выхаживали его Маша с покойной матерью, отрешенно глядел в потемневший от времени дощатый потолок и все думал, ворочал в мозгу тяжелые глыбы вопросов.

В доме было тихо и пусто. Поскрипывали половицы под осторожными шагами Маши, а может, то была старая прислуга Дуняшка. И эти редкие разноголосые скрипы еще больше, казалось, подчеркивали убийственную обыденность происходящего и полнейшую тщету суетной жизни. На заднем дворе в леднике лежали до утра, когда обещали сколотить два гроба, завернутые в холстину старая хозяйка и молодой хозяин, — сушь стояла такая, что и ночью дышалось с трудом. Слабая струя наружного воздуха проникала сквозь полуприкрытые ставни и разбитое окно и, плутая в коридорах старой усадьбы, разносила по темным комнатам явственный сладковатый запах тления. Откуда, почему? Ответ не находился. Видно, и дом теперь умирал вслед за своими хозяевами.

Вчера под вечер они крепко схватились с Нырковым. Тот требовал самого строгого и скорого, естественно, революционного суда над местными кулаками, пособниками бандитов, теми, что чуть ли не хлебом-солью встречу казакам готовили. Так был, во всяком случае, уверен Илья. Это они уже после опомнились, как красный петух загулял над сельсоветом, грозя переметнуться и на другие крыши. Не за Советскую власть, а за свое, несправедливо нажитое перепугались кровососы. Сибирцев поначалу отнесся к горячности Ильи с иронией, оправдывая ее непрошедшим еще пылом недавнего боя. Но затем в упрямой настойчивости козловского чекиста разглядел жгучую жажду неутоленной мести, преднамеренную и оттого расчетливую жестокость. Жестокость победителя, что называется, волею случая. Это еще можно было бы как-то понять, кабы мужики — кулаки они там или подкулачники, черт их всех разберет, — действительно пошли заодно с бандитами. Но ведь не было ж этого! Напротив, все село дружно, будто по команде, подняло пальбу. Кого же теперь собирался судить и казнить этот неутомимый и словно запьяневший от обилия пролитой крови Нырков? Ирония иронией, но когда сообразил Сибирцев, что всерьез мыслит о скором суде Ильи, тут его самого взорвало. И он, не сдержавшись, наговорил Ныркову много всякого... Наверное, и лишнего, не без того, ведь и у самого напряжение боя еще не сошло, да и рана постоянно напоминала о себе.

Сорвался и Илья. Так они стояли и кричали, обвиняя друг друга, один — в контрреволюционном слюнтяйстве, другой — в тупом бессмысленном фанатизме. Ну, поорали, остановились, остыли маленько. Сибирцев закурил из коробки привезенного Ильей «Дюбека» Нет, все-таки Нырков понятливый мужик, хоть и взрывчатый, согласился в конце концов, что ежели объективно глядеть, то мужики, считай, поголовно, всем миром выступили против банды, чем определенно способствовали упрочению Советской власти в Мишарине. Ну а в будущем, когда дело дойдет до мировой революции и окончательной победы пролетариата над классовым врагом, то тоща, стало быть, и будем решать крестьянский вопрос в общемировом, так сказать, масштабе совокупно, не отделяя одних эксплуататоров от других, больших от малых. То есть не пришло еще время сводить воедино все обиды, но оно придет, обязательно придет. Уж за этим-то дело не станет.

Потом Илья отправился к своим чекистам, что по-прежнему размещались в божьем храме, где с успехом выдержали осаду бандитов, сообщив напоследок не без явного торжества, что теперь, мол, есть все веские причины за смертью попа начисто ликвидировать церковь — этот рассадник контрреволюционного опиума и духовной эксплуатации простого народа. Сибирцев же устало завалился на свою койку и стал глядеть в пустой потолок и думать. А думать, и крепко, всерьез, надо было теперь уже не о прошлом, там уж ничего не изменишь, а о будущем, о завтрашнем нелегком дне, с его похоронами, отъездом, ну и так далее. Путь у Михаила Сибирцева был один — в Сосновку, к Маркелу, свояку покойного батюшки. Ибо там и оружие, и силы, наверняка готовые к еще одному бессмысленному противосоветскому выступлению. Красноармейская лава, накатывающаяся с юга, от Тамбова и Кирсанова, уже не оставляет надежды на мудрое, бескровное решение вопроса. Советская власть еще весной отменила продразверстку, ввела налог, прошли «прощенные недели», и теперь, как считает Илья, сделала все, чтобы погасить недовольство в массах. А те, которые не успели или не пожелала сложить оружие, подлежат поголовному истреблению. Раковой опухолью на теле республики — так, кажется, назвал антоновское восстание Мартин Янович Лацис там еще, в Москве, в ВЧК, когда речь шла о задании Сибирцева. Но ведь он говорил о необходимости точного диагноза: нельзя операцию делать вслепую. Вот и был Сибирцев тем самым диагностом, которому предписывалось определить размеры опухоли, отделить мертвую ткань от живой. Сибирцев полностью разделял точку зрения особоуполномоченного ВЧК. Но тогда как же согласовать сказанное им в Москве с тем, что в пылу спора предъявил Илья Нырков? А он, гордясь своей памятью, буквально процитировал Сибирцеву слова все того же Лациса о том, что первым долгом в деле обвиняемого, восставшего против Советов оружием или словом, следует выяснить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и профессия. И вот эти главные вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого Жуть какая-то, сплошное беззаконие, возведенное в ранг политики. А то, что говорилось или писалось по поводу красного террора, и вовсе не утешало, потому что и Илья и ему подобные крепко и, похоже, надолго, если не навсегда, взяли себе на вооружение. Кстати, если исходить из этих предпосылок, то уж первая-то пуля Ныркова должна быть предназначена именно ему, Сибирцеву, без всякого сомнения.

Вот и думал об этом всю короткую майскую ночь Михаил Александрович, сопоставлял, искал противоречия, ставил себя в крайние обстоятельства и к утру пришел к выводу, что прав он, именно он, а не Илья Нырков со всей его классовой беспощадной убежденностью.

Ну, а теперь вот, уезжая, Илья снова вернулся к той же песне, и снова мелькали в глазах его искры негасимого революционного пламени. Нет, не сумел, не убедил его Сибирцев. Оставалось полагаться на Бога, на случай, да еще на то, что не успеет Нырков накинуться всей массой и не раздавит бездумно и правых и виноватых. Живое ведь для жизни предназначено. Вон и Егор Федосеевич, уж на что, кажется, былинка, в чем только душа держится, тоже всего

на свете лишился, а подскакивает, петушится, существует, одним словом. Значит, надо торопиться.

4

Вечерело, но жара отступать, видно, и не собиралась. Клонившееся к белесому горизонту раскаленное солнце обещало и на завтра такой же безумный пыльный день. Бричку качало, словно утлую лодку на боковой волне, ладные рыжие кони притомились и вяло, не в лад перебирали копытами. В густой пыли, что стояла не опадая над лесной дорогой, глохли все посторонние звуки. Так и катилась, переваливаясь с боку на бок, бричка в этом пустом, оглушенном пространстве, будто во сне.

Сибирцев, навалившись локтем на борт, чтобы меньше тревожить незажившую еще до конца рану промеж лопаток, держал в руке небольшой белый листок. Глядел на него и не знал, что с ним делать. Порвать, выбросить — рука не поднималась, а оставить и хранить — в высшей степени неразумно. Не к добрым гостям едет он, всякое может случиться, ведь обыскать при случае могут, и тогда...

Вот что было в этом листке: «Михаил Александрович, я пишу Вам затем, чтобы еще и еще раз повторить: я люблю Вас. После страшной ночи, когда рухнула вся моя прошлая жизнь, вмиг унесшая маму и Яшу, после всего, что Вы рассказали мне, и того, что я невольно подслушала позавчерашней ночью, я вдруг отчетливо поняла: теперь только Вы — моя жизнь, моя мечта о невозможном счастье. Я, наверное, не могу выразить словами все, что думаю о Вас, о Вашем деле и судьбе, но я уверена, что где бы Вы ни были, мои мысли и желание помочь, защитить, спасти Вас, согреть своей любовью будут всегда с Вами.

Доктор Илья Иванович сказал мне, что, скорее всего, я стану работать у него в госпитале в Козлове. Там Вы легко, если захотите, если найдете такую возможность, отыщете меня. А я обещаю ждать Вас всегда. Я дождусь Вас. Пусть хранят моего любимого Бог и мои молитвы. Ваша Мария».

Снова перечел Сибирцев записку, написанную неравным, торопливым почерком, с прыгающими перед глазами буквами. Впрочем, Маша тут ни при чем, просто это поповская бричка с окованными железом колесами болтается на выбитом многими десятилетиями лесном тракте.

Щемило в душе от Машиного признания. Было так, словно поднял он на плечи драгоценную, но тяжкую ношу, а теперь и оставить нельзя, и нести — сил нет. Там, на кладбище, нынче утром, возле свежезасыпанной могилы, упокоившей Елену Алексеевну, не перенесшую смерти сына, и Якова, убитого его, Сибирцева, рукой, Маша вдруг подошла к нему и оказала — просто, как о давно им обоим известном: «Михаил Александрович... я Вас люблю...» И это показалось Сибирцеву невозможно возвышенным, будто присутствовал он в финале древнегреческой трагедии. Однако теперь, когда Маша ехала с Ильей и его чекистами в Козлов, теперь ее слова и особенно эта короткая записка, переданная ему Егором Федосеевичем с лукавой усмешкой, открыли перед ним прозрачный и чистый родник, ключик со святой водой, способный приглушить страдания и залечить душевную рану. Но дорога к тому хрустальному источнику как в сказке — через леса дремучие, бандитские, в тридевятое царство, тридесятое государство. Долго же туда идти, ох как долго! Может и целой человеческой жизни не хватить...

— Слышь-ка, Егор Федосеевич, — окликнул деда.

— Ась, милай?

— Трясет, говорю, спасу нет. Может, передохнем малость?

Нет, рано он все-таки встал. Конечно, если бы не банда, можно было бы еще с недельку отлежаться. Чтоб уж вовсе закрылась рана. Да ведь и то: мы предполагаем, а Господь располагает...

— Эта можно, ету делу мы зараз, — словно спохватился дед. Он легко поиграл вожжами и завернул коней на ближайшую же полянку.

Накренившись, бричка съехала с дороги, немного прокатилась по бурой траве и остановилась.

— Ну вот, милай, — удовлетворенно сказал дед и, кивая на письмецо, что держал в руке Сибирцев, добавил: — Ты не думай чево. Марьюшка-то наша — голубица, истый хрест, как есть. Ты, баить, дедуша, передай ему-то письмецо, значица, ето. А чево, думаю, еж ли оно от чистого сердца писано? Давай и передам. Какой же тут грех? От сердца, значица, и сердцу, чей, весточка-то... Ах ты, бедная моя, и за каки ж таки гряхи на тебя така доля свалилась?.. — неожиданно запричитал он тонким голоском.

Сибирцев, качнув бричку, кряхтя сошел на землю. Размял ноги и почувствовал, как все-таки сильно болела спина от долгой езды. Поглядел, сощурившись, на солнце, которое все никак не хотело скатиться за кромку леса, уж и тени вот и от коней, и от брички стала длинными, а никакой прохлады не ощущалось.

Он прилег на жесткую от засухи траву и почувствовал резкий дух лошадиного пота и дегтя от колес. Подошел дед, опустится па корточки, уперев подбородок в морщинистые высохшие кулачки.

— Михал Ляксаныч, милай, можа, глоток исделаишь? У мя есть, есть. Уж чево-чево, а ентаго добра люди добры завсегда нальют...

— Погодь малость, Егор Федосеевич, дай в себя-то прийти. Вишь ты, растрясло все-таки...

— А мы ета дело враз поправим! — обрадовался дед и, вскочив петушком, стал копать под сиденьем на облучке. Достал мутную бутылку, заткнутую тряпицей, и помятую железную кружку. — На-кось, держи, голубь, сейчас мы твою хворь вмиг изгоним!

— Ну, раз такое дело, да и время к ужину, ты уж и мой сидор доставай.

Дед резво подал Сибирцеву его вещевой мешок и стал с нетерпением ждать, глядя, как трудно развязывается крепко затянутый узел лямки. Наконец Сибирцев достал банку тушенки, буханку хлеба и нож. Ловко вскрыл консервы, отхватил от буханки два толстых ломтя и кинул нож деду:

— Давай намазывай, да погуще. Свое — не чужое.

Он взял кружку, почтительно протянутую дедом, покачал ее в руке: наверно, она была в огне — и это все, что осталось от сгоревшей дедовой халупы. Даже ряса его старая и та сгорела. Портки да рубаха, да эта вот кружка — все его добро, и бутылка самогона, поди, кто-то на сердобольных соседей налил.

Вдохнул было тяжкий дух и отвел кружку от лица.

— Ну, Егор Федосеевич, не знаю, как ты, успел, поди, помянуть-то усопших? — Дед бодро затряс головой, — А я, вишь ты, брат, такое дело, сейчас хочу... Пусть им всем, и праведным и грешным, земля теперь будет пухом. Хорошим — память наша, ну, а остальным, стало быть, успокоение от дел их злодейских. Так, да?

— Эта ты, мил аи, да... — заметил дед, принимая пустую кружку и наливая себе. — Эта жизнь, голубь. Вота оказать тоже, Яков Григория... Большая беда от него вышла, дак и сам в ей сгорел. А дело твое, Михал Ляксаныч, как я погляжу, праведно. Ты уж не убивайся зазря. И Машенька, чистая душа, тоже так, значица, рассудила. И матушка ейная, несколько дале, выходит, жить не смогла. Все оно так, все от Бога. — Дед выцедил кружку, крякнул, утерся рукавом и задумался, глядя на хлеб с тушенкой. — Вота к примеру... Батюшка наш, он и байты «Ты, Ягорий, пойми мою душу, никак мне без Варюшки тяпера нельзя. Пойтить с вершин горних на мир греховный взглянуть. Можа, в последний раз?»

— Это ты, значит, помог-то отцу Павлу с колокольней?

— А чево жить, милай, коли жизнь вся закончилась? Поднялся он на колокольню, перекрестился и-и-и...

Нырков не углядел прошлой ночью, и арестованный им поп покончил жизнь самоубийством. А вместе с ним, Павлом Родионовичем Кишкиным, прервались было и все связи антоновского подполья здесь, в Моршанском уезде. Впрочем, если уж по правде, то как оставалось ему жить после того, что сотворили сивачевские казаки? Тут не к Богу, тут к самому дьяволу обратишься... Это-то Сибирцеву было очень даже понятно. Но жалость жалостью, а теперь из всех оставшихся, известных ему поповских связей была только одна — неведомый пока свояк Маркел из Сосновского сельсовета.

Словоохотливый дед, конечно, знал, какую роль сыграл Сибирцев в разгроме банды. Наверняка понимал, что вовсе он и не белый офицер, а самый что ни на есть красный. Но... молчал или рассуждал о вещах второстепенных. Отправившись с ним в опасную дорогу, Сибирцев, в общем-то, мог рассчитывать лишь на то, что, говоря правду о тех событиях, свидетелем которых он был сам, Егор Федосеевич действительно окажет ту правду, которая и нужна Сибирцеву, и в этом смысле опасности для дела не было. Все ведь объясняется просто: во-первых, имеются у Сибирцева документы полковника Главсибштаба, причем подлинные. Ежели вопрос возникнет, отчего казачкам не помог, ответить просто: конспирация. Да к тому же у них на хвосте чекисты висели. Открыться — значит дело завалить. А вот грабежи, убийства и поджоги надо было немедленно унять, чтобы не компрометировать веру и в без того сильно пошатнувшееся антоновское движение. Наконец, сам поп наверняка уже все успел рассказать Маркелу о нем, о Сибирцеве. Так что пока в данной ситуации осечки быть не должно. А впрочем...

Сибирцев долго раздумывал: брать с собой деда или ехать в Сосновку, так сказать, инкогнито. В пользу перового решения говорило то, что Егор Федосеевич-лицо хорошо известное Маркелу. Всю жизнь в церковных сторожах проходил, худо-бедно, тайны какие-то знает, немало повидал на своем веку. А что он такая балаболка — это даже к лучшему: глядишь, если какое не то слово с языка сорвется, какой с него спрос?

— Так, говоришь, праведны дела мои? — словно между прочим спросил Сибирцев.

— Дак ить так, милай, — дед сосредоточенно откусывал от толстого бутерброда, — коли человек хороший, с им и благодать. Ты, Михал Ляксаныч, за меня-то не бойсь, я кады надо,

слова лишнего не молвлю. И к Маркелу мы, надо понимать, не щи хлябать едем. Ягорий-то, он все чует. Как скажешь, так и будить. Ахвидер ты, и дела у тя до нево су-урьезные... А Яков-то Григорич — на то воля Божья, а иначе чево ишшо у нас есть, акромья воли его? То-та и оно. Не сумлевайся... А письмецо ты, милай, — дед кивнул на листок, который Сибирцев положил на свой сидор, словно не зная, что с ним делать, — ты ево тово, не надо ево хранить, от греха-то...

«Это верно, — подумал Сибирцев, усмехнувшись про себя. — Ишь ты, а дедок-то у нас, оказывается, тоже конспиратор. Знает, что надо, чего не надо, где опасность таится. На вид-то сморчок сморчком, а лысая башка, вишь ты, работает. Соображает. Записка действительно опасна. Только откуда он знает, что в ней написано?.. Как откуда? Маша ж ее вот прямо так ему и отдала, значит, наверняка прочел. Ну да Бог с ним, тем более, что ничего в этой записке опасного-то, в общем, нет. Илью только зря Машенька помянула. А так-то — письмо и письмо, обычная любовная записка. Но все-таки прав дед, лучше от греха подальше.

Сибирцев достал из брючного кармана коробок спичек, свернул Машину послание трубочкой, чиркнул и долго держал письмецо свечкой, пока не обожгло пальцы. Сдунул пепел с ладони, взглянул в тоскливые почему-то глаза деда.

— А каков он, Маркел-то наш?

— Су-урьезный мужик, — качнул головой старик.

— Ишь ты... А живет в Сосновке давно?

— Да ить как сказать, годов-то за три разве, милай. Оне приехали-то кады ж... А как батюшка Пал Родионыч-то церкву красили. Да ить ета, милай, усе четыре набезить.

— Понятно. Четыре, значит. В восемнадцатом.

— Ага, ага, милай, — радостно согласился дед.

— Ну-ну, — задумчиво протянул Сибирцев, ложась на спину. — Сам серьезный, говоришь? Это хорошо, что серьезный. С дураками-то дела не делаются, верно, Егор Федосеевич?

— Ета да, милай.

Сибирцев сунул под голову мешок и лег на спину. Тихо было. Тень от брочки прохлады не давала, однако и пекло теперь вроде бы поменьше. Покачивался на корточках дедок, мелко откусывая хлеб с тушенкой, стряхивая крошки с хилой бороденки. Сибирцев взглянул искоса на босые нога деда, пальцы его в черных трещинах и снова подумал: как жить-то ему теперь? Ведь и воистину — ни кола, ни двора. Обувки — и той нет. Может, Маркел устроит для него что-нибудь... Пропадет ведь, не вечно ж лету жаркому быть...

5

Худо, ой как худо было нынче Марку Осиповичу Званицкому. Тяжкая весть о кровавом бое и полном разгроме казаков в Мишарине, которую примчал юный наследник Миней Силыча, богатого, справного, как впали его, мишари некого мужика, обрушилась на бывшего полковника подобно грому небесному. Испугался мальчишка, увидев, как страшно отозвался дядя Маркел — так звали его односельчане — на это известие. Побелел он, прочитав короткую писульку, что изобразил второпях батя, Миней Силыч, потом вскочил резко, будто взорвался, заметался по неширокой горнице тяжелыми крупными шагами и вдруг с отчаяньем ударил здоровенным кулаком в переплет окна, да так, что стекла враз отозвались жалобным

перезвоном. И при этом с таким отчаяньем уперся взглядом в гонца, что тот чуть не сомлел, а придя в себя, почел за благо убраться во двор. Рухнул Марк Осипович на лавку, сжав ладонями виски, вцепившись большими пальцами в седеющие черные кудри. Уронил бороду на столешницу и замер.

И горечь, и боль, и жалость, но больше яростный стыд испытывал он сейчас. Стыд за себя, за упрямого дурака Пашку, которого его бешеное, туполобое, баранье, ослиное... Господи, да есть ли слова, что могли бы выразить ну хоть сотую долю того, что излил на безмозглую башку свояка совершенно разбитый, раздавленный известием Марк Осипович.

Он еще раз прочитал корявый текст, ладонью разгладив смятую бумажку на столе, и глухо застонал. Минейка писал, что, кабы не прибывшие из Козлова чекисты во главе с самим Нырковым, может, с казаками и удалось бы договориться миром. Однако, видишь ты, те, стало быть, еще с ночи порубали чекистских дозорных, а эти их пулеметами встретили. Вот и порешили многих освободителей. Ну а эти, последние, озверев до последней крайности, пожечь решили Мишарино, да не успели, только тем и ограничились, что, по слухам, снасильничали они супругу отца Павла Родионовича, а затем в собственном доме и сожгли ее. И самого отца святого арестовали чекисты сразу по прибытии Павла Родионовича из Сосновки. И еще за одну фразу зацепился воспаленный ум полковника: по слухам, вроде бы помог малому отряду чекистов какой-то неизвестный господин, который тайно проживал в Мишарине, Но так оно было или нет, проверить невозможно, видели его, правда, накануне некоторые мужики, однако ничего путного о нем неизвестно. А может, и все наоборот, поскольку, по слухам, содержал его под арестом председатель Зубков, и кабы свой им он был, так чего его арестовывать в чулане сельсовета...

Нет, к этому неизвестному Марк Осипович еще вернется, обязательно вернется, а теперь все мысли были о Паше. Как вырвать его из смертных чекистских объятий?.. Зная бешеный характер свояка, Марк Осипович почти не сомневался, что со зла, от горя и отчаянья может такое наворотить чекистам Паша, что, и сам того не желая, все дело враз провалит.

Догадывался полковник, кто этот неизвестный господин. Говорил ведь о нем Паша, о ночной встрече в усадьбе Сивачевых с полковником Сибирцевым, прибывшим, вишь ты, аж из далекого Омска, надо думать, для организации совместных действий против большевиков. Рисковый мужик Паша, однако его напугала удивительная осведомленность этого сибирского полковника, развелось их нынче как клопов, куда ни плюнь, попадешь в полковника...

Сам-то Марк Осипович не того будет теста, нет. Его полковничий чин в великой восьмой брусиловской армии под Перемышлем честью и кровью заработан, лично государем императором за особую храбрость отмечен. Не чета нынешним. Однако ж именно он, этот Сибирцев, рассказал Павлу об аресте в Козлове фельдшера Медведева, лично связанного с самим, о Александром Степановичем Антоновым. Но еще более поразительно то, что разглядел Паша на документе пришлого полковника подпись — кто бы мог подумать, поверить! — Петра Гривицкого... А дело в том, что и Паша, и он, Марк Осипович, отлично знали Петра еще с юности, в ту пору, когда и Марк и Петр были кадетами Петербургского, так называемого Шляхетского корпуса, а Паша, — правда, в ту пору звали не Павлом, а Руськой, то бишь Амвросием, это уж после академии стал он отцом Павлом, — так вот, был он тогда сопливым семинаристом. Имена Званицких и Кишкиных располагались по соседству, если отсюда, из Сосновки, глянуть на чистый юго-запад, так вот — близко к границе с Воронежской губернией в Усманском уезде. Сюда в отпуск не раз приезжал вместе с Марком безусый тогда и худой словно тростинка потомок древнего польского рода Петя Гривицкий. Однако не в том дело. А вот в чем. Разные слухи ходили о Петре: то его якобы застрелили солдаты в феврале семнадцатого, то вдруг объявился он в Омске, при штабе тогда еще военного министра

Колчака, потом говорили, что видели его в Красноярском лагере среди пленных колчаковских офицеров и будто бы уже наверняка был он расстрелян по приговору красных. Словом, абсолютно темная история... Хотя, если взглянуть непредубежденным оком, кто знает, такая ли уж темная? Стал же он, Марк Осипович Званицкий, сын губернского представителя, полковник, герой великой войны, обычным мужиком Маркелом Звонцовым, за высшую честь почитающим руководство гужевым транспортом волостного Совета. Все в конце концов относительно. Но эту историю с Гривицким, как, впрочем, и самого неизвестного пока Сибирцева, надо обязательно и срочно проверить.

Понемногу остывая, сопоставляя услышанное, стал Марк Осипович приходить в себя. Поднял голову, увидел свое отражение в темной стеклянной дверце буфета, вздохнул и пошел во двор.

Сын Минейки сидел на крыльце, рассеянно ковыряя в носу, Нет, никак, видать, не отразились на потомстве справность и иные достоинства папаши Минейя Силыча.

— Слышь-ка, — грубовато окликнул мальчишку Мари Осипович — ты скажи до бати, тридцать верст не велика дорога, к вечеру и доскачешь, да передай ему, что дядька Маркел все понял и интересуется здоровьем свояка. Понял? Запомнил? — И на ответный кивок мальчишки добавил: — А еще скажи, что, видать, днями выберусь я к вам в Мишарино. Дело, мол, есть до бати, скажи.

И, не глядя больше на мальчишку, ушел в тесноту сеней.

Вернувшись в горницу, он сел к столу, теперь уже спокойно и сосредоточенно, чтобы думать, а не суетиться. Уперся локтями в стол, стал разглядывать щербатую доску.

Итак, вопрос вопросов. Нащупают ли чекисты ниточку от Медведева к Паше? Если да, то что дальше? Каков будет результат? Ну, предположим, взяли они Пашу не за просто так, как народный опиум — принято это у них, а действительно за дело. То есть заговорил в их застенках Медведев. Не мог не заговорить... «А что, — подумал вдруг с усмешкой и сжал кулак, поросший густым темным волосом, — у меня бы заговорил». А они что — лучше? Байки все это, для наивных. Значит, будем считать худший вариант: заговорил. А следовательно, назвал Павла, ну, скажем, как обычного противника ихней власти. Повод вполне достаточный для ареста. Ах, если бы только сломленный страшной бедой Паша сумел взять себя в руки!..

Злость прошла, появилась какая-то неясность, грустная усталость. А может, это от мертвой тишины в доме и вечеряющего солнца? Тоска, Господи, какая тоска!

Боясь не совладать с этой наваливающейся, давящей глухой жутью одиночества, Марк Осипович встал и распахнул дверцу буфета. Достал запыленную, словно забытую бутылку водки, безразлично оглядел ее, будто даже удивляясь ее присутствию, потом копотким и сильным ударом ладони вышиб пробку. Там же нашел свою старую, походную еще эмалированную кружку, вылил в нее полбутылки и, на миг задержав дыхание, помянул Варвару-покойницу. Потом помрачнел липом, вылил в кружку остатки водки и сказал сам себе:

— И тебе вечная моя память, Аленушка...

С Аленой Дмитриевной, младшей дочерью известного тамбовского врача, они сыграли свадьбу в мае тринадцатого года. На Варваре — старшей дочери — раньше женился, опередил товарища, Паша. Радость оказалась недолгой: уже через год, в августе началась война. Ну, то, что Марк отбыл немедленно в свою часть, это в порядке вещей. Однако оказалось, что Алена, опьяненная всеобщим взрывом патриотизма, поступила на курсы медсестер — все-таки

папенькина кровь — и вскоре добровольно отбыла в действующую армию. Ах, если бы знал об этом Марк! И как раз в те дни, когда газеты Парижа, Лондона, Петрограда восторженно писали о взятии героическими русскими войсками Перемышля, о победе, равной которой еще не знали в этой войне, в это же самое время в тысяче верст севернее той армии, где исправно служил Вере, Царю и Отечеству Марк, в Восточной Пруссии умирала медицинская сестра Алена Званицкая и горячечным шепотом, в бреду призывала мужа облегчить ее страшные мучения... Он узнал об этом лишь год спустя, когда неожиданно встретил на передовой Пашу. Был он в грубых грязных сапогах и темной рясе, концы которой святой отец деловито подобрал под ремень на поясе. Долго сидели в тот ужасный вечер в сырой землянке подполковник Званицкий и полковой священник. А утром, мешая громкое божественное слово с разудалой российской матерщиной, поднял солдат в атаку священник Павел Родионович, поднял под ураганным огнем австрийцев и одним из первых добежал до вражеской траншеи, где а был ранен. Уже в госпитале прочитал он газету, в которой был опубликован высочайший указ о награждении особо отличившихся воинов и упоминалось его имя. Вот таков был Паша, непредсказуемым, храбрым до отчаянья, до неразумности...

И конечно, именно по этой своей отчаянности, не глупости, нет, конечно, а по причине удалой своей натуры и попал он теперь прямиком к чекистам. А оттуда выход был возможен лишь один. И Паша после страшной гибели Вареньки наверняка не выбрал бы себе иного.

И последнее, о чем следовало бы крепко подумать нынче Марку Осиповичу. Вряд ли казачий набег на Мишарино был спровоцирован или, того хуже, подготовлен Павлом, хоть не раз корил свояка Марк за неосторожность — неумно возглашать с амвона анафему большевикам, особенно в это неясное время. Разумеется, внешне-то чист перед ними священник, и с оружием полный порядок, хорошо оно упрятано для великих будущих целей. Да ведь и не о том теперь речь. И когда как раз накануне последнего Пашиного приезда примчался из Мишарина гонец со слезной просьбой о помощи против банды, вот тут и задумались сосновские мужики, поскольку и сами не ведали, в какую сторону трактовать тех бандитов. Бягут, мол, антоновские в Заволжье, уходят от Красной Армии, что на хвосте ихнем повисла. А кто бежит? Свои же мужики, коим невмоготу более терпеть издевательства и разорение от бесчисленных продотрядов, конфискаций, угроз и наказаний, от бесконечных наезжих начальников, размахивающих наганами и вычищающих подполы и риги. И не от великой радости кинулись они к Антонову — за волей кинулись, за своей землицей. Ан вон как оно повернулось: спасители-то иные нынешние, оказывается, бесчинствуют почище красных. Поневоле зачешешь макушку. Потому и не торопились принять решение по мольбе мишаринских сельсоветчиков: помогать или все же воздержаться? И, пожалуй, общее сомнение разрешило веское, хотя и раздумчивое слово Маркела. Знали его как человека степенного и опытного, пусть и сравнительно недавно, всего четыре года как поселился этот одинокий мужик в Сосновке. Хозяйство свое невеликое вел исправно, не ссорился с миром, не повышал голоса, однако, если просили совета, тоже не гордился, спеси не выказывал. Так вот, что касаясь бандитов, сказал он мужикам, собравшимся в волостном Совете, так на это дело как еще поглядеть. Как назвать, стало быть, ежели по справедливости. А потому, ежели по-христиански, то как не оказать помощи страждущим русские людям? Вроде верно сказал Маркел, да ведь и понять надо, кого он в виду-то имел: соседей или тех, уходящих от преследования. И так и этак трактовать можно, а не придерешься, решай, выходит, миром.

И еще резон: той-то советской власти в Мишарине — раз, два и обчелся, пара коммунистов всего и наберется. Ну, продотрядовцы еще с весны стоят. Порскнут они в лес, и поминай как звали. А мужику те, беглые, поди не враги, сами такие же. Вот и получается, что если по правде, то и защищаться смысла нет никакого: как прискачут казачки, так и ускачут далее. Не о г. кого, значит, Мишарино освобождать. А у кого хозяйство, тому есть что терять. Потому и

не прошла затея мишаринских насчет совместной по — мощи для разгрома тех казачков. Не прошла... И вон оно чем обернулось — синем, кровью, смертью самых близких. И не свободу принесли казачки в своих седлах, а оказались самой доподлинной бандой — убийцами, грабителями и насильниками.

Да, худая, пожалуй, будет эта весть для сосновских-то мужиков, не по-людски получилось, не по-соседски. И гут им впору снова чесать затылки... Вишь ты, оказывается, всем миром поднялось Мишарино, даже Минейка за винтарь схватился, это понимать надо. Раздвоилась душа Марка Осиповича, видит Бог, окончательно раздвоилась...

Но — беда бедой, думы думами, а дело делать надо. И безотлагательно.

За окном потемнело, слышно было, как к ночи усилился ветер. Как бы опять грозу не нанесло, подумал Марк Осипович, гроза в дороге последнее дело. Он уже решил ехать на ночь глядя в Мишарино. И самому спокойнее, да и разбойников на дороге опасаться не приходилось; для советской власти был он вполне своим, а от ночных людей оружие имелось. Да и не боялся он их. Разве что кто-то из тех казачков рассеянных встретится случаем, так и это неплохо, на добрым разговором можно много ценного уяснить для себя, а им-то, уж само собой, любая помощь — не лишняя.

Смутное время, переживаемое Россией, необходимость жить под чужим именем в этом забытом Богом медвежьем углу приучили Марка Осиповича к скрупулезной внимательности и строгости в деле. И если уж доверили ему власти заведовать гужевым транспортом, который использовали вовсе не по прямому назначению, то он считал обязательным содержать подчиненное хозяйство в полном порядке. Потому и мог он сам в любой момент запрячь для себя коней сытых и сильных, не вызывая ничьих подозрений. За все время, что прожил Марк Осипович в Сосновке, ни разу и ни у кого не возникло даже сомнения в его классовом происхождении. Истинно военный человек свято подчиняющийся команде, он терпеливо ждал того часа, когда встанут под его профессиональную офицерскую руку не банды недобитые, нет, но храбрые батальоны истинных защитников Отечества. А пока жил-поживал он в полной тишине и одиночестве, питаясь темп противоречивыми сведениями, которые залетным ветром заносило в волостной Совет. И хотя в последнее время как-то само собой начинало закрадываться в душу неясное, тягостное сомнение: того ли он ждет, не качнулся ли маятник часов в обратную сторону, — обещание, переданное ему в свое время Антоновым и полковником Богуславским, казалось Марку Осиповичу чем-то единственно реальным в этой непонятной, противоречивой жизни. Так казалось долго, да вот Пашкин окаянный приезд нарушил спокойствие терпеливого ожидания, вверг душу в смятение.

Ведь судя по тому, что рассказывал Павлу тот самый непонятный полковник Сибирцев, если это не обман, не уловка, не тщательно продуманная провокация чекистов, которые, как догадывался Марк Осипович, и не на такое способны, то все происходящее сегодня на Тамбовщине сильно напоминает агонию. Даже такой, казалось бы, пустяк, как побег сотни казачков, — в кои-то века подобного не случалось! — не вызвал бы столь серьезного резонанса со стороны властей. Но ведь теперь армия сюда стянута! Армия! Уж кто иной, по военный человек понимал, что сие действие означает для повстанцев. Вывод напрашивался один: Антонов опоздал. Крепко и, вероятно, в последний раз опоздал. И не пройдут по России великой ударные батальоны, хваленые полки, ибо и Колчаку, и Деникину — хорошо, близко знал этого храброго генерала Марк Осипович и до сих пор не мог понять, почему и сам не ушел к нему на Доя, почему осел тут, в середине России? — и даже барону Врангелю не л далось добраться до белокаменной, как ни старались они, на чью только помощь ни уповали. Значит, ушло время. И если где еще и осталась возможность восстановления единой и

неделимой, то разве что в необъятной Сибири. И кто знает, может, рука Господня в том, что так неожиданно, в черные минуты объявился здесь этот сибирский полковник? Нет, что-то такое необъяснимое, но безумно притягательное все-таки в этом было.

Марк Осипович снарядил, как положено, новую бричку, запряг пару волисполкомовских коней и, едва окончательно стемнело — пришла пора черных, безлунных ночей. — негромко выехал в сторону Мишарина, Если не особо торопиться, то как раз к рассвету, а светает нынче рано, он мог бы поспеть к соседям. Поутру сон особенно крепок, спит народ, испуганный всеми возможными напастями — от гуляющих банд, неумолимых продотрядов до лютого голода, который грядет карой небесной в этом году.

6

Солнце наконец укрылось за лесом, и Сибирцев машинально отметил: десятый час, поздний закат. У него побаливала от дневного напряжения голова, и казалось, что толчки в висках все ускоряют свою барабанную дробь.

Сибирцев решил появиться в Сосновке возможно позже, лучше вообще в темноте, благо ночи теперь безлунные. Незачем посторонним лицезреть нового человека. Тем более, что и искать, собственно, никого не надо было, где живет Маркел, дед Егор найдет, сам давеча заявил. Следовательно, и торопиться не стоило.

Сибирцев снова ощутил эту настырную, будто барабанную дробь, отдающуюся в затылке. По через короткое мгновение он вдруг осознал, что это стучит не кровь, что тут виноваты какие-то посторонние звуки. Затылок был прижат к земле, и это земля, высохшая от зноя и жажды, словно туго натянутая барабанная кожа, передавала ему отдаленный дробот копыт.

Он быстро поднялся на ноги, прислушался. Вроде тихо, но появилось как бы само собой острое беспокойство.

— Ну-ка, Егор Федосеевич, быстренько прибери тут, да отведи коней с бричкой вон туда, подальше под деревья. Чует душа что-то неладное. Пойду гляну на дорогу.

Сам же вскинул на плечо ремень винтовки, что лежала в бричке, в ногах, достал из кармана свернутой шинели свой неразлучный наган и сунул его за ремень. Дед споро подобрал остатки обеда и повел лошадей в глубину поляны, где густо кустился привядший орешник. Через минуту на поляне сделалось тихо и пустынно.

Прячась за деревьями, Сибирцев выбрался к дороге и разглядел вдали, в той стороне, откуда они приехали, клубы похожей на падающий туман пыли, а впереди темные силуэты нескольких небыстродвигающихся всадников. Было их не то четверо, не то пятеро, за дальностью и сгущающейся тьмой не разглядеть. И скакали они в сторону Сосновки.

Долго раздумывать было некогда, да и не предвидел Сибирцев подобного вмешательства в свои планы. Судя по всему, то могли быть уцелевшие вчера после боя казаки. Иначе какому сумасшедшему, прослышавшему о скитающихся в окрестных лесах остатках банды, пришло бы в голову ехать на ночь глядя. А раз никого не боятся, значит, они это и есть: выбрались на тракт под вечер.

Останавливать их, затевать перестрелку — надо быть последним дураком. Да к тому же, если их действительно, как показалось, не более пяти, особой опасности для той же Сосновки они, конечно, не представляют. Скорее всего, потихоньку, в ночи пограбят кого-нибудь, добудут пропитание, да и ускачут себе дальше.

Но был и другой соблазн, острый до жути: попробовать взять их под себя. Народ-то они теперь, после мишаринского боя, пуганный.

Всадники между тем приближались. Скоро стали слышны их сбивчивые, заглушаемые конскими копытами, медлительные разговоры. Было их все-таки четверо. Темные силуэты всадников теперь отчетливо прорисовывались на фоне меркнувшей вечерней зари. Снять их отсюда, из кустарника, не стоило никакого труда. Они б и опомниться не успели. Но что-то останавливало руку Сибирцева, в которой был зажат наган с уже взведенным курком. Нет, не жалость. К этим бандитам он теперь не испытывал никакой жалости. Они в принципе были для него покойниками, хотя вот, видишь ты, ехали не страшась, попарно, вяло перекидывались словами. Короткие казачьи винтовки держали поперек седел, в готовности, значит. Притомились, голубчики...

Совсем некстати передовой обнаружил поляну, на которой только что отдыхали Сибирцев с дедом. Он махнул рукой и съехал с дороги. К счастью, не стал углубляться, с трудом соскочил с коня, тут же бросив на землю поводья, и повалился на спину. Подъехали и спешились остальные. Были они рядом, считай, рукой подать. Ах, только бы стариковы кони не подвели, ведь тогда уже выбора не останется никакого, только стрелять.

Между тем казаки уселись в кружок возле развалившегося на земле, зашуршали бумагой, задымили. Один из них поднялся и достал из седельной сумки сверток, видно, провиант. Другой пустил по кругу флягу. И все это молча, спокойно, без суеты, будто отдыхали уставшие от трудной работы люди.

— Слышь-ка, Ефим, а Ефим, — раздался наконец звонкий голос. Похоже, был хозяин его весельчаком, заводилой в компании, поскольку все остальные разом дружно зашевелились, забубнили. — Так ты расскажи ишшо, чево это Игнашка твой от попадьи жалал, а, Ефим?

Не сразу понял Сибирцев, о чем идет речь, о какой такой попадье, но когда понял, почему-то сразу уяснил для себя и другое: эти бандиты живыми отсюда не уйдут.

— А чево жалал? — вроде бы капризничая, в сотый, поди, раз начал повторять свой рассказ неразличимый отсюда Ефим. — Чево, говорю, от бабы жалают? Так ить ежли по-добру, она ж самая наперед казака в смущенье вводить, а ён до сладкой бабы завсегда охочий, особливо пося самогонки.

Казаки рассмеялись.

— Не, ты расскажи, чево она кричала-то, — настаивал тот, весельчак.

— Чево кричала? Известно, чево баба кричить, как ей подол заголяют, да ишшо таку штуку кажут, как у Игнашки, царство ему небесное... Ух, звярина был! Лютел по ентому делу!..

Тут уж казаки заржали, перебивая друг друга, вспоминая и подсказывая свои подробности, к месту и не к месту поминая и покойницу-попадью, и жадного до баб Игнашку. И понял Сибирцев из всей это жуткой истории только одно: пока тот пьяный Игнашка лютел над попадьею, остальные, не теряя времени даром, очищали поповский дом, таща в сумки кто что мог. Однако чем все кончилось, никто толком не знал, ибо пропали, сгорели в доме и Игнашка, и попадья.

Странное ощущение, нереальности происходящего здесь, на поляне, охватило Сибирцева. Случись подобный разговор, ну, скажем, году этак в шестнадцатом, где-нибудь под

Барановичами, на переформировании, он бы, может быть, и сам по дурной молодости принял участие в этом дружном жеребьячем гоготе, поди, и перчику еще подбавил бы для поднятия настроения у нижних чинов. Ну и, само собой, подобное могло бы состояться в каком-нибудь харбинском кабаке среди разнузданных «спасителей Отечества». Но здесь, на ночной поляне, на обочине мрачно затихшего леса подобное кощунство казалось вызовом всему — от остатков разумного смысла до окончательно замолчавшей совести этих «славных воителей».

Сибирцев ощутил прилив совершенно необъяснимой ненависти к этим мирно и весело беседующим, не ведающим о своей судьбе казакам. Трудным усилием воли подавил он в себе желание нажать на спуск нагана, чтобы грохотом выстрелов заставить их замолчать, заткнуться навсегда.

Но, видно, сама неверная судьба остановила палец на спусковом крючке, спасла кого-то из них. С дороги послышался, как давеча, отдаленный дробот копыт, и казаки встрепенулись. Вмиг прекратились разговоры, словно по команде, казаки влетели в седла и, не перекинувшись ни единым словом, — значит, привычное им дело, не впервой, — быстро разъехали по краям поляны, чтоб встретить случайных путников и стрелять наверняка.

Пользуясь их негромким шумом, прерываемым лязганьем затворов винтовок, Сибирцев и сам, осторожно ступая, выбрался к самой дороге. Ухо скоро различило стук колес на выбоинах дороги, значит, ехала повозка. Удачный повод для нападения. Если, разумеется, не найдет коса на камень.

Стук колес и топот копыт приближались. Сибирцев каким-то посторонним слухом почувствовал, как приготовились к рывку казаки. Вот повозка ближе, ближе, уже видны смутные клубы пыли на дороге. Еще секунда-другая — и будет поздно, радо опередить ездовых, неважно, кто они там и сколько их.

Резко и сухо хлопнул выстрел из нагана Сибирцева. Тут же донеслось решительное и грозное: «Тпру!», и грубый голос из повозки повелительно крикнул: «Кто там? Выходи! Быстро!» На дорогу с поляны вынеслись силуэты всадников и ринулись навстречу повозке. Сибирцев снял винтовку, дослал патрон, спокойно, как когда-то в тире, в школе прапорщиков, выделил и сбросил с седла заднего казака. Гулкой россыпью раскатились выстрелы. Стреляли казаки; сухо — наган, определил Сибирцев — отвечала повозка. Крики, истошный рев, отчаянное конское ржание слились в один грохочущий, оглушающий визг.

Вдоль обочины дороги Сибирцев кинулся к повозке и увидел валяющуюся, бьющую копытами лошадь, перевернутую набок бричку, а рядом яростный клубок дерущихся людей. Стрелять бессмысленно: в кого?

— Встать! — истошно рявкнул он, срывая голос, выстрелил в воздух и, схватив винтовку за ствол, с размаху опустил приклад в самую гущу тел. Снова чей-то истошный рев, вой, затем вскрип, клубок распался. С земли поднялся человек поистине богатырского роста, даже непонятно, как казакам удалось опрокинуть его, и, отшвырнув от себя вцепившегося казака, грозно заорал:

— Убью, мерзавцы! Сукины дети! Кто старший, ко мне, остальным стоять!

Это ж надо: стоять, когда эти негодяи валялись посреди дороги и никак не могли подняться. Не успел Сибирцев и сообразить, как с поляны, ответом на мощный бас потерпевшего, раздался дребезжащий голосок Егора Федосеевича:

— Батюшка, милай, Маркел Осипыч, ты ли, живой!

— А это ты, что ль, Егорий? — сомнение звучало в голосе богатыря. — Откуда здесь? Чьи разбойники, а ну, отвечай!

— Ой, милай, — зачастил дед, и Сибирцев увидел наконец его быстро приближающуюся, скрюченную в страхе фигуру.

— Иди, не бойся, Егор Федосеевич, — Сибирцев заговорил теперь спокойно. — Кончились наши разбойнички.

Он перекинул винтовку за плечо, сунул наган в карман брюк и, вытирая руки так, будто измазал их чем-то гадким, шагнул навстречу Маркелу. Теперь он знал, кого встретили на дороге и кому удалось так удачно помочь.

— А вы кто же будете? — настороженно пробасил Маркел.

— Я еще успею вам представиться. — ответил Сибирцев так, чтоб Маркел почувствовал в его интонации усмешку. — Давайте-ка лучше глянем па этих, нет, случайно, огонька?

Он подошел к одному лежащему навзничь, тронул за руку, казак слабо застонал.

— Один пока живой, — спокойно констатировал Сибирцев и наклонился над следующим, скорчившимся, словно у него схватило живот. — А этот, — заметил с сожалением, — похоже, того. Там, — он кивнул назад, — лежит, кстати, еще один из них. Значит, трое. А где ж четвертый? Неужто сбежал?

— Сбежал и черт с ним! — сердито рявкнул Маркел. — Вы лучше помогите мне с бричкой... Ах, мерзавцы, такого коня порешили!.. Давайте сюда.

«Привык распоряжаться, военный человек, — отметил про себя Сибирцев. — И чин, должно быть, немалый. Профессионально приказал, точнее, сорвалось у него помимо воли, значит, в кровь вошло».

Сибирцев подошел к перевернутой бричке, взялся за край и поморщился.

— Вообще-то, как я понимаю, Маркел Осипович, так? Силушкой вас Бог не обидел, а я все-таки после ранения. Так что помощь моя, пожалуй, на этом исчерпалась. Если, разумеется, вы ничего не имеете против.

Вполне учтивый получается разговор на ночной дороге, усмехнулся Сибирцев.

— Не можете — и не надо, — недовольно пробурчал Маркел, нагнулся, крикнул и — поставил бричку на колеса. Похлопал ладонями по коленям и стал шарить возле сиденья. Наконец достал лампу, буркнул мимоходом: «Цела», и зажег фитилек. — Ну, давайте взглянем на наших разбойников, — голос его уже звучал обыденно. — а потом и сами знакомиться станем.

— Егор Федосеевич, давай-ка, брат, выводи и наших коней. Будем грузиться. — Сибирцев похлопал деда по плечу и пошел по дороге назад, к поляне.

Шагах в пятидесяти увидел стоящую лошадь. У ног ее распластался тот самый казак, которого он первым убил из винтовки. Да, наверняка сработано, наповал. Кто он был, этот дурной парень? Тот ли весельчак или Ефим, какая теперь разница. И когда Егор Федосеевич подогнал бричку, Сибирцев, поднатужившись — все-таки тяжелое оно, мертвое тело, — перевалил казака через борт, так что гулко стукнула по днищу. Коня его за повод привязал к задку.

— Давай, Егор Федосеевич, трогай помаленьку.

Подъехали к бричке Маркела. Один из казаков, постанывая, сидел, привалившись спиной к колесу. Второй все так же валялся скорчившись поперек дороги.

— Этого, — Сибирцев показал рукой на покойника, — давайте ко мне, там уже один есть. А раненого осмотреть бы, может, помощь нужна...

— Кому? — возмутился Маркел, но тут же махнул рукой. — А, черт с ними, делайте что хотите. Вон фонарь.

Сибирцев посветил на раненого, крови не было. Может быть, это был тот, на кого он обрушил свой приклад, тогда дело понятное. Или тот, кого отшвырнул от себя Маркел. И тут полная ясность. Отойдет. А кости что ж, кости срастутся. Но где же четвертый? И кони вот еще. Один Маркелов, этого надо пристрелить, чтоб не мучился, и один казачий — похоже, убит наповал. Маркел стрелял. Но где ж четвертый конь? Вот чудеса-то! Ни хозяина, ни коня. Значит, сбежал, испугался, не участвовал в драке, а они за криками, за пальбой и не заметили.

Второго казачьего коня Сибирцев тоже подвязал к дедовской бричке. Маркел тем временем обрезал постромки упавшей своей лошади, поднял под мышки раненого и легко, как младенца, сунул его на пол своей брички. Тот взвыл от сильного толчка, но Маркел грозно на него прикрикнул, и казак смолк. Потом он развернул бричку, отъехал на несколько шагов, вернулся к лежащей лошади, деловито вставил ей в ухо наган и выстрелил. Так же деловито и молча сел на передок и, обернувшись, крикнул Сибирцеву:

— Вы со мной?

— Если не возражаете.

— Прошу, — Маркел подвинулся, освобождая место рядом. — Егорий, ездай следом. — И через короткую паузу спросил: — Это вы — Сибирцев?

7

— Ну, что будем делать дальше? — глядя в темное пространство, спросил Маркел.

— Хотите добрый совет? — вопросом же отозвался Сибирцев.

— Слушаю.

— Сразу по приезде в Сосновку покойников и раненого надо сдать в милицию. Предварительно обыскав, естественно. Придумайте, зачем вы оказались в дороге в это время.

— А вы? — после паузы, не поворачивая головы, спросил Маркел.

— Со мной проще, — вздохнул Сибирцев. — У меня ость соответствующий мандат: всякие там заготовки и прочее. Обыкновенная липа, но печать и подпись секретаря губисполкома действуют безотказно. Проверено.

— Ну, вообще-то... — начал Маркел и замолчал.

— Убитые лошади на дороге сами по себе не валяются. Значит, вы выезжали в ночь. Причина? Навестить родню в Мишарине — исключается.

— Не понимаю вас, — насторожился Маркел.

— Сейчас поймете... Остановите, пожалуйста, растрясло, знаете ли, никакого спасу нет. — Сибирцев, кряхтя, слез на землю и, с трудом изгибая спину, прошел несколько шагов вперед по дороге. — Не хотите немного размять ноги? Эй, Егор Федосеевич, отдохни маленько. Сейчас дальше поедем... Я, собственно, вот о чем, — негромко сказал он, когда Маркел поравнялся с ним. — Вы, вероятно, мало что знаете, или, во всяком случае, далеко не все. А знать надо. Дело в том, что Павел Родионович был арестован.

— Да что вы?.. — деланно испугался Маркел, и Сибирцев его прекрасно понял. — Почему... был?

Вот оно: знает, но не все.

— Прошлой ночью, пытаясь избежать допросов и отправки в чека, в Козлов, он покончил жизнь самоубийством. С колокольни...

— Боже мой, — пробормотал Маркел.

А вот теперь — искренне, отметил Сибирцев.

— О судьбе Варвары Дмитриевны знаете? — сразу же спросил, не делая паузы, Сибирцев.

— Да, — сорвалось у Маркела.

Ну вот, значит, уже успел здесь побывать гонец. Но уехал он накануне самоубийства по па и потому ни о чем дальнейшем не знал. И Маркел не знает. А помчался он нынче в Мишарино выручать свояка, если это, конечно, удастся.

— О том, что у вас с Павлом Родионовичем были не просто приятельские, а близкие родственные отношения, в Мишарине знают? Как вы полагаете?

— Не думаю, — с сомнением протянул Маркел. — Разве что... А вы-то откуда знаете? — вдруг насторожился он.

— Я — другой разговор. Но о вас знают. И помнят вашу еще прошлогоднюю — на Покров, да? — гулянку, и как нынче, перед Пасхой, в свою очередь навещал вас святой отец, подарки привозил... Мужики рассказывали, но, между прочим, без всяких задних мыслей.

— Кто именно, не помните? — небрежно, но с явным напряжением в голосе спросил Маркел.

— Ох, да не упомяну теперь. Случайный был разговор, я с ними и не знаком, в сущности, ни с кем, ведь с койки буквально вчера поднялся. А это возле храма было. В первый раз выбрался погулять, вижу, мужики колодец ладят, ну, присел, покурили, поболтали. Дед наш все порывался у Варвары Дмитриевны... Ох, ты, горе горькое! — тяжело, искренне вздохнул Сибирцев. — Ну да, все хотел народ наливочкой угостить. Вот тогда и зашла, по-моему, речь о том, что большой любитель батюшка по этой-то части, а следом, стало быть, и свояк всплыл. Вот, пожалуй, и все.

Большую наживку закинул Маркелу Сибирцев. Теперь надо было дать ему время все прожевать, обдумать и принять решение. Главное — не торопиться. Маркел и так знает со слов своего покойного родственника о том, кто таков Сибирцев, откуда он и зачем. Пусть теперь думает, что это Сибирцев его проверяет. Ибо при всем желании не смог бы взволнованный

Павел Родионович повторить Маркелу слово в слово их ночную беседу. Ведь и выпили с отцом Павлом, и закусили, — как тут все упомнишь?..

— Ну что ж, — прервал тяжкое молчание Маркел, — скажу по чести, ошеломили вы меня. Однако давайте, действительно, обобщем разбойников.

С помощью Егора Федосеевича Маркел долго шурувал в карманах и мешках убитых, переворачивая трупы и гулко стучая ими по железному днищу поповской брички. Потом, посвечивая фонарем, принялся за раненого. Делал свое дело споро и молча. Наконец повернулся к Сибирцеву, но, не видя его, сказал в темноту:

— Ехать бы надо. Скоро светать начнет. Думаю, дома еще раз посмотрим, а уж тогда и решим. Давайте поторапливаться. Надо до свету успеть.

Дальнейшее путешествие прошло в молчании. Тяжела была эта дорога. Если днем еще как-то удавалось выбирать путь, объезжать рытвины, колдобины, высокие корни, то сейчас, в темноте, Маркел гнал бричку, можно сказать, вслепую. Улегшаяся было пыль, не-остывшая за ночь, клубилась вокруг, и дышалось с трудом. Только однажды, когда вырвались из леса и уже на виду слабых дальних огоньков — на железнодорожной станции, вероятно, так определил Сибирцев, — обернулся Маркел и, напрягая голос, крикнул, заглушив стук колес:

— Не доедет он, я думаю.

Сибирцев, сидевший теперь сзади, понял, о кои речь, нашел руку раненого, нащупал пульс. Рука была вялая, безвольная, пульс едва ощущался. Похоже, прав Маркел, но Сибирцев уже ничем не сумел бы помочь. Его и самого так растрясло, что он понял: это испытание даром не сойдет. Спину жгло раскаленным шилом, кружилась голова, тошнило от качки, но он держался, хватаясь за высокие борта брички, изредка оборачивался, различая на фоне бледнеющей восточной части неба темный силуэт скачущей следом поповской повозки.

Здесь, на равнине, пыли стало меньше, потянуло холодком, видно, где-то неподалеку была река, и задышалось легче. Понемногу прояснилось в голове, хотя между лопатками по-прежнему пекло. Что-то ощутимо стекало по спине: может, пот от напряжения, а может, что хуже, — рана открылась. Последнее было бы теперь совершенно некстати.

Беспечно жили в Сосновке. Ни одной живой души не встретили, пока петляли, громыхая кованными колесами по булыжным улочкам. Ни огонька не светилось в темных окнах. Ветер окутывал запахами крапивы и паровозного дыма — это со станции.

Дом Маркела выходил тремя окнами на улицу, а двор был огорожен высоким деревянным забором. Ворота не скрипели на хорошо смазанных петлях, поэтому и тут не привлекли ничьего внимания. Пока то да се, въехали во двор, заперли ворота, совсем уже развиднелось, третий час, поди, рано светает теперь, скоро пойдут самые короткие ночи.

Первым делом Сибирцев осмотрел раненого, благо света уже не требовалось. Он был очень плох, без сознания, дышал редко, с трудом, со свистом.

— В больницу б его надо, — покачал головой Сибирцев. Он обернулся к подошедшему Маркелу и теперь мог разглядеть своего нового хозяина: крупный, чернобородый, с глубоко посаженными темными глазами, он сам напоминал лесного разбойника.

— Я бы его не в больницу... — низким, хриплым голосом возразил Маркел и добавил: — Но придется, видать... А что у вас-то?

— Да вот, поглядеть бы. Боюсь, откроется, вовсе залягу.

— Ну-ка, давайте в дом, — приказал он. — Егорий, ступай за мной. Нужен.

В неширокой горнице Маркел сразу засветил лампу на столе, задернул на окнах плотные холстинные занавески и кивнул на широкую лавку вдоль окон!

— Раздевайтесь.

Сибирцев снял пиджак, гимнастерку, нательную рубаху и, подчиняясь движениям рук Маркела, повернулся спиной к лампе. Маркел начал быстро и ловко разматывать бинты, перекрещивающие спину Сибирцева.

— М-да, — сказал через короткое время. — Ну-ка, потерпите...

Спину нестерпимо обожгло. Это он оторвал прикипевшую, заскорузлую марлю.

— Есть, есть немного. Но ничего... Егорий, ну-ка достань мне из буфета... Сейчас мы вам, уважаемый, дезинфекцию устроим, по-нашему, по-простому.

Маркел с треском оторвал кусок бинта, намочил его из горлышка бутылки и начал вытирать края раны. Спина пылала, будто ее обложили раскаленными угольями, Сибирцев с трудом сдерживался от стога. Можно было бы, конечно, и не терпеть, не сдерживаться, но гордость не позволяла. Если Маркел — в прошлом военный, он должен оценить все по достоинству: и саму рану, и это никому не нужное терпение.

— Ничего... Хорошая ранка, — констатировал с явным удовольствием Маркел. — А каково происхождение, позвольте полюбопытствовать?

— Было дело... — как можно небрежнее бросил Сибирцев.

— Да, да... — хмыкнул Маркел. — Егорий, иди-ка, поддержи тряпицу, я сейчас...

Он вышел в сени, чем-то негромко загремел там и вскоре вернулся, держа в руке кружку. Обмакнул тряпицу в темную жидкость и распластал ее на ране. Скоро стало легче дышать, да и жжение вроде бы утишилось.

— Через час сменишь... Ну-с, уважаемый, первая помощь оказана. Лежите тут пока, вот вам подостлать, — он бросил на лавку пахнущий пылью тулуп, — а я повезу нашего разбойника. Тем-то уже торопиться некуда Ворочусь, поговорим... — И негромко добавил: — А ваши слова я обдумую.

Сибирцев подождал, пока негромко стукнули ворота, прогремели по булыжнику под окнами колеса маркеловой брички, и только тогда повернулся к деду.

— Слышь, Егор Федосеевич, вали-ка ты, брат, вон туда, на лежанку, да и я ноги вытяну.

Дед, ни слова не говоря, перебрался на невысокую лежанку а уже через минуту топко засвистел носом. Уморился, понятное дело.

Вот теперь можно было я оглядеться. Сибирцев приподнялся, удивившись, что почти не чувствует боля. Вероятно, Маркелова примочка обладала воистину чудодейственной силой. Осторожно сел, согнувшись, на лавке, чтобы не отвалился компресс, прибавил свету в лампе.

Еще когда только вошли в дом, несмотря на смутное свое состояние, успел Сибирцев мельком, стараясь ничего не упустить, оглядеть горницу. Резной высокий буфет со стеклянными дверцами, из толстых дубовых досок стол, широкая лавка вдоль, на которой я спать можно, да пяток массивных, грубо сработанных табуреток — вот и вся неприхотливая мебелировка. Одна дверь вела из сеней, за другой, видимо, есть еще комната, а может, кухня, отделенная от горницы деревянной перегородкой, разрезанной пополам беленым торцом печи с лежанкой, где сейчас высвистывал Егор Федосеевич. Да вот еще в углу, над лавкой, маленький иконостас с тремя образами в футлярах, похожий на зеркальное трюмо, перед которым в зеленой чашечке-лампадке слабо светился, отражаясь в стеклах, огонек.

Ни фотографий в рамках на стенах, ни чего-либо другого, что обычно вывешивается в избах, здесь не было. Голый дощатый пол, только у порога половичок — ноги вытирать со двора. Не густо, не за что зацепиться глазу. Выло б какое фото или картинка-вырезка из той же «Нивы», можно посмотреть, поинтересоваться, спросить.

Тогда взгляд Сибирцева не ускользнул от Маркела.

— Так и живу, — словно бы между прочим, заметил он. — Не люблю ничего лишнего.

«Правильно делаешь, что не любишь», — подумал теперь Сибирцев, испытывая странное сочувствие к Маркелу. Он же, в общем, прекрасно знал, к кому ехал и зачем. «Сурьезный мужик», по словам деда Егора, показался более серьезным, нежели полагал Сибирцев. Но вот неожиданное теперь заключалось, пожалуй, именно в том, что он начал испытывать симпатию к Маркелу. И это уже следовало крепко обдумать. Раз о симпатиях речь пошла, тут ердо быть максимально, предельно внимательным и осторожным, это тебе, уважаемый, не отец Павел с его эмоциями, восклицаниями и неистребимой жадной быть уверенным в своих первых впечатлениях. Тут человек, похоже, битый, тертый, «сурьезный», одним словом. А ведь он еще ни разу не назвал Сибирцева по имени-отчеству, хотя конечно же знал от свояка. Просто Сибирцев еще не представился сам, и, следовательно, не было у Маркела повода открываться. И каков же вывод? А вывод напрашивался прямой: Маркел, или как там его зовут на самом деле, несмотря на всю свою внешнюю угрюмость, мужиковатость, человек другого круга. Чувствуется в нем и своеобразное, кастовое воспитание, и определенные жизненные навыки, скорее всего, унаследованные от старого офицерства. И аскетичность — не придуманная, не случайная, а устоявшаяся, похоже, врожденная. Не столько даже слова, сколько интонации, с которыми он произносил их, утверждали, что человек этот умел и был приучен командовать. А борода разбойничья, разудалая, — так что ж, бороду можно и сбрить, и чем тогда он, скажем, не гвардеец Его Императорского Величества? Если Сибирцева подлечить, да привести в порядок, да прическу госпитальную отрастить, тоже, поди, сразу не отличишь от какого-нибудь штабного бездельника. Хотя, кто ж ею знает...

Рана ему, видишь ты, понравилась. Человек, прошедший войну, знает, откуда такие раны: это ведь революционные солдатики, случилось, спины своих ненавистных офицеров выцеливали. А тут полковник из Сибири, да еще недавно в деле побывал... И другие отметины наверняка он обнаружил. Шрамы, они много бывалому человеку рассказывают... Ну что ж, пока все складывается удачно. И оказанная помощь там, на ночной дороге, пришлась как нельзя кстати.

Сибирцев теперь ясно понимал, что Маркел и есть тот единственный человек, у которого мог отец Павел хранить оружие. Много оружия. Интересно только, как он теперь сумеет объяснить отказ в помощи мишаринским. Ведь здесь, в Сосновке, и продотрядовцы должны быть, хлеб же, товарная станция, железнодорожный тупик, и чоновцы, и милиция, следовательно. Как объяснит?

Нет, сейчас рано еще вести разговоры на эту тему: полковник Сибирцев, находившийся в Мишарине инкогнито, не должен знать об этом. А мужицкие разговоры — что ж, их на веру нынче никак не должно принимать, мало ли о чем болтают мужики. Может, не добрался тот мишаринский гонец, испугался, перехватили его, в конце концов... Однако же и не испугался оп, и добрался, это доподлинно известно, но знать об этом Сибирцеву не следует. Сам скажет Маркел, если пожелает раскрыться. А раскрыться ему, видимо, все же придется, куда денется. Жаль, чем-то он очень симпатичный мужик. И потому наверняка трудный орешек.

8

Маркел появился только днем. Сибирцев и дед успели хорошо выспаться, Егор Федосеевич дважды сменил компресс на ране Сибирцева, и она вовсе перестала зудеть, успокоилась, если так дальше пойдет, то и сплестись не грех. Единственное, чего теперь хотелось, это есть. Но выходить во двор, к бричке, Сибирцев деду запретил, а шарить съестное в доме посчитал ниже своего достоинства.

Ближе к полудню за окнами прогремели колеса, слегка приоткрыв занавеску, Сибирцев увидел бричку Маркела, самого хозяина. Был он деловит, спокоен, несуетлив, словно не коснулись его вовсе события прошедшей ночи.

Он вошел в дом, старательно вытер о половичок ноги, хотя никакой грязи на них не было, искоса оглядел горницу, деда с Сибирцевым, слегка кивнул и сказал деду:

— Там для тебя, Егорий, в сенях сапоги. Забери, должны быть в пору.

Дед петухом выскочил в сени, застучал там чем-то и вернулся по-прежнему босой, но сияющий, а в руках держал, обняв как ребенка, пару поношенных сапог.

— Маркел Осипыч, милай, ай-я-яй, ну в саму пору.

Маркел устало отмахнулся и взглянул на Сибирцева. Тому и без всяких слов стало ясно, чьи это сапоги. Оп лишь кивнул, на что хозяин ответил со вздохом, негромко:

— Да, в общем, никакой нужды уже не было. Оставил в морге, потом был в милиции, надо же протоколы и все такое прочее. Осмотры, освидетельствования. Все записали, вопросы исчерпаны, тем более, что и документов при них никаких не оказалось. Записали как дезертиров... Ну-ка, Егорий, не толкись тут, а ступай в погреб — знаешь, где он? — и принеси там... мяса и чего найдешь. А то гость наш совсем скис. — И когда дед ушел, добавил: — Меня народ знает, лучше под горячую руку не попадаться. Можете быть спокойны, о вас слова не сказано. Да, кстати, не пора ли нам окончательно познакомиться?

— Давно ждал этого вопроса. — Сибирцев чуть сощурился и нельзя было понять: улыбается он или насмехается. — Прошу, вот. — Он протянул свой документ, тот самый, сибирский.

Маркел внимательно его прочитал, хмыкнул, вернул Сибирцеву.

— Стало быть, Михаил Александрович? Понятно. А Гривицкого давно ли видели?

— Перед отбытием. В марте... да, в самом начале, в первых числах, чтоб быть точным.

— Ну и как он? Прошу простить за назойливость, я потом объясню.

— Как? — Сибирцев пожал плечами. — Начальство не выбирают.

— А вы давно о нем знакомы?

— С восемнадцатого. Точнее, с апреля. В штабе генерала Хорвата, в Харбине познакомились. Тогда он был поручиком. Сейчас — полковник. Как изволят видеть, начальник военного отдела Главсибштаба. Я его заместитель.

— И тоже полковник, — с непонятым юмором бросил Маркел.

— Что ж тут удивительного? — не принял шутки Сибирцев. — У адмирала быстро росли в чинах. Лично мне, скажу по совести, труднее всего было стать поручиком. Случай помог. Ну, а дальше... — Сибирцев решил, что немного цинизма не помешает.

— А что же Петр, он как, тоже случаем?

— Да как вам скатать? — Сибирцев почувствовал особую заинтересованность Маркела. — Думаю, Петр Никандрович — нет. Он был в ту пору слишком горд для этого. Впрочем, если вас интересуют подробности, я мог бы рассказать немало интересного.

— Благодарю, как-нибудь с удовольствием послушаю.

Сибирцев понял, что его тон начал вызывать у Маркела скрытую пока неприязнь, и не решился настаивать. Вздыхнул:

— В другой, так в другой.

— Ну, а теперь, я полагаю, надо все-таки взглянуть, кто они такие, наши разбойнички.

С этими словами Маркел вышел в сени и тут же возвратился с большим мешком в руках и чистой холстиной. Ее он разостлал на столе и поверх вытряхнул из мешка содержимое.

Это было обычное солдатское барахло: исподнее, портянки. Но когда Маркел развернул одну из портянок, на стол упал тяжелый литой, потемневшего серебра крест и орден Святого Владимира.

— Ах ты ж!.. — охнул Маркел. — Так ведь это Пашины!..

Сибирцев мгновенно вспомнил брошенную казаком фразу: «Пока Игнатка лютел, мы тоже зря времени не теряли...» Он взял небольшой малиновый с золотом и чернью крест с малиновым же бантом, окаймленным черными полосками, словно взвешивая его на ладони, и взглянул на Маркела. Тот, отвечая на незаданный вопрос, вздохнул:

— В шестнадцатом. На Юго-Западном. Поднял солдат в атаку. Был ранен в первых траншеях.

Вот оно что!.. Сибирцев покачал головой, осторожно положил орден на стол.

— А я ведь тоже там был. Под Барановичами.

Маркел очень внимательно, словно впервые, взглянул на него из-под нахмуренных кустистых бровей, потом, отложив серебряный наперстный крест и орден, сгреб барахло в кучу и, ухватив холстину за концы, резко отшвырнул все в угол горницы. Крест же и орден перенес на киот, к лампаде.

— В шестнадцатом, говорите? — спросил словно самого себя.

— Да, летом. В июле.

— В июле Паша уже вышел из госпиталя. И получил приход в Мишарине.

— А вы? — спокойно спросил Сибирцев.

— Я?.. — Маркел исподлобья взглянул па него, поиграл бровями. — Поговорим, коли охота... Давайте-ка обедать. Егорий! Где ты пропал?

— Тута я, иду уже, милай, — отозвался на сеной дед.

Маркел поставил на стол глубокую глиняную миску с крупно нарезанными кусками холодной вареной свинины, другую — поменьше — с какими-то вкусно пахнущими соленьями, нарезал несколько ломтей духовитого хлеба и поставил три стойки.

— Н-ну-с, — сказал с легкой насмешкой, — не побрезгуйте, чем богат. По-холостяцки. — И, увидев, что Сибирцев взялся за рубаху, остановил движением руки: — Здесь, извините, дам-с нет, не трудитесь. Пусть крепче подсохнет, а к вечеру мы вас перебинтуем, и вы забудете об этой гадости.

Сибирцев улыбнулся неожиданной изысканности слога: н-ну-с, дам-с — и, придвинув двумя руками тяжелую табуретку, сел к столу напротив Маркела. Ему было весьма любопытно наблюдать, что хлеб, к примеру, Маркел резал не по-крестьянски, у груди, а прямо на дубовой доске стола, чего мужик никогда не сделает, вот и стопки он поставил, держа их в горсти на донышки. Другой бы для удобства пальцы внутрь засунул — чего, мол, стесняться, у нас по-простому. Нет, не крестьянин этот Маркел, и никогда им не был. Словно в подтверждение мысли Сибирцева, он выдвинул металлически звякнувший ящик буфета и достал оттуда три вилки и три ножа, грудкой положил на середину стола. Серебро, определил Сибирцев. Он взял нож с толстой фигурной рукояткой и увидел выгравированную в узорчатом овале витиеватую букву — не то «В», не то «З». Фамильное серебро, из поколения в поколение передавалось, если, конечно, не перекочевывало оно в чужие руки. Да, любопытно все это. Маркел, ни слова не говоря, тем не менее каждым своим жестом подчеркивал немужицкое свое происхождение. И это его ласково-снисходительное «Паша», и точное знание места, где был совершен его воинский подвиг, и лапидарная краткость военного донесения, и даже вот это: как, почти не глядя, вытянутой рукой он разлил в стопки самогон — по резкому запаху понял Сибирцев. Тоже фронтовая привычка. Как говорится, я тебе ни о чем не сказал, но ты можешь и сам легко догадаться. Что ж, только с дураками иметь дело опасно.

— Со знакомством, стало быть? — Маркел немного приподнял свою стопку.

— Весьма рад, — Сибирцев несколько чопорно коснулся своей стопкой маркеловской.

— Взаимно, — буркнул Маркел и кивнул. — Не знаю, право, но откуда-то мне ваша фамилия, Михаил Александрович, знакома... Нет, не могу припомнить... Ну, будем здоровы. Да вы ешьте, не стесняйтесь, — будто спохватился он вдруг. — Это мне, извините, не лезет кусок в глотку.

А зря он: мясо было жирное, вкусное, в самую меру посоленное. Сибирцев наконец ощутил, что по-настоящему голоден, соскучился по живому, так сказать, мясу, осточертели все эти концентраты, тушенки, щавельные каши, несчастные крохи, чтоб только жизнь поддержать. И потому сейчас он ел жадно, накалывая на вилку в миске большие куски и отрезая понемногу ножом. Егор Федосеевич отлично справлялся руками. И глядя на них, Маркел почему-то с

непонятной грустью покачивал головой.

— Мне, право, неудобно, Маркел Осипович, — начал было Сибирцев, отрываясь от пищи я вытирая пальцы тряпицей, заменившей ему платок.

— Не стоит, ей-богу, — небрежно махнул концами пальцев Маркел. Он снова искоса взглянул на деда, усмехнулся: — Егорий, а не хочешь ли ты взять, голубчик, вот этот кусок, побольше, да пойти посидеть на крылечке, на свежем воздухе, а? И если кто меня кликнет с улицы, позовешь.

Прихватив кусок мяса и ломоть хлеба, дед поспешно вышел в сени. Маркел проводил его взглядом и повернулся к Сибирцеву.

— Простите, здесь у вас как?.. — начал было Сибирцев, и Маркел его сразу понял:

— Курите.

Сибирцев достал из кармана пиджака примятую коробку папирос «Дюбек» и спички, неторопливо выпрямил и слегка размял папиросу, закурил. Маркел небрежным жестом взял коробку, повертел ее в пальцах, прочитал название фабрики и так же небрежно откинул на стол.

— До сих пор не укладывается у меня в голове, — начал Сибирцев, — поступок вашего свояка. Кстати, почему вы его Пашей зовете, это же его церковное, надо понимать, имя, а вообще-то он...

— Руськой он был всю жизнь. Амвросием папаша назвал его, большой был оригинал. Да, это уж после ранения стал Павлом. Очень его Варвара не любила это — Руська, вечная им обоим память... Я понимаю, о чем вы... Священник, мол, с Богом один на один, а тут вдруг — этакое... Да, принял он большой грех на душу. А я, знаете ли, одобряю его, хоть, чую, когда-нибудь отольется мне это богохульство. Но что поделаешь? Жизнь гораздо сложнее, чем нам думается.

— Согласен с вами полностью, — кивнул Сибирцев. — Я ведь тоже по этому поводу беспрестанно размышляю. Полагаю, не мог он поступить иначе... Не успели мы с ним всерьез поговорить — жаль. А вы с ним, значит...

— Да, чтобы предупредить ваши вопросы, сразу отвечу: моей женой была Алена, младшая сестрица Варвары. Погибла она в марте пятнадцатого. Целый год известие ко мне шло..... Паша и привез.

— Где? — тихо спросил Сибирцев.

— В Августовских лесах.

— А-а, на Северо-Западном... — слитком хорошо известны были эти места прошедшим великую войну. Сибирцев, недоучившийся студент-медик, закончил краткосрочные курсы прапорщиков, попал в действующую армию, когда там уже ходили легенды о героизме русских еойск, отступавших из Восточной Пруссии под непрерывным обстрелом германских пушек: гранатами и шрапнелью — по окопам, а по штабам и резервам — «чемоданами», тяжелыми снарядами дальнобойной артиллерии. Ужас и смерть беспрерывно сеяли эти проклятые немецкие «чемоданы»...

— Да, смертельная контузия, — вздохнул Маркел. — Говорили, что полевой лазарет разнесло вдребезги. Зачем ей это было надо, не знаю.... Однако что за польза от всех этих бесплодных воспоминаний?.. Будет, право. Так вы, значит, у нас по продовольственной части? А с какой, собственно, стати? Ведь для этой цели у нас имеются продотряды, хотя указом о введении продналога они формально и ликвидированы.

— Ну как же, а реквизируемый весной хлеб надо вывозить, охранять? А излишки, согласно новому продналогу...

— Да какие там излишки? — зло отмахнулся Маркел. — Откуда они возьмутся? Голод идет. Страшный голод, уважаемый Михаил Александрович. И чем вы тут будете заниматься, не представляю, простите великодушно... Кстати, извините, я ведь не удосужился как-то взглянуть на этот ваш документ. Для порядка, знаете ли. Какая-никакая, а все же власть. Не позволите полюбопытствовать?

— Пожалуйста, — Сибирцев показал мандат, о котором давеча говорил. Маркел внимательно посмотрел его, даже на просвет взглянул, и отдал, кивнув.

— Есть доверие... А что, Михаил Александрович, — насмешливо улыбнулся он вдруг, — может, и вправду имеете вы такую власть, чтоб грабеж прекратить?

— В каком смысле?

— В самом прямом. Да вот, рассудите. Как уж сказано было, официальное введение продовольственного налога населению отменяет необходимость противуправных действий, да и самого существования продотрядов, заградотрядов и всех прочих незаконных ныне учреждений власти. Однако же, если поглядеть непредвзято, ведь продолжают грабить мужика. Только теперь под другим — хотите, флагом, хотите, соусом — как вам будет угодно. На всякий резонный вопрос — ответ однозначен: мы, говорят, крестьянина-бедняка не трогаем, мы у кулака шарим. Да откуда ж тебе знать: кулак он или нет? А на это, отвечают, у нас сильно развито классовое чутье. Видим — хозяйство в порядке, прибыль есть, значит, что? Непорядок. Вот он и есть кулак. И шерстят. А скажите-ка вы мне, когда у настоящего крестьянина в хозяйстве, извините, бардак был? Так почему же он кулак? Ему в семнадцатом землю в вечное пользование дали, иначе б отвернулся он от вас, я имею в виду большевиков, коих вы представляете... А сами, простите, кто будете по убеждениям, если не секрет, конечно?

— Социалист-революционер.

— Ага, эсер, значит. Так что ж вы, уважаемые, свой-то единственный путёвый лозунг большевакам-то отдали, а? Обокрали они вас. Вы все шумели, да только обещали землю мужикам на веки вечные, а они объявили вслух, декрет приняли, да и отдали, вот и откачнулась к ним Россия-матушка.

— Я смотрю, — улыбнулся Сибирцев, — и у вас тут, в медвежьем-то углу, тоже высокая политика в чести?

— Ах, нынче разве что одной политикой и бываешь сыт по горло. Вам не кажется странным, что есть у России такая непонятная особенность: чем меньше порядку, чем скуднее жратва, тем больше все рвутся в политику? Это вместо того, чтоб делом заниматься... Невыгодно-с! Вот отнять, обобрать, ограбить работника — это выгодно. А чтоб самому? Ни-ни, куда там! Нам некогда, мы политики... Паскудство. Ну, да Бог с ними со всеми. Все едино не поумнеют...

— Вопрос вот хочу вам задать, Маркел Осипович, — Сибирцев сосредоточенно катал по столу маленький хлебный шарик и наблюдал за ним так, будто это дело было для него теперь самым главным. — Я слышал вчера от некоторых мишаранских мужиков, что они посылали сюда, к вам, в волостной Совет, гонца за помощью. Так отчего не помогли? Ведь сами говорили: и заградотряд, и милиция, и чоновцы. Вон сила какая! Или не добрался гонец?

Маркел уперся хмурым взором в стол и послр долгой паузы ответил, пожав плечами:

— Мужики в Совете так решили, что и сами могут справиться мишаринские. Народ там небедный, должен свое хозяйство отстоять. Ну, а на нет и суда нет. Однако справились же? Побили ведь банду? То-то и оно. Не с того конца власть к мужику подходит. Дай ему полную волю, он добром и оплатит. А будешь ты его кнутом, хрен с кисточкой получишь... Однако, если позволите, и я задам вопрос. А как это вам удалось, так сказать, нейтралитет сохранить? И опять же слухи дошли, будто кто-то тайно помогал чекистам. Вроде как мало их совсем было, чтоб удержать село, да и мужики поначалу не шибко им навстречу пошли. А там, говорят, нашлась чья-то умная голова и организовала оборону, а?

Вот оно, наконец понял Сибирцев и взглянул па Маркела. Но тот сидел по-прежнему, упрямо глядя в пол, а по его фигуре незаметно было, чтобы он напрягся, напряжился, что ли. Нет, его бугристые локти спокойно лежали на столе, а крупные пальцы с квадратными широкими ногтями были мирно сцеплены в замок.

— Да как вам ответить, затрудняюсь, честное слово. Ежели объективно, то, как я понимаю, несомненно помог. А что оставалось делать? Село по ветру пускать? Они ж все-таки бандитами оказались, вот и вы на своей, так сказать, шкуре испытать изволили. Надо было непременно, любым способом унять грабежи и поджога. Нет ничего проще, чтобы скомпрометировать любое святое дело. Ну, а кроме всего прочего, совершенно случайно оказалась и сугубо личная причина.

— Скажите пожалуйста, — с сомнением качнул головой Маркел.

— Да, как это ни покажется странным... Впрочем, вам, пожалуй, неинтересно...

— Ну, отчего же...

Необычайно все это было интересно, так понял иронию Маркела Сибирцев. «А особенно — на чем я проколюсь. Ну что ж, хозяин дорогой, — сказал сам себе Сибирцев, — я-то тебе нарисую картинку, а ты пойдй потом проверь, если сумеешь, конечно».

Самая лучшая маскировка — полное отсутствие оной. Иными словами: хочешь обмануть, говори полную правду. Почти полную, чтобы быть до конца точным. Требуется лишь незаметно переместить, переставить акценты, в события приобретут совершенно естественное, однако противоположное звучание. Все это знал Сибирцев, собираясь поведать своему опасному собеседнику невероятную, но абсолютно правдивую историю. Проверь, коли есть охота. Да ведь и не с Нырковым же сейчас собирался знакомить Маркела Сибирцев.

— Дело в том, — начал он медленно, как бы вспоминая, — что по дороге сюда из Омска... Вам ведь говорил уже об этом Павел Родионович, не так ли? Так вот, попал я в совершенно глупую перестрелку. Очередная какая-то банда чистила поезд, ну и... сами понимаете, их много на дороге, ничему и никому не подчиняющихся. Одним словом, с тяжелым ранением попал я в госпиталь, в Козлове. Документы у меня были чистые. Едва пришел в себя, вспомнил, что где-то в этих краях находится усадьба, где вырос мой приятель, некто Яша Сивачев, мы с ним вместе там служили, сперва у Хорвата, потом у Семенова. Надо сказать, что служил Сивачев

исправно, хотя, как я догадывался, в чем-то сочувствовал красным. Впрочем, там, на Востоке, наша молодежь довольно быстро разочаровалась в белом движении, и считаться в некотором роде либералом... Словом, никто особого греха в этом не видел. А потом Сивачев исчез, и мы узнали, что он действительно оказался лазутчиком красных. Можете себе представить, как всех нас, его знакомых, таскала контрразведка!.. Итак, прошло время, вспомнил я о Сивачеве и решил проверить, остались ли кто-либо из его родных. Выяснилось, остались, живут в Мишарине. Мать престарелая и сестра. Я послал им весточку, и Марья Григорьевна, сестрица Сивачева, естественно, примчалась, чтоб увидеть сослуживца своего брата, покойного, как она полагала. Я, впрочем, тоже в этом был уверен... Договорившись с врачами, привезла она меня к себе в усадьбу, стала лечить, и вот, как видите, встал на ноги., Но самое поразительное было дальше...

— Я, кажется, догадываюсь, — усмехнулся Маркел. — Ту банду, что налетела на Мишарино, возглавлял Сивачев? Так?

— Именно... — протянул Сибирцев, демонстрируя искреннее изумление прозорливостью Маркела. — Но позвольте, если вы знаете, то, может быть, дальнейшее... — теперь Сибирцев продемонстрировал свою полнейшую растерянность.

— А дальше, — вскинул брови, с иронией продолжал Маркел, — случилось, похоже, так, что вы с ним встретились. И начали выяснять отношения, после чего кого-то из немногочисленной родни Сивачевых отнесли на кладбище.

Отлично поставлена слежка, подумал Сибирцев. Вроде ведь и никого рядом не било. А впрочем... победители, как правило, беспечны. Невнимательны...

Он почувствовал, как независимо от собственной воли напрягается, словно тело само собиралось для прыжка. А вот это погубит сразу. Наоборот, никакого напряженка, полная расслабленность. Удивление, изумление, испуг — что угодно, только не внешняя собранность...

Спасение пришло с неожиданной стороны. За окном послышался конский топот, а следом — резкий стук в ворота. Прибежал Егор Федосеевич.

— Маркел Осипыч, милай, а тама к тябе!

— Иду, иду, — сказал хозяин, поднимаясь и окидывая стол взглядом. — На всякий случай накиньте гимнастерку... Мы потом договорим, коли появится охота... Хотя... возможно, это действительно личное.

Странно, что в последней фразе, в ее тоне, во всяком случае так показалось Сибирцеву, не было и намек на какую-то угрозу или хотя бы на недоверие. Однако что же происходит? Если гонец донес о похоронах Якова, то как он мог не знать о смерти попа? А если не о самих похоронах привез весть гонец, то тогда... тогда все становятся на место: Яков был убит Сибирцевым еще накануне, днем, а отец Павел свел счеты с жизнью позже, ночью. Значит, гонец ушел вечером того же дня. Ну, а о похоронах догадаться — великого ума не надо. И все-таки, черт его знает, совсем запутался Сибирцев с этим «серьезным» Маркелом.

Ах, как славно было бы, если бы удалось перетянуть вот такого мужика на свою сторону... Убедить, уговорить, объяснить, что происходит. Он же, поди, и сам все четко видит и понимает, он же умный человек... Но как это сделать? Открыться? Нет, ни в коем случае.

Нырков, тот просто бы арестовал — и дело с концом. Но это — Нырков. У него впереди мировая

революция, ему некогда каждым отдельным человеком заниматься. А Маркела надо именно убеждать, перетягивать на свою сторону, долго, терпеливо, но уверенно. По силам ли такая задача?..

9

Договорить в этот вечер не пришлось. Вернувшись через несколько минут, Маркел сказал, что его вызывают в волисполком, надо срочно снарядить с полсотни телег с мужиками и в спешном порядке выехать в Карповку, это примерно в двадцати верстах отсюда. Дело там какое-то срочное у военных обнаружилось. Сопровождать будет заградотряд и чоновцы. Такая срочность и усиленная охрана диктуются известиями о том, что через Моршанский уезд возможны прорывы антоновских отрядов, убегающих с юга от наступающих красных войск. Словом, мишаринская история продолжалась.

Маркел посоветовал Сибирцеву отлежаться денек под присмотром деда, а там, глядишь, можно будет заняться делом. Показав деду, где что в доме находится, Маркел торопливо пожал Сибирцеву руку, подмигнул и неожиданно сказал:

— А я все равно вспомню, откуда знаю вашу фамилию. Обязательно вспомню. Кстати, если вдруг, хотя я в этом и не уверен, кто-нибудь навестит и станет интересоваться, что сказал доктор, думаю, вы не сочтете за особый труд ответить, что поездка может состояться утром. Ну, честь имею.

И с тем стремительно ушел.

За сном, обедом, разговорами даже и не заметил Сибирцев, как день стал клониться к вечеру. В доме пахло старым деревом, высушенными травами. Неутомимо тлела лампадка, источая тонкий ладанный дух. Воспользовавшись отсутствием Егора Федосеевича, вышедшего по своим делам на двор, Сибирцев решил осмотреть жилье, пока еще не совсем стемнело.

Для начала он забрался на лавку и поснимал футляры икон. Открыл их: внутри ничего кроме икон не было. Осторожно живит Маркел. Конечно, случись неожиданный обыск, сразу сюда руки потянутся. Интересно другое, ведь Маркел не является партийцем, а тем не менее состоит в Совете. Значит, пользуется уважением, иначе вряд ли бы его назначили на такой пост, назначили, не поглядев, что беспартийный. А насчет лозунгов-то он правильно понимает, знает, что почем и откуда. Может, когда-то и сам эсерам сочувствовал? Или до сих пор равнодушен?

На печке и вокруг нее тоже ничего достойного внимания не было, так, травы сушеные да какие-то пыльные веники.

За перегородкой, как предположил Сибирцев, была небольшая кухня. Стол, полки, посуда, неширокий топчан. Тоже пусто. В буфете — бутылки, немного столовой посуды, кульки с крупами...

Есть еще чердак и, видимо, подвал. Есть погреб. Наконец, сарай и хлев — это еще будучи на дворе заметил Сибирцев. Но путешествие туда лучше совершить утром пораньше, когда народ вокруг еще спит, чтоб не привлекать внимания соседей. А вот дом хорошо бы осмотреть еще сегодня.

На что рассчитывал Сибирцев? Найти какие-нибудь следы оружия? Нет. Маркел не такой человек, чтобы держать его дома. Он умен, осторожен и понимает, что за такие вещи — сразу к стенке при нынешнем чрезвычайном-то положении. Сибирцева интересовало другое: он хотел

найти хоть какие-то штрихи, которые могли бы рассказать о прошлом хозяина этого дома. Как бы ни был он осторожен, обязательно в какой-либо неучтенной мелочи, забытой бумажке, еще в чем-то, но обязательно должен открыться.

Потому, взяв лампу, Сибирцев вышел в темные сени. Открыл осторожно дверь во двор, выглянул и улыбнулся: на козлах для пилки дров сидел Егор Федосеевич и, укрепив на рогах свои сапоги, тщательно обтирал их тряпицей и о чем-то беседовал сам с собой. Сибирцев не стал окликать, беспокоить его. Ведь такая радость! Может, первые сапоги в жизни, и не беда, что сняты с ног покойника.

Вдоль стен Сибирцев обошел сени, заглядывая за пустые бочки, ящики. Рукомойник с ведром под ним. На крышке рукомойника — кусок серого, неприятно пахнущего мыла — целое состояние по нынешним временам. Половичок в углу, за большой бочкой. В противоположном углу возвышалась над кучей хозяйственного хлама лестница, над ней закрытый люк на чердак. Сибирцев хотел было шагнуть к лестнице, но передумал, поставил на пол лампу и поднял половичок. Пусто. Пошарил по половицам ладонью и за что-то зацепился, вроде гвоздика загнутого. Придвинул лампу: точно, петелька. В куче хлама под лестницей быстро нашел ржавый загнутый гвоздь, вставил его концом в петельку и потянул о силой на себя. Шевельнулась широкая половица, приподнялась, и под ней открылся темный, пахнущий душной пылью провал. Следом на первой легко поднялась и вторая половица. Обнаружилась небольшая лесенка. Стараясь не шуметь, Сибирцев встал на нее, опустил в подпол лампу и увидел вполне добротное крепкое помещение, выложенное камнем, у стен два широких топчана и стол между ними. Серьезное помещение. С десятков человек разместится, и еще место для оружия останется. Сибирцев ступил на твердый земляной пол. И высота подходящая, сам не задевал макушкой потолка, значит, и Маркел не сильно сгибался. Стены плотные, нигде ни зазора. И выход отсюда, пожалуй, лишь один через люк. Туч тебе и тайник, и тюрьма, если хочешь. Занятое место. Небось не для солений приспособлено...

Выбравшись из подвала, Сибирцев привел все в порядок и отправился теперь на чердак. Ну не бывает так, чтоб никаких абсолютно следов. Должен же Маркел где-то дать сбой, промашку. Почему-то сейчас у Сибирцева было двойственное чувство: с одной стороны, он напоминал себе сыщика, ведущего страшно любопытный поиск, увлекательную, опасную игру, а с другой, ему очень не хотелось, чтобы поиск дал какой-нибудь результат. Вот такое томительное и где-то даже гнетущее чувство. Для анализа его не было ни времени, ни возможности — все внимание обострилось до предела. Но Сибирцев догадывался, отчего это так: ему был бы неприятен, нежелателен сейчас любой факт, направленный против Маркела. Что это? Старая, забытая офицерская честь, высокое достоинство, неожиданно проявившееся в последней, мельком брошенной фразе Маркела: «Честь имею»? Или то, что Маркел вот так легко и безоглядно поверил ему лишь за одно то, что вместе были на великой войне, и оставил пароль — ведь никак иначе нельзя понимать слова про доктора и утреннюю поездку? А доктор-то, кстати, здесь при чем? Уж не фельдшера ли Медведева имеет в виду этот пароль? Вот те на!.. Значит, есть-таки связь... Странно, как это сразу не пришло в голову?

Сибирцев остановился, заставил себя не отвлекаться и снова принялся оглядывать чердачный хлам. Все тут заплело паутиной. В углах поблескивали старье бутылки, снова пустые ящики, сломанные стулья, разбитое, видно, шикарное когда-то трюмо. Скорее всего, это не Маркелово барахло, а осталось от прежнего хозяина, ведь говорил дед, что не очень давно живет здесь Маркел, года четыре. А хламу этому, конечно же, гораздо больше лет. Так, может, и искать тут нечего?

Сибирцев решил уже спускаться с чердака, передвинул с дороги разбитый венский стул и

что-то упало ему на ногу, металлически звякнув. Он нагнулся и поднял саблю. Нет, не саблю, а парадный палаш, так эта штука называлась, — в потертых кожаных ножнах, запыленная и, похоже, крепко проржавевшая. Прихватив палаш с собой, Сибирцев осторожно спустился в сени, прикрыл за собой люк, долго отряхивался от пыли, паутины, что липла к лицу и рукам, и вошел в комнату.

Первым делом стал разглядывать палаш. На удивление клинок легко вышел из ножен — не такой уж и старый, значит. И ржавчиной едва-едва тронут — только на эфесе. Различил на клинке возле эфеса какую-то вязь. Тут пришлось напрячь зрение — темновато все-таки. Это была гравировка — надпись, сделанная золотой насечкой: «Полковнику Званицкому Марку Осиповичу от нижних чинов». Да, славная надпись. С завитушками. Мастер делал. Это значит, что владелец сей штуки воистину пользовался уважением и солдат, и своих офицеров. Не часто такие подарки делали командирам.

«Марк Осипович... Позволь-ка, — напрягся Сибирцев, — а как же Маркел Осипович? Странное совпадение...» Он прикрыл палаш шинелью и позвал деда со двора. Тот явился в обнимку со своими сапогами.

— Ась, милай?

— Забыл спросить, Егор Федосеевич, а не знаешь ли ты, как фамилия нашего хозяина?

— А как жа, Звонков ихняя фамилия, как жа...

— Понятно. Спасибо. Я тебя вот чего позвал: давай-ка, брат, еще полечимся.

— Ета мы зараз, милай, ета чичас! — радостный дед метнулся к буфету, но Сибирцев, смеясь, остановил его:

— Да не про то я, погоди малость. Ты мне компресс поменяй, да повязку наложи покрепче. Самому-то не с руки.

— Дак чё, милай, — поскучнел дед, — и ета дела нада, как без повязкисто? Нада. Чичас, милай. — Он начал возиться с бинтом. Сибирцев обнажил спину. — Ета дела такая, — забубнил дед, — настойка-то на травках пользительных. Маркел-то Осипыч от уметь, от уметь... И-и, милай, ета кто ж тя такого уделал? — Сибирцев ощутил прикосновение дедовых пальцев к старым шрамам.

— Дырки-то? А кто бы ты думал? Война да враги наши, вот кто. Одна, та что справа, — от германца, сквозная была. Под плечом, слева, — это в Сибири. Ну а последняя — посередке. Говорят, Бог троицу любит. Выходит, больше не бывать, а? Так, Егор Федосеевич?

— Так-то она так, — вздохнул дед. — Дай-то Господи, только ж Бог, бають, предполагать, а человек, стал быть, располагать. Не, не след Господа гневить... Он, бають, усе могучий, усю нашу жизнь наперед зна-ить. Ай не так, милай?

— Так, Егор Федосеевич, кругом ты прав. А стопку ты прими. Причастись. Нельзя ведь без причастия...

Дед сноровисто заменил компресс, — рана, кстати, совсем не болела, вот чудо-то! — и стал туго бинтовать и через плечо, и под мышками. И пока он занимался медициной, Сибирцев разговаривал с ним, а думал о своем и пришел к выводу, что Маркел Звонков и есть не кто иной, как полковник Марк Званицкий. Это уже меняло дело. Теперь понятно, почему он

«сурьезный» — вот же прицепилось дедово слово...

Но что он делает в этой чертовой глуши? Военный человек — это видно, прошедший великую войну, уважаемый, судя по вязи на клинке... Интересно задать ему теперь такой вопрос. Ведь полковник! Не фальшивый, вроде него, Сибирцева, или всех тех прапоров, что превращались в полковников по прихоти очередного атамана, нет, настоящий, доподлинный. Такой человек — находка, подарок для советской власти. А он — тут, мастер извоза, прости Господи...

И снова пришла ночь. Тихая, но полная неясных еще опасностей. Этот пароль, доктор и все прочее — ах, если бы, уезжая, не сказал этого Маркел, нет, теперь уж Марк Осипович, — отвык он, поди, от имени своего, — если бы не вся эта грязная игра, как бы легко чувствовал себя Сибирцев. А впрочем, он ведь и прибыл сюда затем, чтобы размотать этот отвратительный затянувшийся клубок смертей, убийств, поджогов, насилий — бандитизма. Так чего ж, собственно, мучиться, переживать? Проще всего, конечно, отправиться сейчас на станцию, есть телефон, связаться с Козловым, с Ильей, вызвать чекистов или обратиться в местную милицию, к чоновцам, на худой конец, в Совет. Хотя, кто знает, что за народ заседает в Совете, если судить о Маркеле этом. А Маркел... нет, Марк, разумеется, фигура сложная. И нельзя так, с маху, решать вопрос о его жизни и смерти. Мог же человек и запутаться. И его могли запутать. Сколько их, преданных России, честных, мужественных людей развела по разным фронтам гражданская война... Ведь не от пьяной же одури брат на брата пошел.

А почему все-таки Маркел? К мужику ближе? Марк — господское имя. Им не прикроешься. И Звонков — Званицкий — тоже не Бог весть какая маскировка. Но знал Сибирцев, что лучше всего маскируется тот, кто старается этого не делать. Он потому и выглядит естественно, самим собой, без подделки. Да и кому в голову придет искать врага у себя под носом? Всегда где-то на стороне ищешь.

Маскировка... В начале восемнадцатого Сибирцев уходил за кордон, ничего, в сущности, не зная о том, что ждет его в Харбине, в самом логове беглой белогвардейщины. Он с юности считал себя эсером, и был им, читал программу. И только на фронте отошел от них и примкнул к большевикам. А знание вопроса осталось. И хорошо помогло. Потому что, вспомнив свою восторженную студенческую молодость, Сибирцев так и вел себя, соответственно. И ему поверили. А уж там-то были зубры, не чета нынешним, здешним... Беспечны они, вот в чем их беда. Доверчивы, ибо хотят все видеть только в том свете, который сами мысленно засветили себе. Что покойный поп, что этот свояк его... Так легко вручить пароль, оставить, по сути, на связи почти незнакомого человека — любые документы легко подделать, и он не может не понимать этого, — значит, надо быть очень доверчивым человеком. Или дальновидным? Иными словами, не исключено, что это результат приличной осведомленности или же умение делать далеко идущие выводы. Кстати, а как прикажете реагировать по поводу его довольно ясного намека на «случайность» встречи с Сивачевым? Нет, не прост этот Марк. Или все-таки Маркел... Черт его разберет!..

Уснул, повозившись на лежанке, Егор Федосеевич. Он все порывался что-то сообщить, встрять, так сказать, в чужие размышления, но, видно, постеснялся. Да и то — такой подарок отхватил!

Сибирцев сдвинул палаш в глубину, к стенке, разостлал на лавке шинель, мешок и наган — под голову и лег, убавив до самой малости огонь в лампе. Чтоб только теплилось, вроде лампадки.

Нет, это чудо — рана действительно впервые за долгие недели не давала о себе знать. Ах ты, Марк Осипович, золотые твои руки...

Годами, видно, вырабатывалось у Сибирцева странное и непонятное ощущение надвигающейся

опасности. Вроде бы ничто ее не сулило, повода особого не было волноваться, но вдруг начинала томиться душа, давило на грудь. И в такие моменты он слегка расслаблялся, чтобы вмиг вскинуться пружиной. А если спал, то, чуя приближение ее, прикосновение воздуха, может, от движения каких-то потусторонних сил, — мгновенно просыпался. Вот и сейчас он неожиданно для себя открыл глаза, сел на лавке, глянул на окно, приоткрыв занавеску, — еле-еле брезжило. И он понял: опасность где-то близко. Именно поэтому он, мягко ступая, принес от печи, где спал, посвистывая, дед, свою винтовку, поставил в изголовье, наган переложил в карман и, чуть добавив света в лампе, закурил папиросу.

Уши слышали все: дедов спокойный посвист, шорох мыши на кухне, шум от порывов ветра за окнами, даже слабое потрескивание в лампе.

Ну, где же?.. А вот: почти неслышные шаги под окном. Легкий стук по стеклу. За ним другой, настойчивый, это уже условный: два сдвоенных. Гонцы, надо понимать.

Не гася папиросы, с ней вид спокойней, Сибирцев быстро подошел к деду, шлепнул его по спине. Тот привскочил.

— Ась? Чаво?

— Тихо. Давай, брат, на кухню, на топчан, и сиди там, чтоб не слышно было. Держи мой винтарь. Ну, живо! А я пошел открывать, гости пожаловали.

Сибирцев накинул на плечи шинель, осторожно открыл дверь во двор, откашливаясь, огляделся, подошел к воротам и, грубо сплевывая, произнес хриплым басом:

— Ну, кто там, чего надо?

— Нам бы про доктора спросить, — послышался из-за ворот сдавленный голос. — Чего он сказал, спросить...

— Доктора им... — пробурчал Сибирцев. — Какой ночью доктор?.. Утром, говорю, состоится поездка. — И услышал облегченный вздох.

Он отодвинул засов, приотворил ворота и, прикрыв лицо воротником шинели, сказал:

— Быстро проходите. В дом.



Мимо него прошмыгнули двое. Задвинув щеколду, Сибирцев пошел следом. Гонцы стояли в сенях.

— В горницу ступайте, — стараясь говорить совсем низким голосом, указал Сибирцев. — Ноги оботрите.

В комнате он сел на табуретку, а гостям показал на лавку. Так, чтобы их разделял стол с лампой. Низко опустив голову, он исподлобья наблюдал, как мужики скинули шинели, бросили в угол мешки, в которых что-то тяжело брякнуло, обрезы наверно, и сели напротив.

— Ну, с чем пожаловали?

Обычные мужики, встретил бы на улице и не обернулся, не обратил бы внимания на их небритые лица. Разве что вот этот, с краю, рыжий... Что-то больно уж мелькнуло знакомое в его наглой круглой физиономии... Где видел? То, что видел, это точно. Но где, когда? Надо немедленно вспомнить.

Мужики переглянулись, не знали, видно, с чего начать, или это он, Сибирцев, сделал или сказал что-то не то, не по паролю. Но откуда же этот рыжий?

— Мы, вашбродь, ета, значица, — каким-то визгливым тоном начал рыжий, и Сибирцев сразу вспомнил: высветилась эта ненавистная рожа на фоне костра, рука его, воровски потянувшаяся за наганом. Степак! Вот кто он. Верный холуй Митеньки Безобразова. Остров, костер, бородатые дезертиры, он, Сибирцев, только что принял у помиравшей роженицы ребенка, а теперь вот беседовали о жизни. О продналоге он говорил мужикам, оказал, чтоб шли к людям — пока крови на них нет, простят, Как раз объявили прощенные недели. И этот рыжий Степак там был, все встревал, угрожал кровавой расправой. А потом за болотами была встреча и с самим Митенькой, короткая драка и этот безобразовский выстрел — в спину. Степак, значит, объявился. Не взяли его тогда. Ушел...

— Давай, давай, — грубо подогнал его Сибирцев, — дело говори. Живо!

Ах, черт, не вовремя эта встреча. Совсем не к месту. Наверняка стрелять придется. Уж этот-то действительно оголтелый враг. И рассуждениям тут не место.

Сибирцев машинально поднял лицо, чтоб отчетливее разглядеть Степана, и вдруг увидел, что глаза у рыжего враз округлились, а сам он стал медленно подвигаться к краю лавки. Неужели узнал? Ну?!

Рывком, с грохотом отбросил Сибирцев табурет и шинель, одновременно выхватил наган и, метнувшись к Степаку, упер дуло ему под скулу, так что голова у того запрокинулась, и коротким ударом ладони по лицу, как когда-то учил старый хунхуз там еще, в Харбине, лишил его сознания. Степак мешком завалился навзничь на лавку.

Второй мужик вскочил было, но не устоял — тесно было меж столом и лавкой — и осел оторопело.

— Руки! — грозно крикнул ему Сибирцев. — Одно движение — стреляю!

Мужик ошалело потянул руки кверху, стараясь одновременно сохранить равновесие.

— Выходи сюда!

Тот с трудом, глотая воздух и качаясь, выбрался.

— Кругом! — Послушно повернулся.

Сибирцев вдавил ему в шею наган и быстро охлопал карманы — пусто.

— Сапоги снимай! — Тот механически покорно стащил один сапог, другой. — А теперь ступай в тот угол и — мордой в стенку! Живо!

Сибирцев добавил огня в лампе и, не сводя глаз со стоящего, обыскал Степана. В его шинели нашел наган. Сдернув сапоги, уронил па пол нож. Поднял — хороший, жесткий, свиной колоть. Или людей. Выдернул из брюк Степана ремень и, перевернув его на живот, стянул запястья за спиной. Хорошо досталось рыжему Степаку, не рожа, а сплошной синяк. А как он кричал там, на острове? «Ах ты гад большевистский, комиссар! Я их за ребра вешал и всегда резать буду!..» Все, отыгрался, отвешался, сучья твоя харя!

Последнюю фразу Сибирцев произнес вслух и не сразу понял, отчего вздрогнул тот, второй, в углу. Покончив с одним, Сибирцев отхватил Степаковым ножом лямку от одного из мешков, подошел ко второму, стоящему с поднятыми руками.

— Руки за спину! — и тут же перехватил их крепкой лямкой, затянул узлом. — Все, голубчики. А теперь иди, садись, — он поднял опрокинутый табурет, — сюда! И все рассказывай. От кого, к кому. Да поживей! А то утро скоро, вернется Маркел Осипович, и, ей-богу, не завидую я вам, когда мы за вас вдвоем с полковником возьмемся. Ну? Живо соображай!..

А вот теперь уже все окончательно смешалось в голове гонца.

— Звать как?

— Иваном. Зеленовы мы.

— Братья, что ли?

— Да не, каки братья. Я к Степану охраной приставлен. Ничаво и знать ня знаю.

— С каким делом шли? К кому?

— Так ега нам неизвестно, вы яво спроситя. Чаво со мной-та, я человек маленький.

— И с него спросим, — зловоще сказал Сибирцев. — И с тебя три шкуры спустим. Это я вам обоим обещаю. Вот из-за таких, как твой Степак, все наше благородное дело рушится, это за ваши зверства нас мужики ненавидят. Ох, не завидую я вам, когда придет полковник, нет, не завидую. Он и не таким языки развязывал.

Страх наливался в глаза Ивана Зеленова. Оттого, что никак не мог он взять в голову, к кому попали они — к чекистам или к своим, но каким-то странным: бьют, пугают, стращают, чего-то требуют, а чего — непонятно. И главное — за что?

— Кто вас послал? Ну, вспоминай!

Решил Зеленов, что лучше говорить правду. Уж больно ретивый да сердитый оказался их благородие. Ишь как Степака-то разделал, тот, бедняга, враз скукожился, и не хрюкнул даже. Кровавой соплей умылся. Нет, лучше правду. Тем более, что когда посылал гонцов ихнее благородие господин капитан Черкашин, тоже предупреждал, чтоб хозяину шибко не

перечить. А кто он и как зовут — не сказал. Сказал только, что его приказ закон. А он, вишь ты, полковник, оказывается. И ежели у господина полковника такие вот на подмоге, то каков же сам-то!.. А велел господин Черкашин сказать, чтоб хозяин то оружие, что у него хранится, быстро, и к завтраму, перевез в Зимовский лес, там его ждать будут, а где, он знает сам.

— Еще что?

— Эта Степаку сказать велели вашему хозяину. Чаво — ня знаю.

— Ладно. Подождем, когда сам вернется.

Тупик. Дальше все будет зависеть только от Званицкого. Немного сказано, но и это важно. Где он, Зимовский лес, местные наверняка знают. Ну вот, будет им работенка. А теперь с этими.

Не давая возможности гостю опомниться и прийти в себя, Сибирцев распорядился быстро. С кухни вызвал перепуганного деда, поправил в его руках винтовку и сказал:

— Так держи, Егор Федосеевич, — при этом он грозно передернул затвор. — Ежели шевельнется, сразу стреляй. Я сейчас.

Он отодвинул в сенях бочку, убрал половики, выдернул доски и спустил в подвал Степака. Потом загнал туда же Зеленова.

— Смирно сидеть. Голос услышу — убью!

После этого закрыл лаз и сверху на доски накатил бочку. Все, не выберутся.

Дед по-прежнему держал винтовку наперевес, испуганно отстраняясь от нее всем телом.

— Давай сюда. Кончено. Отдыхай. И гляди мне, никому о гостях ни-ни. Понял?

Егор Федосеевич затряс бороденкой.

— Смотри-ка, день уже скоро... — Сибирцев покачал головой и взялся за мешки.

10

После полудня появился наконец хозяин. Был он сумрачен сверх меры, даже сильно растерян, будто от свалившейся на голову чрезвычайно неприятной неожиданности. Еле кивнул в ответ на приветствие Сибирцева, тут же, не сдержавшись, грубо отшвырнул табуретку, подвернувшуюся под ноги. Что-то, понял Сибирцев, крепко его расстроило, рассердило, если не сказать большего. Но не стал спрашивать. Продолжал по-прежнему сидеть на торце лавки, облокотившись о подоконник, и курил, поглядывая в окно. Сам расскажет, когда сочтет необходимым. Однако хозяин зол. Крепко зол.

— Ну, появились гости? — вопрос прозвучал резко, но как бы между прочим, вроде: «Какого черта вы тут?» — то есть вопрос, не требующий объяснений.

— А как же, — равнодушно ответил Сибирцев, не поворачивая головы. — Поговорили. Познакомились.

— И где они? — по-прежнему сухо кивнул хозяин.

Сибирцев молча показал в пол указательным пальцем и обернулся, привалившись спиной к окну.

Хозяин подошел к буфету, решительно раскрыл створки и начал что-то сосредоточенно там искать. Или вид делать. Похоже, он был в замешательстве.

— Как же вам это удалось?

Вот теперь, понял Сибирцев, ответ его на этот вопрос и станет главным для Марка Осиповича. Но задал хозяин его так, чтобы трудно было понять, что Сибирцеву удалось: загнать гонцов в подпол или этот подпол отыскать. Однако в любом случае в его словах сквозило, мягко говоря, мало уважительное: «А вы тут, вижу, даром времени не теряли...» Правильно, всякий истинно военный человек только так и должен относиться к шлейкам, жандармским мундирам, а по нынешним временам — к контрразведке. Интересный получается вариант, подумал Сибирцев. И ответил так, чтоб уж вовсе запутать полковника.

— Работа такая, — сказано было без всякой интонации. Понимай, мол, как хочешь. И, вздохнув, добавил: — Работа... Марк Осипович.

Слегка вздрогнули плечи хозяина. Он медленно повернул голову, пронзительно взглянул Сибирцеву в глаза и отвел взгляд.

— Значит, я угадал, — буркнул он равнодушно.

— Что именно?

— Ах, да бросьте вы... — хозяин едва не сорвался на крик, — как вас теперь прикажете? Все еще Михаил Александрович? Или господин Сибирцев? Или как-нибудь иначе?

— Вы же прекрасно знаете, Марк Осипович, Михаил Александрович Сибирцев к вашим услугам.

— Может, вы действительно полковник? — злая ирония так и перла из хозяина.

— Вы читали мой документ? Или там что-то неясно?

— Встать! — вдруг громко рявкнул хозяин хорошо поставленным командирским басом и резко дернулся к Сибирцеву всем корпусом.

Мягко, как от удара под коленку, качнулась нога, лежащая сверху, — удержался-таки Сибирцев на месте, не оконфузился. Через силу улыбнулся без всякой наглости.

— А вот это вы зря, полковник. Эти штучки мы вон еще когда научились проделывать. Чтоб выявлять самозванцев... А скажите-ка, я могу спросить вас об одной деликатной вещи? Впрочем, не настаиваю, ваше право — да или нет?

— Говорите, — Званицкий отвернулся с презрительной миной.

— Марк Осипович, зачем вы свой именной палаш на чердак-то закинули? Ведь это, как я понимаю, святой дар хорошему человеку, — Сибирцев с нажимом произнес последние слова, — и от хороших же людей. Не от государя — от нижних чинов. Вот что ценно. Как же так?

— А вот уж от вас этого вопроса, извините, никак не ожидал, — пробурчал он.

— Почему же?

— Да вам-то теперь что за дело? И вообще, что вы понимаете? — безысходная горечь прозвучала в ответе Званицкого.

— Ну, предположим, кое-что мне, действительно, не понять. Предположим. Но вот вы, боевой офицер... Я ведь видел, как вы орден Святого Владимира давеча в руках держали. Неужели у русского офицера исчезли понятия чести, мужества, долга, родины, наконец, черт побери! С кем вы, полковник? С бандитами, убийцами? Не хотел бы верить... Прошу простить меня за столь нервический монолог. К тому же я считаю, что наш разговор нынче состоялся, увы, несколько преждевременно. И все из-за того, что один из ваших гонцов на свою беду узнал меня. Рыжий такой. Степак его зовут, не припоминаем?

— В первый раз слышу, — пожал плечами полковник.

— Тем лучше. Омерзительнейший тип. Ходил, так сказать, в подручных у некоего бандита Безобразова. Тоже не слыхивали?

Марк Осипович отрицательно покачал головой.

— Впрочем, — спохватился он, — слышал, жили в этих местах, я имею в виду нашу губернию, некие графы Безобразовы. Кстати, весьма уважаемые люда. Не из них ли?

— К сожалению, один из потомков, но — отъявленный бандит. Так вот, этот наш Степак, знаете, чем он занимался? Он людей к деревьям за ноги привязывал и раздергивал пополам. Или у беременных женщин плод вырезал вот этим ножом, — Сибирцев с маху воткнул в стол Степаков нож. — И поскольку они к вам идут, вы, надо полагать, с ними заодно, полковник?

— Bravo, bravo! — Марк Осипович дважды демонстративно хлопнул в ладоши. — Отличный дивертисмент в стиле нового советского театра. Ну что ж, если вы совсем такой уж красный, ведите меня и сдавайте, как у вас положено, в свою Чека! Или в ваш концентрационный лагерь, черт вас побери! А может, вы предпочтете продолжить со мной диалог в контрразведке? Любопытно, в чьей? Тут, у Антонова, или в Сибирь к себе повезете? Дома, говорят, и стены помогают...

«Он — умница, — подумал Сибирцев. — Хорошо сыграл, никак не подкопаешься, но хотел бы я знать, почему он считает, что я из контрразведки? Кто его так напугал? Или что?..»

— А позволительно ли будет и мне теперь задать вам пару вопросов? — с чрезмерной учтивостью склонил голову Марк Осипович.

— Сделайте одолжение.

— Как вы относитесь, или относились, к полковнику Гривицкому?

— Ну, начнем с того, что в лучшую для меня пору, да и для него, пожалуй, он был поручиком. Это уж нынче — полковник... Тогда относился превосходно. И вообще, мне очень импонировал этот польский князь. Умом, язвительностью, выдержкой. Он, знаете ли, обладал удивительной способностью предугадывать людей и события. Многие из его предсказаний сбылись. Увы, конечно.

— А теперь?

— Теперь жалею, что ему так и не удалось увидеть свою ясновельможную.

— Почему столь безотрадно?

— Да уж, поверьте, знаю, что говорю.

— И второй вопрос. Вы и там, ну, в пору вашего знакомства с Гривицким, занимались тем же делом, что и сейчас?.. Хотя, что ж это я, право, времена меняются, люди — тем более, и теперь вы под началом Петра... Поэтому, возможно, мой вопрос по поводу вашего начальника неуместен.

— Я понимаю, что вас, видимо, интересует все-таки не столько Сибирцев в настоящий момент, сколько Гривицкий. Ведь так? И его вероятные метаморфозы, из которых вы хотите вычислить все остальное. Верно?

Марк Осипович медленно кивнул.

— Ну что ж, отвечу честно, как на духу. Каждый из нас занимался всю жизнь только своим делом, Оли не совпадали.

— Благодарствую, — сухо заметил полковник. — Я так и думал.

Сибирцев рассмеялся.

— А теперь вот я просто уверен, Марк Осипович, что вы, извините, ни черта, ну просто ни-ни... нет, не поняли. Готов поставить вот этот свой окурочек против вашего палаша. Вот так-то. Но мы еще вернемся к этому вопросу. Идет?

— Как будет угодно.

Ах, как противно было глядеть этому честному вояке-полковнику в лживые, веселящиеся очи подлого сибирского контрразведчика. И еще очень заботило, оказывается, полковника, сохранил ли свое лицо, как выражались вечно улыбающиеся японцы, высокородный князь Гривицкий или тоже, подобно Сибирцеву, окунулся в мерзость палачества и застенков. Впрочем, разница между белогвардейской контрразведкой и Чека ему, похоже, неизвестна. Он что же, успел побывать и там и там, чтобы иметь возможность сравнивать?

«А что, — поймал себя на мелькнувшей тревожной мысли Сибирцев, — не напрасно ли я усложняю всю эту игру? Может, назвать вещи своими именами и напрямую потребовать ответа? Но он — эта гордая натура — возьмет да и закроется в свою раковину. Чего ему бояться-то? Смерти? Этот страх не для него... Нет, рано еще».

— Марк Осипович, давайте обсудим один возможный вариант. Попробуем, так сказать, помыслить реально.

— Слушаю вас, — с неизменной сухой интонацией отвечивал полковник и боком присел к столу.

— Благодарю. Итак, рассмотрим следующее. Пока вы были в отъезде, я, ваш гость, пошумел тут малость. Двух бандитов, двух отчаянных головорезов задержал. И засунул их в ваш подпол, сработанный, к слову, добротнo и с перспективой. Для нас с вами они интереса не представляют. Разве самую малость. Дня Чека, почти уверен, тоже никакой. Положение в губернии чрезвычайное, взяты с оружием, свидетели — мы с Егором Федосеевичем, короче,

сдаем их властям, а те их сразу к стенке. И нам, полагаю, еще спасибо скажут. Вы вне подозрений, обо мне у вас голова не должна болеть. За себя я спокоен. Ведь никому же из пришло в голову судить нас с вами, скажем, за то, что мы давешней ночью троих уложили на дороге. Я не прав? Так вот, как по-вашему, зачем я это делаю? Вопрос ставлю всерьез и прошу так же ответить.

— Извините... Михаил Александрович. Видно, стар я стал... или поглупел... но я просто в голову не могу взять, чего вы добиваетесь. Чего хотите от меня? Объяснитесь же наконец, кто вы и зачем здесь?

— Так ведь я, Марк Осипович, честью клянусь, почти весело сказал Сибирцев, — только за этим сюда и приехал. Не верите? По вашу душу, как говорится.

— Не понимаю и не представляю, зачем вам нужна еще и моя душа. Достаточно того, что моя честь уже давно в ваших руках. Думаю, этого вам достаточно. И я не Фауст, а вам и всем вашим тем более весьма и весьма далеко до порядочных Мефистофелей.

— Идет, — Сибирцев хлопнул ладонью по столу. — Обсудим и этот вопрос. Итак, мы взяли вашу честь. Каким образом?

— А вы не в курсе дела? Вот новость... Ну что ж, тогда и я, пожалуй, объяснюсь с вами. Не бойтесь?

— Чего, Марк Осипович? Я почти уверен, что мы придем к согласию. Я уже предлагал пари. Могу повторить и в этом варианте. Но — слушаю вас.

— Не бойтесь рисковать... А впрочем, кто вас, молодежь, знает... Так вот, чтобы быть кратким, перескажу суть дела. Думаю, великой тайны не открою, поскольку вам теперь известно, кто я. В «Союз защиты родины и свободы» меня ввел примерно в начале мая восемнадцатого мой старый московский приятель, врач, некто Григорьев, но фамилия его вам ничего, полагаю, не скажет. Потом оказалось, что он является одним из руководителей штаба Восточного отряда Добровольческой армии. В июне, если мне не изменяет память, части офицеров, и мне в том числе, было дано указание срочно и секретно переехать в Казань, чтобы заняться конкретной организацией противосоветского вооруженного восстания. Вот, собственно, и все, Потому что в том же июне, в конце месяца, Чека произвела аресты, около двадцати человек были после расстреляны, многие заключены в концентрационный лагерь, ряду удалось скрыться. С помощью Павла я приобрел этот дом, сменил внешний вид, ликвидировал все, что связывало меня с прошлым, за исключением... да-а. Хотя ведь если формально подойти к этому вопросу, почему вы уверены, что палаш мой, а не принадлежал прежнему хозяину? Но, впрочем, теперь это неважно. О том, кто я, знали трое: Павел с Варенькой и еще один господин, который явился ко мне с рекомендательным письмом полковника Сахарова, начальника Восточного отряда, и копией приговора советского революционного трибунала, где был перечислен ряд известных мне фамилий, в том числе упоминалась и моя, и где мы все скопом объявлялись врагами народа и по обнаружении места нахождения каждого подлежали расстрелу. Мне было предложено возобновить противосоветскую деятельность, нашли даже возможность ввести в состав нашего волостного Совета. Собственно, тот господин был весьма недвусмысленен: либо я «работаю» на него, либо копию приговора «случайно» находит у себя на столе председатель волисполкома. Мелкий такой, знаете ли, шантаж.

— Как звать того господина? — резковато спросил Сибирцев.

— А вы разве не знаете? — искренне удивился Званицкий. — Черкашин. Капитан Василий

Михайлович Черкашин. Он у Александра Степановича в контрразведке служит. Скажите, пожалуйста, вот конфузия, если я вашего коллегу не в лучшем свете выставил!

— И вы с легкой душой уступили собственную совесть этому «мелкому» шантажисту?

— Но помилуйте, жизнь порой бывает такой штукой, которую очень трудно потерять. Разумеется, я мог бы его убить. Убрать. Закопать где-нибудь. Или вот вас, к примеру. Вы разве не боитесь, что я вас убью быстрее, чем вы подумаете об этом?

— Нет никакого смысла, — твердо ответил Сибирцев.

— Это почему же?

— Ну, во-первых, тот, кому следует, знает, к кому я и зачем поехал. Во-вторых, по-моему, вот так, за-просто, ножичком, — это не в ваших правилах. Да, кстати, вот еще любопытный предмет для рассуждения. Взгляните на эти мешки. Это, как вы понимаете, личное добро наших гостей. Оно меня, естественно, интересовало, и я посмотрел. Советую и вам. Впрочем, если неохота и поверите на слово, перечислю: чистое мужское исподнее и малость попачканное кровью женское белье и одежда. Мелочь всякая, вроде множества серег, колец. Обрезы, патроны, гранаты, ну а все прочее не представляет интереса. Теперь главное. Как сообщил один из них — другой, я уже говорил, на свою беду узнал меня, — так вот, не то нынче, не то завтра господин Черкашин ожидает вас в Зимовском лесу вместе с оружием и добровольцами положить свои головы за Александра Степановича Антонова, ибо дела его мало сказать скверны — отчаянно плохи.

Званицкий молчал, сидел насупившись, мрачно глядел на бандитский нож, вызывающе торчащий посреди стола.

— Вы в раздумье, Марк Осипович? Решаете — выполнять приказание или сделать вид, что не получали его? Обстоятельства благоприятствуют, стоит вам лишь согласиться со мной и сдать голубчиков в Чека. Ну, думайте, думайте.

— Будет вам, Михаил Александрович, — охрипшим голосом сказал Званицкий. — Полно издеваться. Это уж, помимо всего прочего, неблагородно.

— А ни в чем не повинный народ на смерть толкать — это благородно?

— О чем вы? О какой смерти?

— Не надо изображать невинность, Марк Осипович. Вы — военный человек и, как я вижу по вашим информаторам, даже газет не читая, прекрасно разбираетесь в положении, которое сложилось в губернии. И знаете, что регулярная Красная Армия не сегодня завтра прекратит эту бандитскую акцию Антонова. Пожалеть бы вам мужика-то. Чем больше их будет у Антонова, тем больше трупов, неужели до сих пор неясно? Эх вы, русский человек, воин!

— А вы знаете?.. Вы знаете?.. — сорвался на крик хозяин, видно, то самое давно кипело в нем, рвалось и вот, наконец, выхлестнуло наружу. — Вы же, простите, сами ни черта не знаете, что тут у нас творится! Я был... я... — он, задохнувшись, рванул ворот рубахи, — я сегодня сам народ возил в Карповку... концентрационный лагерь малостью большевиков этих проклятых строить. Для кого, спросите? А вот для тех же самых мужичков, что вы жалеть призываете! Для семей их! Стариков! Детей малых!..

— О чем вы, Марк Осипович? — оторопел Сибирцев. — Какой лагерь, помилуйте? И зачем?

— А затем, — гневно и с укором бросил хозяин, — чтоб дети тех, которые сейчас в лесах свободу свою от коммунистов защищают, в этом самом лагере, за колючей проволокой с голоду быстрее подошли!.. Вот зачем. Чтоб иным... свободолюбивым — неповадно было.

— Боже мой!.. — вырвалось у Сибирцева. — Неужели до этого дошло?

— А вы не знали!.. — откровенное презрение хлынуло из глаз полковника.

— Клянусь вам, я же только из койки поднялся, — искренне подтвердил Сибирцев и понял вдруг, что Марк Осипович ему поверил. — Да и вообще, — добавил мрачно, — отстал, крепко отстал от жизни.

— Оно и видно, — примирительно пробурчал хозяин. — Натё-ка вот вам, почитайте на досуге. — Он достал из пиджака бумажник, а из него вынул сложенный вчетверо лист серой бумаги. Развернул, разгладил ладонью сгибы и по столу подвинул Сибирцеву. — Почитайте, да. Полезно. — И отвернулся.

Это была, как сразу понял Сибирцев, обычная листовка. Их десятками тысяч печатали в типографиях Москвы, Орла, Тамбова, Воронежа и разбрасывали в лесах, в местах скопления антоновских войск, клеили на столбах и заборах, стенах станционных зданий. Очередное, поди, обращение к народу. Сколько сотен их уже было...

Нет, тут что-то новое. И название — прямо скажем... «Приказ участникам бандитских шаяк». Приказ! Посмотрел вниз — 17 мая 1921 года. Значит, совсем недавняя. Черт возьми, вовсе в числах запутался... Так что ж они пишут?..

«Именем Рабоче-Крестьянского правительства Полномочная комиссия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета вам объявляет:

1. Рабоче-Крестьянская власть решила в кратчайший срок покончить с разбоем и грабежом в Тамбовской губернии и восстановить в ней мир и честный труд.
2. Рабоче-Крестьянская власть располагает в Тамбовской губернии достаточными военными силами. Все поднимающие оружие против Советской власти будут истреблены.
3. Вам, участникам бандитских шаяк, остается одно из двух: либо погибать, как бешеным псам, либо сдаваться на милость Советской власти.
4. Именем Рабоче-Крестьянского правительства Полномочная комиссия вам приказывает:
Немедленно прекратить сопротивление Красной Армии, разбой и грабеж, явиться в ближайший штаб Красной Армии, сдать оружие и выдать своих главарей.
5. К тем, кто сдаст оружие, приведет главарей и вообще окажет содействие Красной Армии в изловлении бандитов, будет широко применено условное осуждение и в особых случаях — полное прощение.
6. Согласно приказа красного командования за № 130 и «Правил о взятии заложников», опубликованных Полномочной комиссией 12 сего мая, семья уклонившегося от явки забирается как заложники, и на имущество накладывается арест.

Семья содержится две недели в концентрационном лагере. Если бандит явится в штаб Красной

Армии и сдаст оружие, семья и имущество освобождаются от ареста. В случае неявики бандита в течение двух недель семья высылается на Север на принудительные работы, а имущество раздается крестьянам, пострадавшим от бандитов.

7. Все, кто оказывает то или иное содействие бандитам, подлежат суровой личной и имущественной ответственности перед судом реввоен трибунала как соучастники измены трудовому народу. Только немедленным раскаянием, выдачей главарей и оружия они могут заслужить прощение.

Участники бандитских шаяк!

Полномочная комиссия вам заявляет:

Ваши имена известны Чека. Будете взяты либо вы, либо ваша семья и имущество. Сдавайтесь!»

Прочитал Сибирцев уже подстершийся, тусклый серый текст на одном вздохе, а теперь словно сдавило грудь. Тесно стало. Дышать нечем... Господи, приказы, заложники, лагеря какие-то... Зачем теперь-то, какая нужда? Неужто крови все еще мало?..

— Ну и что? — спросил, не поднимая головы. — Идут? Сдаются? Главарей на веревочке ведут, да?

— Как бы не так! — возразил полковник. — Они — мужички-то наши — не дураки. Те, что в лесу, давно уж все свое имущество попрятали, в лесах закопали, а то родственникам раздали. Если кто и остался — так одни дряхлые старики. А те, что не в лесу, — те нипочем своих не выдают. Списки населения уничтожают. Семьи своих товарищей прячут. Или просто выжидают, чья возьмет. Недавно тут неподалеку, да вот хоть в той же Карповке, целый сход арестовали. И в концентрационный лагерь. Это в лучшем-то случае. По чаще просто расстреливают без всякого суда. Тем более, если взят с оружием. Политтройки какие-то назначили. Те и вершат свой скорый суд.

Показалось на миг Сибирцеву, что из темного угла избы, будто неожиданным солнечным лучом высвеченное, глянуло на него круглое сияющее лицо Ильи Ныркова. Радость в его глазах вспыхнула: вот он, миг торжества! Странно только, что Илья, требуя от Сибирцева решительности и беспощадности, почему-то ни разу не сослался на это Постановление, на приказы Тухачевского, так надо понимать... «А может, и сослался, да это я сам в пылу спора не обратил внимания, — подумал Сибирцев. — А теперь с таким-то приказом нелегко будет перетянуть на свою сторону нашего уважаемого полковника, вот в чем дело...»

Ультиматум в переговорах — последний аргумент. Если вообще может быть аргументом.

— Так вот, Михаил Александрович, — неожиданно жестко сказал полковник, — не знаю, на что вы рассчитываете, ведя со мной странную, очень, я бы сказал, странную игру, но у меня создается впечатление, что говорим мы на абсолютно разных языках. То, простите, самым заурядным провокатором вы хотите представиться, то, еще раз извините, вовсе напротив — красным. Не пойму вас, истинный Бог!

— Вот ведь как получается, следите за мыслью: если пожалел мужика, не дал обмануть его Антонову, значит — большевик поганый, так? А если как быдло погнал на убой, на явную смерть — вот тут патриот, спаситель Отечества! Вдумайтесь, полковник, не бред ли?.. Что же касается той жестокости, о которой тут написано, — Сибирцев положил ладонь на листовку, — то, будь моя воля, я бы этого не делал. И не писал. Зло может породить лишь зло. Увы...

Была долгая пауза, во время которой Сибирцев снова закурил. Время шло, дорогое, очень дорогое время, но Сибирцев знал, что торопиться нельзя. Надо подвести этого одинокого, сомневающегося человека к мысли о необходимости сделать выбор. Причем обязательно самостоятельно. Труден первый шаг, но он нужен. Можно было, конечно, поторопиться, даже заставить, в конце концов, должен же человек хоть когда-нибудь понять, ради чего он живет на земле... И это было бы тем более важно для полковника потому, что он до сих пор уверен, что Сибирцев такой же контрразведчик, а иначе говоря, палач и провокатор, как пресловутый капитан Черкашин.

«Вот еще новая фигура. Ну, с этим-то будет проще. А полковнику надо сделать серьезное усилие. И если он переступит через невозможное для себя в эту минуту, не исключено, что ему придется меня убрать».

В рискованную ситуацию залез! Но отхода больше нет, А может, все-таки поторопить?..

— Да, Марк Осипович, отвлеклись мы, а я думаю, вам все же следовало бы поговорить или хотя бы взглянуть на наших пленников. Не желаете?

— Пожалуй, — как-то не очень решительно сказал полковник.

Вот теперь следовало быть с ним предельно внимательным и осторожным. Ни одного провоцирующего движения или слова.

— Что ж, пойдете.

Подняв доски, Сибирцев крикнул вниз:

— Эй, вы, Зеленов, Степак, вылезайте! Господин полковник желает вас видеть. Что, сами развязались? Ну вот, какие молодцы...

За полдня, проведенные в подвале, пленники совсем потеряли вид: никакой наглости — только серый животный страх. На рыжего Степана было неприятно смотреть: его лицо представляло сплошную сине-бордовую маску. Сибирцев увидел, как передернуло полковника.

— Что это, господа, уж не ваша ли работа, Михаил Александрович?

— Моя, — равнодушно ответил Сибирцев. — Помню, господин полковник, было дело у нас в Харбине. Мы с известным вам поручиком Гривицким поехали в Гродеково к атаману Калмыкову, инспектировать у него новое соединение полковника Маковкина. Да, доложу я вам... Но это особый разговор, конечно. А в двух словах ежели, то показали мне там одного пожилого хунхуза. У Маковкина вообще весь полк, так называемый его «туземный отряд», был наполовину набран из хунхузов, то есть представлял совершенно невероятный сброд. Так вот, тот хунхуз оказался великим специалистом по этой самой части. Один удар ладони, к примеру, — вот так, — Сибирцев поднес плоскую ладонь к лицу Степака, и тот в ужасе отпрянул, прикрыв локтем синюю физиономию, — и человек мгновенно теряет сознание. Он нас с поручиком потом несколькими специальными приемами обучил. В дальнейшем не раз выручало. Вот, кстати, с помощью одного из них я и бывшего хозяина нашего Степака — Митеньку Безобразова уложил. Мелочи только одной не учел и, как видите... Да вы ж сами, господин полковник, памятку его видели, ту рану, что столь сердобольно и искренне старались облегчить мне... — И не делая передышки, не давая Званицкому опомниться, сразу сменил тему: — О капитане Черкашине я вам уже докладывал. Но, как я понял из сообщения Ивана Зеленова, что-то для вас имеется и у Степака. Личное. Прикажете мне присутствовать или сами допросите?

Сибирцев взглянул в растерянные глаза Званицкого и вдруг щелкнул каблуками:

— Слушаюсь, господин полковник, понял вас. Степак, марш в комнату. Зеленов, за мной. Если разрешите, господин полковник, мы пока на дворе потолкуем.

Сибирцев не беспокоился за полковника. Впору было беспокоиться за Степака.

11

Дед Егор Федосеевич над чем-то старательно трудился возле открытых настежь дверей сарая, что-то подстругивая, приколачивал. Словом, ему нашлось дело.

Сибирцев вывел Зеленова, показал на одну колоду, под стенкой сарая, тот сел, сам устроился на другой.

— Егор Федосеевич, сделай, брат, милость, принеси кружку воды, а то, гляжу, наш пленник Богу душу от страха отдаст.

Дед скоро принес от колодца воды, и Зеленов с животной жадностью единым духом осушил литровую кружку.

— Ну, — строго начал Сибирцев, — тебе Степан, поди, все про меня рассказал? Отвечай быстро, говорил?

— Говорил, — безнадежным голосом ответил Зеленов и понурился.

— Чего говорил, ну?

— Про комиссара.

— Ага, — удовлетворенно заметил Сибирцев. — Это хорошо, что он все запомнил. А теперь ты меня слушай. Хочешь жизнь свою спасти?

Зеленов дернулся, поднял голову, взглянул с неверием.

— Я всерьез говорю, мне тут некогда с вами валандаться. А то сдам обоих в Чека, там вас к стенке — и весь разговор. А зачем тебе, скажи пожалуйста, стенка? Тебе что, жить надоело? Вот то-то и оно... Семья есть, родные? Говори, не бойся, не затем спрашиваю, чтоб беду им принести. Ты уж и так испоганил им жизнь. Ну?

— Есть, — пробормотал Зеленов.

— Что ж ты их бросил, да в лес подался-то?

— Мобилизованные мы.

— Кто ж это «мы», ты со Степаком, что ли?

— Да не, Степак — он меснай. А мы — рязанские.

— Эва откуда вас занесло! — присвистнул Сибирцев. — И много таких?

— Не, ня много...

— Так какой же черт вас у Антонова-то держит? Плюнули бы да ушли к себе домой. Там, поди, детишки с голоду пухнут, а батя их по лесам, как волк, шастает. Есть дети-то?

Зеленов вздохнул, кивнул утвердительно.

— Эх, вы, волки хреновы. Народ только баламутите, делом ему заниматься не даете. Голод вон по России идет, а мы вместо того, чтоб землю пахать, вас вылавливаем. Мало было интервентов, теперь за своими мерзавцами, убийцами по лесам гоняемся. Ну все равно, теперь-то уж каюк вам. Тут такие дивизии прибыли! Деникина били, Врангеля, поляков гнали, Колчака под лед отправили, а уж с вами, лесными чертями, быстро справимся. За лето всех в лепешку раскатаем. Так что худо твое дело, Иван Зеленов. Боюсь, не дождетя твоя семья кормильца. Что делать-то прикажешь? А? Приказ ведь был: всех бандитов без суда расстреливать, а семьи ихние на Север выселять. Вот так-то... Губерния могилевская...

Тяжко, безнадежно вздохнул Зеленов. Вся вчерашняя наигравшая спесь одним пфуком вылетела. Сидел на изрубленной топором колоде перепутанный, усталый мужик, свесив между колен корявые жилистые руки. Не надо было быть большим знатоком человеческой души, чтобы понять, о чем он думал. Самый подходящий момент, решил Сибирцев, для небольшого хирургического вмешательства.

— У тебя земля-то своя есть?

— Есть нямного. Да ведь, господин хорошай, але товарищ, как тя? Выгрябли жа, подчистую хлебушка выгрябли комиссары-та!.. Какая тут жисть...

— Какая-никакая, а нынче-то полностью отменили продразверстку. Вот так. Уж с весны по всей губернии, да и у тебя дома, один только налог остался. Стало быть, сам ты себе хозяином мог бы теперь быть, да другую дорогу выбрал... Со Степаном давно ли?

— Да не... — поморщился мужик. — Это господин Черкашин пальцем в мя ткнул и говорит: с им пойде-тя. Ну и пошел, а куды дяваться...

— Не пойму тебя, Иван Зеленов, нет же господ-то уже. Сам же в семнадцатом их скидывал, так, что ли? А теперь, выходит, опять посадил ты себе господина на шею?

— Дак а твой-та господин полковник? — резонно, не без хитринки, заметил Зеленов, мотнув лохматой головой в сторону дома.

— То он для Степана. Да и какой господин Марк-то Осипович. Наш он человек. Сперва все, вроде тебя, сомневался, а сейчас поверил. И не раскаивается. Такое, брат, дело... да. Но разговор сей час о тебе. Крови-то на тебе много ли?

— Истинней хрест! — Иван истово осенил себя крестом. Потом подумал и добавил уверенно: — В бою-та — как не без таво? А шоб грабить, але таво пуще, не, мы няспособныя, не.

— Врешь, поди, — миролюбиво отметил Сибирцев, понимая, что мужик, в общем-то, недалек от правды. В дерьме быть и не замазаться — это для шибко доверчивых. Но, пожалуй, и не конченный он человек, не Степан. — Конечно, нет у меня права казнить или миловать, на то суд есть. Но подсказать тебе могу, как из дерьма выбратся и жизнь себе и своим детям сохранить. Хочешь подскажу?

Зеленов робко поднял глаза, в них мелькнула надежда. Не велик артист, чтоб так сыграть, подумал Сибирцев. Можно рискнуть.

— Вот послушай меня, Иван Зеленов, если хочешь, чтоб тебя простили. Надо, брат, послужить народу. Верой и правдой. Я думаю, тебе придется вернуться обратно к капитану Черкашину и доложить ему, что Степан был убит на обратном пути, и сказать он велел... А вот что сказать, это ты попозже узнаешь. И еще. Мне можешь верить, как своему Господу Богу, я еще ни разу никого не обманул. Не обманываю и тебя. Ты мужик грамотный?

— Не...

— То-то и беда твоя. Задурили тебе, мужик, голову, застращали, а ты и рад: слушаюсь! подчиняюсь! А кому? Своему же кровному врагу. Дурак ты дурак, Иван Зеленов. Ладно. Облегчу твою задачу. Есть там, среди ваших, такие, что сомневаются; сидеть ли им в лесу или бросить оружие и по домам?

— Есь нябось, как не быть...

— Ну вот, им и сказал бы ты, чтоб уходили из леса, да как можно быстрее. Когда мы стрельбу-то поднимем, тут уж поздно будет разбираться, кто враг, а кого силком затащили. Всем каюк будет. Потому разбегайтесь, мужики, на все четыре стороны, да поживей. А вот самого капитана Черкашина Василия Михайловича мы обязательно взять должны, давно за ним охотимся. И если он от нас на сей раз уйдет, много всем страшной беды будет. Это ты понимаешь?

Молчал Зеленов. Не мог, видно, сообразить, на какое дело толкают его.

— Такие дела, Зеленов. Поверил бы я тебе, да боюсь, обманешь. Хотя что ж, обманешь, значит, и тебе будет каюк.

В этот момент в доме будто сломалась сухая доска. Сибирцев вмиг выхватил наган и вскочил. Вскочил и Зеленов.

— Сидеть! — строго прикрикнул Сибирцев, посмотрел на дверь.

Через короткое время, скрипнув, она отворилась, и на пороге появился Званицкий с револьвером в руке. Он как-то посторонне взглянул на Сибирцева и махнул револьвером.

— Заходите... — и устало опустил руку.

— За мной, Зеленов. — Сибирцев быстро подошел к Званицкому и негромко сказал: — Марк Осипович, от греха, отдайте мне ваш револьвер.

Тот молча протянул оружие.

В горнице на полу ничком валялся Степак. В кулаке его был зажат давешний нож.

— Упустил я из внимания этот нож, — мрачно сказал полковник и вздохнул. — А вашим приемам не обучен.

— Ну что ж, — пожал плечами Сибирцев, — вероятно, он сам того хотел. А мы вот с Зеленовым вроде обо всем договорились. Так, Иван? Договорились?

Зеленов подавленно молчал, глядя на труп Степака.

— Да, — усмехнулся Сибирцев, — что-то много их у нас получается за последние сутки. Вам не кажется, Марк Осипович?.. Что он успел вам сказать?

— К сожалению, ничего существенного. Не знаю... обязан ли я вам все пересказывать...

— Полагаю, лучше это сделать.

— Вы полагаете, — зло протянул Званицкий. — А если?.. Что тогда будет?

— Плохо будет, Марк Осипович. Поэтому нам лучше поговорить. Иначе все это можно будет истолковать как уничтожение важного свидетеля.

— Вы, кажется, угрожаете? — в глазах полковника вспыхнули искры гнева.

— Помилуйте, о чем вы? Просто я хотел сказать, что это в ваших же интересах. Извините, если неточно выразил мысль.

«Ишь ты, опять гордыня верх взяла... Гневлив, однако, господин полковник». И тем не менее угрозами тут не возьмешь, а убеждать, похоже, времени и совсем не остается.

— Ну-ка, Зеленов, — решительно сказал Сибирцев, чтоб не вводить тебя во искушение, дай-ка свои руки.

Тот послушно протянул их, глядя испуганными глазами.

— Нет, за спину, за спину. Придется тебе, брат, еще малость посидеть связанным. Не бойся, недолго. Пока мы выйдем, поговорим.

Сибирцев вынул из руки Степака нож, забрал мешки мужиков и пригласил полковника выйти.

— Ну, Марк Осипович, давайте окончательно. Иначе опоздаем. Первое: что приказал ваш Черкашин?

— Вы уже знаете. Ничего нового.

— Где оружие? Это — второе.

— Оружия здесь у меня нет. Оно захоронено в лесу. Есть место, — полковник говорил отрывисто и резко, с явной неприязнью к Сибирцеву.

— Покажете?

— А что ж мне остается?

— Да, в общем-то, конечно, — вздохнул Сибирцев от этого упрямства, — ничего не остается.

— Скажите, Сибирцев, — с явной презрительной интонацией произнес Званицкий, — а почему бы вам меня попросту не арестовать? Чего вы возитесь, в душу лезете?

— Чтобы спасти вас. И от смерти, и от угрызений совести. Не знаю, что для вас страшнее, полковник.

— Да ведь вам до меня никакого дела нет! — воскликнул Званицкий. — Кто вы? Скажите честно.

— А вы до сих пор не догадались? Я был о вас лучшего мнения, ей-богу.

— Но как же тогда?..

— Ну вот, начинается, — вздохнул Сибирцев. — Помните, полковник, была такая детская песенка-считалка: во дворе — кол, на колу — мочало, начинай сначала? Ежели вашу совесть все еще тревожит судьба вашего друга Пети Гривицкого, то я уже сказал: он занимался своим делом, я — своим. Чего же вам еще? А теперь отвечу на один из ваших предыдущих вопросов: зачем? Я спасаю в вас человека, полковник. Новой России каждый человек нужен. Каждый.

— Это интересная мысль, — иронически усмехнулся Званицкий, — особенно звучащая над очередным трупом. Не так ли? И что вы имеете в виду, говоря: новая Россия?

— Я, полковник, — сухо и жестко сказал Сибирцев, — не считаю себя убийцей. И не так много жертв, как вы изволите думать, на моей совести. А уничтожал я и буду уничтожать только зверей, выродков, убийц, насильников. Вот людей спасал и буду спасать до последней минуты. Это — не слова, поверьте.

— Потому и присвоили себе абсолютное право казнить или миловать?

— Этот вопрос вы могли бы адресовать и себе, полковник. А на что, собственно, вы рассчитываете? Верите, что Россия все-таки восстанет и сметет большевиков? Наивно. Мы делаем много глупостей, даже больше, чем глупостей. Тут и беда большая, да. Скажу вам совершенно искренне, когда я ехал сюда, в губернию, я иначе представлял себе это восстание. Я видел только врагов. Теперь вяжу, что многие стали врагами с нашей помощью. Я имею в виду и грабеж продотрядов, и местных мерзавцев, дорвавшихся до власти, и бывших своих братьев-эсеров, которые никак не примирятся с тем, что не они сидят в Кремле. Да и вы — голубая кровь, белая косточка — охотно свою лепту вносите. Много причин, полковник... А вот ответьте, пожалуйста, ведь я вам в образе того же контрразведчика был, конечно, неприятен, но все-таки, вероятно, ближе, нежели, скажем, в образе большевика. Я не прав? То-то, что прав, можете не отвечать. Контрразведчик хоть и убийца, и сукин сын, а свой. Офицер. Служба просто другая. А вот большевик — это кошмар, нелюдь. От него можно ожидать всего, чего угодно. Ибо креста на нем нет, хотя я такой же православный, как и вы, и в церкви крещен. Но это неважно. И вам поэтому ближе капитан Черкашин, чем ваш покорный слуга. Ну что ж, дело ваше. Скажите, где спрятано оружие, мы заберем его, не для себя, нет, у нас хватает, а чтоб бандитам не досталось. И чтоб у вас совесть чиста была. Перебьем очередного Черкашина а всех тех, кого вы успели завербовать к нему, а там, глядишь, остальные мужики наконец поймут, что не своим они делом занимаются, не тем. Не всех же в лагерь загонять. Велика Россия. Ну а вы... что ж, сидите себе, грейте задницей свою дворянскую гордость, да именным палашом лучину щепите — ни на что иное он уже не годен, да и вам самое занятие, Маркел... как вас, а, забыл... — Сибирцев махнул рукой и пошел к дому.

— Пойдите, Сибирцев, — хрипло остановил его Званицкий. — Я вам не давал права так со мной разговаривать.

— А я у вас и не спрашивал, — не оборачиваясь ответил Сибирцев. — Я только констатирую факты, не более. Был бы рад ошибиться.

— Нет, вы не смеее так со мной разговаривать! Это вы меня, а не я вас, приговорили к смерти, объявили врагом народа...

— Приношу глубокие извинения, полковник, от имени Советской власти, — Сибирцев шутовски склонил голову в поклоне, — за то, что вы нам объявили кровавую войну, да не успели лишь начать, переловили ваших и в Москве, и в Питере, и в Казани, и в Ярославле. Да и тут уже

недолго вам осталось. Довольно, полковник. Лучше скажите, где оружие и что через Степака передал вам Черкашин.

— Ну что ж, — безнадежно вздохнул Званицкий, — видно, действительно, другого пути нет. Вот, нате... — он протянул скомканный листок бумаги.

Сибирцев расправил его и прочел. Черкашин сообщал о том, что в связи с арестом Медведева в Козлове его полномочия переходят к Цыферову. По согласованию с Тамбовским губкомом ПСР (то бишь партии социалистов-революционеров) крестьяне, мобилизованные в отряд Маркела Звонкова, переходят в подчинение 1-й антоновской армии, район деревень Семёновна, Каменка, Михайловка Тамбовского уезда, для совместных действий со 2-й армией, дислоцирующейся в районе станции Инжавино. Прибыть с оружием на место расположения 1-й армии не позже 30 мая.

— М-да, полковник. А это не липа? Где вы его взяли?

— Я вас не понимаю. Что я должен взять?

— Господи, да вот это послание!

— Как где? Мне его Степан вручил. Из собственного вещмешка достал и вручил.

«Непростительно... — напряг скулы Сибирцев. — Какой стыд! Судить меня за это надо...»

— Но послушайте, если Степан сам передал вам это донесение, зачем же ему было потом кидаться на вас с ножом, вот в чем загвоздка...

— Но он с пеной у рта убеждал меня, что вы комиссар, чекист. Клялся всеми святыми. А донесение... я думаю, что он понадеялся отвлечь им мое внимание и... убить. Чтобы бежать. И пока я читал, он... — в голосе Званицкого прозвучала растерянность.

— Большой у вас отряд?

— По вооружению или количественно?

— Количественно, конечно.

— Около пятидесяти человек, — видно, думая совершенно о другом, сказал Званицкий. — Сидят по домам. Ждут сигнала.

— Сигнала не будет. Пусть сидят, у них и дома забот должно хватать. Так, — решительно заявил Сибирцев, — Марк Осипович, у меня к вам просьба. Или, если хотите, приказ. Дайте мне немедленно честное слово, что вы дождетесь меня и не сбежите, пока я буду заниматься своими делами. Клянусь вам, вашего честного слова мне будет вполне достаточно. А вот с Ивана Зеленова не спускайте глаз, он нам очень понадобится. Ну, даете?

— Послушайте, Сибирцев... — ошарашенно начал было Званицкий и словно поперхнулся.

— Слушаю, слушаю. И жду. Скорее!

— Но ведь я... и вы...

— Послушайте теперь меня, Марк Осипович. Я должен, вынужден вам поверить, у меня нет иного выхода. Кстати, — усмехнулся Сибирцев, — не забывайте, что и палаш свой вы мне, до

сути, проспорили. Ну, так даете слово чести?

— Даю, — выдохнул полковник.

— Вот и славно. Покормите, пожалуйста, Ивана. От голода ведь всякие идиотские мысли могут прийти в голову.

12

Отряд, возглавляемый Званицким и Сибирцевым, вышел из Сосновки ближе к полуночи, не следовало привлекать постороннего внимания. Верхами и на телегах ехало около полусотни человек. Вооружены все были тем, что дома при себе имели. Главное оружие находилось в лесу, в землянке, его еще надо будет взять. И уже после следовать к условленному месту в Зимовском лесу. Путь, в общей сложности, составлял немногим более сорока верст. Но это только первый этап. Далее, согласно указанию Черкашина, усиленная группа, к которой в Троицком присоединится конный отряд Селянского, должна пересечь железнодорожную линию Тамбов — Кирсанов и лесами пройти в юго-восточный угол уезда, к Милайловке, на соединение с полковником Богуславским...

Большую работу провернул за оставшуюся часть дня Сибирцев. Он разыскал начальника заградотряда, вместе с ним побывал на станции, дозвонился до Козлова, до Ильи Ныркова и, пока телефонист прогуливался по платформе под присмотром Федора Литовченко, курносого и веснушчатого комэска, бряцающего длинными шпорами, надетыми на стоптанные сапоги, рассказал Илье о сложившейся ситуации. Треск, шорохи мешали, но Сибирцев сумел все-таки понять, что крепко недоволен его действиями Нырков, правильно подозревая, что снова влезает Сибирцев в очередную авантюру. Передал Сибирцев и короткую информацию о полковнике Званицком. Илья, естественно, потребовал немедленного его ареста, но Сибирцев настаивал на преждевременности этой акции. В глубине души он уже понимал, что полковник не нуждается в дополнительной агитации, он и без того начал прозревать. И готовящаяся операция должна окончательно поставить его перед выбором. Каким? И в этом Сибирцев тоже почти не сомневался. Почти. Потому и видел, что все равно надо держать ухо востро.

Тем более его раздражала, злила сейчас однозначная реакция Ныркова. Тот снова орал о самоуправстве Сибирцева, нарушении всех приказов военного руководства, Полномочной комиссии ВЦИК, самого Тухачевского, черт возьми... Он уже грозил всеми существующими карами, но Сибирцеву не хотелось сейчас верить в искренность слов Ильи, и он старался успокоить его, отделаться какой-нибудь шуткой, убедить, что все услышанное от него лишь нырковские домыслы. Конечно, ведь у него там, в Козлове, самые мировые дела решаются, не то что в какой-то Богом забытой Сосновке. Но, в конце концов, надоело бессмысленное препирательство, и Сибирцев довольно резко оборвал Илью. Сказал, что заботу об операции он берет на себя и несет за нее полную ответственность перед Центром. Лично. А Ныркова просит не мешать и заниматься исключительно своим делом. Резко, конечно. Зря он так, наверно. Но ведь и его, Сибирцева, терпение не бесконечно. Чтобы поставить точку, он позвал с перрона Федора, велел Илье подтвердить перед командиром эскадрона его, Сибирцева, особые полномочия и передал трубку. О чем там говорил Нырков Федору, оставалось только догадываться, но Сибирцев заметил, как сухо сжались губы комэска, и он стал искоса оглядывать совсем невоенную фигуру странного чекиста, белесые брови его нахмурились над переносицей, сошлись в первую юношескую морщину. Наконец речь Ильи закончилась, и Литовченко почтительно отдал трубку Сибирцеву.

— Мне это дело ясно. Они вас теперь просят.

— Чего ты ему наговорил, Илья? — сердито спросил Сибирцев.

— Чтоб глаз с тебя не спускал! — донеслось сквозь хрипы издалека. — Сказал, что шкуру спущу. И с него и с тебя, если этого проклятого полковника упустите...

Нет, напрасно он все-таки на Илью... О его же башке человек страдает, заботится. А он в запальчивости ютов Илью чуть ли не врагом вывести...

После столь бодрящего и стимулирующего разговора с Козловской транспортной Чека они медленно прошли по перрону. Вся платформа и неказистое кирпичное здание вокзала были переполнены народом. Оборванные, с провалившимися голодными глазами и желтыми лицами, люди валялись среди тощих узлов, чемоданов, перевязанных веревками, и ждали неизвестно какой вести. Все хотели уехать, но куда? Вот этого не знал никто. И на чем, на каком поезде? Пассажирские теперь сюда не ходили, значит, по возможности на крышах теплушек. Однако оттуда их гоняла охрана. Господи ты Боже, какая жуткая, черная безнадежность! Шара несусветная, грязь, здоровенные жирные мухи проносились, будто пули, мимо лица.

— Вот глядите, и чего, спрашиваю, ждут? — сокрушенно, будто сам себе, сказал Федор. — Каждый день покойники. Увозим, закапываем, а толк-то какой? Обреченный народ. Глаза б не глядели, ей-богу... Гибнет Рассея...

— В Центре еще хуже. Заводы стоят.

— Да ведь ежели мужик помрет, какая нужда в этих заводах-то?

— Ах, Федя, все нынче одно с другим намертво завязано.

— Так ведь продотряды ж нынче все подчистую тут выгребли, ни зернышка им не оставили. А урожая в этом году не жди. Ох, Рассея, ты, Рассея... Каково, думаете, живой хлеб охранять да глядеть, как пацанва с голоду пухнет?.. На кой ляд нам энтот хлеб и энта служба, коли от нее один вред людям, скажите мне, товарищ Сибирцев?

— Я так думаю, что сейчас вот Тамбовская губерния Центру хлебом помогла, а после и он ей тоже помощь окажет. Ну, хоть с бандами поначалу покончим — и то польза мужикам.

Сказал Сибирцев, а сам подумал, что нет у него никаких подходящих аргументов. Нет, не убедил он молодого комэска. Потому что говорить можно что угодно, а дела, вот они — налицо. И в лесах хоронятся действительно не одни бандиты отпетые, а, главным образом, все те же безвинные мужики. «И никаким страхом-приказом их не выманишь. Только словом, убеждением, а мы все норювим пулей...»

— Вот вы, товарищ Сибирцев, говорите, поможет Москва ваша Тамбову, — сказал Литовченко. — А у меня такое мнение, что, пока там не поймут, отчего мужики здесь взбунтовались, будет одно сплошное кровопролитие. Вот войск сюда понаслали, приказ нам зачитывали, чтоб всех, значит, которые несогласные с энтот-то Советской властью, тех в лагеря, концентрационные, — по слогам выговорил Федор, — а зачинщиков, тех расстрелять. Так энтот ж, я полагаю, полгубернии под корень извести.

— Ну, не все ж, поди, у Антонова, — возразил Сибирцев.

— У него, у Александра-то Степаныча, и наших немало. Которые с грабежом повсеместным согласны не были.

Удивился Сибирцев, услышав такое от красного командира. А если добавить, что Федор знал, кто такой и откуда он, Сибирцев, то уж вообще странное получалось: говорить чекисту, да против Советской власти...

— А ты сам-то, Федор, стало быть, не одобряешь действий Советской власти? Считаешь, что не правы мы по отношению к здешним мужикам?

— Так чего ж скрывать?! — с мальчишеской смелостью воскликнул Литовченко. — Энтэ нашим — говори не говори — как об стенку. А вы из Москвы, особый, значит, уполномоченный. Вы к им поближе, вот и расскажите, значит, что народ об энтэ деле думает. А то вот прислали Тухачевского, а народ его боится. Тут листовки кидали — уж не знаю: верить — нет им, — как он Кронштадт умирал. Кроушки, пишут, попил вволю...

— Восстание там было. Противосоветское, — строго сказал Сибирцев, сожалея, что совсем не знает никаких подробностей, кроме самого факта восстания. Да еще, что делегаты съезда партийного шли на приступ в первых рядах. И многие так на Кронштадтском льду и остались. Не признаться же в этом Федору...

— Было-то было, — вздохнул Литовченко. — Только зачем же было всех-то к стенке?..

— Восставшие — темная масса, темный мужик, который легко поддался эсеровской, кулацкой агитации, — возразил Сибирцев.

— Во-во, — неожиданно усмехнулся Федор. — А его, значит, к стенке. За темноту.

— А ты сам-то из местных, что ли? — догадался Сибирцев.

— Тутошние мы, — вздохнул Федор.

— Ну ладно, товарищ Литовченко, — строго сказал Сибирцев. — Ты что думаешь, у меня у самого душа не болит? Пошли к твоим эскадронам. Дело нам надо делать, а не болтать почем зря.

— Вот, все начальники так, — пробурчал Федор, по тем не менее расправил плечи, сбил с затылка на лоб выгоревшую фуражку и печатно зашагал к железнодорожному тупику.

А теперь вот он в дурацком треухе и куцей шинели — для маскировки — ехал верхом, чуть поотстав от брички, в которой сидели Званицкий с Сибирцевым. На облучке горбился Егор Федосеевич. Ни в какую не пожелал он остаться один дома. И когда Сибирцев, уже перед выездом, стал настаивать, Марк Осипович тронул его за рукав и с непонятной ухмылкой негромко произнес:

— Оставьте его. Пускай едет.

Еще перед закатом, собравшись на совет в доме Званицкого, Сибирцев, Федор и полковник обсудили план предстоящей операции.

Когда Сибирцев предложил свой план, полковник, хоть и понимал, что по этому плану именно на него, на его актерское, что ли, искусство ляжет главная ответственность, все же согласился. Но Литовченко как-то подавленно молчал. На вопросительный взгляд Сибирцева заметил, что, наверно, зря все это, поскольку категорический приказ Ныркова, который он отдал ему по телефону, совсем другой: всех зачинщиков выявить и тут же расстрелять, а остальных разоружить и конвоировать до суда в лагерь, в Карповку.

— Ну, это мы еще поглядим! — рассердился Сибирцев, увидев, как нахмурился, потемнел лицом Званицкий.

— От самого, сказали, исходит, — развел руками Литовченко, — от Тухачевского.

— Все! — прекратил возражения Сибирцев. — Будем делать, как мы решили. Ответственность я беру на себя. Черт знает что...

Не Ныркову же проводить операцию, сердито думал Сибирцев. Никак Илья не может остановиться...

Новой крови ему подавай. Зачем? Для чего?. Какой-то непонятный, тайный стыд испытывал он сейчас перед полковником, будто сознательно обманул его, использовал как шлюху последнюю, а сам хочет остаться при этом чистеньким, незамазанным перед властью. Нет, не так все. И будет по его, по-сибирцевски...

Зеленов с дедом обедали во дворе и о чем-то спокойно беседовали. Иван окончательно пришел в себя и, кажется, готов был выполнить задание Сибирцева. А оно было простым до примитивности. Зеленову дали лошадь, вернули мешки его и Степака, оба обреза, а полковник написал короткую записку капитану Черкашину, в которой сообщал, что люди с оружием будут, как указано, к следующему утру в условленном месте. На словах же Зеленов должен был сообщить, что по дороге в Сосновку они со Степаном нарвались на чекистскую засаду, те их обстреляли и убили Степана. Получалось так, что полковник никакого письменного сообщения от капитана не получал. Только то, что передал еле живой от страха Иван Зеленов. Он же был так плох, что ему пришлось найти лошадь для обратной дороги. А убитого Степака чекисты увезли с собой в Сосновку. Зеленов видел. Можно проверить. Видели и люди, когда везли его труп на телеге в больничный морг.

Ускакал, значит, Зеленов с вещичками Степака, среди которых мятым грязным комком бумаги снова затерялось тайное письмо капитана Черкашина к полковнику Званицкому: пет в нем теперь нужды, и улики у чекистов тоже нет. Пусть сам найдет его в мешке Степака капитан Черкашин и окончательно поверит рассказу Ивана Зеленова. И как подобает встретит отряд, который ведет к нему Званицкий.

На какой-то несчитанной версте отряд,двигающийся за бричкой, свернул с наезженного тракта и тихо запылжил по малоприметной лесной тропе. Колеса стучали и подпрыгивали на выбоинах и корнях, переплетавших тропу. Фыркали лошади, почуяв влажный дух недалеких болот, а значит, и водопоя. Судя по карте, неподалеку протекала Цна. В воздухе заметно повлажнело и похолодало. И дышалось много легче, чем на тракте. Глубоко в лес забрались. Званицкий теперь сам правил лошадьми, отстранив деда.

По одному ему известным приметам наконец добрались. Остановились. Бойцы в накинутых на плечи шинелях, тулупчиках, изображая повстанцев, тихо переговаривались, покуривали самокрутки, вели себя мирно и покойно. Если бы кто и встретился, то объяснение простое: Маркел везет народ на земляные работы по мобилизации волостного Совета.

В глубине леса, шагах в ста от тропы, была вырыта большая землянка. Когда Званицкий, Сибирцев, Литовченко и трое бойцов в нее вошли и осветили, зажегши большой стационарный фонарь со свечой, висевший на крюке, вбитом в бревенчатую стену, стало видно, что помещение со столом, печью и нарами вдоль стен рассчитано человек на тридцать. С размахом строили, не жалея сил, с толком. На широком столе и нарах лежали мешки с оружием: японские винтовки Арисака, хорошо знакомые Сибирцеву по Харбину, с сохранившейся

смазкой, ящики с гранатами и патронами. Отдельно возле холодной железной печи, труба которой выходила наружу, стояли два собранных пулемета Гочкиса на высоких треногах и железные коробки с лентами. Завидный арсенал.

Званицкий осветил все это помещение, поставил фонарь на стол и машинально отряхнул ладони одну об другую, будто передавал хозяйство в другие руки.

— Федор, — заметил Сибирцев, взяв винтовку и открыв затвор — из обоймы вылез латунный патрон, — часть этого добра возьмем с собой, но все патроны вынуть. Интересно, — он обернулся к Званицкому, — это что ж, из Сибири прибыло? Я гляжу: «арисаки», «гочкисы» — все союзная помощь Александру Васильевичу. Хотя японцы старались тогда, главным образом, Семенова снабжать, а Колчаку больше Жанен с Ноксом помогали. За наше-то золотишко. Знаете, Марк Осипович, — Сибирцеву неожиданно для окружающих стало весело, — вспомнился сейчас Харбин, по-моему, что-то в августе восемнадцатого. Так вот, у консула Попова был прием для иностранных миссий. Французы, японцы, англичане, китайцы, американцы, чехи, даже украинский какой-то самостийник с желто-голубой лентой через плечо. И вот кто-то, не помню уже, наверно, кто-нибудь из харбинских газетеров, спросил Альфреда Нокса: «Господин генерал, как вы относитесь к гражданской войне в России?» Знаете, что он ответил? Он сказал, надув щеки: «Мы ждем, к чему же наконец придут русские джентельмены». Потом эту крылатую фразу — про джентельменов склоняли во всех местных газетах. Да... А потом там возник легкий политический скандал. Это когда капитан Пеллио, из французской миссии, прилюдно обозвал Нокса самозванцем. Вот так генерал Жанен отстаивал свое право быть законным уполномоченным союзников. Не помню уже, кто их потом мирил. Я вот гляжу: эти «арисаки» — то наши далековато заехали... Ну ладно, Федор, пусть ребята твои берут мешка три, не больше, по мешку на воз. Чтоб поверху лежали. А остальное вы уж на обратном пути. «Гочкиса», может, одного прихватить, а, Марк Осипович? Для себя, чтоб нервам спокойнее? Давайте-ка мы его в нашу бричку. Не помешает. Неплохая машинка, хотя наш мне больше нравился.

— Я тоже предпочитал всем остальным наш, образца десятого года, хотя он относительно тяжелый.

— Подумаешь, тяжесть! Лишний десяток килограммов, зато скорострельность, да и щиток никогда не лишний... Ну что, в дорогу, товарищи?

На рассвете обоз подкатил к месту встречи. Последний десяток верст ехали по пересохшему руслу неширокой речки Хмелины. Летний туман стелился вдоль русла. Телеги сильно трясло, звякало оружие, лошади, похоже, выдохлись. Все-таки около сорока верст практически без отдыха.

У излучины реки, на широкой лесной опушке, обоз встретили три всадника, в одном из которых Сибирцев узнал Ивана Зеленова. Двое других держались под сенью леса.

— Ну, Иван? — негромко спросил Сибирцев Зеленова, подъехавшего вплотную к бричке.

— Порядок, — скорее глазами, чем словом, подтвердил Зеленов.

— Молодец, — буркнул и Званицкий. — А тот, в папахе, не Черкашин? Далеко, не вижу.

— Оне самыя, — услужливо подтвердил Иван.

— Вперед, Егорий, — бодро скомандовал Званицкий и, полуобернувшись к Сибирцеву, выдохнул: — Значит, как договорились.

— Так, полковник. Федор, приготовились!

По телегам и едущим обочь всадникам прошелестело негромкое: «Приготовились...»

Возле леса бричка остановилась, Званицкий тяжело спрыгнул на землю и пошел навстречу спешившемуся Черкашину, разводя руки в стороны, как бы разминая плечи и поглаживая, потирая бока.

Встретились, капитан вскинул ладонь к папахе, пожали друг другу руки, перекинулись несколькими фразами и пошли к обозу. Капитан приближался, пытливо и остро вглядываясь в лица приехавших, бегло, но цепко окидывая возы. Из-под сена кое-где торчали дула винтовок, бугрились под сеном мешки, напоминая по форме коробки с патронами. Народ в седлах и на возах сидел равнодушный и спокойный — ни тени волнения, интереса. Так, видать, и должно было быть. Чан, на войну приехали, не к теще на блины. Чего ж особо-то до поры до времени радоваться? Какая тут радость...

— Прошу познакомиться, Василий Михайлович, — Званицкий учтиво представил Черкашину сошедшего с брички Сибирцева. — Прибыл из Омска, полагаю, знакомые вам места, от моих старых фронтовых товарищей.

— Весьма рад, — не менее учтиво Черкашин щелкнул каблуками, отдал честь и пожал протянутую Сибирцевым руку.

— Ну что, едемте, капитан? — Званицкий, чуть побряхтывая, поднялся в бричку и обернулся к Черкашину. — Прошу, Василий Михайлович. Далеко еще? Успеем поговорить?

Сибирцев поднялся вслед за Черкашиным и сел спиной к Егору Федосеевичу, напротив капитана. Так он видел и его и весь обоз. Литовченко отстал от брички и ехал среди своих.

Черкашин махнул рукой, и к нему подъехал казак, держа в поводу коня капитана. Теперь они с Зеленовым сопровождали бричку с двух сторон, словно охрана.

Сибирцев видел не потерявшее настороженности, заросшее до глаз лицо казака, его короткую винтовку, привычно брошенную поперек седла. И тяжеловатое, с узкими прищуренными глазами, иссеченное морщинами лицо капитана. Этот был чисто выбрит, но мятый френч на локтях и воротнике лоснился. И потому вид его был какой-то неопрятный, испитой, что ли.

— Значит, не добрался до вас мой рыжий, жаль, Марк Осипович, — хриплым тягучим голосом заговорил капитан. — А впрочем, что за польза от лишних знаний... Я смотрю, вы налегке, — он похлопал по стволу стоящий между сиденьями пулемет. — И много их у вас?

— Есть, — однозначно ответил полковник. — Так что, я не понял вашего интереса к моему багажу, путь предстоит далекий?

— Да уж, — криво усмехнулся капитан. — Сегодня день отдыха, а завтра, Марк Осипович, тронемся к Богуславскому. Это недалеко.

Да, Сибирцев уже посмотрел по карте, добрая сотня верст, если не больше.

— Начинаем, значит, — хмуро констатировал Званицкий словно самому себе. — Сколько у вас штывков, Василий Михайлович? — спросил как бы между прочим.

— Около сотни. Да у хорунжего Селянского два эскадрона. И ваших, я смотрю, с полсотни. Пройдем, и еще запомнят нас краснопузые... на всю жизнь... Извините, Марк Осипович, вы, часом, этого не прихватили? — капитан щелкнул себя по шее возле воротника. — А то мы тут поиздержались, ожидаючи-то... — Он нелепо, будто булькая горлом, хохотнул.

— Найдется, — нахмурился Званицкий и искоса, недовольно посмотрел на капитана. — Только рано вроде бы победу праздновать.

— Ах, полковник, — почти панибратски заметил Черкашин, развалясь на спинке сиденья, — вы, как человек истинно военный, суеверны. Может, оно и неплохо. Может, за это и ценят вас там, — он показал пальцем в глубину леса, — у наших полковников. А я, наверно, из другого теста. Но ничего, сейчас приедем, баньку я приказал истопить. А после как же русскому человеку без чарки, а? Что скажете вы, наш сибирский гость? — он лениво взглянул на Сибирцева.

— Полностью поддерживаю, — скупно улыбнулся он.

— Ну вот и отлично! — Капитан вмиг собрался, выпрямился, оглянулся на обоз и резко приказал деду Егору: — Сейчас бери левее, понял, борода?

На высоком откосе лесного оврага, по дну которого бежал ручеек, стояла довольно приличная изба, курившаяся дымком. Неподалеку, через поляну, сарай с высоким сеновалом. Возле него, у коновязи, десятка три лошадей, телеги. Посреди поляны бездымно горело несколько костров, вокруг которых сидели кружками люди в фуражках и папахах, в наброшенных на плечи шинелях — ночи в лесу-то, поди, прохладные. Между кострами в козлах стояли винтовки.

При виде обоза несколько человек поднялись, приблизились к телегам, желая, вероятно, встретить земляков, может, даже односельчан. Остальные продолжали заниматься своими нехитрыми делами.

От дальнего костра донеслась песня: молодой хрипловатый голос заунывно тянул про казака.

Скакал казак через долину,

Через кавказские края,

Скакал он в садик одинокий,

Блестит колечко на руке...

Помнил Сибирцев эту песню, тоже певали ее тоскливыми голосами казаки из эшелона па станции Гродеково. Только пели они не «кавказские края», а «манжурские поля». Ближе к естеству.

Полковник поманил пальцем Литовченко, но обратился к капитану:

— Василий Михайлович, приказать занести в дом оружие? Или проще часовых поставить? Я полагаю, зачем таскать туда-сюда?

— Распорядитесь, Марк Осипович. Ваши люди, пусть и охраняют. Ну, прошу, господа, в дом.

Поднимаясь по ступеням в сени, Сибирцев обернулся к певцу, а тот все пел-стонал, покачиваясь у костра:

Кольцо казачка подарила,

Когда казак шел во поход.

Она дарила — говорила,

Что через год буду твоя..

«Дурак ты, дурачина, — подумал Сибирцев. — Какая нелегкая занесла тебя сюда?.. Какая нелепость... Увидишь ли ты свою казачку-то?.. Черт его знает, почему берет она за сердце, эта старая песня...»

Стол был накрыт для приема гостей. Не хватало разве что хрусталя. Его заменяли фронтовые кружки. Сибирцев достал из своего мешка пару бутылок самогона, что взял в дорогу Званицкий, и поставил их в середину стола.

— Может быть, сперва о деле? — недовольно взглянув на Сибирцева и капитана, резковато спросил полковник и неприступно вздернул черную бороду.

— Сей момент... — Что-то знакомое, полицейски-подхалимское прозвучало в готовности капитана, у которого, заметил Сибирцев, заблестели узкие глазки.

Сибирцев шутливо-виновато пожал плечами и под суровым взглядом Званицкого стушевался. Отвернулся, стал смотреть во двор.

Там приехавшие понемногу разбрелись, располагались по трое-четверо по краям поляны. Знают дело. Кто-то остался у пулемета. Остальные, выполняя приказ Литовченко, незаметно берут бандитов в кольцо. Справится Федор, успокоился немного Сибирцев и стал слушать беседу капитана с полковником.

Черкашин, локтем сдвинув тарелки к центру стола, на освободившемся пространстве расстелил потрепанную на сгибах карту и кривым ногтем мизинца стал показывать маршрут дальнейшего следования. Сибирцев нехотя приблизился к ним, стал разглядывать карту через плечо капитана, не выражая при этом никакого интереса. Званицкий внимательно слушал, строго поглядывая на Черкашина, задавая незначительные, казалось бы, вопросы о том, где должны быть привалы, в какое время суток, откуда брать питание, где водопой, — словом, вел чисто военную игру. Черкашину, похоже, вся эта полковничья настырность порядком надоела, он не раз уже поглядывал на стоящие поодаль бутылки, и слышно было, как с трудом глотал слюну в пересохшем, требующем опохмелки горле. Когда, по мнению Званицкого, все основные сведения, включая пароли, были получены, он вздохнул и, подняв от стола голову, быстро взглянул на Сибирцева. Капитан каким-то неизвестным чутьем ухитрился перехватить этот взгляд, дернулся было в сторону, но цепкая, сильная рука Сибирцева уже захватила его горло локтем под подбородок, а ладонью другой руки он намертво запечатал рот капитана и коротким рывком отбросил его голову назад. Тело Черкашина дернулось, обмякло, потяжелело, глаза вылезли из орбит.

Званицкий, расширив глаза, смотрел на этот страшный прием.

Сибирцев отпустил захват, поднял тело капитана на руки и отнес его в соседнюю комнату. Через две-три минуты вернулся, отряхнул ладони. На вопросительный взгляд полковника подмигнул:

— Жив. Я его связал и рот заткнул. Пусть помаленьку приходит в себя... Ну что, Марк Осипович, пойду дам команду?

— С Богом, голубчик, — неожиданно вырвалось у полковника, и он осенил Сибирцева размашистым крестом.

13

На развилке, сразу за широким бродом через реку Цну, Сибирцев и Званицкий расстались с отрядом Федора Литовченко. Тем путь лежал в Сосновку и потом в Моршанск, а Сибирцеву с Марком Осиповичем кружным путем через Мишарино на Козлов. Федор посоветовал им оставить в бричке «гочкис», пару жестянок с лентами и ящик с гранатами. Дорога неблизкая, народ всякий бродит, а сведения, что везут они в Козлов, — выше всякой важности.

Смотрел Сибирцев в ярко-голубые глаза веснушчатого комэска, а видел его, выступающего с телеги о пламенной революционной речью перед оравой только что плененных бандитов. И не было в словах, в интонациях Федора ни тени той горечи-печали, которая так остро проявилась на сосновском перроне.

Казаки и мужики, окруженные красными бойцами и под дулом «гочкиса», быстро разобрались, кто есть кто, и единогласно порешили влиться в отряд Литовченко. Слишком уж единогласно, подумалось Сибирцеву. Ну, а с другой-то стороны — что им еще остается? Они ж знают о приказе. Кому в могилевскую охота?.. А вот еще главарей, зачинщиков не указали — тоже плохо. Опасно.

Певца попросил позвать Сибирцев. Литовченко приподнялся в стременах, оглядел свою рать и зычно крикнул:

— Мешков! Серьга! Ко мне!

Чинно подъехал на коне молодой казак в долгополой шинели с шашкой на боку и фуражке, чудом державшейся на иссиня-черной кучерявой голове. Цыган да и только. А когда повернул Мешков голову, Сибирцев увидел, действительно, висела у него в мочке левого уха желтая сережка.

— Вон тебя кличут, — кивнул Федор на Сибирцева.

— Слухаю, дяденька! — озорно блеснул зубами веселый запевала Мешков.

— А ты, часом, племянничек, но из цыган будешь? — со смехом спросил Сибирцев.

— Не-е, дяденька, коренные мы, станицы Мигулинской, — отрапортовал Мешков, — а ежели ты нащёт серьги, так то мне соложено, как меньшому у мамани.

Сибирцев ничего не понял. На помощь пришел Званицкий.

— Это у казаков порядок такой. Или обычай, если хотите. Вы с ними не служили, потому можете не знать. Меньшому в роду положено серьгу в ухе носить. И когда вахмистр командует: «Равняйся!» — по этой серьге в левом ухе определяет, кого не следует посылать в разведку или в сечу. Меньшх берегли.

— Ясно, — покивал Сибирцев. — Ишь ты, здраво рассуждали станичники. А что ж тебя, Серьга, сюда-то занесло?

— И-эх, дяденька! Кабы домой отпустили... — весело вздохнул казак. — А так чево гуторить?..

— Ты вот, я слышал, поешь: скакал казак-то... через кавказские края, а это неправильно. У пастухов: «через манжурские поля».

— Не-е, дяденька, — живо возразил казак, — у вас где, може, и так, а у нас батя вона когда ишшо с войны песню привез. Через кавказские края — надоть.

— Ну, Бог с тобой, пой как поешь, да служи с толком, а там скоро и по домам, вот как бандитов разгоним. Да не бегай ты от одних к другим. Не должен человек болтаться, как сухой навоз в проруби. До победы. Так, казак?

— Слухаюсь, дяденька. — Мешков легко вскинул ладонь к виску и, взглянув на Федора, отъехал.

— Я смотрю, — наклонился к Сибирцеву Званицкий, — вы вроде нарочно время тянете. Что, какое-нибудь недоброе предчувствие или, может, мы упустили что-то важное?

— Понимаете, Марк Осипович, — Сибирцев задумчиво обернулся к полковнику, — мне почему-то не нравится, что больно уж легко взяли мы Черкашина вместе с его отрядом. Боюсь я легких побед. Точнее, не шибко верю им.

— Ну уж это вы, батенька мой, знаете ли... Если мы что-то упустили, давайте вспомним еще раз. Обсудим.

— Не то, не то, полковник... Федор, нагнись-ка. Я вот что думаю, товарищи дорогие. Облегчая себе жизнь, мы одновременно усложняем ее Федору и его бойцам. Почему-то гложет, как говорится, душу сомнение. А, Марк Осипович? Федор, ты что скажешь?

Литовченко пожал плечами.

— А я вот смотрел на твоего Мешкова и подумал: казачки-то не покорились. Вид, боюсь, сделали только. Пока сила паша. Мужики — с теми иной разговор. А казаки — народ военный, для них присяга многое значит. Не обвели б они тебя, Федор, вокруг пальца, вот что. Что скажете, Марк Осипович?

— Есть резон, — покачал бородой Званицкий. — Может быть, не следует казаков подпускать к оружию?

— Вот и я думаю, — подхватил Сибирцев. — Ты, Федор, оружие им не раздавай, охрану поставь повернее. А за остальными — глаз да глаз. Начальству в Моршанске доложишь, оно дальше распорядится!.. — Сибирцев вздохнул. — Только я думаю, что их все равно до поры в лагерь отправят. Вся радость, что не покойники... Но им об этом — ни сном ни духом. Смотри...

— Постараюсь, товарищ Сибирцев, — тоже вздохнул Литовченко.

— И шашки пусть снимают, — добавил Сибирцев. — Хоть я и не служил с ними, Марк Осипович, но видел там, на Востоке, что такое сабля в умелых руках. Вы, ребята, и охнуть не успеете. А причину назови любую. Что, мол, через населенные пункты, а их впереди несколько, командир приказал проходить без оружия, во избежание, и так далее. Ну, словом, сам придумай. Их озлоблять не надо, но и много воли — тоже лишнее. Главное, дисциплина жесточе... И вот еще одно обстоятельство. Пока с ними, Марк Осипович, везут Черкашина, у многих, я уверен, будет маячить перед глазами неминуемость расплаты. Черкашин — это для них трибунал. А кое для кого и стенка.

— Что же вы предлагаете? — напустился полковник.

— Предлагаю взять его с собой. Оторвать таким образом от них этот соблазн. А ты нам, Федя, выдели парочку надежных ребят, а? До Мишарина только. А дальше мы разберемся сами.

На том и порешили. Черкашина, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту, уложили на охапку сена на днище брички. Капитан яростно извивался и вращал глазами. Сибирцев молча вынул наган и поднес его к самому носу капитана — тот враз успокоился.

— Ну вот и порядок, — одними глазами улыбнулся Сибирцев. — А ты, Федор, как доложишь, только тогда возвращайся за оружием. Не раньше. И остановок старайся не делать. Жми на рысях. Ну, бывай, сынок. — Сибирцев пожал Литовченко руку и крикнул деду: — Трогай, Егор Федосеевич! Надо до темноты в Мишарино поспеть.

Следом за бричкой, как было уговорено, припустили на рысях двое бойцов.

— Вот ведь странное какое чувство, — негромко сказал Сибирцев, не глядя на Званицкого, — всего сутки побыли рядом, а расстаешься — душа болит. Как о родном.

Званицкий молча кивнул.

— Благодать... — прошептал Сибирцев и расстегнул гимнастерку, открыв грудь раннему, не сильно жаркому еще солнцу. Он зажмурился, прикрыл ладонью сомкнутые веки. Одна почти бессонная ночь, другая — не много ли?

Плыла, покачивалась, словно на речных волнах, бричка, голова кружилась, было легко и приятно, будто во сне. Резко пахло лошадиным потом, ветерок промчался и затих. В ногах завозился связанный Черкашин. Сибирцев лениво приоткрыл глаза и зажмурился: встречное солнце было так ярко, что дед, сидящий впереди, виделся серым расплывчатым силуэтом. Званицкий сидел согнувшись, локти на коленях, большие пальцы утонули в бороде. Всадники скакали чуть впереди, потому что сзади густым непрозрачным шлейфом клубилась бело-розовая пыль. Небо было белесым, безоблачным. Закинув голову, наблюдал Сибирцев, как высоко-высоко, одиноким, темным крестиком стоял коршун. Тихо было вокруг, только копыта выбивали ритмичную глухую дробь да звякало железо на дне брички.

— Марк Осипович, — Сибирцев откашлялся, — можно мне повторить вам один вопрос, на который вы так и не ответили?

— Да, да, — оторвался от своих дум Званицкий, — слушаю вас.

— Почему вы меня все-таки пожалели, не убили?

— Ну, право же, Михаил Александрович, что за декадентство такое! Вы, простите, здоровый — духовно, я имею в виду, — человек, а задаете какие-то самоедские вопросы. Почему, да отчего... Впрочем, убрать вас у меня было немало возможностей и, больше скажу, причин. Но... тут вы сами виноваты. Во-первых, помогли с разбойниками, помните? А чувство благодарности, оно в нас, русских людях, сидит иной раз гораздо глубже, чем мы о том сами подозреваем... Ну-с, затем, сударь, я вашу спину видел. А военному человеку такие шрамы говорят о многом. Кроме всего прочего, Егор кое-что порассказал о вас, не поверите. Вот я и подумал: странно, право, почему это к вам людей тянет?.. Нет, не могу понять... Хуже было, когда я догадался и уверился окончательно, что вы чекист. Истинно скажу: эту породу людей я никогда не знал, не жаловал, и ничего, кроме стыда за Россию и омерзения, они у меня не вызывали. Я много слышал об их черных делах.

— А вам не говорили, что они человечинной питаются?

— Вы будете смеяться надо мной, стариком, но говорили. И я верил. Все эти ваши расстрелы, истязания, насилия, убийства раненых... Никакого суда, никакой справедливости... Средневековые какое-то...

— Вы правы, конечно, по-своему, односторонне, субъективно. Поверьте и мне, буквально те же самые обвинения я могу выдвинуть против вашего «Святого белого движения». Вот вы-то не были в Сибири, скажем, не имели дел с колчаковской или семеновской контрразведкой. А я ведь их всех в лицо знал, водку с ними жрал после их, скажем так, боевых операций. Или вот теперь скажу, только не отчаивайтесь, сидит сейчас ваш Петр Никандрович в Иркутске, в Чека, и дает показания по поводу деятельности нашего с ним военного отдела. Советская власть не так строга, как вам представляется. Ну, посадят вашего Гривицкого снова в лагерь, отсидит он. выйдет потом на волю, может, и в Польшу свою уедет. А попадись я, скажем, в руки к этому типу, — Сибирцев сапогом показал на лежащего Черкашина, — знаете, что бы он со мной сделал? То-то, и не дай вам Бог даже во сне представить — навеки сна лишитесь. Так вот, к чему я это все? А к тому, что Петя восемнадцатого года и Петр двадцатого — люди абсолютно разные, Марк Осипович. После колчаковщины он остался в семеновской контрразведке. Не жалейте о нем, не стоит, право.

— Вы уверены, что Чека ваша лучше? — тоска прозвучала в голосе Званицкого.

— Кто знает, что лучше? Жестокость — она везде жестокость. И у нас есть тяжелые, плохие люди. И их, к сожалению, немало. И оправдание, что революции в белых перчатках не делаются, тоже, конечно, слабое, тут я с вами готов согласиться. Везде, где бы они ни происходили, самое ужасное — это гражданские войны. Полнейший развал души, а претензии предъявлять некому.

— Вот мы и давеча обсуждали с вами... — заметил полковник. — Я так думаю, что если бы эти, как вы их называете, эсеры, меньшевики, народники всякие в семнадцатом году пошли на социальные реформы, вряд ли бы произошел ваш большевистский переворот. А следовательно, не было бы и этой кровавой гражданской...

— Мне рассказывал мой близкий товарищ там, в Москве, при встрече, а он человек информированный, можете мне поверить, что примерно эти же слова говорил недавно Ленин. Только у него пожестче: мол, не нашлось бы таких дураков, чтобы совершили революцию... Но здесь надо иметь в виду, Марк Осипович, еще одно обстоятельство. Вот какое: ведь Ленин сразу предложил коалицию, с первых же дней. И не вина большевиков, что она просуществовала недолго, развалилась. Вот в чем дело. И вы не знаете, не можете даже представить себе, какая существует сильная и решительная белая эмиграция. Я уж не говорю о тайной и явной интервенции. Ведь провокации, взрывы, террор — не мы начали, нет. Вы-то тут, в России, были, а я там сидел два, считай, года. Навидался... Потому и хочу теперь, уверен, что многое можно, да и нужно решать миром, а не войной, не кровью.

— Эх, Михаил Александрович, — как-то сокрушенно вздохнул Званицкий, — вашими бы устами да меду испить... А сколько, позвольте полюбопытствовать, лет вам, Михаил Александрович?

— Ну, вообще-то, я не барынька и не кокетка, но хотелось бы знать, что вы сами скажете? Затрудняетесь? Ладно. Двадцать семь осенью. Старый я уже.

Званицкий неожиданно звонко, почти по-юношески расхохотался.

— Ну надо же, насмешили! Старик! Боже, как вы еще молоды...

— Вот так же смеялся совсем недавно и Мартин Янович Лацис, особоуполномоченный ВЧК. В марте. А кажется теперь, что целая жизнь прошла. Нет, Марк Осипович, это, увы, не смешно, потому что в мои последние четыре года вместилась революция, как ее ни называй, и со всеми издержками. А это и есть вся жизнь.

— Не разделяю ваше столь ревностное — не так ли? — отношение к этой даме. Вы Герцена Александра Ивановича читали, молодой человек?

— Марк Осипович, зачем же так? Вы же изволили слышать, что я в университете учился. И как же без Герцена-то? Особенно нам, молодым. Странно другое — что вас он еще интересуется.

— Я не к тому. Просто вспомнились его рассуждения о революции. Не смею, да и не готов цитировать, но суть в следующем. Что проповедовали христиане, задает он вопрос, и что из этих проповедей поняла толпа? А толпа приняла в христианстве только совесть и ничего — освобождающего человека. Заметьте, что впоследствии именно так она восприняла и революцию: кровавой расправой, гильотиной и мстью. К слову «братство» тут же присовокупили слово «смерть». «Братство или смерть» — «Кошелек или жизнь», вам не кажется это очень уж схожим? И далее господин Герцен замечает главное: непростительно думать, что достаточно возвестить римскому миру евангелие, чтоб сделать из него демократическую и социальную республику... Ну и так далее. Вот так-то, молодой человек. А вы торопитесь, словно боитесь не успеть. Россия — страна большая и долгая. Она еще в спячке пребывает, в отсталости и бескультурье, а вы ее будить да стращать. Подняли медведя среди зимы, вот он в шатуна и превратился. И выход теперь один: убить его.

— Ну, я не смотрю столь пессимистически... Я вот что думаю, не перекусить ли нам? Как бы ни были злы и бесчеловечны большевики, но, мне кажется, если мы не позволим нашему капитану наконец опохмелиться, он может не доехать. Как ваше мнение на этот счет?

— Вы желаете доказать, что ничто человеческое и вам не чуждо? — усмешка тронула губы полковника.

— Вот именно. И потом мне не терпится задать капитану один вопрос.

— Какой же?

— А вот услышите. Егор Федосеевич, как подъедем к тому лесу, скатись на обочину. Перекусим.

Дорога круто заворачивала к сосновому бору. Теперь уже стал узнавать знакомые места Сибирцев, проезжали тут. В тени густого сосняка и остановились. Бойцы по просьбе Сибирцева вытащили из брички Черкашина и посадили его спиной к дереву, вытащили тряпку изо рта, развязали руки. Но капитан качался, закатив глаза, будто снулая рыбина.

— Сейчас мы приведем его в чувство. Давайте, ребята, нажимайте. Егор Федосеевич, командуй.

Сам он налил полкружки самогона, пальцами приоткрыл рот капитала и осторожно влил в него самогон. Тот поперхнулся, затряс головой, я Сибирцев протянул ему кусок хлеба с мясом.

— Ну, капитан. Закусывайте.

Но тот, словно не проснувшись, вяло жевал, кивая носом. Через какое-то время глаза его

наконец раскрылись и он осмысленным взглядом обвел присутствующих. Похоже, память у него отшибло, он никого не узнавал.

— Хотите еще? — предложил Сибирцев.

— Да-о, — проклокотало в горле Черкашина.

— Нате, — Сибирцев протянул ему еще полкружки.

Вот теперь он пришел в себя. Уронив на траву хлеб с мясом, подвигал пальцами, размял запястья, взглянул на Сибирцева:

— Крепко вы меня, однако...

— Что поделаешь.

— Куда везете?

— В Козлов. В Чека. Есть еще вопросы?

— Нет, — буркнул капитан и уронил голову на грудь.

— Тогда у меня к вам вопрос, — настойчиво произнес Сибирцев.

Капитан поднял голову, посмотрел с откровенным презрением.

— Отвечать не намерен.

— Вы не поняли, этот вопрос лично вас не касается. Вашего будущего, так сказать. Меня интересует сушая мелочь. Скажите, Василий Михайлович, зачем вы сфабриковали указ о приговоре к расстрелу полковника Званицкого. Вы же знали, что нигде не было упомянуто его фамилии, Сами придумали или приказал кто-нибудь из ваших начальников? Ответите, дам еще выпить.

— Вам-то что теперь?

— Ну, как хотите, — Сибирцев демонстративно отвернулся.

— Да скажу, скажу, мать вашу... — Черкашин, запинаясь, произнес длинную и грязную матерную фразу, выдохся и, помолчав, добавил: — Надо же было этого старого дурака, козла вонючего делом заставить заниматься. Дерьмо паршивое... Наливайте, я все сказал.

— Ну что ж, заработали. Держите кружку... А что, Марк Осипович, и это обстоятельство так-таки ничего не изменит в ваших воззрениях? Впрочем, молчу. Каждый должен обдумать свое и прийти к единственно верному решению... А знаете, зачем я с вас слово взял?

— Я слушаю, слушаю, — мрачно отозвался Званицкий. Он отвернулся и теперь смотрел в поле.

— А затем, что, ежели помните, у Монтеня на этот счет есть достойный парадокс, вот, дословно: нив было бы значительно проще вырваться из плена казематов и законов, чем из того плена, в котором меня держит мое слово. Черкашин ведь здорово припугнул вас, но ошибся: надо было взять с вас честное слово. Однако такая простая вещь не пришла ему в голову. А я не ошибся. Ну, едем? Капитан, давайте ваши руки. А если станете обижать нас, я вам заткну рот вашей же вонючей портянкой. Все ясно? По коням!

Уже когда бричка тронулась и въехала в полусумрак бора, Званицкий, наклонившись к Сибирцеву, тихо, почти на ухо, спросил:

— Как вы узнали, что он меня шантажировал?

— По его роже, Марк Осипович. Вы, вероятно, были неплохим командиром, но никаким физиономистом.

14

Вой стоял над Мишариным. На паперти церкви Флора и Лавра, расставив ноги в шикарных галифе и начищенных сапогах и заложив руку за отворот защитного френча, словно Керенский на митинге, стоял председатель сельсовета Зубков. В другой руке он держал за козырек суконную фуражку со звездочкой. Рядом с ним — такой же длинный, только худой и сутулый — стоял Баулин, командир продотряда. На нем были обычные его брюки, обмотки, грубые солдатские ботинки, а поверх расстегнутой темной косоворотки — залатанная тужурка.

Взмахивая фуражкой, Зубков величественно руководил актом закрытия рассадника народного опиума. Под неумолчные гневные крики и бабий вой продотрядовцы начали выносить из церкви иконы. Первую же Зубков торжественно и собственноручно с треском расколосил о каменные ступени храма. Бабы тут же, толкая друг дружку, ринулись к продармейцам, держащим на руках груды святых досок.

На паперть поднялся одноглазый кузнец Матвей Захарович, даже фартук не успел снять, так торопился. Он подошел к Зубкову, рукой отстранил пытавшегося было помешать Баулина и громко, чтоб вся площадь услышала, крикнул:

— Что ж ты творишь, супостат ты этакий, а?! Врагу не пришло в голову храм порушить, а ты на него руку свою поганую поднял? Да я тебя!.. — Кузнец размахнулся, но на его тяжелом кулаке повис Баулин.

— Матвей Захарович, охолопись, опомнись, побойся Бога! — испуганно закричал он.

— Это вы, злодеи, его забыли! — продолжал орать кузнец. — Лучше уйди, Баулин, от греха! Я думал, ты человек, а ты самый последний гусак, вот вроде этого! — он ткнул кулаком в Зубкова.

Тот упруго отскочил.

— Ответишь, Матвей! Перед всей партией ответ держать будешь. Мракобесие поддерживаешь? Эй, граждане! — неожиданно зычно крикнул он. — А ну молчать! И слушай постановление.

На площади постепенно стало затихать.

— Так вот, закрытие храма — не моя инициатива, а уездного начальства. Известные вам представители, побывавшие тут, учитывая смерть священника отца Павла, а также руководствуясь указом, что ученье — свет, а неученье — тьма, приказали, чтоб эту церкву закрыть навсегда и из народного опиума превратить ее в красный клуб нашей сознательной молодежи. Поскольку эти иконы являются орудием угнетения сознательных трудящихся масс, их положено тоже уничтожить. Однако! — Он поднял руку с фуражкой, чтобы перекричать поднимающийся возмущенный гомон толпы. — Однако, ежели которые темные и несознательные бабы захотят их взять к себе, Советская власть в моем лице, а также секретаря

ячейки Антона Шляпикова, который в отъезде в Тамбове, препятствовать не будем. Я все сказал, бабы и мужики. Баулин, пушай берут, ежли хотят. А тебя, Матвей, за личное оскорбление Советской власти я притяну к ответу. Пойдем, Баулин, нечего нам делать среди этих темных масс. А кресты, граждане, — он указал фуражкой на луковицы куполов и на колокольню, — эти кресты мы все едино поскидаем. Но будет красный клуб осеняться поповским... мировоззрением! Опять же и сельсовету помещение нужно.

В этот момент на площадь въехала хорошо известная мишаринцам поповская бричка с дедом Егором на передке и в сопровождении двоих вооруженных верховых. Толпа отшатнулась было, но тут же прилипла, окружила бричку. Видно, приняв с перепугу Сибирцева и чернобородого представительного Званицкого за крупное уездное начальство, мужики и бабы тут же начали изливать свое крайнее возмущение действиями гусака-Зубкова. Однако когда председатель сельсовета целенаправленно пошел к бричке, толпа расступилась. Власть, она и любая — власть.

— Ну что, Зубков, опять народ будоражишь? — Сибирцев поднялся в бричке. — Здорово, Матвей Захарович, — кивнул приветливо кузнецу. — И ты, гляжу, тут, Баулин? Что ж это вы, толковые мужики, порядка навести не можете, а?

— Ты кто есть такой, чтоб мне указывать? Ты — беляк недобитый! Я тебя сразу признал, — с презрением сказал Зубков и решительно взялся рукой за борт брички.

— Кто я такой, Зубков, тебе Матвей с Баулиным скажут.

Баулин тут же подскочил к Зубкову и стал шептать ему на ухо, а что, за шумом толпы Сибирцев не расслышал.

— Ну и чего? — не сдавался Зубков. — Все равно, пусть сперва документ соответствующий покажет! А этого господина, который с ним, мы знаем. Он сродственник бывшего попа. Документ свой, говорю, покажь!.. А, что я говорил, опять же нет у него документа, Баулин. А поскольку нет и быть не может, значит, контра он. И я тебе приказываю арестовать его.

— Ребятки, — Сибирцев махнул рукой бойцам, и те подъехали, отгеснив толпу крупами лошадей. — Вот этот гусак, стало быть, хочет арестовать нас, а?

В руках у них лязгнули затворы. Толпа послушно отшатнулась, замерла в ожидании.

— Слышь, Баулин, — сказал спокойно Сибирцев, — тебе что, тоже нужен мой докмент? — Он невольно передразнил Зубкова. Баулин отрицательно затряс головой. — Тогда слушай мое распоряжение. Выделяй мне десяток своих продармейцев для охраны и доставки в Козлов опасного бандита.

Баулин глянул через борт брички и увидел лежащего на дне связанного человека.

— А ты, Зубков, иди, иди себе. Нечего тебе тут делать, а то, неровен час, рассердишь меня.

Но Зубков, не зная что предпринять, продолжал стоять, держась за бричку.

Сибирцев заметил, что к Марку Осиповичу, делая ему знаки рукой, стал продираться сквозь толпу мужик с пышной сивой бородой. Нагнулся к Званицкому.

— Марк Осипович, приглядите за этим, — он кивнул на Черкашина, — я с мужиками поговорю. — И сошел на землю. — Ну, Матвей Захарович, расскажи, чего шум, кого обижают?

Кузнец, посверкивая единственным своим глазом, ухватив обеими руками ладонь Сибирцева, тряс ее а одновременно рассказывал, что решил Зубков храм закрыть, а для подмоги, ишь ты, Баулина призвал с его продармейцами. Иконы стали крушить, над верой насмехаться, ну, народ и зашумел. Где ж такой закон, чтоб церкву обижать? Поп, он какой ни есть тоже человек, а церква не виновата, за что ж ее грабить?

— Тебе-то, Баулин, зачем все это надо? — Сибирцев обернулся к Баулину. — Ты ж умный человек. Сам же говорил, какое трудное нынче время. Зачем людей-то озлобляешь?

— Бес попутал, товарищ Сибирцев, — виновато наклонил голову Баулин. — А его-то местные, активисты которые, те отказались, вот он и приказал нам.

— Не я приказал, — встрял в разговор через плечо Баулина Зубков, — а имею на то личное распоряжение товарища Ныркова. И ты, Баулин, не подпевай контре, ты должен Советскую власть слушать. И исполнять. А кого это вы везете в бричке, принадлежащей покойному попу?

— Не твое дело, Зубков, — отрезал Сибирцев.

Он оглядел площадь и хоть видел ее только однажды, не узнал вовсе. Сгорело высокое, на каменном лабазе, здание сельсовета, дотла сгорел дом Павла Родионовича. Черные обугленные трубы, обгоревшие деревья, пустота, поваленные изгороди. Не участвовал здесь в бою Сибирцев, он почти сутки находился в усадьбе Сивачевых, у речного брода. Здесь вели бон Нырков со своими чекистами, Матвей, Баулин, Зубков этот и другие мужики, отстоявшие село. Они — тут, а он, Сибирцев, там, где свалился в глухую приречную крапиву сотник Яков Сивачев, атаман разгромленной банды. Отсюда, с взлобка площади, видны были серые кроны столетних лия, окружавших старый, опустевший теперь дом.

— Скажи-ка, Матвей Захарович, а где же теперь ваша власть собирается? Ячейка, совет, а?

— У меня, товарищ Сибирцев. С бабой живу, вдвоем, а хата просторная, да. Вот робяты ко мне и идут.

— Ну что, может, и нас в таком роде пригласишь? Заодно и поговорим, товарищи партийцы. Зубков, тебя, это, между прочим, тоже касается.

Сибирцев вернулся к бричке, поднялся на подножку.

— Граждане, расходитесь. А насчет церкви, это вы сами должны решать. Хотите закрыть, закрывайте. И никакой Зубков тут не указ. Пошлите людей в уезд, пусть они сами там в укоме или уисполкоме договариваются... Марк Осипович, мы сейчас поедем к кузнецу, там будет разговор. Если вы хотите кого-то встретить, пожалуйста. Только помните наш уговор и ваше слово. И приходите туда. Я думаю, нам удастся сегодня же выехать в Козлов.

Через полчаса в действительно просторной хате Матвея Сибирцев открыл короткое заседание. Зубков пришел, но сидел нарочито отчужденно, положив рядом на лавку свою фуражку и закинув ногу на ногу. Хозяин хаты и Баулин устроились за столом.

— Товарищи партийцы, — начал Сибирцев, — ввиду чрезвычайного положения в губернии это собрание кашей ячейки проведу я. Мои полномочия Баулин знает, видел мандат.

Подтверждаешь, Баулин? — Тот кивнул. — Хорошо. Докладываю. Только что с помощью сосновского заградотряда мы фактически ликвидировали банду капитана Черкашина. Сам капитан пленен, он там, в сенях, под охраной, везем его в Козлов. Но неподалеку гуляет в ожидании разбитого отряда другая банда, хорунжего Селянского, два эскадрона. Банды

теперь, по моим сведениям, будут двигаться на юг. Имейте это в виду, выставляйте заслоны, словом, организуйтесь, иначе второй раз, Матвей Захарович, может не повезти. Ты понял меня?.. По поводу церкви. Ты, конечно, Зубков, мягко говоря, не сильно умный человек... Молча! Не перебивай. Сперва я скажу, а потом будешь оправдываться. Сейчас народ в губернии — как порох. Спичку поднеси — и вспыхнет. Только что мужики всем селом объединились, защитили дома, и тебя, кстати, с твоей властью, от бандитов, а ты вместо благодарности ишь чего учудил! Да самому отъявленному врагу Советской власти не придет в голову сделать то, что ты натворил! Это ж надо! Народ молится во избавление от врага, а ты церковь закрывать. Другой заботы не нашел — кресты сшибать! Обожди, придет еще твое время, развернетесь вы с Нырковым в борьбе с народным-то опиумом! А сейчас — нельзя. Не будоражить надо людей, а соединять их. И на продотряды хватит опираться. Нету их больше. Кончились они. Давно уже новая поли гика у партии в деревне. Так что пора и тебе, Баулин, собираться домой в Питер.

— Да мы, вообще-то, готовы. Остатки хлеба собраны. Хоть сейчас можем. А вот с храмом, действительно, не то у нас вышло, Зубков. Да еще иконы ломать! Нет, не по-людски как-то...

— А теперь к тебе личная просьба, Матвей Захарович. Ты присмотри, куда деда Егора приспособить-то можно. Ни жилья ведь, ничего. Может, в старую усадьбу его, к Дуняшке, а? Храм вы, конечно, закроете, тут спору нет, не сегодня — так завтра, вот он и останется без куска хлеба. Сторожем его куда-нибудь, что ли... А нам дальше ехать надо. Так что, товарищ Баулин, когда, ты говоришь, отправляться-то собрался?

— А чего тянуть-то, можно хоть и завтра.

— А ежели нынче? Как поглядишь?

— Можно и нынче, — задумался ненадолго Баулин, почесал затылок. — Можно, однако. Ну, что ж, товарищи, если других мнений нет, я пойду. Ежли через час-другой, да, товарищ Сибирцев?

Поднялся и Сибирцев.

— А ты, Зубков, думай, что делаешь. Так ведь и до вредительства дойти недалеко. Гляди, не усидеть тебе с такой прытью. А о твоих художествах я сам доложу уездному начальству. Не народ тебе, Зубков, а ты ему служить обязан, понял?.. Нет, гляжу, ни хрена ты не понял... Гнать его надо, Матвей Захарович, в три шеи. Пока не поздно. Нашли, ей-богу, кого выбрать себе на голову...

— Да разве ж эго мы выбирали? Приехали, да и назначили его.

— Ничего, — пообещал Сибирцев, — как назначили, так и прогонят.

С отсутствующим видом выслушал все это Зубков, поднялся, громко отряхнул фуражку о колено и заявил:

— У меня на этот счет имеется личное и полностью противоположное мнение! — Толкнул дверь и вышел.

— Ну и гусак! — восхитился Сибирцев. — Метко его ваши окрестили. Пойду я пока, Матвей Захарович, добреду до усадьбы, поклон отдам. А ежели придет Марк Осипович, пусть подождет. Так не забудь про деда Егора, Матвей...

На дворе буквально столкнулся носом к носу с Зубковым. Тот, загораживая дорогу, стоял, расставив ноги и заложив пальцы за ремень. Вспомнил Сибирцев — Ныркова, дурак, копирует.

— Ну, чего тебе еще неясно?

— Единственное, что я могу для вас сделать, — сурово произнес Зубков и набычился, — это отпустить вас, не арестовав. Можете уезжать, хотя лично я считаю, что это неправильно.

— Да пошел ты... — выругался Сибирцев и рекой отодвинул Зубкова с дороги.

По широкой и пыльной сельской улице медленно шел Сибирцев к реке. Несколько дней назад вот так же вела его дорога сюда, на площадь, выложенную булыжником, и слышал он веселый звон железа и размеренное тюканье топора. Шел знакомиться с местными жителями, с церковью этой, с колокольной — свечечкой, с которой потом бил из пулемета по наступающим бандитам чумазый Малышев. А теперь как бы повторялся весь путь, но в обратном направлении. Избы с пыльными вербами и серыми конопляниками на задворках, заборы, плетни. Взлобок и за ним просторный спуск к реке. А вот, левее, старая усадьба под липами, густой отцветший сиреневый сад.

Сибирцев прошел в калитку, по песчаной дорожке приблизился к террасе. Поднялся по скрипучим ступенькам. Дикий виноград и плющ оплели ее, затенили. А недавно здесь вовсю гуляло солнце. Он сидел в скрипучем кресле-качалке, а рядом, на ступеньках, — Маша с огромной, пьянящей дух ветвью лиловой сирени в руках.

Скрипнув, отворилась дверь. В доме было темно от закрытых ставен. Только в зале гулял сквозняк. Это Яков выбил раму, когда началась стрельба там, на площади. И стол огромный, черный, на витых ножках, — на месте. На нем два гроба стояли — с Елизаветой Алексеевной и ее Яковом. Отсюда и вынесли их продармейцы. Сибирцев обошел враз обветшавший старый дом, поднялся по стонущей лесенке в Машину комнату.

Здесь было все так, будто девушка только что вышла. Аккуратно застланная кровать с серебряными шариками. Зеркало над столиком. Кружевная вышивка на нем. Венский гнутый стул. Комод с выдвинутыми ящиками. Какие-то тряпки — не то бывшие платья, не то кусочки материи, из которых Маша кроила свои небогатые наряды.

Глухая, стонущая тоска охватила вдруг Сибирцева. Он сел на стул, обхватив голову руками. Увидел в зеркале отражение — усталое, постаревшее лицо с резкими морщинами на лбу, пыльный, будто тронутый сединой бобрик волос, глубоко провалившиеся темные глаза. Если бы не знал, что это он сам, подумал бы, что видит старую потрескавшуюся икону, что в правом приделе храма висит, или теперь уже висела, — может, Флор, а может, Лавр, кто его знает... Дед Егор говорил, это те, которые скот от зверя хранят. Вот-вот...

Была в этом доме жизнь. Старела, рушилась потихоньку, незаметно ветшала, а потом вдруг сразу — ах! — и развалилась. И стены уже нежилым пахнут.

Сибирцев поднялся с шатающегося стула, держась за отполированные почти черные перила, сошел в зал. Здесь в большом буфете, хранящем старинные непонятные запахи, должен быть прибор для бритья — тарелка и стаканчик со стершейся латунией, что еще Григорию Николаевичу принадлежали, мужу Елизаветы Александровны, Машиному отцу. Знакомо запели-застонали дверцы буфета: вот он, прибор. Взял его с собой Сибирцев. На память.

Вошел в свою комнату. Тут он лежал более трех недель, окруженный неусыпной заботой и вниманием Маши и ее матери. Койка его, застланная серым грубым одеялом. Приоткрытое

еще с той, последней, ночи окно совсем заплело диким виноградом.

За спиной послышался шорох. Сибирцев резко обернулся и увидел Дуняшку. Прислуга Елизаветы Алексеевны, божий человек, приживалка, если по-старому. Маленькая старуха, вся в черном, стояла на пороге, спрятав руки в широких рукавах на груди и поджав сухие, ниточкой, губы.

— Здравствуй, Дуняша! — устало поздоровался Сибирцев. — Вот, проститься с домом зашел. Поклониться памяти хозяйки. А теперь в Козлов, к Марье Григорьевне поеду. Передать чего от тебя?

Но старуха застыла как изваяние, только пристально, неподвижным взглядом сверлила непрошеного гостя. И он догадался о ее думах.

— Ты думаешь, моя вина тут? Нет, Дуняша, я бы жизнь отдал, чтоб все вернуть и ничего не повторилось. Только так не бывает, Дуняша, нет... Вот сирень твоя зацветет и умрет, а на будущий год все повторится. А у людей так не бывает... Ладно, повидались, теперь пойду я.

Сибирцев шагнул к двери, и старуха тенью посторонилась. Уже выйдя за дверь и глядя в темноту коридора, где почти неразличима была старуха, Сибирцев обернулся.

— Послушай, Дуняша, а может, примешь ты в постояльцы Егора Федосеевича? Уж больно хороший он человек. Домишко его сгорел, совсем негде старику преклонить голову, а? И тебе какая-никакая подмога. Возьми, Дуняша. Я бы вам кое-какой харч оставил на первое-то время...

Старуха молчала.

— Ну, как знаешь...

Он склонил голову, сошел по ступеням и направился по дорожке к калитке. У первых кустов, откуда еще видна была терраса, обернулся и увидел Дуняшку, которая, стоя на верхней ступеньке, торопливо и мелко крестила его.

— Так я скажу деду! — с неожиданной теплотой в голосе крикнул он. — И Машеньке от тебя привет передам! Прощай, Дуняша!

15

На следующий день пропыленный обоз прибыл в Козлов. Солнце стояло в зените, на привокзальной булыжной площади ни тени, ни деревца. Пекло невыносимо. Налетавший порывами ветер крутил посреди площади, у полуразрушенного фонтана, всякий бумажный сор, старые газеты, оборванные афиши. По фронтону вокзала тянулся на выгоревшем белесом полотне призыв: «Да здравствует Ленин! Да здравствует мировая революция!» На стене рядом с высокой двойной дверью большой яркий плакат. На нем был изображен ярко-алый флаг, на фоне которого стоял бородатый крестьянин с тугим мешком зерна. А ниже размашистый текст:

Красный флаг победно вейся

На Советской вышке —

Я отдам красноармейцам

Все мои излишки.

На земле за невысокой каменной оградой лежали и сидели мужики, бабы, бегали дети. И всюду узлы, мешки, фанерные чемоданчики. Народ оборванный, голодный. Едут, едут, бегут куда-то...

Обоз остановился возле фонтана. Продармейцы слезли с телег и взяли винтовки наперевес, охраняя привезенное зерно. К ним потянулись было люди, но, увидев винтовки, снова разбрелись в поисках тени.

Сибирцев быстро выпрыгнул из брички и направился на перрон, где была комната транспортной Чека.

Нырков поднялся из-за стола навстречу ему. Подскочил на стуле Малышев, гремя лакированной коробкой маузера. Из соседнего помещения на шум выглянули бойцы. Узнавая Сибирцева, радостно приветствовали его. Да и сам он был доволен, будто после долгой разлуки оказался дома.

Огляделся. Прохладная комната с высоким потолком. Знакомая печка. Чайник на ней закопченный, из которого Малышев угощал его морковным чаем. Все как было. Даже календарь на стене за 1917 год, приложение к журналу «Нива», и тот сохранился.

Сибирцев, помнится, спросил тогда Ныркова, зачем, мол, старье держишь? А Илья ответил, что, поскольку нового негде достать, он ведет, так сказать, отсчет от революции. Просто под числа в уме другие дни подставляет, и все. Удобно, если привыкнешь.

— С приездом, Миша, заждались мы тут тебя, — сказал наконец Илья, похлопывая Сибирцева по плечу и почему-то отводя глаза в сторону. — Ну, что сделал, кого привез?

— Там у меня в бричке, Илья, Званицкий, о котором я по телефону говорил тебе, и связанный капитан Черкашин. Его надо куда-нибудь приспособить.

— Малышев! — быстро распорядился Нырков. — Обоих в домзак, к Еремееву. Быстро!

— Погоди, погоди, Илья. — Сибирцев остановил Малышева, кинувшегося было к выходу: — Не торопись и ты. Сейчас решим. Послушай, Илья, с полковником так нельзя, он нам, мне лично очень помог. Наш он теперь, Илья! Нельзя его в домзак... Там, кстати, баулинские хлопцы с обозом хлеба, но они сами разберутся, куда им отправляться. Мы вместе ехали. Помогли они мне с охраной.

— Так чего ты хочешь, Миша? — в глазах Ныркова появилось недоумение. — Может, прикажешь благодарность твоему полковнику объявлять?

— Ничего сейчас объявлять не надо. Но полковник нужен мне. Понял? Он дал слово, и этого вполне достаточно. Он нужен мне, Илья, — жестко сказал Сибирцев. — Считаю это моим приказанием. Черкашина действительно нужно в домзак, а полковника не трогай.

— Да где ж мне его держать прикажешь? — взорвался Илья. — Может, к себе домой звать? А у нас тут свободных гостиниц нету!

— Не колготись, найдем помещение. Переночевать-то неужто непустишь? Нам с ним, кстати, все равно в Тамбов надо. Там сейчас начнутся главные дела.

— Ладно, Малышев, арестованного — в домзак, а полковника... — Ныркв вышел вслед за Малышевым, что-то сказал ему, вернулся и закончил: — Ну, а полковника он потом сюда доставит.

— Другой разговор. Ты, вообще-то, малость охолонись, Илья, чего разбушевался? Расскажи, какие новости?

— Плохие, — сразу и резко ответил Ныркв. — Да ты садись, садись, Михаил.

Сибирцев сел на стул Малышева.

— Ну, не тьяни, что произошло? — защемило под сердцем.

— Сосновка сообщила... Нынче... Недавно вот... В общем, убили Литовчеико. И еще нескольких человек из его отряда. Та банда, которую они взяли, взбунтовалась. Некоторые разбежались.

Сибирцев с силой трахнул кулаком по столу.

— Ой, дурак, ой, какой же дурак!

— Кто? — вздрогнул Илья.

— Да я же, я, — простонал Сибирцев. — Ведь я же говорил ему!.. Ведь болела же душа... Как же ты, Федор, ах ты, мать честная... Вот же беда какая!..

— Ну ты, Миша, того, не шибко убивайся, — начал хмуро успокаивать его Ныркв, — при чем здесь ты? Литовченко, поди, не мальчик. А коли сам ворон считал, за то и наказан. А ты тут при чем?

— Так вместе же мы брали банду эту, Илья! Как я еще сообразил атамана-то с собой увезти! Вот так: скакал казак через долину, и все дела...

— А казак тут при чем? — Илья ничего не понимал, бред какой-то: казак, долина... Свихнулся, что ли, Сибирцев?

— Да песня, песня есть такая, а! — тяжело махнул рукой Сибирцев, понимая, что не объяснить Илье всего. — Банда, значит, разбежалась?

— Нет, отдельные только. Остальных его хлопцы привезли, не допустили, значит. В лагере они. А это, сказали, Литовченко велел перед смертью сюда, ко мне, значит, доложить. Только почему? Власти я над ним не имею... Ну да что теперь говорить-то, не за нашим он уездом числился. Моршанский он, пусть они там себе и думают...

Что ж ты, Федя голубоглазый, натворил!.. Отчего ж не послушал совета?.. Поверил, значит, им. Хотел поверить... Что ж ты наделал-то!..

Сибирцев сжимал виски руками и качал головой из стороны в сторону. Ныркв поднес ему чайник, сказал:

— Попей, Миша, кружка, черт ее подери, задевалась куда-то... Ты попей, попей прямо из носика.

— Не надо, Илья, — Сибирцев отстранил рукой чайник, взглянул па запачканную копотью ладонь, посторонне вытер о брюки. — Ладно, сделанного не вернешь. Ну, что ж, слушай теперь

меня, Илья, внимательно.

Коротко, но не упуская подробностей, рассказал Сибирцев Ныркову о своих последних днях, о разговоре с полковником, гонцах к нему, о Черкашине и, наконец, о планах бандитов. Следовало немедленно связаться с командованием Красной Армии, сообщить об эскадронах Селянского, о приготовлениях Антонова и Богуславского и сроках их выступления. Сведения, которыми располагал капитан Черкашин, антоновский контрразведчик, были чрезвычайно важны. Поэтому его следовало немедленно передать командованию. Пока Богуславский ждет обещанное подкрепление, можно провести и перегруппировку сил, и, зная местонахождение его и второй антоновской армии, ударить по ним, опередив намеченные бандитами сроки. Словом, цепи не было сейчас капитану Черкашину. Надо изыскать любые возможности, чтобы срочно переправить его в Тамбов, в распоряжение командующего войсками Тамбовской губернии Тухачевского и уполномоченного ВЧК Левина.

— Слушай, а где наш полковник? — забеспокоился вдруг Сибирцев.

— Придут, придут, — поморщился Илья. — Я так подумал, что незачем ему эти наши разговоры-то выслушивать. Дальше давай говори.

— А что дальше? — запнулся Сибирцев, потеряв мысль. — Да, вот что еще. Я очень прошу тебя, Илья, вмешаться в мишаринские дела. Ты представляешь, этот дурак — «гусаком» его народ кличет, — так вот, этот Зубков решил церковь закрыть, иконы стал уничтожать и до крестов, говорит, доберемся, посбиваем.

— Ну и что? — холодно спросил Нырков.

— Как — что?! — возмутился Сибирцев. — А ты сам не понимаешь разве, что сейчас подобные акции только отталкивают от нас население, создают самую благоприятную среду для бандитизма и других противосоветских выступлений! Это специально даже врагу закажи, и тот не придумает, как лучше оторвать народ от Советской власти.

— Я не согласен с тобой, Михаил, — жестко сказал Нырков. — Во-первых, закрытие церкви я сам разрешил. Попа у них нет, и слава богу, не предвидится. Этот опиум пора прекращать. Нет, конечно, озлоблять никого не надо, но прекращать пора — твердой, большевистской рукой.

— Ах, Илья, Илья... — вздохнул Сибирцев. — Я не против атеизма, но ты доживи сперва до мировой революции, а потом проводи свою политику. Ведь проклинать станут люди большевиков по причине наличия в нашей партии таких вот, как этот Гусак. Неужели и это непонятно?

— Наш спор, Миша, начался эвон еще когда, — примирительно сказал Нырков. — И ты знаешь, на согласен я с твоим... это... оппортунизмом. — Выговорил новое, интересное для него слово Илья и посмотрел почти с торжеством: мол, и мы тут не лаптем щи хлебаем.

— Да при чем здесь оппортунизм? — устало отмахнулся Сибирцев. — Дурью не надо мучиться. Придумывать дополнительные сложности на свою голову не нужно. Дураков плодить во вред революции. А ты — оппортунизм. Ленин, поди, никак не рассчитывал, что партийную линию сегодня будут гусаки проводить, а того хуже — скрытые враги. Потому то, Илья, тот, кто доводит любое хорошее дело до абсурда, — наш самый опасный враг... Ну ладно, Машу-то как устроил?

— При госпитале она, Миша, — охотно переменял тему Нырков. — Выделили ей там уголок, есть где голову приклонить. Я интересовался: хорошая, старательная девушка, и кабы не

брат...

— А что брат? Ты это брось, Илья. Ты забудь об этом. Нет и не было у нее никакого брата, понял?

— Да ладно, что ты по каждому пустяку кипяتيشся. Я ж никому, кроме тебя, об этом и не говорю. А ты ей вроде, как я понял, человек не посторонний.

— Ох, Илья, Илья, хитрый ты...

Нырков принял нелегкий вздох Сибирцева как похвалу и заулыбался.

— Ну что, заберешь сейчас свой мандат и... поминай, как звали?

— Да, кстати, где он?

— На вот, держи, держи, — Илья протянул Сибирцеву его мандат. — И скажешь ты мне: ну что, Илья Иваныч, помнишь наш мартовский уговор? Где твой отдельный вагон до Тамбова?

— А верно! — засмеялся Сибирцев и ласково хлопнул Илью до рукаву. — Где он? Подавай, и чтоб отдельный, Илья Иваныч... Эх, к Машеньке бы еще заглянуть, Илья... Но боюсь, что снова не успею. Что-то стал я везде опаздывать. Или какую беду с собой ношу, а?

— Я гляжу, твое общение с попом, Миша, не прошло даром, — Илья с легкой усмешкой, но с откровенной теплотой смотрел на него. — А то оставался бы ты у нас? С бандюками мы скоро разберемся, вон дел-то сколько впереди! Человек ты, Миша, не старый, враз обкрутим тебя, жильё какое-никакое подберем. У тебя хоть есть кто из родных?

— Нет, Илья, — откинулся Сибирцев на спинку стула. — Один я как перст на этой земле. Есть друзья, приятели. Мать была, померла в Иркутске, когда я еще там, — он махнул рукой за голову, — был. Без меня похоронили. Вот и брожу по нашей грешной. Я стреляю, и в меня стреляют. Все, чему научился... Однако где яге мой полковник?

— Да не беспокойся ты, никуда он не денется. Ты лучше оставайся-ка нынче у меня. Посидим, может, вечерком, поужинаем, Машу навестишь. Образуется, поди, а, Миша?

В торопливой скороговорке Ныркова услышал Сибирцев желание уйти от его вопроса. В чем дело? Чего темнит-то Илья? И вдруг обожгла догадка.

— Постой, Илья! Ты его что, не в домзак ли свой, часом, упрятал? Отвечай!

— Ну, Миша, Михаил, теперь ты давай охолопись. Я же все-таки здесь начальник. Мне и решать. Он кто, твой полковник? Друг тебе, брат или, может, сват? Тогда другое дело. А он нам с тобой, Миша, враг. И не скрытый, как ты говорил, а явный враг. И разрешить ему свободно разгуливать по городу — не проси, не дам. Я велел Малышеву отвести его в домзак!

— Как! — закричал Сибирцев. — Я же сказал!

— Мало ли что, — упрямо возразил Нырков. — А я передумал. И не кричи тут. Я начальник, а не ты, но ведь я ж на тебя не кричу? Нет! Там, у Еремеева, есть отдельное помещение. Зачем же его к уголовникам или там к проституткам? Не надо. Это я понимаю. Будем вот отправлять арестантские вагон в Тамбов, ты и повезешь его. Хочешь, вместе с арестованным своим капитаном, а хочешь — в отдельном купе. Твое дело. А сейчас, Михаил, негде мне его держать

и сторожить.

— Илья, — очень тихо сказал Сибирцев, поднимаясь, — ты соображаешь, что ты натворил? Я же с него слово взял! Он поверил мне! Помог с бандитами управиться!..

— Вот-вот, суд все это пускай и учитывает. Именно суд, Михаил. У нас тут не атаманская вольница-что хочу, то и ворочу. Это ты, Михаил, в других краях, пожалуйста, сам суд верши. А у нас революционный закон! А то, видишь ли, одного бандита он сам судит и сам приговор приводит в исполнение. А другого своей властью от всякого народного суда вообще освобождает! Хорошо живешь, Михаил! На каждый случай своя правда!

— Нет, ты так ничего и не понял, — тихо сказал Сибирцев.

— А ты не ори на меня! — вдруг сорвался на крик Илья Нырков. — И можешь своим мандатом у меня перед носом не размахивать! Никакого права не дает тебе твой мандат не подчиняться власти!

Громкий, почти истошный крик Ныркова словно электризовал Сибирцева, в голове у него загудело, затрещало в висках, а мысли неожиданно резко прояснились.

— Значит, нет у меня прав? — постепенно повышая голос, начал он. — Значит, только у тебя одного права, да? Ты же его, Нырков, веры лишил! Ты это понимаешь? В то, что есть на земле эта самая правда, не сдохла она, не расстреляли ее, понял?

— Плевал я на его веру! — теперь уже грохотал Нырков. — Она у него сегодня одна, а завтра другая! Надо, чтоб я, я ему верил, а я не верю! Все! Разговор окончен! — Илья рухнул на свой стул, выхватил необъятный клетчатый платок и стал быстро и нервно промокать им лысину. — И вообще, какой ты чекист, если готов врагам продать революцию!..

— Значит, окончен разговор? Нет, врешь, Нырков, наш разговор только начинается. И правда на свете одна, Нырков! И ты ее не испоганишь! — Сибирцев вдруг почувствовал, что у него заледенела спина. Он навис над Нырковым, сорвал с аппарата трубку и ткнул ему под нос: — Прикажи немедленно освободить Званицкого и привести сюда. Немедленно, Нырков, это я приказываю!

— А ты не имеешь права приказывать мне, — огрызнулся Нырков и швырнул телефонную трубку на рычаги аппарата. — И вообще, кто ты тут такой, Сибирцев? У тебя есть задание и исполняй его! Покинь помещение!

— Вот как? — ледяным голосом произнес Сибирцев и снова грохнул кулаком по столу. — Тогда я сам освобожу его! — И ринулся к двери.

— Стой! — завопил Нырков. — Стой, Михаил, Миша, черт тебя!..

В дверях показался Малышев.

— Звали, Илья Иванович?

— Останови его! Не пускай в домзак! Останови!

Малышев исчез. Нырков схватил трубку, сильно дунул в нее, стал стучать по рычагу:

— Алё, алё! Черт вас всех там!.. Барышня, девятнадцатый, живо! Быстро, это я, Нырков,

требую, ну! — Наконец ему ответили. — Еремеев где? Ты это? Слушай меня внимательно. Это я, Нырков, говорю! Там сейчас прибежит один, ты не знаешь, не перебивай! Сибирцев его зовут, не допускай до полковника, понял? Все понял? Повтори... Да... не допускать! Какое оружие? У него? Ну и что? Срочно выставь охрану! Головой отвечаешь, ни в коем случае! И никаких мандатов. Разрешаю применить оружие! Нет, пригрозить! Понял, Еремеев? Отбой... Фу ты, черт меня побери. — Нырков отвалился на стуле, схватился за голову, сжал виски. — Только этого еще не хватало!..

В проеме двери появился Малышев, зажимая рукой глаз.

— Ну, Малышев! В чем дело!

— Товарищ Нырков, — жалобно проговорил он, потирая щеку и висок, — я догнал товарища Сибирцева, передал ваши слова, а они...

— Ну, что они, они? Телись, Малышев!

— Они как врежут мне, вот, и послали...

— Мало он тебе врезал! Я б еще не так... Ладно, пойдем, ступай на мной. Этим, — он кивнул на дверь, — скажи, чтоб охраняли. Вот еще беда на мою голову...

Шагая по перрону, оглябая здание вокзала, все думал Илья, что зря, наверно, сразу не сказал Сибирцеву про полковника. Навел же он справки, позвонил куда надо после его звонка из Сосновки. И нашел, все нашел, к сожалению. Был такой приговор полковнику Званицкому. Ревтрибунал приговорил заочно. А вот участвовал он или нет в Казанском восстании или еще где, о том сведений у товарищей не имелось. Но... ведь не бывает же дыма без огня?

Загудел паровичок. Он толкал вдоль перрона состав теплушек. Народ на площади и на платформе заволновался, поднялся шум, беготня, кинулись к теплушкам. На Тамбов пойдет, вспомнил Нырков. Там, в хвосте, и арестантский вагон есть. Вот и хорошо, пускай уезжают к чертовой матери, пусть теперь у других голова болит. И он ускорил шаги.

Пересекая площадь — вон он, домзак, так здесь по-простому называли тюрьму, — Нырков уже и не рад был, что приказал Малышеву все-таки, вопреки протесту Сибирцева, отправить этого полковника в камеру. Спокойнее так, конечно. Но ведь и Миша, вон, гляди, какой сумасшедший-то, слова поперек не скажи... Нет, ехал бы он себе в Тамбов, да поскорее. С глаз, говорят, долой — из сердца вон. Одни расстройства с ним. Он, видишь ты, своевольничает, а с тебя начальство шкуру спускает...

Они вошли в прохладное помещение домзак. Часовой узнал, конечно, и Ныркова и Малышева, но документы все же проверил. После недавнего бунта заключенных жесткий контроль потребовал ввести сам Нырков.

— Ну, чего у вас тут? — спросил у часового, будто тот мог о чем-то знать.

— Порядок, товарищ Нырков, — спокойно ответил тот. — Приходил товарищ Сибирцев, у него мандат проверил, пошел он к товарищу Еремееву.

— А где начальник? — спросил Нырков, открывая вторую дверь к лестнице.

— У себя был.

Внизу, в нижнем этаже, где находились камеры, громко и гулко ухнул выстрел.

— Малышев, на месте! Охрана, за мной! — заорал Нырков.

16

Званицкий сидел в одиночной камере. Нары, стол, привинченный к полу, табуретка. В углу параша, засыпанная вонючей хлоркой. От коридора камеру отделяла толстая решетка.

Ну вот и все, понял полковник, когда его ввели сюда конвойные. И все эти разговоры о чести, совести — чистый блеф. Жаль, что так получилось, а ведь он было поверил этому чекисту. Странно, что он сам не препроводил в камеру. Наверно, все-таки не сумел, не пересилил себя. Или не захотел, какая разница. Привез, оставил на площади, «сейчас приду», а явились вооруженные тюремщики. Не хватило совести в гласа в последний раз взглянуть... Все они одним миром мазаны.

А ведь там, в Мишарине, успел предупредить его Миней Силыч, советовал ведь бросить все, уйти. Обещал спрятать. Сильно разочаровал он Миней: отказался уйти, слово сдержало. Как он, этот чекист, рассуждал-то про Мишеля Монтеня: проще вырваться из плена казематов, чем из плена собственного слова. Да... Вот тебе, Марк Осипович, и каземат, и слово твое твердое. Поди теперь, вырвись. Узнай на своей собственной шкуре, что оказалось крепче.

В гулком поперечном коридоре, видимо за той, другой решеткой, что отделяла камеру от этого длинного коридора, раздались громкие, эхом бьющиеся о стены голоса. И в одном из них полковник узнал голос Сибирцева. А-а, пришел-таки!.. Голоса приблизились. Званицкий подошел к решетке и вплотную прижался к ней лицом. Он увидел, как к той, второй решетке быстро приблизился Сибирцев и с ним тюремщик, который заводил полковника в камеру. Они кричали, орали друг на друга. Сибирцев тряс перед носом тюремщика какой-то бумагой.

— Я требую немедленно освободить его, вы поняли!

— Не имею права! — защищался тюремщик.

— Это мандат! Здесь подпись Дзержинского! Вы обязаны подчиняться!

— Ваш мандат для меня недействительный!

— Я приказываю: откройте камеру!

— Нет! Я не подчинюсь! Дежурный, ко мне! Вывести его, очистить помещение!

— Ключи сюда, живо! — взорвался Сибирцев. — Дежурный, приказываю стоять на месте! Марк Осипович, сейчас я вас освобожу! Освобожу!! Где твои ключи, сукин сын? Отворяй! Или я тебя... — Сибирцев выхватил из кармана наган.

— Дежурный! — истошно завопил тюремщик.

Грохнул выстрел. Прокатился, бухаясь о стены. Замер где-то в темном отдалении.

Сибирцев — увидел полковник будто во сне — вдруг как-то странно вскинул длинные руки, словно хотел подпрыгнуть, но стал медленно поворачиваться по непонятной изогнутой спирали, голова его запрокинулась, и он тряпичной огромной куклой сложился пополам и беззвучно опустился на пол.

Тюремщик кинулся к нему на грудь, разорвал гимнастерку, приник ухом.

— Убийцы! — Званицкий заколотил по решетке кулаками, разбивая их в кровь. — Мерзавцы! Убийцы!

Медленно поднял голову тюремщик, встретился глазами с полковником.

— Молчать!.. Гнида... — И в этом последнем слове услышал Званицкий свой приговор.

Тут раздался бешеный топот ног, и в коридор ворвалось несколько человек. Впереди пушечным ядром неся лысый полный человек. Подскочив к Сибирцеву, он отшвырнул как котенка тюремщика и сам упал ухом на грудь убитого. Да, убитого... Полковник на войне видел много смертей, знал, как падает уже мертвый человек, и знал, что Сибирцев вот только что, на его глазах, был убит кем-то из этих тюремщиков...

Нырков был страшен.

— Тихо! — истошно заорал он, хотя стояла мертвая тишина, и прижался ухом к груди Сибирцева. — Врача срочно! Ну, кому говорю!..

Вскочив, он схватил Еремеева за воротник и стал так его трясти, что у него голова замоталась, будто привязанная на веревочке.

— Ты что натворил, подлец! Кто стрелял?!

— Вот... он... — беспомощно трясясь, сумел все-таки выдать Еремеева, указав на дежурного. Тот стоял, держа свою винтовку с примкнутым штыком наперевес, словно собирался сделать выпад «вперед коли!», но лицо его было совершенно спокойно.

— Ты стрелял?! — ринулся к нему Нырков. — Кто приказал?! Как посмел?!

— Он за наган схватился, а товарищ Еремеев приказал: в случае чего применить оружие. Он крикнул мне «дежурный», я и исполнил команду.

Кто приказал, кто кому крикнул — ничего не понял Нырков, он лишь одно увидел: совершилось ужасное, кошмарное, непоправимое. Боец — что, он выполнял приказ. Применить оружие! А кто его отдал?

— Кто отдал?! — заорал Нырков, снова схватив Еремеева за шиворот.

— Вы ж сами приказали, товарищ Нырков! Я все исполнил, как вы приказали. Не допускать — я не допускал. Применить — я... он применил.

Отвернулся Нырков, зло плюнул на пол.

— Охрана! И ты, дежурный, унесите... его... Осторожнее, черт бы вас!.. И доктора немедленно, чтоб кровь из носу мне, поняли? Тихо несите... Ох, Миша, Миша, беда одна с тобой... Ну, что будем делать, Еремеев?.. А где этот полковник?

— Вон, — одними глазами указал Еремеев.

Нырков подошел к решетке, взгляделся и увидел крупное чернобородое лицо, окровавленные пальцы, впившиеся в решетку, и совершенно белые, как у безумного, белки глаз.

— Ладно, — сказал Нырков, приняв решение. Он отошел от решетки, взял Еремеева за рукав и отвел его в сторону. Прижал к стене. Сказал негромко, но твердо:

— Ты знаешь, в кого ты стрелял? Ты соображаешь, что вы тут натворили? Его лично сам товарищ Дзержинский прислал сюда...

— Да вы ж, Илья Иваныч... приказали.

— Как ты смеешь! — зашипел яростно Нырков. — Я тебе что, стрелять приказывал? Я не пускать приказал. Применить оружие? Да, для устрашения! А стрелять... Может, еще и убивать я тебе, Еремеев, приказывал, да? — Нырков затряс перед носом Еремеева толстым указательным пальцем. — Ну, что теперь прикажешь делать? Что докладывать, Еремеев? Если Сибирцев умрет, тебе хана... И еще гад этот в свидетелях останется. Что будешь делать?

— Как прикажете, Илья Иваныч, — скорбно пробормотал начальник тюрьмы.

— Фамилия дежурного, ну?

— Хряпов, товарищ Нырков.

— Значит, так: Хряпоза немедленно отправить с охраной арестантского вагона в Тамбов. И чтоб больше духу его тут не было. Переводи его в строевые, увольняй, девай куда хочешь... А этот, значит, все видел...

— Видел, гнида, — подтвердил Еремеев, поняв, о ком речь.

— Ну?

— Чего «ну», Илья Иванович?

— Делай что хочешь, Еремеев, иначе я за тебя не отвечаю. Можешь при попытке к бегству... когда к вагону вели... сам думай. Мне доложишь лично. И понял, Еремеев, вот ты у меня где! — он поднес к носу начальника тюрьмы толстый кулак.

— Так точно, товарищ Нырков.

— А Хряпов пусть запомнит, если кто спросит, что он сперва крикнул: «Стой, стрелять буду!», а уж потом нажал на спуск. Понял, о чем говорю?

— Понял, товарищ Нырков.

— Выходи! — услышал Званицкий команду. — Руки за спину! Вперед!

Громыкнул замок. Отворилась решетчатая дверь. Сбоку стояли солдат и тюремщик. Еремеев его фамилия, слышал Марк Осипович.

Он пошел по вытертым каменным плитам пола. Возле второй решетки увидел на полу темное пятно. Здесь упал Сибирцев. Даже не вытерли, сволочи.

Длинный гулкий коридор, кажется, что шаги отдаются под потолком. И в затылке. Свет брезжит сквозь грязные, забранные решетками окна. Закопченные керосиновые лампы на стенах. Зачем он все это видит, запоминает?.. Тупик, лестница с железными ступенями и перилами.

Званицкий обернулся. Солдат остался возле решетки, запирает дверь. Еремеев шел за ним. Рука в кармане френча. «Куда?» — взглядом спросил полковник,

— Наверх иди, ваше благородие, — спокойно произнес Еремеев. — Да не думай бежать. Отвоевался, иди теперь.

«Как много слов он говорит», — безразлично подумал Званицкий. Слова, слова, «иди», «отвоевался»... Глупость какая-то... А ведь он вспомнил, вспомнил наконец. И четко, ясно, будто и теперь перед глазами скользили эти сильно наклоненные влево, почти каллиграфические буквы письма, каким-то чудом дошедшего с оказией из далекой Маньчжурии.

«А при нашем штабе, напоминающем цирковое столпотворение Вавилонское, где каждый исполняет свой номер, появился нынче, дорогой друг Маркуша, молодой и бесспорно талантливый офицер. Зовут его Мишель Сибирцев... Кажется, мы с ним сойдемся накоротке». Петя Гривицкий, польский князь, писал ему в восемнадцатом. Вот откуда знал фамилию Сибирцева полковник Званицкий.

Он поднялся по ступеням и, повинувшись безмолвной команде Еремеева, пошел по новому длинному коридору, теперь уже к выходу. Через узкий проем там виднелась открытая дверь теплушки. И еще там было раскаленное солнце. Оно светило настолько ясно, что, когда после полутьмы коридора ступил полковник Званицкий на порог, его так ослепило, что он не услышал звука выстрела...

— Не реви, Малышев! — строго прикрикнул на помощника Нырков. Тот сидел с карандашом перед чистым листом бумаги и ладонью вытирал вспухшие глаза и хлюпающий нос. — Не смей реветь!.. Сейчас, сейчас... — Он словно чего-то ждал и все тер лысину клетчатым платком.

На перроне, где-то в отдалении хлопнул выстрел. На миг стих людской гомон, а затем возобновился с новой силой. Нырков выскочил из двери и вгляделся в толпу, туда, где стояли теплушки. Раскидывая людей и размахивая руками, к нему по перрону бежал Еремеев.

— Илья Иваныч! Товарищ Нырков!..

Нырков вошел в помещение, остановился, широко расставив ноги и заложив большие пальцы за ремень, спущенный чуть ниже живота, и требовательно посмотрел на Малышева.

— Пиши, Малышев... Тамбов... Губчека... Левину. Точка. При исполнении служебных обязанностей рукой белобандита смертельно... нет, пиши, тяжело ранен наш верный боевой товарищ... Пиши, пиши, Малышев!

В помещение ворвался задыхающийся Еремеев.

— Беда, большая беда!.. — с порога закричал он. — При попытке к бегству... товарищ Нырков, казните, не углядел! Убит заключенный, полковник Званицкий...

— Я понял, Еремеев, — холодно отстранил его Нырков. — Иди к себе. А ты, Малышев, давай пиши: уполномоченный ВЧК Сибирцев Михаил Александрович. Точка, Малышев. Подпись моя. Как обычно.

Нырков подошел к календарю за 1917 год — приложение к журналу «Нива», — взглянул на сегодняшнее число, прикинул разницу.

— Я лучше знаю, какая правда нужна нашей революции, — пробормотал он себе под нос и вздохнул. — Эх, Миша, а ты так ничего и не понял...

Шел четвертый от роду год молодой Советской Республике.

Николай Иванов

ДЕНЬ ЗА ТРИ

Повесть

I

А

а, это был плен. Направленные па пего автоматы в руках небритых, одетых во все черное людей, их презрительные усмешки — плен, плен...

И черное... Пропагандист что-то говорил про «духов», одетых во все черное... Надо вспомнить что-то очень важное... Черное, черное... Черные птицы?.. Нет, аисты! Да, это «черные аисты», смертники, которые искупают свою вину только кровью неверных.

Рокотов пошевелился и застонал скорее от бессилия, чем от вспыхнувшей в плече боли: руки уже были связаны, и скорее всего, стропами его же парашюта. Он прикрыл глаза, чтобы хоть немного собраться с мыслями, но в бок ударили сначала ногой, потом прикладом автомата, и кто-то, наклонившись, сказал по-русски:

— Вставай.

II

А это, конечно же, было безумием — в январе поднять войска с техникой на Саланг.

«Обутые» в цепи «Уралы», КамАЗы, КраЗы, «уазики», «бэтры» карабкались по забитым снегом галереям, загазованным тоннелям, голым, обледенелым склонам. Там, где они не могли преодолеть заносы, их сзади подталкивали ковшами тракторы и бульдозеры. На обледенелостях невыспавшиеся, продрогшие, злые «комендачи-дорожники», израсходовав весь запас песка, поливали трассу бензином и поджигали ее. Обогревшись у пылающей дороги, прогоняли наверх десятков-другой машин — и вновь матерились, лили бензин, грелись, гнали вперед «колеса».

«Гусеницы» — танки, БМП, самоходки — шли медленнее, но все же чуть надежнее. Правда, на

наиболее опасных участках люди высаживались, и в машинах оставались только высунувшиеся как можно больше из люков механики-водители. Стараясь не шурить от колючего ветра, снежных зарядов и недосыпа глаза, они высматривали и высчитывали единственно верные прямые для своих машин, а значит, и для себя. И все равно: там, где летом проскакивали участки за час-полтора, ныне ползли по шестнадцать-восемнадцать часов.

И то, что войска, десятки раз уже обязанные сорваться в пропасти, быть засыпанными снежными лавинами, не выйти из крутых поворотов, — несмотря на все это, войска все же пробивались через перевал, это все равно было безумием и не должно было происходить.

Хотя еще большим безрассудством было другое — спускающиеся с перевала машины. Их было немного — в «ниточках» по пять-семь машин, но и им ошалелые «комендачи» выжигали лед и только не подталкивали бульдозерами, а придерживали ими норвящие скатиться в пропасть машины. И хотя в остальном все было похоже — и сидящие по пояс в люках механики-водители «бэтров» (авось удастся выскочить), и водители «колес» ехали с полуоткрытыми дверцами, отчего в кабинах наметало по колено снега. Но было еще одно, что разительно отличало два потока, движущихся навстречу друг другу.

Те, кто шел на Саланг, возвращались на Родину. Те, кто спускался, везли муку в Кабул, и здесь, на перевале, они видели последние советские посты. Внизу наших войск уже не было. Зато была, оставалась печально знаменитая Чарикарская «зеленка», из которой и при наших-то постах и заставах почти ежедневно обстреливались колонны. Поэтому именно им, спускавшимся, кто мог и успевал, поднимал руку: «Удачи». Он многое значил здесь, в Афганистане, поднятый в приветствии сжатый кулак.

Однако про то, что будет внизу, спускающимся пока не думалось: настоящее всегда кажется сложнее будущего.

— Осторожнее, Юра, еще один каточек, — сидящий в первом «Урале» старший машины подался к лобовому стеклу. — Что-то «комендачей» не видать.

— Вышли бы вы, товарищ старший лейтенант, из машины, — водитель, повторяя старшего, подался к стеклу, левой рукой приоткрыл дверцу.

— Ничего, Юра, ничего. Ты же ас. Просто не забывай, что с моей стороны дверца заклинивает.

— Фаталист вы, товарищ старший лейтенант.

— Да нет, Юра, мне своей жизнью пока не хочется играть. Я просто верю в тебя — и все.

— Не перехвалите.

— Хвалят в Союзе. Здесь — надеются.

— И все-таки зря-я-я... — Юрка не успел договорить. Машину повело — вначале медленно, чуть-чуть, но в горах этого уже достаточно.

Водитель бросил дверку, вцепился в обвитый разноцветной плетенкой руль. И то ли оттого, что дверца, захлопнувшись, подтолкнула машину, то ли просто настало время, но «Урал» уже заметно потянуло в пропасть. Старший лейтенант лишь успел ухватить взглядом на обочине засыпанный по самую звездочку обелиск: выходит, не они первые...

— Не суетись, Юра, выворачивай спокойнее.

— Товарищ стар...

— Ровнее! Не рви!

Дорога и пропасть уходили, нет — уплывали, а если еще точнее — то ускользали вправо, притягивая к себе кузов. Как это тяжело — не знать, что у тебя за спиной...

— Не удержу-у-у! — стонал и кричал Юрка. Рот его был распахнут, и больше его — больше распахнутого рта — были только глаза.

— Держи-и! — Старший лейтенант шестым, десятым чувством, а скорее всего, двухгодичной практикой афганских поездок уже соизмерил ширину дороги, длину «Урала» и чувствовал, вернее, хотел верить: пока они будут сопротивляться, у них в запасе останется около полуметра до пропасти. Только бы не стронулись мешки в кузове, не потащили назад: времени на их крепежку совсем не было.

И в тот же миг он почувствовал, как тронулся груз. «Урал» заскользил быстрее, взгляд Юрки метнулся на старшего лейтенанта, левая рука безошибочно схватила ручку дверцы.

— Зажигание! — успел крикнуть старший лейтенант и уже просто про себя, потому что слово «падаем» все-таки очень длинное и, чтобы проговорить его, нужно время, просто оценил: «Падаем. Только бы не загореться».

«Урал» падал медленно — мешал юз, но мешки уже надавили на правый борт, выперли пузырем прорезиненный тент, и машина, все еще скользя, хряснулась боком на дорогу. Старший лейтенант видел, как начал падать на него Юрка, замешкавшийся с ключом зажигания, и последнее, что успел сделать, — податься к нему навстречу, защищаясь от удара о землю.

Груз, сваливший машину, ее же и спас: не дал покатиться кубарем, придавил к дороге, прижал к ледяной корке, заставил замереть.

— Ну и н...нервы у вас, т...товарищ с...с...т...т... — стараясь выбраться, начал водитель.

— Ни к черту нервы, Юрка. Думал — как. Давай выбираться.

Дверь кабины уже открывали, уже видны были чьи-то руки, но Юрка вдруг хихикнул раз, второй. — Старший лейтенант толкнул его в бок — выкрутились, черт возьми, но давай вылезать. Но водитель смеялся уже непрерывно, истерично, и нельзя было понять, смех это или всхлипы.

Юрку схватили за бушлат чьи-то руки, стали вытаскивать наверх. Старший лейтенант помогал снизу, защищая лицо от кованых, приготовленных Юркой на «дембель» сапог. Вылез за ним сам.



Их «Урал» лежал посреди дороги, перед самым поворотом. Несколько мешков, разорвав тент, валялись тут же. Идущая следом машина замерла у последнего снежного намета, и ее водитель, стоя на подножке, выжидательно смотрел на командира, опрокинутую машину, бившегося в истерике Юрку, красную звездочку на краю пропасти. Рядом суетились неизвестно откуда появившиеся десантники.

— Ну, я долго будешь сидеть? — от десантников, которые успокаивали на обочине водителя, подошел взросший, с черными кругами под глазами, майор Рядом с ним тут же выросли еще два десантника с автоматами на изготовку, и старший лейтенант только тут увидел острую грудь бээмпешки, остановившейся за поворотом: навстречу шла очередная колония. Оттуда бежали еще несколько человек, и старший лейтенант чисто машинально отметил: «Сейчас поднимут хай, им этот затор совсем ни к чему».

— Давал слезай, — махнул майор — Слава богу, что живы, загорать некогда.

Старший лейтенант прыгнул на дорогу, не устоял на льду, упал на колени.

— Подгоняйте БМП! — тут же крикнул майор бегущим от нижней колонны десанникам. — «Урал» — в пропасть. Встречную колонну остановить.

Старший лейтенант, направившийся было к Юрке, остановился.

— Не понял, товарищ майор. Что значит остановить?

Теперь уже майор недоуменно посмотрел на старшего лейтенанта, но потом махнул рукой и повернулся к выезжающей из-за поворота БМП.

— Нет, вы по стойте, — дернул его за рукав старший лейтенант. — Вы что здесь командуете? Кто вы такой? Я двое суток ползу только по Салангу, всюду пропускаю вас, а у меня хлеб. И все еще, между прочим, нужно вернуться.

— Слушай, лейтенант, или кто ты там, не знаю: успокойся. Нам всем надо вернуться. «Урал» все равно не поднять, а за мной идет двести сорок машин и до темноты, кровь из носа, я их все должен вытащить к тоннелю. У тебя есть куда перегрузить мешка?

— Все под завязку.

— Тогда — в... — майор замялся, видно, перед слог «пропасть» и сказал просто: — Тогда вниз.

— Не дам! — Старший лейтенант выскочил на дорогу, стал перед завалившимся «Уралом». С насыпи, оттолкнув десантников, к нему скатился Юрка, стал рядом. Что он знал, майор, про этот рейс? Что он знал про Юркину машину? Про самого Юрку и старшего лейтенанта?..

Пять дней назад для них афганская война уже было закончилась, их уже встречали в Термезе цветами и музыкой. И уже плакала от счастья и горя Юркина мать, похоронившая в 85-м старшего сына и боявшаяся теперь оторваться от живого младшего. И уже тогда, глядя на нее, дал себе слово старший лейтенант найти того остолопа военкома, что вслед за погибшим отправил из этой же семьи в Афган еще одного солдата. И поводить его мордой по военкомовскому столу, и отдать ему Юркин «смертничек» — зашитый на всякий случай в рукав куртки патрон. И сам, веруя, что нужен и дорог кому-то, отбил Юле телеграмму! «Вышел. Все нормально. Жди». И не успел вернуться из Термеза в «отстойник» — отведенное для их батальона место в степи, где автомобилисты приводили себя в порядок, на «уазике» подвезли почту и ему ответную телеграмму: «Вылетаю к тебе сегодня. Юля».

Он успел ее встретить, приподнял, закружил — легкую, пушистую из-за огромных ресниц свою Юльку, а от штабной палатки уже бежал посыльный:

— Товарищ старший лейтенант, вас командир. И, уже что-то зная, виновато отвел глаза. Только, словно оправдываясь, добавил: — Срочно.

— Все срочное, Юленька, кончилось в Афгане, — отпустив солдата, шепнул на ухо невесте старший лейтенант. Юля подняла плечико: она очень боялась щекотки, особенно когда он целовал ее две родинки под левым ухом. — Я только узнаю, что там стряслось, и мигом обратно.

Уже чувствовал, что «мигом» вряд ли получится, но тем не менее лихо откинул полог палатки, представился:

— Старший лейтенант Верховодов, по вашему приказанию.

— Присаживайся, Костя, — по тому, что командир назвал его по имени и при этом отвел взгляд, якобы занявшись картой, старший лейтенант окончательно понял: его сейчас оторвут от Юльки, бросят черт-те куда. «Но почему именно меня? Откажусь!» — еще ничего не зная, тем не менее взорвался и определился Верховодов. И потому остался стоять, чтобы не быть обязанным комбату даже за предложенный табурет.

Тот понял все и начал разведку:

— К тебе приехали? Встретил?

«Господи, да что здесь нервы трепать, бросаемся сразу на амбразуру», — подумал и сказал:

— Я должен куда-то убыть?

— Да, — майор наконец принял вызов и впервые пристально посмотрел на Верховодова. — Туда. Обратно. За речку.

Он сказал эти три слова, все три означающие Афганистан, и с каким-то облегчением вздохнул. И Верховодов понял, как нелегко дались они комбату. Но все равно, при чем здесь он, Костя, с какой стати? К нему Юля при...

— В Кабуле начался голод, Костя. — Майор сам сел на табурет, облокотился на раздвижной столик. А взгляд — взгляд опять мимо старшего лейтенанта. «Откажусь. Если спросит согласие — откажусь. Он сам чувствует, что не прав по отношению ко мне. Все, откажусь!»

— Принято решение оказать дополнительную помощь Афганистану. Самолеты уже в воздухе, сегодня вечером должны выйти и первые автоколонны с мукой. От нас — ты...

Гордость и обида — между ними разрывалась душа Кости Верховодова. Узнав, что надо ехать туда, понял сразу: отказаться не сможет. Туда отказываются ехать только по одной причине — по трусости. За два же года службы в Афгане он ни разу не праздновал труса. По крайней мере, никто не мог его в этом упрекнуть. Костя не имел в виду те сомнения, переживания, что творились в его душе перед каждым выездом в рейс, — это его личное. Он брал итог, который всегда был неизменен и который его ребята окрестили то ли уважительно, то ли по-мальчишески самодовольно: «Съездить еще раз на войну». И если комбат выбрал его именно сейчас, когда па половине пути уже нет наших войск, — что ж, он, Костя, не прочь расправить плечи.

Но если бы это было до вывода, до того, как отзвучали для его солдат фанфары. Ведь они уже увидели, как кончаются войны. Они уже хлебнули мирной службы, а это пьянит и расслабляет сильнее любого тепла после стужи. Не нужно было тогда им ничего говорить, поздравлять не нужно было их с возвращением. Как теперь вернуть им то, что было в Афгане в что необходимо для Афгана — боевую настороженность. Упорство как вернуть? Да что это — как объяснить людям, оставшимся в живых, что надо опять ехать под мины? Он, Костя Верховодов, таких слов не знает. Да и с ним самим вот так, наотмашь...

— Сопровождение? — машинально, помимо своего согласия на рейс, спросил старший лейтенант и тут же разозлился на себя: чего лезешь, молчи!

— Семь бронетранспортеров, рассчитывайте на поддержку с воздуха. Сухпай — ориентировочно на шесть суток. Боеприпасы — сколько считаешь нужным. Связь, медицина, горючее — через начштаба. Особое внимание — крепежке груза, сам видел, что творится на Саланге.

Даже в этот момент можно было еще отказаться, еще можно было найти тысячу причин или в конечном итоге просто возмутиться, тем более, что батальон вот-вот должен расформировываться и Костя, кстати, единственный, кто уезжал служить в Забайкалье. Пусть бы посылали тех, кто заменяется в Московский округ...

— Водителей подбирать самому?

— Да. Скажи им... Не знаю я, что им говорить, — взорвался наконец сам майор, и стало ясно, что он уже говорил об этом своему начальству. — Мне стыдно перед тобой, перед ними, но...

Прекрасная частица «но». «Я хочу приехать, но...», «Все хорошо, но...». Вроде безобидна, однако, ничего не объясняя, делает невозможным выбор. «Юля приехала, но...», «Я никуда не хочу от нее уезжать, но...».

— У нас практически нет времени, Константин, — нарушил молчание майор. — Иди.

«А мне наплевать, что его нет, — горячился Костя, шагая к КПП, где у шлагбаума замерла в ожидании Юля. — Наплевать. Как получится, так и получится. И пусть хоть кто слово скажет...»

— Юлька! — сделал радостное лицо. — Оказывается, просто замечательно, что ты успела прилететь и застала меня здесь. Пришел приказ — на новое место. Сегодня вечером.

— Куда?

Господи, как мгновенно тускнеют лица родных и близких от непонятных известий. Хорошо, что в армии можно прикрыться военной тайной.

— Из пункта «А», — Костя указал себе под ноги, — куда-то в пункт «Б». Задача для третьего класса. Но как я рад, что ты успела.

— А как же... А что теперь?.. — Юля стала похожа на слепого испуганного котенка, для которого вдруг исчезли все знакомые звуки и запахи, и он сжался, насторожился, обиделся...

«Уволюсь из армии — в театр пойду. Или в цирк», — вдруг подумал Костя. Он играл.

— Сделаем так: ты возвращайся домой, я перегоняю машины в свой пункт «Б» и... и прилетаю к тебе.

«И пусть попробуют не отпустить», — добавил уже про себя.

Посмотрел на часы — секундная стрелка бежала как сумасшедшая.

— А ты вправду прилетишь? — с затаенной надеждой распахнула ему навстречу ресницы Юля.

— Прилечу, — подался к ней Костя. Он и не знал, что так легко можно обманывать любимого человека, если спасаешь этим его от лишних переживаний. — Решу задачку и прилечу. У меня всегда по математике пятерки были. Значит, договор? Встреча дней через шесть? Погоди-погоди, что это у тебя здесь под ушком?

Ах, как вздрагивает плечико, когда целуешь родинки...

Выезжая из «отстойника» под погрузку, старший лейтенант сел в Юркину машину. Можно сказать, сел случайно, только потому, что она шла первой. А на КПП среди других приехавших на вывод женщин увидел Юлю и Юркину маму. Они что-то спрашивали у дневального, поднявшего шлагбаум, и тот, выпячивая грудь с медалями, важно и небрежно кивал в сторону Афгана. «Идиот, пижон, кто тебя просил», — сцепил зубы старший лейтенант: пункт «Б» в условиях задачи становился явным, военная тайна рушилась карточный домиком.

— Скорость! — наверное, впервые в жизни он крикнул на солдата, когда Юрка, заметив мать, вдруг начал сбавлять обороты двигателя.

Так они и промчались мимо бросившейся к машине Юли, вытягивая пыльную колонну к складам. Да в зеркало заднего вида еще увидел, как крестила Юркину машину его мама. И сам Юрка, его водитель ефрейтор Юрий Карин, имевший две «За отвагу», отворачивался, пряча глаза.

И вот теперь его машину, осененную крестом матеря, в пропасть? Хлеб, ради которого все нервы и вся, можно сказать, судьба, — бээмпешкой? И вообще, кто-то топает в Союз, а здесь...

Гордости уже не было — только обида, обида и еще раз обида. И уже из принципа стоял, схватившись за решетку еще пышущего жаром радиатора, старший лейтенант. И Юрка, его лучший водитель, дважды подрывавшийся на минах, Юрка, который осенью согласился не увольняться в запас до тех пор, пока не выведет свой «Урал» в Союз, и который опять, словно назло судьбе, повел его в Афган, — он тоже стоял рядом и, небритый, ухмылялся в лицо такому же небритому майору.

Тот скривил в усмешке потрескавшиеся от ветра губы, но скривил, видимо, чрезмерно: нижняя губа лопнула и ранка тут же наполнилась капелькой крови. Боль, видимо, подстегнула майора, и он кивнул окружившим его десантникам. Сразу четверо схватили старшего лейтенанта и водителя за руки, стали отрывать от машины. Автомобилисты вцепились в нее, и тогда их просто подбили под ноги и оттащили в сторону.

Сверкая отполированными траками, БМП начала подбираться к «Уралу». Юрка перестал вырываться, сел на снег, снял шапку и молча смотрел, как тыркается в его машину бээмпешка, сама скользя к пропасти.

— Муку под гусеницы, — негромко приказал майор подошедшему капитану-десантнику.

Тот подумал, что ослышался. Потом, словно обращаясь за разрешением, бросил взгляд на старшего лейтенанта и, вспоров штык-ножом мешок, высыпал муку на дорогу,

— Вот так, при церберах, и провоевали все свои два года? — отвернувшись от дороги, зло посмотрел на майора Верховодов. — Они и своим руки скрутят, и вас, если пуля прилетит, закроют своей грудью. А, майор?

Косте очень хотелось еще раз вывести из себя майора, чтобы он вновь скривился и вновь лопнула губа и выступила кровь. На морозе и ветру это очень больно...

Но майор молча смотрел на работу своих подчиненных и был безучастен к словам старшего лейтенанта.

— Не, майор, ты все-таки фрукт, — перешел на «ты» Костя. «Ну, и что ты мне сделаешь, что? Да ничего». — Вы, десантники, я слышал, нас «солярой» зовете и везде хвастаетесь, что без вас ни одно стоящее дело не затевается. Так ты что, майор, и раньше свои задачи выполнял за счет других? И небось награды за это имеются? — Костя потянулся к бушлату майора, но сразу двое десантников схватили его руку и заломили за спину. — Ого, как охраняют. Долго будешь жить, майор.

— Товарищ старшин лейтенант, — позвал Юрка.

Верховодов, все поняв, посмотрел на дорогу.

БМП, перемалывая муку, по башню белая от нее, уже подтолкнула «Урал» к самому краю пропасти. Передние колеса машины вдруг резко подбросило вверх, и старший лейтенант прикрыл глаза: как похоже срываются в пропасть автомобили...

— На, выпей, — услышал он голос майора.

Тот держал фляжку с уже отвинченной пробкой и старший лейтенант уловил запах спирта. Молча взял флягу, зачерпнул пригоршню снега. Глоток получился большим — Костя лил в себя спирт, пока не перехватило дыхание, и только после этого уткнулся ртом в жесткий, колючий снег, заглушая огонь.

— Я понимаю тебя, лейтенант, — тихо говорил в это время майор. — Но не держи на меня зла. Отойдешь — сам поймешь, что иначе нельзя было.

Что отходить — Костя с самого начала знал, что машину надо сбрасывать. Он бы и сам ее сбросил, без майора. Просто подошло, подперло к горлу скопом сразу все, чем издергалась душа за афганские годы, за годы знакомства с Юлей. Это могло сорваться вместе с ним в пропасть, похорониться под грудой железа и белым снегом, но раз осталось, раз вышло, то и перемололо Костины нервы. Просто майор оказался рядом в этот миг, а под горячей рукой и невинные виноваты.

А мимо них уже карабкалась «ниточка» майора — увешанные ящиками, «буржуйками», дровами «бэтры», изношенные бээмпешки и не менее изъезженные «колеса». Поземка, цепляясь за рассыпанную по склону муку, поднамела снежку, и Верховодов опять же чисто машинально отметил: «Теперь и мы спустимся».

Наверное, впервые за все это время Верховодов посмотрел на свою колонну. Его «ниточка» замерла у самого обрыва, и, как много раз до этого, поднимавшиеся вверх десантники хоть на мгновение, но выбрасывали из кабин и люков сжатый кулак. Его водители сдержанно кивали в

ответ: после сцены с майором они не знали, как относиться к «десантуре». Командир не позвал на помощь — значит, так было нужно, но все равно...

— Ну ладно, мне пора, — поднялся майор. — Что я могу для тебя сделать, лейтенант?

Верховодов посмотрел в запавшие, усталые глаза майора, и ему вдруг стало стыдно и за свои слова, и за выходки. Десантник был намного старше его, настолько старше, что не позволял себе обращаться к Верховодову традиционно — «старик», называл до званием. «Ты во всем прав, майор, извини. Это все нервы».

Однако вслух не сказал ничего, протянул лишь назад фляжку. Майор завинтил прикрепленную на цепочке крышку, засунул ее за пазуху.

— Бывай, лейтенант, — кивнул Косте. Повернулся к Юрке: хотел что-то сказать и ему, но только хлопнул водителя по плечу.

Верховодов тоже посмотрел на Карина. Юрка продолжал отрешенно смотреть на глубокую борозду, оставленную его «Уралом» у края пропасти, и старшему лейтенанту опять вспомнилась мать, крестившая машину...

— Есть просьба, товарищ майор. Водитель без машины остался, заберите его с собой.

— Товарищ старший лейтенант, я не...

— Ефрейтор Карин! — перебил, не глядя на очнувшегося Юрку, Верховодов. Точно так же не смотрел на него комбат четыре... да, уже четыре дня назад. Ефрейтор Карин, — повторил он официально, потому что когда говоришь официально, можно прятать чувства. — Поступаете в распоряжение майора. Там, в Союзе, всем привет...

Не прощаясь, не глядя ни на майора, ни на подавшегося к нему водителя, пошел к своей «ниточке». Вот так же он уезжал от Юли; резкая боль короче.

Около машин его догнал один из тех десантников, что охранял майора. Протянул фляжку. Хотел бежать обратно, но остановился:

— Вы не думайте ничего на нашего командира, товарищ старший лейтенант. У нас за полтора последних года, когда он командует, ни одной потери не было, все живые возвращаемся. А что его самого охраняем... Знамя у него на груди, товарищ старший лейтенант. Прощайте.

Он дождался «бэтр», на котором ехали майор и Юрка Карин, ухватился за скобы, ловко влез на броню. Верховодов думал, что Юрка будет искать его взгляда, но ефрейтор, словно прячась, пригнулся за спину майора.

«Тебе нечего стыдиться, Юрка, — мысленно сказал ему старший лейтенант. — И вообще хорошо, что твоя машина в пропасти, а ты возвращаешься. Ты это заслужил».

Чтобы избавить водителя от несуществующей вины, отвернулся сам. И уже не видел, как, проезжая последнюю машину их «ниточки», поднялся на броне во весь рост Юрка, мгновение раздумывал, покачиваясь в такт машине, — и спрыгнул в снег на обочине трассы.

III

Его вели долго, и все время вниз, в долину. Уже и снег под ногами кончился, и небо над

головой посветлело, а «черные аисты» ни разу не остановились даже для привала. Тот, который говорил по-русски — небольшого росточка худощавый парнишка с редкой бородкой — шел кпереди колонны, и с Рокотовым никто больше не заговаривал.

В какой-то миг он увидел между снежными вершинами пару «вертушек». И хотя они были очень далеко и никак не могли его заметить, это была первая и, может быть, последняя надежда на спасение. Рокотов сбил идущего рядом «духа» и бросился в сторону вертолетов:

— Я здесь! Здесь!

Кроме того, что вертолеты были далеко, они шли еще и со стороны солнца. Рокотов, ослепленный его лучами, споткнулся. Не успел подхватиться, а «аисты» уже подбежали, сбили, начали бить ногами.

— Здесь я, здесь, — уже только лишь шептал Рокотов, прижавшись щекой к холодному, покрытому каменной крошкой склону.

И вновь одно-единственное слово по-русски:

— Вставай!

На этот раз его привязали парашютной стропой к идущему следом мятежнику, и свобода, неожиданно мелькнувшая среди снежных вершин, сузилась до трех шелковых метров стропы. На память стали приходить обрывки разговоров, газетные строчки о пленных, и самым страшным вспомнился рассказ вертолетчиков из Кундуза. В году восемьдесят втором «духи» подбросили к нашим окопам тело солдата. Ему, видимо, поочередно отрезали и заживляли где-то в госпитале ноги, руки, уши, выкололи глаза. Потом подбросили недалеко от боевого охранения. Когда парня нашли, говорят, у него еще билось сердце...

В таком случае — лучше сразу смерть. Лучше пулю, чем такие муки.

В ушах Рокотова возник гул вертолетов — то приближающийся, то удаляющийся, и он вновь напрягся, оглядывая небо. Но оно было чистым, «духи» — спокойными, и стало ясно, что это — всего лишь желание, всего лишь мираж, если только он бывает звуковой.

Словно подтверждая это, гул постепенно затих. Но все же, видимо, так устроен человек, что в тяжелые минуты он не хочет расставаться даже с миражами и иллюзиями. Он хочет на что-то надеяться. Рокотов остановился, и конвоир стукнул его прикладом в спину, что-то прикрикнул.

«А может, как-нибудь обойдется? Ведь были случаи, когда меняли и выкупали пленных. Надо только показать главарю, что я что-то значу... Или наоборот, что бестолочь, тупица, которого поменять или за которого получить деньги — за счастье».

Группа замедлила ход, и Рокотов, подняв голову, увидел из-за выступа несколько глинобитных домиков, разбросанных по седловине небольшого ущелья.

«Аисты» посоветались, послали в кишлак трех разведчиков. Рокотов, не дожидаясь разрешения, сел па камень. Конвоир резко дернул за стропу, но он не встал. Он вдруг понял: «черные аисты» — сами смертники, они сами ходят по острию бритвы, а он, пленник, собственность их хозяина. И еще неизвестно, будет ли он доволен избитым шурави...

Как ни странно, конвоир не только оставил Рокотова в покое, но и последовал его примеру. Расселись по камням и остальные, угрюмо поглядывая на кишлак. «Не мед вас там, однако,

ждет», — подумал Рокотов. Откинулся на спину. Под руки попал острый камень, он хотел передвинуться, но тут же остановился. Прикрыв глаза, чтобы не выдать себя взглядом, начал осторожно тереть об острый выступ стропу. Что будет потом, он не знал, но знал другое: до тех пор пока у него связаны руки, о свободе мечтать нечего. А так — он рванет за выступ, он будет бежать, как никогда а жизни не бегал. Даже пусть лучше догонит пуля, чем пытки в плену.

Камень был небольшой, он выскользнул, перевертывался. Рокотов осторожно подтягивался к нему, и во время одного из таких движений ему в шею уперся холодный ствол автомата. Потом его перевернули, ногой отбросили камень, проверили стропу. Нет, «духи» свою добычу просто так не упускают, они сами в заложниках и, поставленные между жизнью и смертью, напряженные и настороженные, они сами себе приговор подписывать не будут.

«Сейчас для порядка попинают ногами», — подумал, сжимаясь в комок, Рокотов. Но мятежники все разом заговорили, начали собираться. «Возвращается разведка», — с облегчением понял Рокотов и не ошибся.

— Вставай! — в третий раз повторил одно и то же слово молодой мятежник.

IV

Эх, чирикская дорога — ровная как стрела.

Если бы не фугасы и мины, оставившие на тебе колдобины! Не снаряды и «эрэсы», отметившиеся своими ожогами! Не застывшая в напряжении «зеленка» — деревья, виноградники, пусть частично и вырубленные метров на сто пятьдесят от дороги. Да не развалины по обе стороны, тоже метров до ста необживаемые. Не зарытые по башни танки у перекрестков.

Хороша была бы ты тогда, дорога от Саланга до Кабула.

Верховодов снова ехал в первом «Урале». Водитель Петр Угрюмов оправдывал свою фамилию полностью. Старший лейтенант даже готов был сделать его фамилию двойной — Молчаливо-Угрюмов. Правда, отмечал про себя и другое: Петр легче всех переносил самые дальние перегоны. Словом, дорога и Угрюмов нашли себя, и если при Юрке Карине Петя ездил последним в колонне, то после Саланга Верховодов перегнал его «Урал» вперед.

«Бэтры» шли в середине «ниточки».

— Верховодов, порядок построения колонны? — всякий раз спрашивал на инструктаже комбат.

— «Бэтры» — в центре, — так же неизменно отвечал Костя.

Он рассуждал просто: если «духам» надо обстрелять колонну, они ее обстреляют при любом построении. Огонь же практически всегда ведется по головной и замыкающей машинам.

— Надо беречь тех, кто может нас спасти, — доказывал комбату старший лейтенант. — Если у меня выбьют «бэтры», колонну можно будет брать голыми руками. А пока у меня огонь боевых машин — я не просто буду, я смогу выполнять задачу.

Так и моталась по афганским дорогам Костина «ниточка», подчиняясь не тактике, а умозаклчению своего старшего: сохрани того, кто охраняет тебя, и будешь жить.

Знал о своей доле первого и Юрка Карин. Да что знал — дважды ловил на себя мины. Одно мог дать ему старший лейтенант, кроме приказа на порядок следования, — сидеть рядом. После первого подрыва с Юркой получил Красную Звезду и разнос комбата. Когда второй раз легли с Юркой на медбатовские койки, командир прямо в палате так накричал на «экспериментатора», что дежурный врач попросил его выйти. — Мальчишка! — снимая прямо в палате халат, все равно бросил комбат напоследок.

Он был прав, их комбат. Прав тактически — конечно же, так быстрее можно потерять старшего колонны. Но ведь кроме тактики, кроме того, что «ниточка» — это боевая единица, есть и человеческие отношения, и законы коллектива. И в новый рейс, краснея под взглядом комбата, он все же опять полез в кабину первого «Урала», к Петру Угрюмову, заменившему на время лечения Карина. И не пожалел: именно тогда он впервые увидел улыбку на лице Угрюмова. А что нам еще надо в жизни, кроме как слова — от молчаливого, улыбки — от хмурого, шага навстречу — от нерешительного. Ведь надоедает как раз болтовня пустозвонов, настырность наглых, презрительность самодовольных...

Чувствуя, что тепло кабины, мерный гул двигателя, тихое потрескивание включенной на прием радиации и молчание водителя нагоняют дрему, старший лейтенант повернул голову к Петру:

— Ну, и как сегодня Саланг?

«Пожмет плечами и скажет «нормально», — попытался угадать Верховодов.

Петя пожал плечами и сказал:

— Нормально.

— Теперь вопрос, как поднимемся обратно.

«Поднимемся», — ответил за водителя старший лейтенант.

— Поднимемся, — не стал изменять себе тот.

Вообще-то у них в колонне было не принято загадывать на будущее во время рейса. Думать думай о чем угодно, но говори только о настоящем или прошедшем. И то, что он, командир, первым нарушил этот негласный закон, неприятно кольнуло Верховодова. «Расслабился. Первый расслабился, — пряча лицо в распахнутый бушлат, подался в уголок кабины старший лейтенант. — Как это, оказывается, просто и легко — поверить в мир и забыть об опасности. Теперь жди неприятностей».

Но то ли оттого, что уже вроде бы не должны были появляться здесь, в «духовской» чирикарке, советские колонны, а может, в какой-то степени непонятный, совершенно не военный порядок движения, но «ниточка» Верховодова отмеривала километр за километром на глазах у изумленных, попрощавшихся уже с шурави жителей близлежащих кишлаков.

«На дурика можем и проскочить», — попытался успокоиться Костя.

Но нет, в самом деле, видимо, нельзя менять своих привычек во время «выезда на войну».

Вдруг что-то нарушилось, сбилось в мерном шорохе и гуле кабины. В первый момент Верховодов не понял даже, что именно, и только когда Угрюмов бросил взгляд на подвешенную к панели «звездочку» — переносную радиостанцию, старший лейтенант догадался: лейтенант Гриша Соколов, старший в сопровождении, нажал тангенту, вызывая на связь.

— Есть новости, Седьмой.

— Понял, схожу.

Угрюмов молча сбавил скорость, выбирая место, где высадить старшего на подножку командира. Вроде бы ничего не изменилось в выражении лица водителя, остающегося в кабине, но перед остановкой успел увидеть Верховодов, как вырвал из пазов у дверцы автомат Петя, положил его на сиденье рядом с собой. На то место, где сидел он, старший лейтенант. Жаль, не видит этого комбат, он бы тогда понял, что значит для идущего первым оставаться одному. Вернее, что значит сидящий рядом командир...

— Слушай рацию, — сказал Верховодов и спрыгнул с подножки.

— Проезжай, проезжай, — махал он рукой притормаживающим водителям.

Колонна убрала «гармошку» — то есть подобралась, перестала дергаться и рваться и словно сжалась в ожидании: командир на связи. Что же случилось? Может, поступил приказ возвращаться в Кабул, или еще что?..

— Чего там? — запрыгнув на броню соколовского «бэтра», спросил Костя у высунувшегося из люка лейтенанта.

Гриша начал ездить в «ниточке» Верховодова полгода назад, но этого было достаточно, чтобы они знали и поведение друг друга в любой ситуации. А что в дружбе мужчин еще надо? Тем более на войне! К тому же Гриша Соколов оберегал со своими ребятами колонну Верховодова, а тот — его. Удерживало лейтенантов, видимо, еще и то, что были они одного возраста и единственными в батальоне холостяками...

Костя замер на броне: а что если это было основным и главным в решении комбата? То, что они холостяки? Что ни семьи, ни детей, а значит, если не придется вернуться...

«Ну и что, ну и правильно, — не дал развиваться цепочке размышлений Костя. Он не знал, как отнестись к своей догадке, как после этого думать о комбате, который предусмотрел гибель «ниточки» и... и отдал его, Костю, Гришку Соколова на... на...

— Ну, чего там? — нетерпеливо переспросил Соколова.

Тот хотел пожать плечами, но они застряли в проеме, и Гриша нырнул обратно под броню. Поджав ноги, чтобы никого не задеть, за ним юркнул Верховодов.

— Ноль-пятый, лично, — протягивая потрескивающий эфиром шлемофон, шепнул лейтенант.

С появлением раций и передатчиков у «духов» переговоры в открытом тексте прекратились и превратились в сухую муку: не разговор, а сплошной поток цифр, к тому же меняющийся с каждым новым рейсом. Семерки, тройки, десятки, сотни означали все — от координат «ниточки» и скорости движения до настроения солдат и того, пообедал ли он сегодня.

Соколов протянул планшетку с картой и цифровым кодом, Верховодов поднял глаза, чтобы поблагодарить лейтенанта, и недоуменно замер. Тряхнул головой — нет, видение не исчезло: за спиной Соколова, в глубине «бэтра», освещенный зеленой лампочкой подсветки, сидел Юрка Карин.

Водитель, то ли подтверждая это, то ли здороваясь, кивнул. Верховодов, ошарашенный

новостью, еще не зная, что сказать и как поступить, на всякий случай показал ефрейтору кулак, но тот опять согласно кивнул и, стервец, улыбнулся.

А потом пошли кроссворды с радиограммой. Костя добросовестно выписал столбцы цифр, отдельные фразы, попросил три минуты и склонился над шифром. Поняв смысл передачи, взгляделся в карту, даже заглянул на ее сгиб. Поднял взгляд, ж Юрка, увидев его, сдержанно улыбнулся. Но на этот раз Верховодов никак не отреагировал, и водитель, присмотревшись, понял, что командир смотрит мимо него. Зная, что за ним уже никого нет, Юрка тем не менее оглянулся: никого.

— А ты почему здесь? — вдруг очнулся Верховодов и на этот раз не удивленно, а раздражительно посмотрел на Карина. — Я тебе где приказал быть?

— С майором, — тихо ответил Юрка. Старший лейтенант готов был отдать голову на отсечение: водитель ждал от него радости.

— Так какого черта ты здесь? Мальчишка! Героя из себя строишь? — Старший лейтенант даже не замечал, что точь-в-точь повторяет слова майора, когда тот ругался в медбате на него самого.

При зеленом свете бледнеющее лицо становится серым. Серый Юрка, не сводя взгляда с командира, начал открывать крышку люка над своей головой. Силы не хватило сдвинуть рычаг, и тогда он сбил его ногой. Отбросил крышку до стопора. Отвернувшись от командира, полез в люк.

— Э-э, погоди, ты куда? — Верховодов тоже вынырнул в свой люк наверх. — Куда, я спрашиваю? Стой, стой, тебе говорят!

Он успел дотянуться и ухватить за бушлат готовившегося спрыгнуть Карина, осадил его. Перебрался к нему, сел рядом, по-прежнему не разжимая рук.

— Ты что, ошалел?

— Почему же? Я птица вольная, свое отслужил. Вот только не знал, что так плохо. Тогда извините. К майору пойду. Назад. — Юрка старался отвернуться, чтобы старший лейтенант не видел его прыгающих губ. Так же к горлу подпирало и перехватывало дыхание, когда уезжал от матери в Термезе, что-то подобное творилось с ним, когда перевернулся на Саланге, и вот сейчас... Эх, командир, командир... От тебя ли слышать такие слова, он ли их заслужил?

Юрка опять попытался спрыгнуть, но Верховодов держал крепко.

— Обиделся... Вообще-то правильно. Извини, брат, — сказал Костя.

Почувствовав, как обмяк после его слов водитель, отпустил бушлат, но подвинулся ближе.

— За что ж вы меня так, товарищ старший лейтенант?

— Честно? Мать твоя не выходит из памяти. Тысячу раз уже проклял себя, что согласился взять тебя в рейс. И мысленно пообещал: или оба вернемся, или... то опять же только вдвоем. И тут я словно крест с себя снимал, отправляя тебя с майором. Вздохнул свободно, а ты... Ты опять на шее... Когда перебрался?

— Сразу же. И майор, кстати, не был против, — более спокойно отозвался Юрка.

— Майор умница, он тебя понял. Тебя, но не меня... А наши дела, Юра, хреновые. Непонятные наши дела.

Юрка резко повернулся, и Верховодову показалось, что он увидел в глазах водителя страх. Ощущение это было мимолетным, потому что в тот же миг Юрка сумел напрячься и постарался как можно беззаботнее спросить: «Что там случилось?» — по старший лейтенант понял: да, Юрка не боялся ни этой своей еще одной ходки «на войну», ни Саланга — он почувствовал страх только сейчас. И испугался, видимо, потому, что имрл выбор, причем имел его дважды — в Термезе, когда был уже приказ об увольнении в запас, и второй раз на Саланге, спрыгнув с бронетранспортера майора. Получается, дважды сознательно Юрка делал выбор не в свою пользу. Солдатская же притча поучает: «Не напрашивайся и не отказывайся». Не напрашивайся — чтобы потом не жалеть, случись что. Не отказывайся — потому что вместо тебя все равно кого-то пошлют в рейс и уже не дай бог что-то случится с ним: все ведь ляжет на твою совесть... Благоразумие и гордость. Первой частью Юрка пренебрег начисто, и все было бы хорошо и красиво, если бы здесь не погибали...

— Так что там за вводная? — не дождавшись ответа, еще более беззаботно сумел спросить Карин.

Ах, Юрка, Юрка, — садовая голова, небритая морда. К&кой же ты классный парень! Сильный парень!

— Что смотрите, товарищ старший лейтенант?

— Да нет, просто о своем думаю, — очнулся Верховодов. — А ситуация... Эй, Гриха, — позвал в люк, — захвати карту и поднимайся вверх.

— Слушайте, мужики, мы не на прогулке, — показалось побитое оспинками лицо лейтенанта. — Давайте-ка лучше вниз.

— О, хоть одра трезвая голова, — согласился Костя. — При такой заботе да хоть в Панджшер к Ахмад Шаху.

Соскользнули вниз, на устланные матрацами лавки.

— Говорят, Ахмад Шах на 16 февраля, когда уйдет последний солдат, назначил прием иностранных послов в Кабуле уже в качестве то ли президента, то ли премьер-министра, — расстлала карту, поделился услышанной еще в Союзе новостью лейтенант.

— А мне кажется, что все будет не так просто, — покачал головой Верховодов, отыскивая свои пометки на карте. — Ты вспомни, как «духи» еще в мае 88-го обещали через три часа после ухода наших войск взять Джелалабад. Взяли? Через сутки должен был пасть Кандагар. Пал? Я о чем, например, подумал, мужики. Хотели мы того или нет, но оказывали мы все эта девять лет медвежью услугу афганской армии.

— Мы? — поднял недоуменно голову лейтенант. Развернул свои широченные плечи: — Да они бы без нас...

— ...они бы без нас значительно быстрее научились воевать. А так девять лет практически просидели за нашей спиной и только теперь, когда отступать некуда, когда, кроме них, защищаться некому, они начнут драться. Вот помяните мое слово, или я ничего здесь не видел

и не понял.

— Но продержатся ли, товарищ старший лейтенант? — солдат, сидевший за пулеметом, отстранился от прицела, посмотрел на Верховодова. Оправдывая любопытство, пожал плечами: — Жалко все-таки. Девять лет...

— «Восток — дело тонкое», говорил товарищ Сухов в «Белом солнце пустыни», — неопределенно ответил старший лейтенант.

Да и кто возьмется сейчас прогнозировать ситуацию в Афганистане? Где тот смельчак? Одно только твердо вывел для себя Костя: раз за девять лет войны «духи» не сумели договориться между собой и объединиться — а объединиться не сумели только потому, что каждый из главарей желал быть только главным, а не в подчинении другого, — то сейчас, после вывода, они ведь глотку перегрызут друг другу в борьбе за власть. А там... кто его знает.

— Приедем в Кабул, а там уже новая власть, — пулеметчик, не дождавшись четкого ответа на свой вопрос, опять приник к окулярам прицела.

— Да в том-то и дело, что в Кабул мы пока не пойдем, — тихо сказал старший лейтенант. Почувствовав, как напряглись Соколов и Юрка — по ногам, до этого расслабленным, почувствовал, но удержался, не стал смотреть на лица подчиненных: пусть переварят услышанное. Важно не то, как встретили весть, а как потом выполняли приказ. Сомнения, тревоги, страх в конечном счете никто не сдавал на таможне в Термезе, все осталось при людях. — Вместо Кабула идем сюда, — указал кишлак за изгибом карты.

Соколов, Юрка, даже пулеметчик тут же наклонились над ней, словно название кишлака могло им что-то объяснить.

— А ситуация, братцы, такова. Через десять кмэ, вот на этом повороте, нас ждет представитель МГБ. В кишлаке был создан первый в уезде дом для сирот, а сегодня утром там произошло отравление детей пищей. Их надо срочно вывезти в больницу.

— «Вертушки»? — спросил Соколов.

— Пытались. Сильный огонь с гор. Один вертолет сбит, есть предположение, что кто-то из экипажа захвачен в плен. Наша колонна ближе всех. Приказано: детей вывезти в Кабул. Район «духовский», но сюда уже идет батальон афганских «командос». Так что задача поставлена, будем выполнять.

«Будем выполнять», — повторил уже менее бодро про себя Верховодов. Но как выполнять без разведанных, без саперов, «вертушек»? В более нелепую ситуацию он еще не попадал. И единственное, что дает ей оправдание, это то, что во всем этом главное — дети. Нет бы что-нибудь другое. Впрочем, будь другое, «ниточку» бы не дернули, это тоже ясно.

— И откуда они взялись? — тем не менее не удержался Костя от восклицания.

— Кто? Дети? — хитро глянул Соколов. Он уже настроил себя на ситуацию, если начинал шутить. — Тебе объяснить, откуда берутся дети?

«Дети — наше будущее!» — вспомнился расхожий лозунг. — Наверное, для Афгана тоже. Интересно, а Юля детей любит?»

Захотелось удержать ее образ, вспомнить что-нибудь томительно-сладостное, но Юльку

заслонило широкое, бородатое лицо афганца. Почему-то подумалось, что представитель МГБ у поворота будет именно бородатым...

— Перед поворотом всей колонне — «Стой!», — приказал лейтенанту.

V

Какое это счастье — лежать закрыв глаза! Даже если у тебя связаны руки, болит от ударов все тело и сбиты ноги. Даже если ты в плену и не знаешь ни одной секунды из своего будущего.

— Володя!

Нет, он не скажет им своего настоящего имени. Назовется Ивановым, Петровым или Сидоровым. Что от этого изменится, он еще не знал, но решил твердо: не назовется. Документы в небо он никогда с собой не брал, а больше вроде бы никаких следов... Нет, куртка! Надпись на куртке сделана хлоркой...

— Володя... Рокотов!

Кто-то позвал его или послышалось? Хорошо, что исчез в ушах гул вертолетов. И хорошо, что дошли до этого кишлака, зашли в этот двор и ему разрешили прилечь, прикрыв глаза...

— Рокотов!

Нет, это не сон, не гул, это... Ото голос командира!

Рокотов резко сел и сразу же увидел капитана Диму Камбура. Его держали у противоположной стены — в изорванной тельняшке, с разбитым лицом, синего то ли от мороза, то ли от побоев. Жив, жив Цыпленок — за то, что и старшего лейтенанта, и капитана получил досрочно, что был моложе всех в экипаже — всего двадцать пять, за худобу и тихий голос звали тихонько меж собой бортмеханик и правый летчик командира Цыпленком...

— Команди-и-ир, — привстал Рокотов, но его одернули, усадили на место.

Дима тоже рванулся к нему, сумел выскользнуть из рук охранника, побежал через двор. Его легко догнали, сбили, и тогда капитан пополз по грязи, намешанной бродившими по двору коровами. Охранник несколько раз наступал ему на голову ногой, но капитан выворачивался, отряхивался и продолжал ползти к Рокотову. И тогда прапорщик тоже рванулся к командиру, и его тоже сбили — даже не догоняя, просто подставив ногу. И чей-то ботинок тоже наступал ему на затылок, окунал в холодную грязь, и он, подражая командиру, выворачивался, отряхивался и полз.



Когда до Димы осталось совсем немного, его схватили за ноги, потащили назад. Приподняв голову, увидел, что так же оттаскивают к стене и капитана. Но лишь его отпустили, тот вновь, переваливаясь на плечи, помогая коленями, пополз вперед. Командир плевал на всех и делал то, что хотел. Тогда он тоже... Только дотронуться, только коснуться командира, и пусть «духи» делают что хотят, он поползет, дотянется...

Спину распорол что-то огненно-горячее, потом еще и еще. В первый миг он замер, даже сам зарылся лицом в грязь от боли, но все же нашел силы посмотреть на командира. И по тому, что делали с Димой, понял: «духи» секли и его, и Цыпленка нагайками. Но капитан, скривив от боли разбитое, грязное лицо, продолжал ползти, и прапорщик в один из промежутков между ударами тоже толкнул свое тело навстречу.

Спина уже не воспринимала удары, она просто занялась и пылала, горела огнем, когда Рокотов и командир коснулись головами друг друга.

— Привет, — прошептал Дима Камбур.

Привет, привет, Цыпленок! Видишь, как все получилось? Но все равно, какое счастье, что ты живой! Что ты рядом. Теперь пусть что хотят делают. А еще давай Ваньку Голубева помянем, своего «правака», сраженного вместе с вертолетом очередью из ДШК. Ему даже и прыгать не пришлось. Втроем были — вдвоем остались. Хорошо, что встретились. Хоть так — но увиделись. Привет, командир, привет, дорогой...

Пока там, наверху, сматывали нагайки, пока наклонялись, пока брали за ноги — у них было еще целое мгновение находиться рядом. И потом, оттащенные каждый к своей стене, они смотрели друг на друга и улыбались. И было смешно смотреть, как тревожно-подозрительно переглядывались между собой «духи», потому что они слышали какое-то слово, сказанное тем, в изорванной тельняшке, и теперь пытались понять, отчего оно обнадежило, обрадовало до улыбок пленных.

Впрочем, Рокотов и сам бы не смог объяснить, почему он улыбался командиру. Это было помимо его сознания, помимо дикой боли в исполосованной спине. Словно через что-то в себе переступил он, а вернее, получил для себя, своей души от соприкосновения с разбитой Димкиной головой.

Из низкой, узенькой двери дома вышел поджарый афганец в свитере и джинсах. К нему подошли по одному человеку от «черных аистов» и группы, захватившей капитана. Они молча выслушали хозяина дома, согласно покивали, разошлись.

Над прапорщиком наклонился молоденький «аист», и Рокотов, опережая его, произнес:

— Встаю, встаю. Слушай, сними с меня куртку, передай ему, замерзнет ведь, — и прапорщик показал взглядом на капитана.

Переводчик то ли не понял, то ли не счел нужным отвечать, и Рокотов окончательно убедился: встретились две банды, у каждой по добыче и никто ни с кем делиться не будет. Наоборот, постараются побыстрее, первыми довести пленных до главаря, обрадовать его — как говорят на Востоке, медленный верблюд пьет и мутную воду.

Но Владимир ошибся: их повели с командиром вместе. В начале цепочки, сразу за разведкой — капитана, связанного по плечи. Через семь-восемь «духов» — его, Рокотова. Дима несколько раз попытался оглянуться, что-то сказать, но идущий за ним охранник пнул прикладом, Цыпленок не устоял, упал лицом на камни.

Когда тронулись вновь и дошли до места, где упал Дима, прапорщик увидел на камне кровь своего командира. Кто-то из «духов» уже оставил на красном пятне отпечаток ботинка, но Рокотов успел перешагнуть через него, не наступить на Димкину кровь.

«Со мной еще по-ангельски обходятся, — вдруг подумал о своих «аистах». — А Димке достались сволочи».

Он подумал так и, словно была его вина в раскладе судеб, опустил голову. Впрочем, вина все же, видимо, была: прапорщик подумал об этом с какой-то долей облегчения — слава богу, что не ему достались Димкины «духи». В Димке он был уверен, он знал, что командир выдержит все, а вот он сам... Себя он не видел, не чувствовал в героях — ему было и страшно будущего, и больно от настоящего...

А склон становился все круче, под камнями уже можно было увидеть снег. Ветер крепчал с каждой минутой, и Рокотов с тревогой высматривал щупленькую фигуру командира, еле-еле прикрытую тельняшкой.

В ушах вновь появился гул вертолетов, и прапорщик потряс головой, отгоняя его. Но его вдруг схватили за плечи, повалили на камни, и он понял — это в самом деле «вертушки». Их ищут, ищут!

— Мы здесь, здесь! — закричал тоненьким голосом — он всегда стеснялся своего совсем не командирского голоса, их капитан.

Не зная, что повторяет своего борттехника, он бросился вверх по склону, но его тут же настигли, легко сбили. Да, все как с ним, прапорщиком Рокотовым. Значит, потом этот гул вертолетов долго будет стоять в памяти Цыпленка и только по поведению банды можно будет понимать, на самом ли это деле или только чудится.

Но Цыпленок не сдался. Он ударил ботинком по лицу наклонившегося над ним «духа», тот вскрикнул, схватился за разбитый нос, и Димка вновь рванулся, побежал в гору:

— Мы здесь, здесь!

Однако «вертушки» не долетели, они даже не показались из-за вершин. Остановился и Дима Камбур, но не от отчаяния, а потому что добежал до обрыва. Оглянулся. Мятажники полукольцом окружали его. Душман, которого он ударил ногой, утирал капающую из носа кровь. Встретив взгляд пленника, вышел вперед, достал нож. Наверное, капитану трудно было оторвать взгляд от его сверкающего лезвия, но он сделал это, отыскал взглядом своего борттехника. Рокотова предусмотрительные «аисты» держали за плечи.

И тогда капитан, как на свою последнюю надежду, посмотрел на небо. В этот момент душман с ножом прыгнул к нему, но чуть раньше, мгновением — но раньше, Цыпленок сам завалился назад и исчез в пропасти.

— Команди-и-ир, Дима-а, — прошептал прапорщик, а затем зарычал, забился в цепких руках: — Не-е-ет! Гады! Димку!

Его скручивали, били, он выворачивался, отбивался ногами, головой:

— Гады-ы! Димка-а!

Тогда ему просто сдавили горло, и он, задыхаясь, затих. Прикрыл глаза, но в памяти сразу

возник Цыпленок — он падал и падал в пропасть, раз за разом, как это делается при повторах в фильмах. Зачем же ты упал, Димка, зачем? Что-нибудь придумали бы, выкрутились. Вдвоем бы выкрутились. Как же ты решился?

Он сел, посмотрел па то место, где стоял последний раз командир. «Духи» заглядывали в пропасть, о чем-то спорили. Бросили несколько враждебных взглядов на «аистов», и те непроизвольно стали ощупывать, подгонять под руки оружие.

«Ну, давайте. Перережьте друг другу глотки за Димку, ну, он был бы только рад. Ну, что мнетесь? — Рокотов вызывающе, ухмыляясь, стал смотреть на стоящих у пропасти. — Ну же, ну! Отбивайте меня, захватывайте, и мои «аисты» покажут, что значит быть смертниками».

Но никто ни на кого не бросился: злобные взгляды — еще не драка. Сдержались один, успокоились другие, и только сам Рокотов, продолжающий презрительно ухмыляться, получил очередной тычок автоматом. И вновь потекла под ботинки тропинка, только не было уже командира впереди, крови его не было на камнях. Зачем он, зачем... Где-то в Ставрополье у него невеста. Как-то, не утерпев, показал в комнате фотографию. С толстой русой косой на груди, ямочки на щеках, она, по всей видимости, была плотнее капитана, может быть, даже чуть выше, и кто-то в комнате неудачно сострил на эту тему. Другой мог бы перевести все это в шутку, Цыпленок же вспыхнул, вышел из комнаты и не возвращался в нее до глубокой ночи. Он не признавал половины, их командир. Любить — так любить, летать — так летать, жить — так...

Все верно, плен не для Камбура. Узнают ли когда в эскадрилье, как погиб их лучший летчик? Та девушка из Ставрополья узнает? А больше... Больше у командира в Союзе родных и любимых никого не было. Разве только что детский дом. Сирот, как правило, в Афганистан не посылали — видимо, именно тот случай, что если кто попадет в плен, его связывали бы с Родиной не только чувства, но и родная кровь.

Дима знал это, по все равно добился отправки в Афган и, может, своей смертью доказывал, что хватит бояться и остерегаться друг друга. Что не от наличия отца и матери у человека развито чувство любви к Родине и ответственности — перед присягой.

Хотя, конечно же, нет, наверняка не об этом думает человек, решившись на смерть. Он в небо посмотрел перед прыжком, их Цыпленок. Он любил летать, в этом была его жизнь, и прощался с жизнью и высотой...

Прапорщик вспоминал и вспоминал командира, потому что думать о себе, поставить себя на его место не хватало смелости. Наверное, потому что чувствовал: он бы так все равно не смог. Он, как и Димка, второй раз в Афгане и прекрасно понимал, что его могут убить. Но быть убитым и погибнуть, пойти на смерть самому — какая же это большая разница...

Куда вели, сколько, о чем еще думалось — Рокотов не видел и не помнил. Очнулся, когда они вышли еще к одному кишлаку. Даже нет, это был не кишлак, в кишлаках обычно полно детей. Цыпленок всегда поднимал машину повыше, если внизу были дети: чтобы не испугать. И за больными, отравившимися в детдоме, первым вызвался лететь. Сироты — они в любой стране сироты. И наверняка командир себя вспомнил, слушая сообщение комэска. И дал понять, что готов лететь в горы, тем самым сняв напряжение с остальных: полк уже получил приказ на вылет в Союз, и встречи с семьями у вертолетчиков исчислялись какими-то десятками часов.

Да, а это не кишлак. Это скорее база «духов» — с часовыми, дотами, ограждением. И место очень удачное — десяток глинобитных домиков разместились практически под нависшими над

склоном скалами. С воздуха точно ничего не рассмотришь, а вот дорога накатана, значит, машины подходят...

Их заметили, от самого большого дома — единственного, огороженного дувалом, навстречу бежал светловолосый, весь в лохмотьях, парень. Он был босой, давно не мытые волосы висели сосульками, в редкой бороде запутались какие-то травинки, — но это были светлые русские волосы, и Рокотов вгляделся в парня. Тот уже прыгал, размахивая руками, вокруг них, один из «аистов» сунул ему конфету. Дурачок, загораживаясь от всех спиной, сел тут же в пыль и зубами начал разрывать обертку.

Рокотова провели мимо него, остановили у большого дома. Дверь распахнулась, и двое «духов» выволокла под руки окровавленного парня. Он был одет в афганские шаровары, рубаху, но волосы — волосы тоже были русые, и нос курносый.

Сзади раздался крик: к пленному подбежал дурачок, хотел дотронуться до него, но охранники небрежно оттолкнули его и потащили пленника к небольшой, с решетками на окнах мазанке в центре базы.

«Тюрьма», — понял Рокотов, когда парня забросили внутрь и закрыли на замок дверь. Дурачок начал швыряться камешками и пылью в спины уходящих под навес охранников, те уже серьезно погрозили ему кулаком, и сумасшедший отбежал, спрятался за стены тюрьмы и тоже погрозил кулаком.

— Иди, — подтолкнул Рокотова переводчик, и прапорщик невольно отметил про себя: выходит, он знает не только слово «вставай».

Его ввели в просторную, теплую комнату. У окна за низким столиком наливал себе из заварного чайничка кофе гладко выбритый, коротко подстриженный афганец лет пятидесяти. Не глядя на пошедших, отпил несколько глотков кофе, шумно, удовлетворенно передохнул. От аромата кофе слюну сглотнул не только прапорщик, но и согнувшийся в полупоклоне переводчик.

Наконец главарь посмотрел в их сторону. Переводчик, еще раз поклонившись, о чем-то быстро-быстро заговорил. Хозяин дома изредка кивал, потом жестом руки остановил рассказчика и выслал его из комнаты.

— Здравствуй. Значит, ты легчик? — по-русски, почти без акцента спросил главарь.

Рокотов неопределенно пожал плечами: он так и не решился, кем прикидываться.

— На дари или пушту говоришь? У нас многие за девять ваших лет изучили ваш язык, а вы почему-то не хотели... Сотрудничать с нами будешь?

Прапорщик опешил: это что, делается вот так, сразу? Словно мимоходом? Он ожидал угроз, пыток, он... он готов к ним!

— Откажешься — будем пытаться, — словно прочел его мысли хозяин. — Ты знаешь, ваши войска почти все ушли за Саланг, и никто здесь теперь вас искать не будет. Скажу, что я специально перекупал пленных шурави, чтобы в обмен на вас продиктовать определенные условия Кабулу. К сожалению, не успел, я все же не верил, что вы уйдете. Но теперь и беречь мне вас нет смысла. Могу расстрелять сегодня, могу посадить на десять-пятнадцать лет в яму, могу... — Главарь встал, подошел к окну. — Витюню Дурачка видел?

Рокотов кивнул, хотя главарь не посмотрел в его сторону. Стало стыдно: «Уже киваю. Господи, уже киваю».

— Витюня тоже ничего не хотел. Сейчас тоже ничего не хочет, кроме конфет. Нет, я не прав, — остановил себя хозяин. — Он раньше очень хотел умереть. Даже на меня бросался, думал, что застрелю. Но я не дал ему умереть. Пусть живет, да?

В самый последний момент удержал себя Рокотов, чтобы опять не кивнуть. «Контроль, контроль, не расслабляться!» — приказал себе.

Главарь выжидательно посмотрел на пленника, сел опять за столик. Взял из вазы яблоко, надкусил.

— У меня нет ни времени, ни желания с тобой заниматься. Мои карты раскрыты. Я слушаю твой ответ.

«Нет, нет, нет», — подготавливал себя внутри Рокотов, но, не зная почему, произнес:

— Я бы хотел подумать. Можно подумать?

Главарь усмехнулся, и прапорщик понял, что в этом доме условий не ставят. Но хозяин неожиданно согласился:

— Хорошо, у тебя будет немного времени.

Он поднял руку, в комнате неизвестно откуда появились два моджахеда. Они подтолкнули Рокотова к двери, по не той, в которую он вошел, а выходящей на веранду.

Во внутреннем дворике было затишно от ветра и тепло от солнца, и прапорщик подумал, что перед окончательным отказом у него будет несколько минут отдыха. Единственное, о чем можно молить хоть бога, хоть дьявола, — это чтобы не сделали Володей Дурачком. Только не это. Что угодно — только не это.

Он направился к освещенной солнцем стене, но его вдруг повалили, начали связывать тело веревкой. Прапорщик попытался сопротивляться, но спину придавили коленом и успокоившийся вроде бы огонь от нагаек полыхнул с новой силой. Потом его, уже безропотного, протащили по двору, начали подвешивать к похожей па колодезный журавль балке. Он никогда, даже в кино, не видел дыбу, а здесь понял, что это она. Привязав пленника на стреле, «духи» подняли его в воздух, переместили к той самой освещенной стене, о которой он мечтал, и там стали опускать над небольшим загончиком.

Глянув вниз, Рокотов вскрикнул и, извиваясь, уже не чувствуя боли в выворачиваемых суставах, подтянулся вверх. Однако его опускали все ниже и ниже, и все ближе и страшнее становился клубок змей, кишящих на дне загона.

Рокотов из последних усилий, похожих на те, когда он заставлял ползти себя под ударами нагаек к Диме Камбуру, подтянулся еще раз, стараясь вывернуться. И в этот момент исчез свет, исчезло все...

Очнулся он в холодной, полутемной комнатке, и первое, что увидел, — маленькие квадратики света в оконцах. «Тюрьма», — с облегчением подумал он: решетки после змей воспринимались как счастье. Рядом кто-то завозился, и он повернул голову.

— Ну слава богу, еще живы, — к нему из угла подался парень, которого накануне волокли из дома главаря. — С прибытием. Давай усаживайся поудобнее.

— Спасибо... Мне так... неплохо. Ты давно... здесь?

— С весны. Олег Баранчиков, сапер, — он пожал локоть прапорщика.

Олег был худ, голова его подергивалась, как после контузии, и, присмотревшись, Рокотов увидел, что левый глаз сапера выбит, от него через всю щеку проходил и прятался в бороде шрам.

Пристальный взгляд прапорщика, видимо, напомнил Олегу об увечье, голова его задергалась чаще, и Рокотов поспешил тоже представиться:

— Володя. Рокотов. Борттехник с «Ми-восьмого».

— Сбили?

— Подстерегли. Сегодня утром.

— Что там, на воле-то? Наши уже ушли? — в вопросе Олега слышалась затаенная надежда на обратное, он даже весь подался к прапорщику, сверкая глазом, и тот, угадав его мысли, попытался смягчить удар:

— Нет еще, не ушли. Войска только-только подходят к Салангу.

— Значит, все! — Олег сжал, остановил ладонями голову, но не удержал ее, и тогда резко встал с корточек, заметался по камере, стуча кулаком в стены. — Все, все, все! Полгода ждал, верил, что прилетите, не бросите...

Застонав, он повалился на солому в углу камеры, обхватил голову руками:

— Как я верил... Если бы вы знали, как я верил. За что же тогда, за что все муки... Бросили! Бросили! Бросили! — Олег стал стучаться головой об пол, и Рокотов торопливо перебрался к нему на коленях, придержал сапера. Он не знал, что нужно сказать ему, что можно пообещать, посоветовать человеку, полгода просидевшему в душманском плену. Он лишь гладил Олега по плечу — так матери успокаивают детей. И Баранчиков постепенно затих, лег на спину, стал смотреть немигающим взглядом в потолок.

— А что там, на Родине? — тихо, спокойно вдруг спросил он. — Про нас что-нибудь говорят? Помнят хоть нас? Думают хоть что-нибудь делать?

— Про вас?.. — Рокотов осекся, усмехнулся, поправился: — Про нас, пленных, много и часто пишут. Генеральный прокурор всех простил и объявил амнистию.

— Какую амнистию? — сначала приподнялся на локте, потом стал на колени Олег. Наморщил лоб. — За что амнистию? Насколько я понимаю, амнистию дают преступникам и предателям. А я не преда-а-атель. — Голова Олега вновь задергалась, Рокотов попытался оправдаться, но Олег не дал: — Мне не нужна амнистия. С меня полгода жилы тянут — а я им хрен с маслом. Меня в бою взяли, раненого, — за что же амнистия?! За что меня простили? — Он схватил прапорщика за грудки, оскалился.

— Извини, я, наверное, не так выразился, — заторопился Рокотов. — Простили, видимо, тех,

кто предал.

— «Кто предал», — со злобой повторил Олег. — А я не желаю становиться с ними на одну доску. Знаешь, кого из пленных отсюда вывозят? Только тех, кто согласился сотрудничать, кто рассказал все, что знал. Я тоже мог давным-давно жрать икру где-нибудь в Америке или Швеции. Но я здесь, здесь... Почему я здесь, а кто-то — там? — Олег опять схватил прапорщика за грудки. И тут же, без всякого перехода, сев у стены, сообщил: — Нас здесь трое. Сержант Иван Заявка, я и Асламбек, мы его Сашей зовем.

— А где они? — Рокотов был рад смене разговора.

— Послали на работы, хлеб с водой надо же отрабатывать. А меня опять Изатулла уговаривал жрать икру. Подавится, — Олег отмерил руку по локоть.

— А они давно здесь?

— Заявку взяли в дукане недели три назад, хотел перед дембелем, салага, джинсами разжиться. С Асламбеком... с Сашей сложнее. На операции оставил где-то автомат, он и пропал. Комвзвода взял и ляпнул: «Иди ищи и без оружия не возвращайся». Доискался, пока не трахнули по голове из-за дувала. Больше всего боится, как бы во взводе не подумали, что он сам и «духам» ушел.

— Да что там, дураки, что ли?

— Все так, только... Словом, это он уже мне рассказывал: после «учебки», перед отправкой сюда, в Афган, его родители привезли взятку — тысяч пять или семь. Кто их надоумил, не знаю, но пытались сунуть деньги командиру роты. Если одно наложится на другое — уже и версия.

— А что за Витюня Дурачок?

— Не знаем, он был здесь уже до нас. Это худший вариант, чего мы все боимся. — Олег замолчал, потом добавил, видимо, выношенное: — Лучше на цепи, но с памятью, чем без нее, хоть и на воле.

— А убежать? Охрана?

— Я уже бегал, — Олег усмехнулся. — Изатулла пообещал, что если еще раз попытаюсь, последний глаз выбьет. Но планы есть... — Сапер быстро глянул на прапорщика, оценивая его реакцию.

Видимо, по тому, с какой надеждой прапорщик подался к нему, по глазам, мимике, нетерпению — да сотни и тысячи неконтролируемых человеком жестов, движении говорят порой больше самых клятвенных заверений, — но Баранчиков решил. Из щели над дверью, замирая при каждом неосторожном движении, он вытащил зазубренный ржавый кусок железа. Несколько секунд с наслаждением взвешивал его приятную тяжесть, хотел подать прапорщику, но вдруг, торопясь, засунул железку обратно. Отскочил к противоположной стене.

Снаружи завопили с замком, дверь распахнулась от удара ноги, и в камеру бросили человека. Дверь тут же захлопнулась, и Рокотов вместе с Олегом склонились над небольшого росточка солдатом-узбеком. «Асламбек», — понял прапорщик, утирая вытекающую у него изо рта кровь. В отличие от Олега, Асламбек был хотя и в изодранной, но солдатской форме.

Почувствовав прикосновения, он, не открывая глаз, прошептал-пожаловался:

— Они опять били, Олег... Дай попить...

— Где Иван?

— Там еще... Пить.

— Потерпи, Саша, нет воды. Ты лучше посмотри, нас теперь четверо.

Асламбек замер, затем поймал руку Рокотова, ощупал ее и приоткрыл глаза.

— Он еще сегодня был у наших, — наклонившись, зашептал Олег. — Говорит, всех нас, пленных, очень ищут. Говорит, создали специальные отряды, которые захватывают главарей, а их уже меняют на нас. Правда? — сапер поднял голову и моргнул: поддерживай.

— Точно, — кивнул Рокотов.

— Выручат... — Асламбек опять прикрыл глаза. — Только быстрее бы... Олег, пить хочется. Дай попить, Олег. Найди...

Рокотов обвел взглядом камеру — ничего, кроме соломы на полу. Олег положил голову Асламбека себе на колени, по тот все равно беспрерывно просил:

— Пить... Пить...

Прапорщик подошел к двери, постучал кулаком по шершавым доскам. Подождал. К двери никто не подходил, и тогда он заколотил ногой.

— Бесполезно, — покачал головой сапер. — И еще накостыляют.

Но на этот раз за дверью послышались шаги, и в камеру, подогнувшись, вошел высокий плечистый охранник.

— Воды, — показал Рокотов на Асламбека. — Воды принеси. Пить.

«Дух» оглядел всех троих, обвел взглядом камеру, вздохнул и резко, без замаха, ударил прапорщика коленом в живот. Рокотов согнулся, хватая ртом воздух...

VI

Эмгэбэшник оказался скуластым и бородатым — именно таким, каким представлял его Верховодов. Он безошибочно выделил в Косте старшего, отдал честь, первым протянул руку:

— Салам алейкум, командор. Меня зовут Захир. Со мной пятнадцать человек, — он показал на сидящих у костра солдат. — Надо спешить.

— Мин много? — остановил его, кивнув на пыльную, разбитую грунтовку, старший лейтенант.

— «Бурбухайки» [1] ездят.

— Садись в первый «Урал», я буду во втором. Солдат — на бронетранспортеры. Гриша!

Соколов тут же оказался рядом, тоже поздоровался с афганцем.

— Ты — на связи. Если что — за меня. Пулеметы — «елочкой». — Этого старший лейтенант мог бы и не говорить: башни «бэтров» через одну уже были повернуты вправо-влево. Лейтенант вполне справедливо поджал губы — нашел о чем напоминать, не в Союзе.

— Какие в округе банды, их тактика? — принимать во внимание обиды времени не было, и старший лейтенант опять повернулся к афганцу.

— Самая крупная и сильная банда в уезде — Изатуллы. До этого она не проявляла активности и потому хорошо сохранилась. По последним данным, Изатулла имеет крупный склад с оружием, на днях уплатил деньги за «Стингеры», значит, вот-вот получит. В отряде жесткая дисциплина, ввел штрафников. Самолюбив, дальновиден. Будет бороться за власть. И еще. Вчера мы получили сведения, что у него есть пленные. Ваши пленные. Данные не проверенные, но мы сообщили о них вашему командованию. Вроде бы уже выделены деньги на выкуп, ищутся пути выхода на Изатуллу. Ну, и наши «командос» уже вышли в район.

— Что известно о детях?

— Дети — тяжело. Как нам передали, температура, рвота.

— Диверсия?

— Не знаем. Но каждый час дорог, командор.

— Да-да. По местам! — крикнул Верховодов.

Сколько раз за последние два года он подавал эту команду! Кажется, можно закрыть глаза и все равно до мелочей увидеть, как она выполняется. словно на коня, вдевая ногу в скобяную подножку как в стремя, взлетит на броню бронетранспортера Гриша Соколов. Петя Угрюмов ударит ногой по переднему скату, то ли сбивая с сапог грязь, то ли проверяя давление, а может, просто таким образом выражая машине свою любовь. Гриша, любитель лошадей, тоже говорит, что коня ласкают не поглаживанием, а похлопыванием по шее. Юрка Карин дождетя, когда захлопнутся дверки всех машин, и только тогда откроет свою. Хотя нет, сегодня Юрка выпадает, Юрке нечего открывать...

Верховодов оглянулся на «бэтр» Соколова и словно споткнулся о взгляд Карина: ефрейтор ждал, когда о нем вспомнят, ждал команды для себя. Сколько рейсов он, как вожак, снисходительно ждал, когда колонна приготовится в дорогу. Зпали все, знал в первую очередь он сам, что ему доверят самое опасное и трудное, но вожак потому и вожак, что вместо страха у него в душе — гордость.

И вот вожака лишили права рисковать первым. А вместе с этим передается уже другому, новому первому особое почитание, восхищение, тайная гордость ребят всей колонны. В двадцать лет, судя по взгляду Юрки, это так существенно, так тяжело...

— Ефрейтор Карин!

Юрка подхватился, напрягся я тут же во взгляде с уверенностью прибавилось и надежды.

— Старшим в третью машину.

Не надо было чувствовать — старший лейтенант увидел, как мгновенно простил ему Юрка все обиды, всю, на его взгляд, несправедливость по отношению к нему: он расправил плечи, гордо

улыбнулся, снисходительно хлопнул по шлему механика-водителя «бэтра» и спрыгнул на землю. Привычно оглядел колонну — все ли на местах, не пора ли и ему в кабину?

«Ох, Костя, не простишь ты себе, если, не дай бог, что-нибудь...» — Верховодов хотел постучать по дереву, но кругом были только металл и резина, и, как всегда в таких случаях, согласился сам быть пеньком — постучал себе по голове. Вспрыгнул на подножку второго «Урала».

Место второго в колонне тоже просчитано, и совсем не случайно. Если огонь открывают по первому, то именно второй должен и обязан добраться до него и уж в зависимости от обстановки то ли прикрыть его своей машиной, то ли вытащить из-под огня. Второй — это вера первого в то, что он никогда не останется один, это надежность, это в какой-то степени бронезилет его. Это, в конечном итоге, та самая смелость и гордость первого, которыми так гордится Юрка Карин. А то, что без второго не будет и первого, в этом Верховодов убеждался не раз, пока выбор его не пал на шустрого, разбитного Семена Горовойха.

Он пришелся ко двору сразу, уже при знакомстве старшего лейтенанта с молодым пополнением.

— Рядовой Семен Горовой, — скороговоркой представился он и тут же плутовски сощурился.

«И что же ты от меня ожидаешь?» — подумал Верховодов, записывая в свой блокнот: «Ряд. С.Горовой». Но только он поставил точку, солдат тут же деликатно попросил:

— Нарастите мне «х», товарищ старший лейтенант.

Рядом прыснули: видимо, шутка действовала безукоризненно. Верховодов, пытаясь понять ее, поднял взгляд, но солдат, сделав удивленную мину — что здесь непонятного и смешного? — повторил:

— Мне военком еще на призывном пункте сказал: смотри, чтобы в армии не забывал наращивать «х». С юмором майор. Моя фамилия Го-ро-войх-х!

— И много раз вам наращивали ваше «х»? — видя, как солдаты смеются в открытую, не стал строить из себя невесть что и Верховодов.

— А все время, товарищ старший лейтенант, — добродушно ответил солдат. — Как первый раз пишут — так «х» и отпадает.

— А вы, представляясь, специально не договариваете окончание, — вполголоса, «открывая» солдату его хитрость, сказал старший лейтенант и подмигнул.

Семен, принимая командира в заговорщички, согласно улыбнулся.

Вот так и пришел Семен в роту. Где-то на третьем или четвертом выезде он под огнем «духов» сумел заменить пробитый скат и вывел машину в безопасное место. Вместе с представлением его к медали «За боевые заслуги» Верховодов отметил про себя: этот надежен. Медаль в тот раз не пришла — кто-то посчитал несущественным замену колес, пусть под пулями, но именно тогда Семен определился «бронезилетом» для первых.

Горовойх, ожидая команду на начало движения, ножом намазывал на галеты сосисочный фарш.

— Ох, и поедем, товарищ старший лейтенант, — мечтательно проговорил он. Вычищенную

банку выбросил в окно, потравил повешенный на дверку бронжилет. Локтем вытер и без того чистое лобовое стекло с надписью «Калуга» в левом верхнем углу. После прибытия в Афган Верховодов хотел было заставить водителя стереть эту надпись, но, увидев, что практически все «колеса» ездят с надписями родных городов, успокоился. Рассудил так: если это считать за нарушение, то что тогда говорить о том, когда солдаты по пятнадцать часов не вылазят из-за баранки? А так — родные города пишут, а что в этом плохого, если помнится Родина? По надписям водители и земляков видят: когда две колонны идут навстречу друг другу, гудки по всей «ниточке»: Калуга Калугу приветствует, Иркутск — Иркутск. Нет, хорошо это, когда человек гордится родным домом.

— Одно непонятно, — продолжал Семен. — Вроде идет нам здесь день за три, ну, давали бы и жратвы тогда в такой же пропорции. Угощайтесь, с обедом, как я понял, мы в пролете.

«День за три, — думал Верховодов, хрустя галетой. — Да если выскочим из сегодняшнего дня, я свои три кому угодно отдам».

Бросил взгляд на часы — ровно тринадцать. Прошла только половина дня, а что там еще впереди ожидается?

— А часики-то классные нам дали, — Семен тоже глянул на свои «командирские». — И где только на всех набрали?

— Наберут, когда захотят. Не грохнуть бы только, я свои вечно бью.

— Эти нельзя, — Семен бросил взгляд на руку. — Как-никак от министра, да и память об Афгане.

Часы вручали в Термезе каждому солдату и офицеру, выходявшему из Афганистана, — как ценный подарок министра обороны за выполнение интернационального долга. Такое в самом деле надо хранить.

Колонна плавно тронулась. Семен вслед за машиной Угрюмова вывернул «Урал» на грунтовку, чуть сбавил скорость, увеличивая дистанцию: пыль была хоть и не такая, как летом, но была, водителю главное на афганских дорогах — ехать по следу. Да, есть мины на количество проеханных по ним машин: двадцать проедет — и ничего, а двадцать первая уже обречена. Или шестнадцатая. Но все равно колея в колею — это спокойнее и надежнее, чем прокладывать новый след.

— Политикой занимаетесь, товарищ старший лейтенант? — прожевав бутерброды, повернулся к командиру Семен. Верховодов поудобнее устроился на сиденье; на вопросы Горовойха односложно не ответишь, надо запастись терпением. Тем более сейчас. Раньше на политзанятиях приводилось смотреть, чтобы солдаты не спали, теперь, во время вывода, миллион вопросов. — Я в «отстойнике» газет начитался про выход из Афгана, и что-то у меня в башке тронулось. Почти каждый корреспондент считает своим долгом назвать нас, вернувшихся, несчастными, а вхождение в Афганистан — ошибкой. А, товарищ старший лейтенант?

— А ты сам чувствуешь себя несчастным?

— Я? Да вроде нет. Но ведь сколько воплей и соплей, извините за выражение, по нам, что хоть бросай руль и... — Семен в самом деле оставил руль, «Урал» в это время тыркнулся в колдобину, вильнул, и водитель опять схватился за баранку.

— Вот тебе и ответ, — улыбнулся Верховодов — А вообще-то хорошо, что вам не безразлично, как пишут о выводе. А пишется, ты прав, много. И все, кому не лень.

— Пишут: время, мол, такое настало — говорить правду.

— А какая она, правда об Афганистане? Помнишь, как летом нас угостили виноградиком?

— Тот аксакал, что ли, с козлиной бородкой?

— Тот самый. Созвал нас, остолопов, всех вместе: кушайте, бакшиш от частого сердца. Я запомнил, как он руку к сердцу прикладывал. А сам за дувал и оттуда — гранату. Счастье наше, что она скатилась в арык. Эта правда об Афганистане?

Семен кивнул:

— Правда, и еще какая.

— А теперь вспомни веслу, когда тащили стройматериалы в Пагман. Помнишь старика, который предупредил, что «духи» заминировали дорогу? И потом разрешил всей колонне идти через свой огород? Я оглянулся, когда «броня» пошла по запрудам, винограднику: старик плакал. Но ведь это тоже правда об Афгане! Я не забыл первый случай, но не собираюсь забывать и второй... Осторожнее, яма.

«Урал» аккуратно, лишь скрипнув бортами, перевалил через рытвину.

— А чего было больше, товарищ старший лейтенант? Первого или второго?

— Наверное, кто чего захочет увидеть. Знаешь, откуда идет неразбериха с Афганом, вернее, с вашим отношением к нему?

— Откуда?

— Мы забыли и не вспоминаем изначальный смысл приказа на вхождение: оказать помощь. Не воевать, не захватывать, не уничтожать — оказать помощь. Благородно?

— Благородно, — осторожно согласился водитель.

— Тогда почему мы должны стесняться этого? Другое дело, что мы позволили себя втянуть в боевые действия. Ну так давайте же тогда в этом искать ошибки и просчеты, в этом — почему мы втянулись в войну. А в том, что мы оказались готовы прийти на помощь, — это что за ошибка? Я не вижу.

— Но, если честно, товарищ старший лейтенант, народ проклинает ведь Афганистан.

— Нет, Семен, народ проклинает не Афганистан, а войну. Это очень большая разница. Огромная. Лично я пришел к этому, заметив одну особенность: наши люди так и не начали ненавидеть афганский народ, хотя из этой страны шли цинковые гробы. Мы ругали свое правительство, командование, но не афганцев. Почему?

— Почему? — повторил вопрос командира Семен.

— Что бы ни писали сегодня в газетах, какие бы выводы ни делали журналисты, народ все же чувствовал: кроме боли и горя, Афганистан еще — и наше благородство. Мы почему-то не

упоминаем, а ведь в 79-м в Афган кроме войск вошли сотни и тысячи гражданских специалистов. Именно они должны были стать главными действующими лицами в выполнении Договора. Но не стали. А почему? Почему вся афганская проблема легла только на плечи армии? Лично я хотел бы найти ответ именно на этот вопрос. Согласись, если бы мы достигали здесь, в республике, какие-то военные цели, у нас, наверное, нашлось бы более современное оружие, с помощью которого мы могли бы добиться этого очень быстро. А так ведь кроме защиты — автомат, бронежилет, гранаты, за девять лег мы в руках ничего не держали.

— Да-а, — Семен сбил на лоб шапку, почесал затылок. — Философия. По мне лучше баранку крутить, чем лезть в эти дебри.

— Нет, Семен, надо лезть, — не согласился Верховодов. — Ругая Афган, — именно Афган, а не войну, иные крикуны проповедуют свой лозунг: «Никуда из лезть, ни во что не вмешиваться». Это страшный в своей сути призыв, потому что лично я не хотел бы видеть свой народ равнодушным к чужой боли. Мы как раз не такие, и почему мы не можем этим гордиться? Почему в афганской ситуации нас заставляют и приучают искать только ошибки? Почему мы за помощь ближнему, но только бы не за наш счет? Почему мы за благородство, но не дай бог понести при этом жертвы, потери? Почему мы подписываем договора, соглашения, даем обязательства, хлопаем при этом в ладоши, но пришлось с Афганом от слов перейти к делу? Неужели приучимся отказываться от своих слов, и это будет нормой?

— Да успокойтесь вы, товарищ старший лейтенант, — скосил глаза водитель. — Я просто спросил, думается ведь об этом.

Верховодов снял шапку, расстегнул бушлат. Показался обшарпанный бок фляжки, подаренной майором. Косте захотелось сделать глоток, успокоиться, но сдержался, засунул ее подальше.

Мысли об Афганистане разбередили душу. Не зная почему, но он всегда взрывался, когда читал или слышал модные ныне, а оттого на первый взгляд кажущиеся многозначительными рассуждения против Афгана. И чем сильнее были аргументы, тем больше раздражался. В спорах, на политзанятиях спорил яростно, отстаивая свою точку зрения, за что однажды услышал презрительное: «Соловей Главпура». Он опять взрывался: ну почему, почему мы считаем, что если распоряжение Главного политуправления — то обязательно дубовое? Почему те, кто выше нас, неизменно дураки?

Служба в Афгане заставила его мыслить, приучила анализировать, смотреть в глубь явлений, а не фактов. Он, как военный, пытался найти смысл в этой войне. Он рассуждал: война — это убийство, это боль, смерть, грязь. И тем не менее за нее награждают, дают звания, должности, идет день за три. Абсурд? Тысячу раз да. Но это если не смотреть, какая война. Для афганской, кроме как «необъявленная», определений пока не нашлось. Да, это была для нас не отечественная, но и тем более не захватническая, оккупационная, главные признаки которой — захват чужих территорий, материальных ценностей и людских ресурсов. Это была в не гражданская. Но какая же тогда?

Костя не мог докопаться до этого, зато знал другое: в этой войне мы не были высокомерны и пренебрежительны к тем, кому помогали. Более того, мы стали выполнять на ней самую черновую работу: ходили в атаки, рыли траншеи. Так чем советский солдат запятнал себя?

Правда, одно, с чем категорически не был согласен Верховодов, — это то, что в Афгане были те, кто не хотел бы здесь служить. Интернациональная помощь должна была быть только добровольной. Сюда должны были направлять солдат не строем, а тех, кто делает сам шаг вперед. Тогда это интернационализм, тогда — по убеждению и от чистого сердца. Тогда было

бы меньше воплей и соплей, как говорит Семей.

Старший лейтенант не знал, изменятся ли его взгляды в будущем на эти проблемы, но пока он думал так и только так. Это была не навязанная сверху точка зрения, но это не было и подстраивание под некоторые «сенсационные» публикации. Единственное, что чувствовал и не мог в себе заглушить, — это все-таки желание видеть больше хорошего, чем плохого, в афганских событиях. Желание доказать это хорошее. Может, потому, что это пока все рядом? Может, в самом деле потом, со стороны, анализ будет другой?

«Но пока так, и менять ничего в своих рассуждениях я бы не хотел», — подвел итог своим мыслям Верховодов и повернулся к Семену.

— Время сейчас будет интересное, Семен, — уже спокойнее, размереннее сказал Верховодов. — И разговоры об Афганистане сразу вряд ли стихнут. Наверняка лет через десять историки да наши с тобой дети будут искать — о чем мы думали, как оценивали события в Афгане, с какими мыслями возвращались. Лично я первое, что посоветовал бы им, — это не заниматься арифметикой плюсов и минусов. Нужен анализ, истоки и ответы на главные вопросы: для чего и зачем? А ошибки сами проявятся. Хорошо бы без них, да...

— Это как с женой: «И с ней плохо, и без нее никуда», — многозначительно покивал головой Горовойх.

— Знато-о-ок, — протянул, оглядев Семена, Верховодов. — Зато у нас с тобой как в анекдоте: мужики вначале говорят о политике, потом о бабах и спорте.

— Да я смотрю, мы им сейчас позанимаемся вдоволь практически, — подался вперед Горовойх.

За разговором они незаметно проскочили долину, втянулись в предгорье. «Урал» Угрюмова начал притормаживать, поджидая БТР. Это на знакомой или открытой трассе «ниточка» ходила по «верховодовскому» порядку. В иных же случаях вперед для разведки уходила «броня».

— Смотрите, какой красавец, — показал командиру Семен.

Слева, на склоне горы, застыл всадник. Вернее, всадник сидел ссутулившись, в нем угадывался старец, а вот конь — конь был красавец. И именно он застыл натянутой стрелой, гордо вскинув голову к вершине горы.

Но все красивое хорошо, если оно не опасно. Мысли же Верховодова занялись уходящим в ущелье «бэтром». Машина уходила вперед медленно, как бы на ощупь, как слепая, выискивая дорогу. Это не всадник...

В тот же миг Костю пронзило: у доброго коня — быстрые ноги. У быстрых ног — быстрая весть. Весть приносит конь, а не всадник, и поэтому...

Старший лейтенант даже перегнулся через опешившего Семена, выискивая взглядом всадника. Но склоны, конечно же, были пусты.

«Идиот, это надо же так расслабиться! — Костя сдобно в наказание застегнул в бушлате все пуговицы. — Да-а, товарищ старший лейтенант, если уж вы себе такое позволяете, то что говорить о солдатах».

Он скосил глаза на Семена. Тот, не понимая волнения командира, заерзал на сиденье,

беспокойно оглядывая горы.

— Скорость, всем увеличить скорость, — вышел в связь, до боли в пальцах нажав тангенту, Верховодов

«Опередить всадника, опередить, куда бы он на ехал и кем бы ни был, поскачет он к Изатулле или к детям в детдом. Опередить. Тот, кто опережает события, становится хозяином положения. Он ставит точку или запятую, что понравится...»

— Скорость, — еще раз нажал тангенту Верховодов. — До кишлака семь километров.

Он представил, как водители, все до единого, бросили взгляд на спидометр, отмечая километраж. Так им будет легче, в дороге всегда легче, когда знаешь расстояние.

«А может, всадник — в самом деле простая случайность? Может, зря взвинтил ребята?»

Нет, пусть будет так, пусть лучше перестраховка. На войне это полезнее. Это больше смеха и подтруниваний в случае ложной тревоги, но меньше потерь в случае боя. А в этом случае старший лейтенант готов был всю жизнь ошибаться и затем смеяться над собой. Когда перед началом вывода войск в газетах опубликовали количество погибших в Афганистане, он, как профессиональный военный, разложил все по дням и определил, что в среднем в день погибало четыре человека. Много это или мало? Конечно, в Союзе только в автокатастрофах гибнет в десятки раз больше людей, но включать в эту четверку кого-то своих — Карина, Петю Угрюмова, Семена, — он даже боялся думать об этом. Это невозможно было представить. И слава богу, а вернее — тем, кто учил его водить «ниточку»: ни одной похоронки не написал Верховодов за свой срок службы. Раненые были, было, что горели его ребята в машинах, но это — уже другие цифры, все-таки менее страшные. Так что пока обходилось. Пока...

Старший лейтенант споткнулся на этом слове, чертыхнулся. Достал фляжку майора, отпил. Из бардачка вытащил обломок галеты, зажевал.

— А тебе нельзя.

— В смысле — не положено, — хитро глянул Семен. — Вам вообще-то тоже, — добавил тихо и отодвинулся от Верховодова. Он умел поддержать шутку, знал в ней толк, второй номер их «ниточки». Но и не давал класть себе пальца в рот.

— Ты прав мне тоже нельзя, — охотно согласился старший лейтенант. Оправдываясь, пояснил: — Майор из десантуры на Саланге подарил. Наверное, к выводу берег. Ну, так куда мы ее денем? — Костя покрутил фляжку.

— Только не за окно, — поднял руку Семен, — Можно за спинку сиденья, а раз ее берегли на вывод, то по возвращению в Союз и достанем.

— Но тебе и в Союзе будет нельзя, — предупредил, засовывая спирт за сиденье, Верховодов. — Пока под солдатским ремнем.

— Да тут лишь бы вернуться, товарищ старший лейтенант, — вдруг с грустью перебил водитель. — Еще этот завиток перед Кабулом...

Верховодов не нашелся что ответить. Собственно, можно было не отвечать, солдат ничего не спрашивал, он только размышлял, но Костя чувствовал, как ждет его реакции водитель. К тому

же это было впервые — чтобы его подчиненный признавался в своих сомнениях, неуверенности. Как могло получиться, что они взяли верх над самообладанием? Неужели у всех в колонне такое угнетенное состояние? Конечно, каждого можно понять, но надо же помнить и другое: только кулак, только воля, только пружина — иных понятий для Афгана нет. «Расслабуха» здесь не проходит. Тем более в этом, дай бог, последнем, рейсе.

Он снял с панели «звездочку», поднес к самым губам, включил рацию:

— Мужики! Говорю я! Дорога опасна, но ее нал все рал по теперь проходить до конца. Но мы должны вернуться, братцы. Сделать все и вернуться. Никому ничего не обещаю, потому что все зависят от нас самих. Прошу вас собраться и забыть, это мы возвращались в Союз. Мы опять на войне.

Верховодов опустил передатчик на колени. Кабину вновь наполнил треск эфира, но тут же прервался.

— Спасибо, командир, — раздался чей-то голос Верховодов попытался определить, кто это сказал, но водители в связь почти никогда не выходили, и он не знал, как звучат голоса подчиненных в эфире.

— Спасибо.

— Спасибо, — тут же последовало еще несколько включений.

Верховодов не понял, кто вздохнул с большим облегчением: он или Семен. Кому — ему самому важнее было услышать эти слова благодарности за поддержку или водителю узнать, что он был не одинок в своих сомнениях? Хотя что там делить, важен не торг, а результат. И надо опять вернуться к реальности. До кишлака осталось три километра, это одинаково много и мало, потому что считать можно только пройденный путь. Но уже теплится надежда на удачный исход, с каждым оставленным за бортом валуном она все сильнее и сильнее. Как же хочется надеяться и верить! Надежда — истинный друг, в ней не нуждаются в минуты радости, она появляется лишь в тот момент, когда человеку трудно.

Два с половиной километра...

Нам сказали: «На дорогах мины».

Нам сказали: «Вас засада ждет».

Но опять режут бронемашину,

И колонна движется вперед, —

вдруг неожиданно вапел Семен. И так же неожиданно замолчал.

Два двести...

Дорога стала заметно круче, и Костя прикинул: как бы с такими темпами не добраться до снега. А Юля снег не любит. И морозы тоже.

— Я бы зимы мороженым заменяла, — улыбалась она. Из-за мороженого они и поссорились в последнюю встречу. Из-за двух пачек «Пломбира» по 48 копеек. Хотя как поссорились...

— Можно тебя увидеть? — Он сделал огромный крюк на полстраны, чтобы залететь к ней в

Москву.

Она не удивилась его звонку, она вообще редко чему удивлялась.

— У меня встреча с подругой на «Речном вокзале». Если хочешь, приезжай. Последний вагон из центра.

Юля была уже на месте, когда он примчался из аэропорта на такси.

— Здравствуй, — протянул цветы.

— Привет. Спасибо.

И все. Как будто они расстались только вчера, как будто он не улетал на год в Афган. В глубине души шевельнулась обида, но что значит она по сравнению с тем, что он видит Юлю!

— Ну и как там? Стреляют?

Нет, не забыла. Помнит, помнит...

— Иногда постреливают.

— Что-то подруги нет. Подожди, пожалуйста, я выйду позвоню.

Она оставила свою сумку и неторопливо пошла к эскалатору. «Хоть бы не приехала, хоть бы не приехала», — умолял он. Тогда они смогут побыть с Юлей вдвоем.

— Не приедет. — Юля вернулась быстро, и только потому, что стала конаться в сумке, не заметила его счастливой улыбки. — У нее гости, пригласила к себе. Но мороженое уже не довезти.

Вот тогда она и вытащила из сумки две пачки «Пломбира» — уже мягких, подтаявших. Он протянул «Красную Звезду» — специально берег и вез, там было о нем написано несколько строк. Юля завернула мороженое в газету, оглянулась. Урны не было, и он протянул руку: давай вынесу.

И в этот момент подошел поезд. Юля быстренько сунула ему сверток, запрыгнула в вагон. Уже через захлопнувшиеся двери помахала ему пальчиками, а он, ошарашенный, ничего не понявший, остался стоять на перроне. И ушел ее поезд, и во второй люди сели, а он все стоял, не веря в происшедшее. Окончательно растаявшее мороженое выскользнуло из свертка, мягко упало на пол, забрызгав туфли и брюки. Стоявшие рядом пассажиры неодобрительно посмотрели на него, отошли в сторону, а он, собирая с пола белую липкую массу, все еще надеялся: она не могла так просто уехать, нельзя же так презирать человека, который любит ее. Нет, она выйдет на следующей станции, пересядет в обратный поезд и вернется. Не вернулась...

Километр семьсот.

Осталось чуть-чуть. Совсем немного. Проскочить бы, проскочить...

Оказалось, все время, даже думая о Юле, он тем не менее держал в памяти дорогу. Дорогу и горы вокруг. И еще — оставшиеся километры. Мозг словно разделился на две части. Одна, вроде главная, все время искала что-то отвлеченное, совершенно ненужное для дороги. Господи, как же мы готовы обманываться, легки на это. Но вторая, вторая — умница, караул

под ружьем, каждую секунду готова была оценить ситуацию, принять решение и выдать команду.

Километр шестьсот.

Приближается поворот, за ним, видимо, уже будет виден кишлак. Одну или две машины придется разгрузить, чтобы взять детей. Юля как-то бросила фразу: «Нужны мы там больно». Нужны, Юля, а сейчас — особенно. Собственно, не только Семену и себе он сейчас доказывал свое мнение об Афгане, а спорил с ней, с Юлей. «Мы все считаем, что ваш Афганистан — это авантюра от начала и до конца». — «Кто считает?» — «Все». — «Кто — все?» — «Кого я знаю». — «Значит, не все, а твое окружение?» — Она фыркнула, махнула на него безнадежно рукой. Идиотство какое-то: о чем бы ни шел разговор, заканчивался всегда Афганистаном. Неужели он встанет между ними непреодолимой стеной?

Километр четыреста.

Но нет, не Афганистан встал между ним и Юлей. Афган для нее — лишь повод уколоть его, не дать приблизиться к себе.

— Что ты в ней нашел? — удивлялись однокашники по суворовскому училищу — по «кадетке», как числилось в обиходе, когда он стал приглашать Юлю на ежегодные встречи. — Обыкновенная московская фря, произносит чужие мысли, повторяет чужие поступки, делает чужие жесты. Ты что, не видишь?

И только Дима Камбур, их неприметный, но не признающий компромиссов Каламбурчик, увидел в Юле то, что чувствовал и сам Константин.

— Она может быть удивительной девушкой, Костя. Когда она забывает про свою роль этой самой московской фри, она становится, на мой взгляд, той, какая есть на самом деле, — чистой, добросердечной, чуткой. Помнишь, как она запросто разделила на нас троих твое яблоко? Вот это и надо в ней видеть. Она же, видимо, считает это немодным и стесняется, боится выглядеть старомодной. Отсюда и разговоры про видео, театры, шмотки, «Березку». Но ты помни яблоко, Костя. Честное слово. Это не характер, это возраст.

— Сопротивляется, — с горечью улыбнулся Костя. — Так ей в ее окружении удобнее.

— Ненавидеть легче, чем любить, — Димка очень редко рассуждал, он и у доски даже ради оценки, а значит, и увольнения в город, не отличался многословием, и тем дороже были сейчас его слова для Кости. — Потерпи. И никого не слушай, кроме своего сердца.

А он, собственно, и по слушал. Он был поражен жестом Юли — еще не знал ее, не ведая, кто такая. Он, только что выпустившийся из училища лейтенант, в новенькой, необмятой еще форме спешил на встречу со своим «кадетским» взводом. Был уговор: каждый год, кто может, приезжать первого августа на Фили к «кадетке». Он опаздывал к условленным десяти утра, бежал, уже потный, по эскалатору на переходе на «Киевской». И вдруг впереди, с узлами и авоськами в руках и через плечо, стала старушка. Эскалатор заканчивался, старушка испуганно переступала с ноги на ногу, поглядывая на стальные зубцы вниз. Ей надо было бы помочь сойти, но Костя, как ни спешил, остановился, стал сбоку: постеснялся в форме возиться с узлами.

Старушку поддержала девушка, стоявшая рядом. Она взяла один узел, бабуля вцепилась в ее загорелую руку — и так вместе они и сошли, и прошли еще несколько метров, подальше от

толпы. Потом девушка легким движением заправила старушке под платок выбившуюся прядку волос, и они пошли на пригородный перрон.

Смущенный, словно его уличили в пренебрежении к старому человеку, его узлам, Костя шел следом. Старушка села в калужскую электричку, в тамбуре начала клясться оставшейся на перроне девушке, а та, вдруг посмотрев на остановившегося недалеко лейтенанта, усмехнулась. И он понял, что она видела все, чувствовала и теперь презирала его. Лучше всего было сделать вид, что она ошиблась, сделать недоуменное лицо, но он сам подошел к девушке. С рассыпанными по плечам волосами, в больших солнечных очках, с двумя родинками под левым ухом — он сразу увидел эти родинки и влюбился в них.

Километр двести. Подъем вроде стал менее крутым. Дай-то бог...

Так что Дима Камбур прав: Юля замечательный человек. Но ее поведение — это не только шелуха и макияж. Это еще и неверие в него, Костю. А может, и пренебрежение. Что ж, он дал повод. Но как доказать ей обратное? Что сделать, чтобы она поверила в него? Любит же он ее, любит!

И, несмотря ни на что, он надеялся, что Юля приедет в Термез на его выход. Надеялся, потому что знал, как со всего Союза летят, едут к солдатам и офицерам жены, матери, невесты. Хотелось: может, простится? Может, что-то шевельнется в душе?

Нет, чуда не произошло, Юля осталась самой собой. Так что все, что якобы происходило между ними в Термезе, — это все придумано, это игра воображения, это всего лишь желание. Юркина мать была, приказ комбата был, про Юлю же все — сказка. Он много подобных сказок сочинял — с такими мельчайшими подробностями, что впору было поверить: а может, эта все-таки было? И там, на Саланге, когда ругался с майором — это рвались у него из груди боль и обида от неприезда Юли. Юрка Карин — тот да, тот защищал машину, он же — очередную придуманную легенду.

Километр сто.

Да, кстати, Димка где-то тоже здесь, в Афгане. Говорят, по второму разу и чуть ли уже не капитан. Как же все-таки долго длится эта война, если столько людей через нее перемололось. А Димка — да, он из таких, что будет здесь.

Ровно километр.

«Бэтр» скрылся за поворотом. Ну же, ну, что молчишь?

— Седьмой! — словно услышав мольбы старшего колонны, позвала разведка, — Впереди разрушена насыпь.

Вот оно!

— Всем — приготовиться к бою! — сначала отдал команду Верховодов, а потом уже додумал: «Вот она, ловушка».

Впереди стал «Урал» Угрюмова, нажал на тормоз Семен, уже взявший в руки автомат. Автомат был и в руках Верховодова, хотя, хоть убей, он не помнил, когда взял его с сиденья. Удивляло другое: если «духи» сделали пробку, то почему до сих пор не стреляют? Или знают, что деться им все равно некуда? О, игра сильного с беззащитным...

— Не проедем, Седьмой, — напомнила о себе разведка, ожидая дальнейших указаний.

Старший лейтенант выпрыгнул из кабины, пригибаясь, побежал вперед. У первого «Урала» его уже поджидал эмгэбэшник, и они вдвоем, словно на тренировке — прикрывая друг друга, добежали до бронетранспортера.

Узенькое полотно дороги, протиснутое между скальным выступом и довольно-таки внушительным обрывом, было обрушено почти до середины.

«Здесь не «виточку» тащить, а караван верблюдов, и то одnogорбых», — подумал Верховодов и вспомнил всадника на белом скакуне.

VII

Иван Заявка оказался высоким, плечистым и, что сразу отметил Рокотов, — побритым. И второе бросилось в глаза: его не втокнули в камеру, а впустили. Мгновенно последовало и третье: к сержанту ни Олег, ни Асламбек не бросились, да и сам он не прошел в камеру, а сел на корточки около двери. Между пленниками с приходом Рокотова не начинались, а продолжались какие-то свои отношения, и прапорщик, принявший душой Баранчикова и Асламбека, тут же восстал против сержанта. Для этого у него еще не было повода, Заявка только вошел и сел — но именно потому, что он вошел, и вошел побритым, и сам сел — и это после разговора с главарем, это уже говорило о многом.

— А между прочим, нас ищут и не собираются бросать, — вроде бы ни к кому не обращаясь, вдруг проговори сапер. — Вот, человек только что от наших.

Он не успел еще договорить, а Заявка уже встрепенулся, впервые пристально посмотрел на Рокотова, и тот не понял: надежда или раскаяние мелькнули у него во взгляде. Надежда — ясно на что, а раскаяние? Неужели он уже что-то пообещал Изатулле? На всякий случай, как при разговоре с Асламбеком, прапорщик утвердительно кивнул.

— Но когда, когда? — Заявка простер руки. Асламбек тоже вопросительно перевел взгляд на прапорщика.

— Место здесь очень неприметное, с вертолета, например, не увидишь, — начал Рокотов. — Единственная зацепка — дорога. Если обратят внимание на дорогу...

— Так это если обратят! — крикнул сержант. Безнадежно махнул рукой и вновь сел у двери. — А я все-таки по-прежнему убежден, что главное для нас — вырваться отсюда, из банды. В Канаду, Англию, Бразилию — но отсюда, а там видно будет. Потом мы наверняка сможем связаться с нашими.

Асламбек опять вопросительно посмотрел на Олега, и Рокотов понял, что этот разговор идет у них давно.

— А цену тебе назвали за переезд? — прищурившись, спросил Заявку сапер.

— Да какая цена?! — взорвался тот. — Что они с меня возьмут? Фамилию комдива или где стоит наш полк? Так об этом они лучше нас знают.

— А все-таки? — продолжал вприщур глядеть Олег.

— Ноль целых хрен десятых, — огрызнулся Заявка. — Если бы я согласился, думаешь, вернулся

бы сюда? И вообще, надоело, что ты здесь свои права качаешь.

— А ты посиди с мое, — повысил голос и сапер.

— Ребята, ребята, — поднялся, встал между спорившими Асламбек. — Успокойтесь.

— Нет, ему надоело, вы посмотрите! Ты с мое посиди, с мое, гнида! Я же тебя на корню вижу. Ты уже не наш, ты если еще не продался сегодня, то продашься завтра. Да я тебя своими руками... — Олег пошел на сержанта.

— Стоять! — вдруг неожиданно даже для себя заорал Рокотов — Смирно!

Нелепей команды в этой ситуации не придумаешь, но какая же великая сила в армейском приказе. Не то что Олег и Заявка — даже Асламбек вытянул руки по швам и замер, подняв подбородок. Однако Рокотов не знал, что делать дальше, и первым его нерешительность уловил сержант. Он хмыкнул и, замазывая свою исполнительность, на этот раз даже не сел, а прилег у двери. Отошел к окну и Олег. Постучал пальцами по камням, выпуская раздражение. Потом подпрыгнул, схватился за решетки, подтянулся к свету.

— Что там? — спросил Асламбек.

— Как всегда — воля. — Олег спрыгнул на иол. — У Изатуллы опять гость, все тот же белый скакун привязан у дверей дома. Куда-то «аисты» направились, с ними еще человек двадцать. Машина подошла к складу, значит, опять оружие приперли. Здесь у Изатуллы склад с оружием. — Олег, усаживаясь, пригласил сесть рядом Рокотова, и теперь по ходу дела рассказывал и объяснял, что видел и знал. — Ну, и как всегда, учат Витюню молиться. Сволота, килька болотная...

Замолчал, и несколько минут в камере была тишина.

— А можно, я гляну? — показал на окно Рокотов.

— Смотри, — Олег подвинулся, освобождая место. — Только чтобы «духи» не видели.

Рокотов тоже увидел привязанную к столбу у дома лошадь, машину, остановившуюся у входа невиденной раньше им пещеры, Витюню. Но только он не молился, а плакал. Затравленно озираясь, он на коленях отползал от мятежника, который показывал ему десантный берет.

— Что там? — первым вновь не выдержал Асламбек.

Руки устали, и Рокотов спрыгнул вниз.

— Витюне берет показывают, а он плачет.

— Это у них коронка, без этого они и дня не проживут, — грустно усмехнулся Олег. — Витюня плачет в двух случаях: во сне — он ведь с нами ночью спит, и когда бьют. Его «духи» приучили: сначала надевали на него нашу десантную форму, а потом били. У него что-то типа рефлекса и выработалось: только тельняшку или берет покажут, он сразу метаться начинает, а дай волю — рвет форму руками, зубами. Месяца два назад корреспондент какой-то иностранный приезжал, очень нравилось ему это снимать... Тихо! — вдруг попросил он, прислушиваясь.

К домику кто-то подходил, и Рокотов подивился слуху сапера.

— Хромоножка, — определил Олег. Асламбек, услышав это, непроизвольно подался в угол, даже Заявка отсел от дверей. — Правая рука Изатуллы, — пояснил Баранчиков прапорщику, — Значит, потащат кого-то на допрос.

Рокотов вместе со всеми уставился на дверь. Непонятное волнение овладело им, а может, так теперь и должно быть перед вызовом к главарю, и к этому надо привыкнуть?

То, что вызовут именно его, Рокотов почему-то даже не сомневался. И когда на пороге возник небольшого росточка, заросший до самых глаз душман, прапорщик встал. Хромоножка согласно прикрыл глаза и вышел.

«Вот и вся отсрочка, вот и вся», — пронеслось в голове у Рокотова

Сзади подошел Олег, легонько толкнул плечом; удачи. Только какая здесь может быть удача?

Прапорщик сделал шаг к выходу. Взгляд зацепился за щель над дверью, куда Олег запрятал железку. Но что можно сделать ею? Перерезать себе вены? Но к этому он не был готов. Цыпленок — тог да, тот бы перерезал, Димка герой от начала до конца, а он, Рокотов, обыкновенный человек, он даже боится боли и хочет жить. А Изатулла сейчас потребует ответа. Самое страшное — это участь Витюни. И еще бы без змей. Все ползущее и шипящее — противно и мерзко...

«Неужели конец? Нет-нет, главарю нет никакого смысла взять его и вот так, запросто, убить Олега вон полгода держат..»

Рокотов оглянулся. Асламбек смотрел на него печально, Заявка отводил взгляд, Олег... Олег тоже смотрел в это время на тайник. Встретившись взглядом с Рокотовым, опустил взгляд.

«Пожалел, что поторопился показать мне свою находку, — понял прапорщик. — Конечно, кто я такой, чтобы сразу верить? Вдруг выдам?» Олег, кстати, но сказал, что пилит камень около решетки. Рокотов увидел это сам, когда смотрел в окно. Правда, про себя отметил, что это бесполезная затея, она ничего, кроме иллюзий, не дает...

В дверь заглянул недовольный Хромоножка, и прапорщик вышел на улицу.

Солнце, не жаркое и не яркое по сравнению с летом, тем не менее слепило, и некоторое время Володя шел прикрыв глаза. Лагерь почти вымер, не было видно даже Витюни. Исчез и скакун у дверей, и только у пещеры раздавались голоса: три или четыре «духа» снимали с машины ящики и носили их в черный зев склада. Дверцы машины были открыты, и Рокотов вдруг представил: сесть бы и умчаться отсюда...

Хромоножка, увидев, что пленник внезапно остановился, дернул его за рукав и опять недовольно сморщил лицо.

«Сесть и умчаться, сесть и умчаться, — завертелось в мыслях у Рокотова. Боясь глянуть лишний раз в сторону машины и тем самым как-то выдать возникшее желание, он опустил голову, а мысль все крутилась и крутилась колесом: «Сесть и умчаться, сесть и умчаться...» Побегит навстречу дорога, ворота — тьфу ворота, снесет и все. Только бы сесть за руль. А если рвануться прямо сейчас? Нет-нет, Хромоножка просто-напросто подстрелит. Да и ребята, еще же ведь ребята...

Изатулла опять сидел на столиком, заваленным фруктами, лепешками. Особо притягивали взгляд светящиеся в солнечном луче бутылки с желтой «Фантой». Прапорщик впервые остро

ощутил голод и сглотнул слюну. Где-то он читал, что приговоренным к смерти дают всякие деликатесы. А здесь — хотя бы попить. «Фанта» — это прелесть...

— Подумал? — дождавшись, когда выйдет Хромоножка, спросил Изатулла. Не дождавшись ответа, налил себе в высокий бокал желтый пенный напиток, и Рокотов увидел, как лопаются в нем, брызгаясь, пузырьки газа, образуя радужное свечение в луче солнца.

«Надо как-то сделать, чтобы нас всех вместе вывели из камеры, — мысль о побеге все же оказалась сильнее жажды и заставила думать о себе. — Только быстрее бы, пока машина здесь».

— Сегодня перед последним намазом я прикажу забить камнями три из вас, — дошел до прапорщика голос главаря. — Останется один. Одного у меня хочет купить почетный аксакал из Пешевара, ему нужен работник. Я продам тебя. — Изатулла, не сводя взгляда с Рокотова, отхлебнул из бокала. Дождавшись, когда до пленника пойдет смысл сказанного, добавил: — Или Ивана. Он тоже сильный и будет хороший работник. Да?

Главарь приглашал к разговору, и разумнее всего было что-то ответить — хотя бы для того, чтобы побольше узнать о планах Изатуллы и выиграть какое-то время. «Прикинусь дуриком, пусть все объясняет», — решил наконец для себя Рокотов.

— Ты умный. — Главарь по-прежнему не сводил с прапорщика глаз и Рокотов почувствовал, как мгновенно выступила на лбу испарина: неужели Изатулла способен так угадывать мысли? А может, он в самом деле угадывает? Восток ведь. Тогда о машине ничего не думать...

— Я — экономист, три года учился в Англии, и уважаю умных людей, — продолжал Изатулла, покачиваясь в кресле с поднесенным к губам бокалом. Пузырьки уже все полопались, и теперь только отрывались от стенок и игриво устремлялись вверх. — Я знал, что вы здесь будете еще долго, и там, в Англии, я специально занимался вами, русскими. И как мне объясняли, вы, пленные, на Родине не нужны.

«Пропаганда времен Великой Отечественной», — отметил про себя Рокотов, но усмешку сдержал.

— России нужны герои, те, кто подрывает себя гранатами а прыгает в пропасть, как ваш летчик. Герои, а не вы, пленные.

— Но мы не сами сдавались, — осмелился вставить слово Рокотов.

Похоже, это обрадовало главаря, он уселся поудобнее.

— Тебя смогут понять как человека, но никто не простит как солдата. Ваш солдат не должен попадать в плен, иначе как потом учить других солдат, что они не должны быть в плену. Я понятно говорю?

— Да, понятно. — «Если даже ключа зажигания нет, машина стоит под гору, снять с тормозов — заведется. Теперь ребят, как вытащить ребят...»

— Сегодня я решил начать борьбу с властью Наджибуллы, и уже скоро мой отряд, — главарь мельком глянул на часы в позолоченном браслете, — покажет, что значит сила Изатуллы. Так получилось, что первыми под мой удар попадут шурави, но что поделаешь, — хозяин поднял руки кверху, закатил глаза, — Я взамен верну одного из вас. Витюню Дурачка. Сумасшедшие и

калеки — они будут дольше напоминать вам о войне, чем убитые. Да?

«Да-да, только быстрее бы к ребятам. Если заманить охранника в камеру... Да, это выход, это выход!»

— А может, ты тоже хочешь к своим? Могу послать. Но только таким, как Витюня. Да?

— Нет, нет, я согласен, я хочу жить, продай меня, — упал на колени прапорщик. Протянул руки. «Не переиграть бы, только бы ничего не почувствовал». — Иван тоже хочет, сержант. Продай двоих. Я поговорю с ним, он согласится. И узбек согласится, только сапер нет, он уже сумасшедший. Отпусти меня к ним, и я приведу Ивана и узбека. Приведу — и ты пощади меня. — Рокотов пополз на коленях к Изатулле. Тот поднял руку, и в ту же минуту один из телохранителей замер за спиной прапорщика. Володя замер тоже. «Поверит или нет? Поверит или нет?»

— Ты хочешь меня обмануть? — Изатулла пощипал свой подбородок.

Чтобы скрыть вспыхнувшее лицо, Рокотов поклонился главарю до пола.

— Я жить хочу. Я боюсь змей. Я не хочу быть как Витюня Дурачок. Я докажу...

— Хорошо, — оборвал хозяин дома. — Иди. Я хочу, чтобы ты вернулся. Не один.

Он сказал последние фразы с нажимом, придавая им особый смысл. «Все-таки мы нужны, нужны ему, и очень послушные, а не как Олег».

Пока Изатулла объяснял что-то телохранителю, Рокотов, кланяясь, пятился к двери.

Машина стояла на месте. Стояла! От тюрьмы до нее — метров сто пятьдесят. Сколько же «духов» там работает, три или четыре? Раз, два... это опять первый... особо не смотреть туда, конвоир очень насторожен... Три... Зайдет ли он в камеру? У него автомат, это очень хорошо. Надо заманить... Три, у машины — три «духа». Нет, еще один в кузове, значит, четыре... Двое часовых у ворот. Наверняка по периметру сидят еще пулеметчики и какие-нибудь посты вдоль дороги... Но это — потом, главное — охранник. Но вдруг ребята не согласятся и у них есть другой план? Тогда он выйдет из камеры один... Сто пятьдесят метров, это где-то секунд сорок. Много... Эх, был бы Цыпленок, вдвоем бы они сработали. Войдет ли охранник?

Охранник, открыв дверь, остался стоять снаружи, и Рокотов почувствовал мелкую дрожь во всем теле. Остановился на пороге, не давая конвоиру захлопнуть дверь. Ребята смотрели на него выжидательно: Заявка — сидя на корточках, Асламбек — отойдя в угол, и только Олег — подавшись вперед. Охранник уже скрипел дверью, закрывая ее, и Рокотов решил. Обернувшись, он попросил жестом ладони охранника подождать. Не сходя с места, дотронулся до захоронки и вытащил жестянку.

— Сволочь, прапорюга! — заорал Олег и метнулся к нему. — Задушу!

Он и вправду бы ухватился за горло, если бы Рокотов не подался назад, под защиту конвоира. «Дух» выставил вперед автомат, и Олег остановился перед ним. Из глаза вытекла слеза, скатилась в бороду.

— Там, еще там, — стараясь не смотреть, как трясется у Олега голова, показывал конвоиру в глубь камеры Рокотов. — Прогони его, там, покажу.

Охранник указал сначала Олегу, потом Заявке в угол, где замер Асламбек.

— Ну, я тебя встречу, прапор, ты меня будешь помнить, — стонал, разрывая на груди рубаху, сапер, — Ну, гад же ты, гад!

«Погоди, Олег, сейчас, сейчас...»

— Там вот, смотри, — Рокотов подбежал к окну, показал, где Олег вырезал камень

Сапер отвернулся, уперся лбом в стену, и конвоир прошел к окну, потянулся, ощупывая пальцами свежие бороздки. Довольный, хотел уже опустить руки, но Рокотов, чуть присев, со всей силы, а может, со всей злости отчаяния ударил его по затылку. «Дух» стукнулся лицом о стену, упал на колени. Автомат стукнул о пол, и Олег резко обернулся — у него в самом деле оказался отличный слух, различающий любой звук. А Рокотов, прыгнув на мятежника, изгибом локтя уже давил ему горло. И хотя охранник еще пытался освободить голову, дотянуться, нащупать упавший автомат, прапорщик чувствовал, как обмякает его тело.

Первым, как ни странно, пришел в себя Асламбек. Он кошкой прыгнул на еще дрыгающие ноги душмана, прижал их своим худеньким телом. Олег, еще не веря, видимо, в происходящее, тем не менее выхватил из-под дерущихся автомат, быстро передернул затвор, загоня патрон в патронник. Заявка выглядывал в дверь.

— Там машина, — вытягивая ноги из-под обмякшего «духа», кивнул на дверь Рокотов. — Надо брать.

Прошел к двери, на ходу отобрав у Олега автомат. Сапер с откровенной жалостью разжал пальцы. Он, видимо, до сих пор до конца так и не осознал происшедшее, но автомат, настоящий автомат, с помощью которого можно уже бороться на свободу, был у него в руках, был!

Машины в проем не было видно, и Рокотов отстранил Заявку.

— Ну, так что?

— Абордаж, — оскалился Олег, — Абордаж!

— Кто умеет водить машину?

— Я, — тихо отозвался Асламбек. Боясь, что его не услышали, повторил: — Я.

— Значит, так. Я бегу первым, огонь открываю в самый последний момент. Асламбек — за руль, Иван — с ним в кабину. Мы с Олегом — в кузов. Больше шансов не будет, братцы.

Всю свою военную жизнь Рокотов только подчинялся — погоны прапорщика в ВВС много не дают. Но, видимо, умеющий подчиняться готов в любой момент и сам принимать командование.

— Готовы? — Рокотов оглядел товарищей.

— Слушай, я не знал... — начал было Олег, но прапорщик отмахнулся, еще раз взвесил в руках автомат, привыкая к его уверенной тяжести, набрал полную грудь воздуха и выбежал из камеры.

VIII

«Почему они не стреляют? Если они есть — то должны стрелять».

Костя стоял у (разрушенной дороги, спиной к горам, и спиной же ждал выстрелы. Что-то изменить он уже не мог. Колонне не развернуться, сдавать назад — это все равно что стоять на месте. Так почему же не стреляют? Почему медлят? Им что-то мешает? А может, «духов» и в самом деле пока нет? Может, разрушенная дорога — это не остановить «ниточку» для прицельной стрельбы, а просто задержать до прихода банды? Если так, то тогда время вообще на вес золота.

— Что предлагаешь? — опросил афганца, а сам уже осматривал ближайшие деревья. Несколько штук, похожих стволами на осины, росло внизу у реки, поблескивающей на дне оврага.

— Может, детей вынести сюда? — Афганец разложил свою карту. Вся страна лежала перед ним со своими городами, дорогами, реками, долинами, а нужно-то было всего миллиметр желтой полоски-дороги да квадратик-кишлак.

Верховодов тоже глядел в эту точку, и ему из всей карты тоже нужны были эти миллиметр и квадратик. Правда, если поднять взгляд выше, то у самого обреза захватывается кусочек Союза, и как раз с Термезом...

«Все в сторону, никаких Термезов».

— Что? — переспросил афганец.

— Ничего, это я про себя. Я думаю так: дорогу разрушили, чтобы запереть нас здесь. Но раз нет стрельбы, значит, «духи» еще не подошли. А идти они будут как раз сюда. Мы не можем детей принести под пули. Надо делать дорогу и уходить отсюда.

— Дорогу? — удивленно переспросил эмгэбэшник и, обернувшись, повторил это по-афгански своему связисту, приглашая удивиться и его.

— Да, дорогу. Мои — на охране, твои — пилят все деревья вокруг и таскают сюда. Будем делать настил. Только быстро, все делаем очень быстро. Пилы — на бронетранспортерах.

Афганец сначала прикинул, как ляжет настил на остаток дороги, почесал за ухом и согласно махнул рукой. Впрочем, иного выхода и не было.

Пока Гриша Соколов рассыпал свою охрану по ближним высоткам и уступам, подчиненные Захира уже притащили первые бревна к дороге.

«Штук тридцать надо, — прикинул Верховодов и оглядел растущие внизу деревья. — Короче, все».

Вот и еще одну память о пребывании наших войск он оставлял в Афганистане. Дурную память, если учесть, что дерево здесь ценнее серебра и, как хлеб, продается на весах на килограммы. Но какой бы умник подсказал иной выход? Слева — пропасть, справа — скала. Неужели и в самом деле о нашем присутствии в Афгане будут судить только по фактам, без учета обстоятельств?

— Всю проволоку, что есть, — сюда, — приказал оставшемуся опять не у дел Карину.

Юрка метнулся к бронетранспортерам, а Верховодов взялся плотное прикатывать бревна друг

к другу. «На малой скорости, тихонечко, и передем», — убеждал он себя.

Карин приволок, сбросил с плеча моток проволоки, без команды начал разматывать ее. Свободным концом старший лейтенант начал стягивать бревна. Подоспели с монтировками Семен и Угрюмов, некоторое время бестолково крутились рядом, по вскоре наловчились затягивать скрутки командира.

С выступа, без бушлата и шапки, скатился Гриша Соколов:

— Что помочь?

— «Услышав лай караульной собаки, немедленно доложить об этом дежурному по караулам», — зачитал по памяти самый нелепый пункт из обязанностей часового Верховодов.

— Есть, понял, — без обиды пробасил лейтенант и полез обратно в гору к своим «ореликам-соколикам».

Сколько судьба отпустила им времена, никто из «ниточки», конечно, точно не знал. Чувствовали — мало. И Верховодову, тоже сбросившему бушлат и шапку, слазившему на коленях весь оставшийся после обвала пятак, не было нужды даже поднимать голову, чтобы поторапливать ребят. Наоборот: среди задыхающихся, храпящих афганцев, подававших наверх тяжелые бревна, появились водители с «Уралов», и работа пошла быстрее.

Плот не плот, настил не настил — но связка получилась на вид прочной. Один край ее как раз заменял обрушенное полотно, и Верховодов, одновременно разминая затекшие спину и ноги, прошелся по бревнам. Его решения ждали застывшие внизу с пилами афганцы, продолжавшие выискивать удобные места для боя «соколики», сгрудившиеся за броней первого «бэтра» водителя.

«Бэтр» пройдет, он как сороконожка, а «Урал»...» — Костя вздохнул и махнул выглядывавшему из люка механику-водителю БТР; пошел.

Тот поправил шлем, потом снял его, бросил водителям «колес». Аккуратно добавил обороты машине, включил скорость, начал осторожно подбираться к настилу. Костя стоял посреди дороги, лицом к водителю и жестами управлял — правее, левее.

— Давай, давай, хорошо, давай, — звал он к себе механика-водителя.

Тот не спускал глаз с его рук, боясь пропустить малейшее движение. Он не мог видеть, что творится под колесами его «бэтра», в каких сантиметрах или миллиметрах проплывают по бокам окала и пропасть — это отражалось в руках старшего лейтенанта.

А бревна подрагивали, прокручивались, и Верховодов окончательно убедился, что первый же «Урал» разметет их, и никакая проволока не удержит связку. А «бэтр» уже нельзя останавливать, он должен двигаться, чтобы не упасть.

— Давай, давай, хорошо, молодец, — «рулил» Костя механиком-водителем.

Из-под его ног исчез бревенчатый настил, началась нормальная дорога, но Костя даже не позволил себе глянуть вниз. На дорогу вышел он, а не бронетранспортер, а главное, чтобы не заторопился, чтобы все так же ровненько и спокойно вел машину механик, чтобы он не задергался и не наделал глупостей.

Нет, не выдержал. Только передние колеса коснулись земли, он дал полный газ, вырывая БТР из бревенчатой шаткости. Бревна сзади машины вздыбились, несколько штук соскользнули вниз, но бронетранспортер уже стоял на дороге. Механик-водитель уперся лбом в железный обод люка, и Верховодов, подойдя то ли поздравить, то ли поблагодарить солдата, увидел только его стриженный затылок. Тем не менее хлопнул ладонью по пыльной и холодной броне:

— Молодец! Пять баллов.

Сразу же отошел, чтобы не видеть глаза солдата. Если матери хотят знать, как становятся мужчинами их мальчики, при этом надрывая сердце и нервы, спросите у командиров.

С бревнами уже возились водители «колес». Собирали, связывали, подгоняли, но уже не видел в их действиях старший лейтенант того отчаянного азарта перебороть судьбу, что раньше. Водители готовы были испытывать судьбу, а не перебарывать ее, потому что поняли, тоже поняли: «Уралам» здесь не пройти. Не пройти до тех пор, пока намертво с остатком полотна не схватятся бревна. Нужен цемент или асфальт, на крайний случай...

— А может, землей засы... — не успел начать Юрка Карин, как Верховодов, подумав об этом же секундой позже, стукнул себя ладонью по лбу.

— Всем взять плащ-палатки и одеяла. Носить землю.

Хорошо, наверное, носить землю где-нибудь в Воронежской или Брянской областях. Взял лопату — и накладывай, и носи куда надо и сколько надо.

«Здесь же скребли, сгребали руками, ногами, малыми саперными лопатками каменную крошку, пыль, доставали и носили грунт обвалившейся дороги. Все это сыпали меж бревен, и Верховодов, лично разгребая приносимое добро, видел, как опять меняются лица его водителей.

— Еще чуток, братва, и мы здесь сделаем международную трассу, — подыгрывал он общему настрою.

Семен Горовойх что-то крикнул в ответ, солдаты рассмеялись, и хотя Костя ничего не расслышал, тоже улыбнулся. Худо-бедно, но настил постепенно засыпался, и старший лейтенант уже прикидывал, как пойдет «ниточка». Мозг как бы опять разделился на две части: одна занималась дорогой, вторая — опять же в готовности, опять застыла в ожидании выстрелов. Кто успеет раньше: они или «духи»? Кто?..

Если о солдатском мужании матерям могут рассказать их командиры, то о нервах и переживаниях офицеров можно только предполагать и догадываться...

— Братцы, только не газовать и не дергаться, — чувствуя, что водителей больше всех вместе не собрать, дал последний инструктаж Верховодов.

Он направился к первой машине, у кабины которой уже замерли Угрюмов и Карин.

— Еду я, — отстранил их от дверцы старший лейтенант. — Петя, отгони подальше «бэтр», — показал Угрюмову на БТР разведки, все еще стоящий на съезде с пастила. — Юра, ты порулишь мне, добро?

Рассказывается в сказке, что принцесса чувствовала горошину под множеством матрацев. Но так, как Костя чувствовал каждую неровность пастила, ему бы та горошина булыжником

показалась. Бревна дышали как живые. Но дышали, а не раскатывались, как до этого. И если только Юрка Карин не обманывает, — если его руки, зовущие к себе, не обманывают, как до этого обманывал и успокаивал он сам механика-водителя БТР, то вроде все нормально. Как вовремя ты, Юрка, сообразил о земельной подушке. Проще простого, но ведь надо додуматься... Все, Юрка на дороге, теперь тем более не спешить, вывести голубушку спокойно и чинно... Все!

Захотелось остановить «Урал», уткнуться лбом в руль — несколько минут назад водитель «бэтра» так и сделал, но Костя пересилил свое желание, погнал «Урал» к бронетранспортеру, освобождая место для других машин. Навстречу, махая зажатой в руке шапкой, бежал Угрюмов. Сначала Верховодов подумал, что он просит освободить ему место в кабине, но солдат, его угрюмый Угрюмов улыбался, и старший лейтенант высунулся в окошко.

— Кишлак, товарищ старший лейтенант! — крикнул Петя. — Кишлак виден. Дошли.

И тогда, остановив машину, Костя уперся лбом в сложенные на баранке руки.

— Дошли, дошли, — повторял Угрюмов. Уж если он не скрывал своей радости, то и себе старший лейтенант позволил повторить вслух:

— Дошли!

Кишлак оказался довольно большим. Ему было тесно в оставленном природой пространстве между двух горных хребтов, несколько десятков домов уже полезли по склонам вверх и издали казались ласточкиными гнездами. Во многих местах над крышами поднимались тонкие синие дымки, и уже по этому можно было определить: раз есть чем топить кухни днем, значит, есть что готовить, и вывод прост — кишлак достаточно богатый.

— Что, Петро, улыбаешься? — сам улыбаясь не меньше родителя, обнял за плечи Угрюмова старший лейтенант. — Или ханум каткую уже видел за дувалом?

Хорошо, когда командиру можно обнять своего солдата, хорошо, когда одинаковое настроение, хорошо, черт возьми, жить даже под афганским небом, если к тому же не жгут, не разрывают твою «ниточку». А еще лучше — не знать новостей, которые оглушают, переворачивают все с ног на голову, когда солдата уже нужно ставить по стойке «смирно» и отдавать боевой приказ...

Только увидев спешащего к нему Захира с неизменным связистом, Верховодов понял, что такая новость ему уготована. Угрюмов, увидев, как погасла улыбка на лице командира, обернулся найти виновника и так поглядел на афганца — впрочем, нормально поглядел, просто по-угрюмовски, что эмгэбэшник невольно замедлил шаг. Тогда Верховодов поспешил к нему навстречу сам: плохая весть лучше не станет, если ее не слушать.

— Мои передали, — Захир опять оправдательно посмотрел на рацию, — что два ваших летчика с подбитого вертолета находятся у Изатуллы. Их видели доверенные люди. Нам предложили вести себя так, чтобы Изатулла напал на нас. Надо обнаружить его и связать боем, а на помощь тогда наши высадят десант. Тогда будет какая-то возможность выйти на пленных.

— А дети? Что делать с детьми?

— И дети чтобы были живы, — опустив голову, словно это он отдавал такое противоречащее само себе приказание, сказал Захир.

— И рыбку съесть, и... — выругался Верховодов.

— И что? — не понял афганец.

— А как это им представляется? — старший лейтенант развел руками перед радиостанцией, словно через нее шел видеоканал с Кабулом. — Я с детьми в бой ввязываться не буду. Или — или.

— Они не приказывают, — поправил Захир. — Они просят подумать и решить.

Лучше бы Захир но уточнял. Когда есть приказ — военный думает, как его исполнить. Когда дают право выбора — мысль направлена на то, что выбрать. Жизнь же раз за разом убеждает, что раскаяний в этом случае значительно больше, чем удовлетворения судьбой. Когда есть альтернативы — есть сомнения, есть сомнения — неизбежны и раскаяния.

«Если уж в самом деле идет нам здесь день за три, — ради грустной шутки прикинул Верховодов, — то я бы в первый день довез хлеб, во второй — вывез детей, в третий, так и быть, вышел на Изатуллу».

— А где сейчас твои «командос»? — спросил афганца.

Захир опять достал карту, указал на дорогу, идущую параллельно.

— Я передал, что дорога разрушена, они пошли в обход. Это часа на три-четыре дольше, — эмгэбэшник опять отвел взгляд.

«Совестливый ты мужик, Захир, — подумал Костя. — Чего стыдиться-то не своих решений?»

— А здесь что за перевал? — показал Верховодов на карте место, где две ниточки подходили друг к другу ближе всего и даже соединялись меж собой еле заметной паутинкой.

— Люди пройдут, машины — нет.

— Где еще могут поджидать нас «духи»?

— Если сюда не успели, то... — афганец взгляделся в карту, — то здесь могут — очень крутой поворот и сразу спуск, на этом серпантине, вот тут, где «зеленка», и, пожалуй, у этого мостика, — Захир показал три точки на дороге.

Дайте сомневающемуся надежду — и он будет счастлив. Скажите человеку, где его может поджидать смерть, — он туда не пойдет ни за какие деньги.

Верховодову показывали не одно, а сразу три таких места, где он однако должен желать встречи с «духами». Он должен был сам отказаться от надежды, о которой только и молил до этого. Что еще в таких случаях остается человеку? Погоны на плечах, которые однозначно ставят слово «долг» выше слова «жизнь»? Но ведь не всякий, надев форму, готов к этому. Косте, например, сейчас давали возможность заранее оправдаться за все, что бы он ни сделал: приказа ведь нет. Но старший лейтенант знал и другое — то, что десантники уже сидят у вертолетов, а врачи готовы принять детей. В таком раскладе он тоже ни капли не сомневался. Как нельзя влюбленному говорить о желании возлюбленной, так и военному — о замысле командира: и то, и другое свято и обязательно для совести и чести. И так же, как в разговоре с комбатом, еще только намекнувшем о рейсе, старший лейтенант уже знал, что поедет «на войну», так и здесь, еще не сказав ни «да», ни «нет», думал о радиограмме как о приказе. Ах,

погоны-погоны, то ли счастье, то ли беда человека...

Мимо Верховодова и Захира, натужно ревя, поднимались «Уралы», потом легко проскочили бронетранспортеры — половина колонны прошла, отметил про себя Костя, а они то смотрели карту, то чертили что-то носками ботинок на пыльной обочине. Уже весело и бесшабашно покрикивал на наиболее робких водителей Карин, взявший на себя роль паромщика, потом подъехал и остановился последний «Урал», поджидая снимающуюся чулком охрану с гор, и когда подошел довольный проходом «ниточки» Гриша Соколов — еще ничего не знающий о просьбе командования, старший лейтенант и эмгэбэшник, знавшие о ней, тоже были удовлетворены раскладом, начертанным ботинками на дороге.

— Все, за детьми, — приказал Верховодов, увлекая за рукав лейтенанта, чтобы по пути объяснить ему новую задачу.

Захир, пряча карту, чуть отстал, потом вернулся, стер нарисованное на дороге и добежал догонять офицеров.

...Их уже и не ждали. Из желтого, похожего на барак здания, который указали эмгэбэшнику высыпавшие к колонне дети, вышла старая женщина. Протянутые в мольбе руки — это не требовало перевода, это язык, понятный для всех.

Верховодов кивком разрешил фельдшеру колонны прапорщику Хватову и двум санинструкторам от «соколиков» идти в дом, и женщина, увидев красные кресты на сумках, поспешила за ними.

На площадку перед домом вслед за ребятами стекался народ, настороженно поглядывавший на пришельцев. Гриша, как мог, расставлял «бэтры» по кругу, афганцы под командой Захира уже разгружали мешки с двух «Уралов».

— Начинай, — проходя мимо эмгэбэшника, сказал старший лейтенант.

Захир отряхнулся от муки, вышел к собравшимся. Верховодов хотел со стороны посмотреть, как они будут реагировать на слова представителя кабульской власти, но его отвлек фельдшер:

— Сильное отравление, товарищ старший лейтенант. Высокая температура, рвота с кровью.

— Сейчас что-нибудь сделать можно?

— Кое-что сможем, но, конечно же, их надо везти в больницу или госпиталь.

— Машины под погрузку практически готовы. Мы оставим два ряда мешков на дне кузова — на них и кладите детей.

— Есть, — ковырнул прапорщик и вновь исчез в доме.

Эмгэбэшника слушали настороженно. Захир должен был говорить, что она вывезут детей в Кабул, что он проклинает Изатуллу и его банду головорезов, из-за которых дети остаются сиротами, и что он, Захир, клянется лично надеть на Изатуллу женское платье, если только тот появится на его пути...

Среди собравшихся прошелестел говор: видимо, Захир дошел в своей речи как раз до этого. А для афганца, настоящего горца угроза не то что надеть женскую одежду — даже сравнить с женщиной считается высшим оскорблением. Захир наживал себе коварного врага, и если

только в этом кишлаке есть хоть один осведомитель Изатуллы, главарь почти сразу заскрежетает зубами, и тогда у крутого поворота, на серпантине, у моста — а может, и в любом другом месте, где он догонит колонну, докажет сначала Захиру, потом всем, кто слушал его речи, что платье ханум если м подходит какому мужчине, то это как рае самому эмгэбэшнику.

Санинструкторы стали выносить детей. Глянув на их скрюченные, сжавшиеся фигурки, старший лейтенант сам заскрежетал зубами. Уже за одно то, что война затрагивает детей, заставляет ах страдать и смотреть на мир глазами страдальцев, ее надо предать анафеме. И сделать на все века нормой, чтобы во всех правительствах и генеральных штабах всех стран при принятии решений на ведение боевых действий за столами рядом с политиками и военными сидели их внуки и дети. Чтобы они играли в это время, дергали и отвлекали своих умных пал и дедушек, чтобы плакали от какой-нибудь ерунды и это казалось им самым страшным горем. Войны, наверное, ведутся только потому, что те, от кого они зависят, забывают о своем детстве, о своих и чужих детях.

А что сделать для этих мальчишек и девчонок, уже лишившихся родителей? Боль сирот — еще больший стыд для тех, кто рядом.

Откашливаясь после выступления, подошел Захир.

— Все сказал. Изатулла этого не простит. Как раздавать муку?

— Пусть выйдут самые уважаемые аксакалы и разделят сами. — Увидев фельдшера, Верховодов спросил: — Скоро закончите?

Хватов передал ручки носилок одному из солдат, подошел:

— Заканчиваем. Женщина просится вместе с детьми, воспитательница или директор которая. Вроде больше здесь у нее никого нет.

— Это очень хорошо, что она едет. Сам с инструкторами — тоже в кузов. Вроде все... Нет, секунду. — Верховодов оглядел борта, подошел к машине Угрюмова, где висел на дверке его бронешилет, снял его, повесил на борт машины, как бы защищая им детей. Приказать сделать это же водителям не мог. Но те точно поняли его и тоже потянулись к своим кабанам, начали ладить «броники» на бортах.

— Думаешь, поможет? — спросил за спиной Соколов.

— Хоть что-то, — отозвался Костя.

— Мне со своих «ореликов» тоже снять?

— Ни в коем случае. О твоих «ореликах-соколиках» здесь никто не должен знать, пусть сидят в «бэтрах» и не высовываются.

— Да нужны мы им, они вон муку хапают и довольны.

— Кому надо, тот и муки хапнет, и нас оценит. Все, по местам. По местам! — подал он команду.

Тронулась разведка, «Урал» Угрюмова с эмгэбэшником. Хлопая бронешилетами по бортам, за ним потянулись другие. Несколько ребятшек побежали было за колонной, но тут же воротились к мешкам с мукой: думать о других хорошо, когда полон свой желудок.

«На повороте, серпантине или у моста, — глядел на разложенную на коленях карту Верховодов. — Если на повороте, то: первое...»

Он пока не знал, что засада ждет его у серпантина. Что первым же выстрелом из гранатомета «духи» прожгут «Урал» Угрюмова, и Петя, стукнувшись лицом о руль, вывалится в открытую дверку и потом, выплевывая вместе с кровью зубы, будет вытаскивать из кабины эмгэбэшника с раздробленными ногами. Тот что-то бессвязно будет шептать на своем языке и, только на миг придя в сознание, произнесет по-русски: «Десант». Заработают пулеметы «бэтров», выискивая себе цели в пещерах, на гребнях высот и в недалекой «зеленке». И в ответ будут тоже лететь пули — по бронетранспортерам, по бронезилетам на кузовах, по мешкам с мукой. И будет ручейками литься на серпантин дороги белая мука как белая кровь, и будет надрываться афганский связист, вызывая самолеты. А сам Верховодов, чисто профессионально отмечая время начала боя, глянет на часы и увидит, что подарок министра разбит вдребезги — так, что прогнулся циферблат, обнажив замершее хитросплетение шестеренок. Время словно остановится, усмехаясь над испытателями судьбы, и старший лейтенант подумает: «Опять не уберег». И найдет секунду-другую времени, чтобы снять и выбросить их, потому что с деревенского детства знал: часы останавливают тогда, когда в доме покойник.

А в нескольких километрах от места боя Гриша Соколов, вынося со своими подчиненными на носилках, одеялах, плащ-палатках детей по еле заметной тропинке, соединяющей две трассы, услышав гул боя, остановится. И за ним станет, замрет вся цепочка. Первой поймет смысл происходящего воспитательница. Она вдруг подбежит к лейтенанту, упадет перед ним на колени и начнет целовать его пыльные, сбитые, зашнурованные проволокой вместо шнурков ботинки. И заплачут, испугавшись, дети, и санинструкторы будут прятать друг от друга взгляды. Потом «соколики» возьмут удобнее свою ношу и лейтенант быстро, как можно быстрее поведет цепочку подальше от боя, от «ниточки», которую они должны были защищать.

Но только кто ж знает свое будущее? И «ниточка» пока еще спокойно вытягивалась на дорогу, и Верховодов смотрел то на карту, то на спидометр, то на свои еще не разбитые «Командирские»...

IX

Лучший талисман на войне для солдата — автомат. Брелоки, колечки, фотографии — они, конечно, греют душу, но тело для этой души спасает все же оружие.

Рокотов бежал, не сводя глаз с мятежников, устраивающих на спинах ящики. Один из «духов», то ли что услышав, то ли почувствовав на себе взгляд, а может, просто поудобнее устраивая на плечах груз, повернул голову и, увидев бегущих на него пленников, замер. Несколько мгновений ему потребовалось, чтобы понять опасность, но этих же мгновений хватило Рокотову вскинуть автомат и дать длинную очередь.

Две фигурки, согнутые под грузом оружия, от него же и упали. Заряжая винтовку, на выстрелы выбежал душман из пещеры, и следующая очередь досталась ему, отбросив его назад, в темноту склада.

Асламбек и Заявка были уже в машине.

— Ну, давай! — Сержант сам сбил ручку тормоза вниз. Машина плавно, медленно, словно чувствуя в себе чужаков, начала катиться под гору.

— Запрыгивай! — крикнул Олегу прапорщик, открыв огонь по выбегавшим из мазанок, из-под навесов «духам».

Сапер ухватился за борт, подпрыгнул — и тут же, получив удар ногой, упал обратно. Душман, подававший из кузова ящики, прыгнул на Рокотова, но прапорщик все же успел повести автоматом в его сторону и увидеть, как упруго сжатое в прыжок тело обмякает, раскрывается прямо в воздухе. Единственное, что не успел Рокотов, это отскочить в сторону, и тело «духа», нацеленное на прыжок, ударило по нему, сбило, как и Олега, с ног.

Баранчиков, уже подхватившись, бросился на помощь, но, увидев, что машина набирает скорость, в два прыжка оказался около нее, ухватился за борт, пытаясь удержать, пока не выберется из-под «духа» прапорщик.

И тут ударили пулеметы. То ли Баранчиков отвык от свиста пуль над головой, то ли сработал инстинкт сжаться, сделаться меньше, но он разжал руки, присел, обхватив голову.

Следующая очередь прошла по лобовому стеклу кабины. Иван успел пригнуться, Асламбеку помешало это сделать руль, и он лишь подался в сторону. Но этого все равно уже не хватило. Пули вошли ему в плечо и руку, словно бритвой, срезали пол-уха. Теряя силы, Асламбек через нетреснувший кусочек стекла увидел пламя над радиатором, за ним, за пламенем, — часовых у ворот, стреляющих по нему в упор. Затем пламя пригнуло порывом ветра, и он различил выбегающих из дома главаря и Хромоножку.

— Тормози! — орал рядом Заявка. — Прыгай!

Скорее всего, он приказал это себе, потому что выбил плечом дверь и выпрыгнул из горячей машины. Асламбек тоже пытался открыть дверцу, но то ли сил уже не хватило, то ли дверь заклинило, и последнее, что он увидел, — это надвигающийся на него дом главаря. Можно было еще отвернуть от него, направить машину на ворота, но Асламбек вцепился в руль и то ли прикрыл глаза, то ли потерял сознание.

Взрыв был не сильный, но дом мгновенно занялся пламенем. Изатулла в отчаянии выстрелил несколько раз из пистолета в обломки горячей машины. Отвернувшись, увидел подведенного к нему сержанта и ударом ноги в живот выбил Заявку из рук державших его охранников. И тут же упал, укрываясь сам — пули прилетели со стороны склада, его склада, его реальной силы.

— Заявку не задень! — крикнул Олегу Рокотов, набрасывая из ящиков, банок, мешков что-то вроде баррикады. — И патроны береги.

Олег прекратил стрельбу, и, если не считать недовольно бубнившего в ущелье эха, наступила тишина.

— Подежурь, я посмотрю, что мы здесь имеем, — сказал Рокотов и побежал между стеллажами к керосиновой лампе, горевшей в глубине пещеры. Вернулся почти сразу, волоча за собой ящик с «лимонками».

— О, теперь живем, — загорелся глаз сапера. — Еще не оверкиль, Володя.

— А что такое оверкиль? — Рокотов, торопясь, поглядывая на площадь, вставлял и закручивал запалы, укладывая готовые гранаты вдоль всей баррикады.

— Это когда лодка переворачивается с людьми на крутой волне. Как по-вашему, сухопутному. Там еще такие ящички есть?

— Полно. Смотри за «духами», я притащу.

Однако на этот раз ходка сорвалась: залаляли пулеметы и автоматы, послышались крики душманов, и прапорщик прибежал назад. Еще никого не видя, одну на другой бросил с десятков гранат. Взрывы слились в один сплошной гул, после которого опять осталось одно недовольное эхо и стоны раненых.

— Это вам за Асламбека, папуасы чертовы! — крикнул в рассеивающийся дым Олег. — Володя, патроны нужны, поищи патроны.

Патронов тоже оказалось навалом, и не только в ящиках и россыпью — на полках аккуратно лежало десятка три уже снаряженных магазинов.

— Теперь все, теперь все, — злорадно и радостно шептал Олег, перебирая магазины. — Теперь я им не сдамся, теперь они меня не возьмут.

Рокотов молчал, давая саперу насладиться свободой. «Свободой на пороховой бочке», — уточнил для себя прапорщик. Надо было думать, что делать дальше. Если Изатулла все еще в бешенстве, значит, разок или два пошлет своих «духов» па приступ. Но в конце концов ведь остановится, будет искать другие пути уничтожить их, выкурить, захватить. На прорыв отсюда не пойдешь, условий никаких не продиктуешь. «Короче, в той же тюрьме, только с оружием», — подвел нерадостный итог своим рассуждениям Рокотов.

— Как выберемся, первым делом побреюсь, — мечтал Олег. — И попрошу маму картошки пожарить. Слушай, а она верит, что я жив? Ей как сообщили: погиб или пропал без вести?

— Наверное пропал без вести.

— Хорошо, если так. Если бы записали, что убит, она бы... плакала. А я жив, жив!

И тут Рокотов услышал гул боя. Далекий, еле улавливаемый... Или показалось? Он придвинулся к Олегу, уж что-что, а слух у него будь здоров.

Однако сапер, положив подбородок на приклад автомата, не мигая смотрел перед собой. И было ясно, что он ничего не слышит и не видит, что мыслями он сейчас дома, что жарит для него мать картошку...

— Ты что-нибудь слышишь? — тронул его за плечо Рокотов. — Слышишь что-нибудь?

— А? — очнулся Олег, тревожно озираясь. — Что ты говоришь?

— Прислушайся.

Сапер вывернул шею, чтобы меньше дергалась голова и не мешала сосредоточиться, и по широко раскрывшемуся глазу прапорщик понял, что он не ошибся.

— Стреляют? — спросил Олег, тоже боясь ошибиться.

— Стреляют, — чувствуя, что пересохло в горле, прошептал Рокотов. — Где-то недалеко идет бой. Бой, Олежек, бой! Это наши, наши рядом!

Олежкин глаз часто-часто заморгал: сапер пытался что-то понять или придумать. Но, видимо, и свобода, и гул боя — это, настоящее, было настолько сильнее и значимее, что будущее, кроме разве конечного результата-жареной картошки, не останавливалось в его мыслях.

— По-моему, нам надо самим сделать небольшую войну, чтобы нас тоже услышали, а? — предложил Рокотов.

— Так что же мы молчим? — Олег тут же привстал, вскидывая для стрельбы автомат.

Прапорщик не успел его одернуть: прозвучал одинокий винтовочный выстрел. Как страшны на войне одиночные выстрелы, потому что это — выстрел в цель. Олег еще успел по инерции нажать на спусковой крючок, короткая очередь ушла из его автомата, но сам он уже осел, привалился к ящикам, и заросшее лицо его исказилось от боли.

— Куда тебя, что? — упал перед ним на колени прапорщик. — Олежек, Олег...

— Бок задело... Черт... А ты стреляй, стреляй, — тихо попросил сапер. — Пусть услышат. Стреляй... Только осторожно, — он ухватил прапорщика за руку, вяло вцепился в нее. Лоб его был покрыт испариной, левая щека дергалась. — И только... только не бросай меня. Не бросай...

Рокотов, положив ствол автомата на ящик, нажал на спусковой крючок. С двумя короткими остановками, давая оружию и замершему, все еще не выпускающему руку Олегу передохнуть, выпустил весь магазин.

— Теперь гранаты, — чуть ли не умолял Олег, и прапорщик, как мог далеко, бросил несколько гранат.

— Услышат? — с надеждой спросил сапер.

— Конечно услышат, — бодро ответил Рокотов. Олег только после этих слов отпустил руку, и прапорщик быстро перезарядил автомат. Сбросив куртку, прямо на теле разорвал тельняшку, стал перевязывать Олега. «Кто его знает, услышали или нет. Смотря какой бой у них там, есть ли возможность у них самих приподнять голову...»

— Вертолеты, — вдруг улыбнулся, опять поймал его руку сапер.

— Что? Какие вертолеты?

— Гудят, послушай. — Олег опять приподнялся, и во второй раз прогремел одиночный выстрел, обив на этот раз патронный ящик с их баррикады.

— Не дергайся, они снайпера посадили. — Рокотов осторожно выглянул, пытаясь определить, откуда стреляют.

— Но надо же пострелять еще, Володя. Надо, чтобы заметили или услышали.

Прапорщик оглянулся на запасы, и они сделали еще один залп.

— Что ж «духи» — то молчат? Что они затевают?

Рокотов не узнавал Олега: надежда у него мгновенно сменялась то апатией, то страхом, то растерянностью и беспокойством. Когда враг идет в атаку, тут ясно, что делать. Когда же он начинает что-то замышлять — у кого занять нервы для ожидания? Во всяком случае, не у человека, отсидевшего полгода в плену.

Площадь перед пещерой была по-прежнему пуста, если не считать шестерых убитых. Там сгорел Асламбек. Насколько успел узнать этого парня Рокотов, тот все время ждал от других

подсказки и объяснений. Но что из того, что он не был замечен в жизни? Это просто лишний раз подчеркивает, что красота птицы не в перьях, а в ее полете, достоинство и честь мужчины — в поступке, а не в позе. А что же хочет предпринять Изатулла? Сил у него не так уж и много, больше он в атаку в лоб чае пойдет. А что, если в пещеру есть еще один ход? Или они попытаются как-нибудь забросать пещеру гранатами сверху?

— А если они попытаются забросать нас гранатами? Склад сдетонирует? — повернулся прапорщик к саперу.

— А черт его знает, что у них здесь навалено. Скорее всего да. — Олег был все еще бледен, но после перевязки чувствовал себя увереннее. — Я, если честно, дело свое саперное из принципа не изучал.

— Что за принцип?

— Да я же мореходку закончил, на флот и должен был идти. А в военкомате с прапорщиком каким-то поцапался, уже и не помню, за что. Он и пообещал: будешь у меня землю животом пахать и пыль нюхать. Так и сделал... Сейчас, наверное, когда узнал, где я, видимо, жалеет... А бой все еще идет, — Олег кивнул на площадь.

И в это время на ней появился Витюня. Руки у него были связаны за спиной, он что-то пытался говорить, оглядывался, но ему, скорее всего, опять показали берет или тельняшку, и он шел к пещере.

— Уходи, уходи! — закричал Рокотов.

Услышав голос, Витюня остановился, повернулся идти назад, и прапорщик с сапером одновременно подались вперед, не веря своим глазам: к рукам Витюни была привязана взрывчатка с горящим бикфордовым шнуром.

Витюне опять пригрозили, раздался хлопок — Рокотов мгновенно вспомнил, что так хлопают нагайки, и Дурачок чуть ли не бегом побежал к складу.

— Назад! — закричал, кривясь от боли, Олег.

— Уходи! — махал из-за ящиков автоматом и Рокотов.

И тогда Витюня заплакал, жалобно глядя на пещеру. Он шел к ним за защитой от голубого берета и нагайки, он не понимал, почему у него связаны руки и почему его прогоняют и одни и другие. Сумасшедшие искренни в своих поступках, потому что не умеют притворяться.

— Сейчас рванет. В клочья! — прошептал Олег, не сводя глаз с приближающегося Витюни.

Все-таки самое несправедливое в жизни — это беспомощность сильного человека перед обстоятельствами. Вот тут уж в самом деле ложись и помирай.

И тут до Рокотова дошло, что в клочья разнесет не только Витюню, но и их самих. Взрывчатка — это не граната и не мина, она осколков не дает, боезапас в пещере не заденется. Есть шанс, у Изатуллы есть великолепнейший шанс, если Витюня дойдет до баррикады. А не дойдет — кто в этих горах пожалеет о дураке, тем более русском...

— Олежек, прикрой меня. Прикрой, дорогой...

Рокотов, обдирая руки и колени, перемахнул через завал и бросился к Витюне. Наверное, это не было геройством, потому что это как раз и было отчаяние перед обстоятельствами. Правда, это же отчаяние могло родить и панику, и заставить поднять вверх руки, и пустить себе пулю в сердце, и даже... даже остановить Витюню подальше от пещеры своим выстрелом — что ему, в самом деле, эта жизнь без памяти и Родины. Да и в любом случае смерть уже была ему уготована, не от разрыва, так от пули снайпера.

Но тем не менее Рокотов бросился к Витюне, и пока бежал под веером огня автомата Олега Баранчикова, мог бы, будь у него время, проклясть себя за этот глупый, в общем-то, с точки зрения жизни и смерти поступок. Он побежал, хотя гремевший где-то вдалеке — но слышимый ведь! — бой давал надежду. А ему, не раненому, не надорвавшемуся, не побывавшему в плену — самую большую. Но, наверное, потому, что только за сегодняшний день он увидел мужество Цыпленка, геройство Асламбека, а до этого были сотни книг и кинофильмов не конкретно об этом, но подобном — наверное, потому он сделал так, как сделал. Поступок рождал поступок.

Увидев бегущего к нему Рокотова, Витюня замер, сжался. И это позволило прапорщику сразу же ухватить дымящийся корешок шнура, вырвать его из зажатых рук Витюни и отбросить в сторону.

— Бежим, — потянул его прапорщик.

Но тот вдруг надломился, открывая Рокотова, оставляя его одного стоять на площади. И тут же Владимир услышал среди автоматной пальбы свой, винтовочный выстрел. Пуля прожгла ногу чуть выше колена, и, падая от боли, страха и потому, что у него на две афганские командировки в крови уже сидело: при стрельбе — падай, Рокотов все же отметил главное: он не убит, он только ранен. Убит Витюня, он лежит рядом, и впервые у него не блуждают, а спокойно смотрят в небо глаза. Спокойны были его губы, плечи: смерть, великий врач, вновь уравнила Витюню с остальными людьми.

Рокотову теперь надо было уползть обратно в пещеру, к Олегу. Лучше быть в темноте и опасности среди своих, чем на свету — но в окружении врагов.

Подтянул ногу — было такое ощущение, что ее отбросило пулей далеко-далеко. Знал, что будет больно, заранее сцепил зубы — и все равно боль расплавила эту защиту, эту готовность к терпению, расцепила зубы, вытолкнула из груди Рокотова стон.

— Володя! — услышал он крик Олега и опять выделил выстрел, предназначенный теперь уже для сапера.

— Не вылазь, — прошептал прапорщик. — Держись.

Он еще раз подтянул ногу — к боли все же можно привыкнуть, ко всему земному можно привыкнуть. Жаль только, что оставил автомат. Зачем он его оставил! И почему умолк Олег? Неужели тот выстрел достал его? Нет-нет, такой глупой, случайной смерти, да еще после плена, просто не может быть. Это нечестно!

Да только знать бы это пуле, выпущенной в Олега. Хромоножке очень неудобно было стрелять из узенького оконца дальней мазанки, единственной, расположенной как раз напротив входа в пещеру. Но тем не менее он успел заметить мелькнувшую за ящиками фигуру. И не только заметить, а и выстрелить.

Пули бывают подпиленные — и тогда поют во время полета. Есть пули последней модели, со

смещенным центром тяжести, когда при встрече с препятствием — человеком ли, листком дерева, стеклом, железом — меняют свое направление, чтобы, кувыркаясь, разворотить, раскучорить, разнести это самое препятствие как можно больше.

Пуля для Олега прилетела бесшумно, попала в доску, но не изменила своего полета, а, пробив ее, достигла сапера. И вновь уронил Баранчиков автомат, потому что рану закрывают сначала собственными руками.

Руки сапера потянулись к животу, нащупали набухшую от хлынувшей крови — Олег чувствовал, как уходит из него кровь, унося с собой силы и сознание, — нащупал рубаху и еще что-то мягкое, живое, вышедшее вместе с кровью. Из последних сил повернул голову к свету — страшна, ох, страшна темнота. Проем заслонила «лимонка», приготовленная для броска, и Олег едва дотянулся до нее пальцами и, когда она поддалась, тронулась, удержал в ладони. Единственное, что ему пока не изменяло, — слух. Л он выделил гул того, дальнего боя, только теперь он почему-то слышался значительно ближе. Потом вроде бы что-то крикнул прапорщик, однако поднять голову и посмотреть на площадь Олег уже не мог. Хорошо, что усики в кольцах гранат они отогнули заранее, теперь это уже не кольцо в гранате, а шпилька, вытащить которую можно и в самый последний миг. Неужели все-таки придется погибнуть? Неужели, имея под рукой столько оружия, все равно останешься бессилён?.. А как легки в полете чайки над морем. Только почему оно штормит в ясную погоду? Волны становятся все сильнее, выше, они накатываются на берег, захлестывают курсантов с мореходки. Лично он хочет отбежать, но его схватили за руки «черные аисты» и подставили под очередную волну...

...Не успели «духи» оттащить Рокотова от склада, как в нем раздался взрыв. Из четверых мятежников, скрывшихся в пещере, спотыкаясь, придерживая руку, назад выбежал лишь один. За его спиной занималось пламя, и теперь у оставшихся в живых не возникало сомнений: через несколько мгновений все, накопленное долгими месяцами и обещавшее успех в предстоящей борьбе, взлетит на воздух.

Оставалось одно: уходить как можно дальше от склада. Уходить тем, кто не обременен ранами. Изатулла поднял было пистолет на повисшего на руках моджахедов прапорщика, но, прислушавшись к приближающейся стрельбе, приказал тащить пленника за собой.

Мощный взрыв в глубине ущелья остановил на миг и отступающих мятежников, и их преследователей — высадившихся из вертолетов «командос».

— Может, склад? — лежа за камнем, повернул голову к старшему лейтенанту Карин. — Эмгэбэшник что-то говорил про склад у Изатуллы.

— Скорее всего, — согласился Верховодов. — Значит, поняли, что им крышка, уничтожают склады. Стой, не дергайся, — остановил ефрейтора, когда тот хотел перебежать к новому укрытию.

Только двоих из «ниточки» он взял с собой преследовать «духов»: фельдшера и Карина. Хватова — если все же сведения о пленных подтвердятся и улыбнется удача вырвать их, и тут уж медицине — первая скрипка. А Юрка... С Юркой сложнее и проще одновременно. Такие, как Юрка, своей службой заставляют выбирать себя. Когда говорят, что в Афгане гибли лучшие парни — не берем в расчет разгильдяйство и случайности — то это правда. Путник, если хочет достичь цели, запрягает лучшую лошадь. Командир для боя выбирает лучших солдат. Жесткая логика войны — там, где из лучших погибал один, средних и плохих солдат могло лечь шесть-семь. Эту арифметику и расчет знали, конечно, все командиры, но... но, наверное, великий грех производить эти расчеты и предъявлять им какой бы то ни было счет.

Потому, собственно, и лежал Юрка Карин за соседним камнем, грыз какую-то прошлогоднюю травинку и нетерпеливо поглядывал вперед. «Командос» — в пятнистых куртках и брюках, увешанные подсумками с магазинами и гранатами, достаточно умело выдавили «аистов» сначала на «зеленки» у серпантина, затем, после первого же пленного, направили отступление мятежников прямо на базу.

По всему выходило, что Изатулла уже где-то рядом, что нужны всего два-три броска...

— Командир, — позвал из-за своего укрытия фельдшер, — посмотри вперед.

От мятежников с белым платком в вытянутой руке шел, сильно прихрамывая, небольшого роста мятежник с густой, до самых глаз, бородой. Стрельба постепенно утихла с обеих сторон, и от «командос» навстречу хрому вышел один из офицеров. Они приближались друг к другу медленно, настороженно зыря по сторонам, и, дойдя до расстояния разговора, остановились. Ничего не понимая по-афгански, Верховодов тем не менее пытался поймать обрывки фраз, что-то попяты по интонациям мятежника. Но расстояние было большим, переговоры короткими. Хромой заковылял за свои валуны, и Верховодов, воспользовавшись затишьем, вместе с Кариным и Хватовым перебежал к афганскому комбату.

Тот выслушивал своего парламентаря и обрадованно кивал Верховодову — хорошие вести.

— Там... э-э, ваш командор, — показал комбат на ущелье. — Они... э-э, отдать, мы не... о-э...

Афганец не подобрал слов и тогда просто показал, что взамен на пленного они должны прекратить стрельбу.

— Двое пленных? Два? — показал на пальцах Верховодов.

— Э-э... — комбат отрицательно покачал головой и поднял один палец.

— А где второй? Они время тянут, гады! Они хотят за это время уйти!

Комбат выжидательно смотрел на Верховодова — пленные-то советские — и ожидал решения.

— Пусть ведут хоть одного, хоть что-то узнаем. Узнаем у одного, — Костя показал афганцу один палец.

Комбат прокричал какие-то распоряжения для своих парашютистов, и тот, кто ходил на встречу с хромым «духом», поднялся с белым платком в руке. Передав свой автомат Карину, Верховодов встал рядом с ним. Неужели удалось вложить три дня в один? Кто он, этот парень, который вырвется сейчас из рук мятежников? Что он испытывает? Верит ли в это? А может, эта остановка только ради того, чтобы главарь ушел как можно дальше? И никто не выйдет навстречу, и вместо этого ударят автоматы...

Но в другом конце ущелья показался все тот же хромой душман. Он поддерживал под руку высокого по сравнению с ним парня в разорванной тельняшке. Когда они двинулись навстречу, Верховодов вместе со вздохом облегчения и улыбнулся: парень тоже очень сильно припадал на ногу, и два хромых на разные ноги человека были, несмотря на ситуацию, достаточно смешны.

Пряча улыбку, Костя, обгоняя афганца, поспешил на помощь пленнику. И когда тот был уже почти рядом, и старший лейтенант разглядел его добродушное круглое лицо, и сам парень, отбросив руку хромого, попытался идти сам, в тишине прозвучал выстрел. Пленник

недоуменно остановился, закачался, пытаюсь устоять на ногах до тех нор, пока к нему подбежит старший лейтенант.

— Ни-и-ис, ни-и-ис! — обернувшись на выстрел, заорал хромой. — Ни-и-ис!..

— ...Хорошо. — Изатулла, стоящий над Заявкой, легонько тронул его ботинком. — Вставай.

Сержант, обхватив голову руками, продолжал лежать рядом со снайперской винтовкой.

— Вставай, надо идти, — опять тронул его главарь.

Иван встал, посмотрел вниз на ущелье, по которому бежали афганские «командос». Все еще сжимая голову, встал, и главарю показалось, что он готов идти вниз, навстречу парашютистам. Но Изатулла положил ему на плечо руку, кивнул на снайперку:

— Твоя. Будешь жить. А теперь уходим. Теперь уйдем. И вернемся.

И первым поспешил в одно из новых ущелий, открывшихся за хребтом.

Послесловие

В одну из темных морозных ночей начала февраля вне всякого графика границу СССР пересекла небольшая колонна — с десятком «Уралов» и примерно столько же бронетранспортеров. Для них не было ни цветов, ни музыки, и лишь свет фар выхватывал оставшиеся с вечера транспаранты, пустые трибуны.

Пограничники и сонные таможенники наскоро проверили документы прибывших, взялись было за машины, но попом ударили со старшим колонны по рукам и решили: техника до утра остается в «отстойнике», и вся остальная работа завершится с восходом солнца. Представитель штаба округа прямо в «отстойник» принес и раздал каждому часы, поздравив с возвращением и подарком от министра обороны. Угрюмов хотел показать, что они уже имеют такой подарок, но Сеня Горовойх закрыл его от майора, начал горячо благодарить штабиста за заботу.

— У тебя сколько рук? — лишь только майор ушел, спросил Семен Угрюмова.

— Две.

— А часов?

— Одни.

— Ну тогда в чем дело? — недоумевающе пожал плечами Семен. — Вообще-то, если они у тебя лишние...

Угрюмов точно так же пожал плечами и протянул часы Семену. Тот смутился, повертел коробочку в руках, сунул ее обратно Петру. Потянулся:

— Только сон приблизит нас к увольнению в запас. Товарищ старший лейтенант, а может, ну их, палатки, и перекантуемся в кабинах?

Штабист только что предложил им ночлег в палаточном городке в двух километрах отсюда, и Верховодов, жалея время, уже прикидывал, сколько они его потеряют на переходах. И в то же время самому предлагать ребятам спать в кабинах уже здесь, в Союзе, он не мог. Так они спали все полторы недели «войны», и заветной мечтой каждого после мыслей о доме было как

раз поспать столько, пока сам не проснешься.

— Перекемарим, — видя, что командир колеблется, поддержал своего «бронезилета» Угрюмов.

Слово молчаливых особо весомо, и Верховодов охотно уступил просьбам:

— Всем отбой. Я — в «бэтре» Соколова.

Однако дойти до вытряхивающих из матрацев и одеял пыль «соколиков-ореликов» не успел. Сзади послышались торопливые шаги, и его шепотом — сколько времени им еще говорить по привычке шепотом при наступлении темноты — окликнул Карин:

— Товарищ старший лейтенант, можно на минутку?

— Да, Юра, конечно. Но сначала дай-ка я поздравлю тебя особо, — старший лейтенант притянул к себе Юрку, на миг прижал к груди. — Ты сам-то где устроился?

— Пока нигде. Я бы хотел... — ефрейтор замялся.

— Говори, я слушаю.

— Я бы... мне бы к матери, товарищ старший лейтенант.

— А где ты ее сейчас найдешь?

— Она будет у того, старого «отстойника», — горячо возразил Юрка. — Она никуда не уйдет оттуда, пока я не вернусь. Я ее знаю.

— Так это почти десять кмэ, Юра. Пока дойдешь — и рассвет настанет. Связи с «отстойником» нет. Лучше утром машину возьмем — и туда.

— А сейчас нельзя?

— Сейчас? Кто же нас отсюда выпустит, пока не пройдем контроль. Мы все равно что за границей.

— А если попросить? — Юрка словно не служил в армии. — Я только туда и обратно... — Все же поняв, что просит несбыточного, оправдался: — Знаете, все время вспоминается, как я тогда по газам...

Верховодов почувствовал, как ему стало жарко. Юрка щадил его — ведь это именно он дал команду не останавливаться. Он боялся за настроение другие водителей, для которых бы сцена прощания матери с сыном не прошла бесследно. Он жалел саму мать и Юрку, потому что прижавшего к груди оторвать труднее. Но, шалея, он, выходит, загонял занозу в сердце своего солдата. Желая успеха своей «ниточке», а значит, и возвращения каждого водителя назад, он перешагивал через их совесть и любовь. Есть ли оправдание этому? То, что все в самом деле вернулись живыми и, кроме Угрюмова, невредимыми, — можно ли это положить на весы оправдания?

— Пойдем, — поеживаясь после первой волны жара от ночного холода и неприятных для себя мыслей, Верховодов направился к солдату, стоящему у выезда из «отстойника».

— Слушай, друг, вам надо срочно выехать часа на два, — с ходу начал Верховодов. — К твоему

земле, — он показал на Карина, — мать приехала, а мы только «из-за речки». Нам бы увидеться — и назад. А?

— Да вы что, товарищ старший лейтенант, — часовой не часовой, дневальный не дневальный, но поставленный у двух столбцов, соединенных веревкой и привязанными к ней красными лоскутками-флажками, солдат даже перестал поживать от холода. — Вы же знаете, что нельзя.

— Да куда мы денемся? Туда и обратно, слово офицера.

— Меня же посадят. Нет-нет, не просите.

— Слушай, земля, выручи, — вступил в уговоры и Юрка. — Мне мать увидеть, она ждет, понимаешь?

— Все я понимаю, но поймите и вы меня. Не могу. Вот, закурить «Яву» могу дать, самому из дома только прислали, могу всю пачку отдать, а выезжать — не, не и не. — Солдат отвернулся.

— Хорошо, а если мы угоним машину? — предложил Верховодов. — Ты ничего не знаешь, мы по газам — и вперед.

— Стрелять буду, — не глядя в их сторону, отозвался солдат.

Юрка шумно вздохнул — так вздыхают не от безысходности, а от решительности. Старший лейтенант повернулся к ефрейтору, готовый выслушать его.

— Я пойду пешком, товарищ старший лейтенант. Человек я давно гражданский, так что... — Юрка махнул рукой, переступил через флажки и, не оглядываясь, пошел по дороге.

И оттого, что Юрка не попрощался, в конце концов, не оглянулся, понял Верховодов, как надеялся на него водитель. Все, что зависело от него как от солдата, он сделал. А когда попросил сам...

— Слушай, ну человек ты или нет? — перешагнул через флажки и Верховодов. — Его мать ждет, полторы недели сидит у шлагбаума в пятом «отстойнике». Что тебе пообещать, какое слово дать?

— Товарищ старший лейтенант...

— Туда и обратно, к рассвету будем здесь, — в голосе солдата Верховодов уловил нотки нерешительности и поэтому больше налегал на свою офицерскую обязательность и гарантии. И вдруг предложил: — Возьми мои документы. Вот удостоверение личности, орденская книжка. Если через два часа не будем, можешь сжечь. На, — Верховодов тут же протянул книжечки.

— Да зачем, что я, так не верю...

— Пойми, не за водкой и не к женщинам едем — к матери, — давил Верховодов. — Документы у нас проверили, груза никакого, так, одни формальности остались, а из-за них... А?

Солдат жалобно посмотрел на него, и старший лейтенант понял, что он внутренне согласился: жалость беззащитна, она не имеет твердости. Теперь важно лишь не спугнуть решение солдата: жалость не только беззащитна, но и пуглива.

— Спасибо, — нашел одно-единственное правильное слово Верховодов. — Спасибо, брат, через

два часа мы здесь.

Не дав солдату сказать ни «да», ни «нет», Верховодов тем самым в какой-то мере снимал моральную ответственность с дневального.

— Но только чтобы в машине ничего не было, — попросил тот. — И через два часа были здесь.

— Будем. Слово офицера, — заверил еще раз Верховодов и побежал к машинам.

Первым стоял «Урал» Горовойха. Да к другой бы Костя и не подошел. Вернее, он подошел бы к «Уралу» Угрюмова, но Петрухина машина сгорела на серпантине, осталась лежать на обочине дороги грудой металла. Петр бы вообще не задал ни одного вопроса — надо, значит, надо. Горовойх же начнет бурчать, выпрашивать; но все равно, его любопытство — это характер, а не признак болтливости. Так что великое это дело — иметь людей, которых можно разбудить среди ночи.

— Сеня, Сень, — потрепал свернувшегося калачиком на сиденье солдата Верховодов. Водитель дрыгнул ногой, больно задел сапогом по руке, и старший лейтенант прижал его ноги: — Сеня, проснись.

Семен не хотел просыпаться, а скорее всего, просто не мог. Он лежал на сиденье, даже не сняв перчаток, даже не подсунув под голову пуховичок, сшитый для этих целей, а сейчас торчащий из-за спинки сиденья. До какой же тогда степени устали его солдаты...

Верховодов зашел с другой стороны кабины, начал поднимать водителя, усаживать его на сиденье. Уцепившись за руль, Семен, не открывая глаз, невнятно спросил:

— Ехать?

— Перейди в бронетранспортер. Давай помогу, — старший лейтенант набросил руку солдата себе на плечо, стал вытаскивать его из кабины.

Наверное, если бы он сказал, что нужно, ехать, Семен бы проснулся. Но мозг солдата не отметил, видимо, для себя команды, а значит, остальное — просьбы, советы, пожелания — ерунда на постном масле по сравнению с желанием спать.

— Давай... осторожнее... — Костя вытащил Семена из кабины, передохнул. — Пойдем в «бэтр», здесь рядом.

Сонный — хуже раненого: он не понимает, چرا от него хотят. Горовойх, постанывая, обмяк на плече старшего лейтенанта, и Верховодов практически на себе перенес водителя к бронетранспортеру. Хорошо, Соколов еще не укладывался: он без лишних расспросов подхватил сверху солдата, втянул его на броню и опустил в люк.

— Я до батальона, к утру буду, — махнул лейтенанту Костя и побежал к машине.

Веревка на выезде уже была опущена, флажки лежали в пыли, и Костя проехал прямо по ним.

— Только быстрее, товарищ старший лейтенант! — крикнул из темноты дневальный.

Верховодов выставил в открытое окно руку: слышу, понял, сделаю.

Юрку нагнал через несколько минут. С шапкой и ремнем в руках, расстегнутый, он бежал по

дороге, и у Верховодова подкатил ком к горлу. Он замигал фарами, Юрка сошел с дороги. Прикрывая глаза от света, стал поджидать машину. Увидев командира, похоже, ни удивился, ни обрадовался: молча залез в кабину, откинулся на сиденье.

— Дорогу помнишь? — спросил через несколько минут Верховодов.

— Перед поворотом справа валялась пустая бочка из-под солярка, — у водителей зрительная память особая, и Костя сейчас мог рассчитывать только на это. Заплутать же в степи с десятками, сотнями новых дорог и объездов, проложенных выходящими войсками, было проще пареной репы.

— К утру надо вернуться.

Юрка промолчал, и Верховодову стало немного обидно: он уговаривал охрану, давал свое честное слово, вместо сна гонит по степи — и хотя бы кивок благодарности.

Он скосил глаза. Ефрейтор сидел какой-то опустошенный, безразличный ко всему, и старшему лейтенанту показалось: поверни он сейчас машину назад — Юрка не скажет ни слова, не возмутится и не удавится. Что с ним? Только что бежал человек, спешил, торопился — и в один миг обмяк. Может, это защита организма? Может, если бы не это безразличие — не выдержало бы Юркино сердце, ведь он не просто к матери бежал, он бежал от радости, что остался жив, что для него кончилась война. Да-да, кончилась, Верховодов почувствовал, что если, не дай бог, придет утром новая команда идти в Афган, Юрка уже не сделает шага вперед, силы его иссякли. И у силы этой одно название — нервы...

Старший лейтенант хлопнул Юрку по колену: если выжили, то и оживем. И было бы просто здорово, если бы мать в самом деле ждала его у шлагбаума...

— Поворот, — вдруг встрепенулся Юрка, подался вперед.

У развилки мелькнула полузасыпанная песком бочка, и волнение вновь охватило Карина. Он заерзал на сиденье, недовольно поглядывая на спидометр. Верховодов вспомнил, как точно так же нетерпеливо глядел на спидометр и он, когда ехали к детскому дому, но тогда он считал оставшиеся метры, а Юрка мается малой, по его мнению, скоростью. Потерпи, Юрок, осталась малость. Уже пошли знакомые бугорки и рытвины, теперь надо ждать появления в свете фар лагеря...

Первым высветился шлагбаум — мачта списанной радиостанции с привязанным траком на одном конце. Но то, что он был открыт, и шнур, за который поднимали и опускали мачту, бесхозно болтался на ветру в вышине, насторожило, вселило в сердце тревогу. Потом показалась палатка — и больше, как ни всматривались Верховодов и Юрка, на месте их «отстойника» ничего не было. Неужели батальон снялся?

Верховодов подогнал «Урал» к самой палатке, а из нее, прикрываясь от света локтем, вышел офицер в наброшенном на плечи бушлате. Костя убрал дальний свет, выпрыгнул из кабины.

— Костя? — окликнули его, и Верховодов узнал в вышедшем командира второго взвода лейтенанта Голубцова. — Наконец-то. А я слышу, мотор, и думаю — наверняка ты.

— А где все? Где батальон?

— Кто где, расформировала четыре дня назад. А мне комбат приказал тебя ждать. Погоди, главное же не сказал. Сколько времени?

Костя глянул на новые светящиеся «Командирские»:

— Четыре двадцать.

— Вот черт, опоздал ты маленько. Тут к тебе девушка приезжала, глазастая такая...

— Юля? — у Кости перехватило дыхание, он дернул, отрывая пуговицу, ворот бушлата. — Когда? Где она?

— Сегодня вечером... тьфу, черт, вчера вечером... короче, этой ночью должна была улететь в Ташкент. Тут еще одна женщина все эти дни жила, твоего Юрки Карина...

— Мама? — вышел из темноты Карин, и Голубцов, взглядевшись в солдата, радостно закивал:

— Да-да, твоя мать. Вот в этой палатке они вдвоем и жили, комбат выделил. А вчера передали, что вас из Кабула перебросили самолетами в Ташкент.

— Кто передал? Что за чушь? Мы шли своим ходом! — взорвался старший лейтенант, словно Голубцов был виноват в ложной информации. — Это пленного отправили самолетом, у него ранение позвоночника, а мы сами... на своих колесах...

— А где мама? — тихо перебил Карин.

— Ну так она и Юля как раз и улетели в Ташкент. Туда, в штаб округа, переправляли журналистов, и я упросил, чтобы и их взяли... Я же не знал... Ах ты, черт, как же нелепо получилось!.. Слушайте, давайте в палатку, здесь колотун, — лейтенант хотел юркнуть под брезентовый полог, но Верховодов остановил:

— Погоди, дай прийти в себя... Значит, Юля и Юркина мать поехали на аэродром?

— Да.

Старший лейтенант посмотрел на Карина, тот на него, и они одновременно запрыгнули в кабину, и словно одна, хлопнули дверцы.

— Костя, погоди, — теперь уже останавливал Голубцов. — Мне майор приказал дожидаться вас, а потом могу быть свободным.

— Ты свободен. — Костя включил скорость.

— Да подожди, — лейтенант запрыгнул на подножку. — У меня ваши документы и чистые наградные листы с печатями. Комбат сказал, чтобы ты сам заполнил их на каждого.

— Давай бумаги. — Костя выключил скорость.

Лейтенант, уронив с плеч бушлат, исчез в палатке и тут же вернулся с папкой.

— Держи, — он сунул папку в окно. — Там все написано и расписано, разберешься.

— Спасибо тебе. Прощай. — Костя дал сигнал, развернул круто машину и погнал ее обратно.

Юлька, приезжала Юлька... Все-таки приехала. Нет, она могла запросто это сделать. Только бы не улетели журналисты, что им делать в том Ташкенте, мало им материала здесь? Только бы задержались...

— Может, задержатся? — спросил и Юрка. Видимо, они думали об одном, только ефрейтор — о матери, а Верховодов — о Юле. О Юле, беде своей и радости. О гордой и насмешливой москвичке, гордой и насмешливой от всеобщего внимания к своей красоте и обаянию. Успеть бы, успеть...

Показалась развилка, и тут Верховодов вспомнил свое обещание дневальному. Скопил глаза на часы: до Термеза крюк километра на четыре, пока на аэродроме туда-сюда — времени впритык, если по-хорошему, то пора возвращаться без всяких заездов.

— Давайте я сяду за руль, — попросил Юрка, склонив раздумья командира на поездку к аэродрому. Эх, было бы только ради чего.

Верховодов притормозил, Юрка обежал кабину, старший лейтенант передвинулся по сиденью, и они вновь помчались в пустой, холодной степи к редким огонькам города.

Начальнику ВАИ гарнизона

Рапорт

Сегодня около 6 часов утра на трассе «Термез-мост Дружбы» наш подвижной наряд обнаружил перевернутый «Урал» с номером 17-36 ОЮ. Водитель и старший машины (ефрейтор и старший лейтенант, фамилии уточняются) доставлены в местный госпиталь в тяжелом состоянии. В кабине обнаружено около двух десятков чистых наградных листов с печатями и подписью майора Князева. Все они сильно измяты, залиты маслом и пришли в негодность. Есть основание предположить, что водитель превысил скорость и не справился с управлением автомобиля. Опись остального имущества — разбитые часы, перочинный нож и т.д. — прилагается.

Старший подвижного патруля на маршруте № 6

прапорщик Овчинников

5 февраля 1989 г.»

Борис Воробьев

ПРИБОЙ У КОТОМАРИ

Повесть

Пролог

4

евять человек.

Шестеро — в кубрике, где нельзя по-настоящему разогнуться, двое — в машинном отделении за переборкой, девятый — в рубке наверху.

Но трое последних недолго останутся с нами. Они лишь высадят шестерых на темный и мокрый берег и уведут судно обратно.

Это случится позднее: пока же эти трое заняты своими делами и своими мыслями.

И тот, что находится в рубке, и двое других, в машине, думают сразу о многих вещах:

о течении, которое все время сносит судно с курса;

о минах в черной воде;

о приливе, который независимо от твоего желания начнется ровно через три часа и к которому нужно успеть, потому что только с ним и возможно подойти к берегу;

о пушках и пулеметах на берегу, которые при малейшей оплошности разнесут судно в щепки.

Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе этих троих. Может быть, один из тысячи взрывов, прокатившихся в ту ночь над Великим океаном, был взрывом под днищем их судна; может быть, им удалось возвратиться домой.

Теперь о шестерых.

Они молоды и полны сил. Старшему из них тридцать, младшему — двадцать три. Шесть мужчин: старший лейтенант Сергей Баландин, главный старшина Влас Шергин, старшина первой статьи Федор Калинушкин, сержант Владимир Одинцов, старший матрос Иван Рында, матрос Мунко Лапцуй.

Запомним их, ибо они окончили свой путь. И ни земля, ни море не сохранили их могил.

Мы расскажем о них все, что знаем.

1

— В кубрике!

Металлический голос прозвучал над самым ухом. Разморенный духотой, Баландин не сразу сообразил, что призыв обращен к ним. Чтобы осмыслить это, ему понадобилась целая секунда. Неразборчивое бормотание в переговорной трубе свидетельствовало о том, что наверху недовольны затянувшейся паузой и готовятся повторить вызов.

Баландин наклонился к раструбу.

— Есть в кубрике!

— Старшего в рубку!

Трап. Пять ступенек. Распахнутый прямоугольник двери был едва светлее душевой внутренности кубрика.

Крутая зыбь накатывалась из темного пространства океана. Волны с шипением обтекали пузатое тело бота, пробивали клюзы, обдавая водяной пылью палубу и окна наглухо задраенной рубки. Вдохнув соленого влажного ветра, Баландин открыл дверь.

В рубке, освещенной лишь светом приборов, горбился над штурвалом старшина бота.

Протяжно скрипели штуртросы.

Качка здесь ощущалась явственнее, чем внизу, и Баландину пришлось прислониться к стене.

Ничто не выматывает нервы так, как неизвестность. И ничто не тянется так убийственно долго, как ожидание. Самый сильный человек в таком положении рано или поздно начинает испытывать то состояние усталости и внутреннего распада, когда не помотают ни курице, ни попытки отвлечься от тревожных мыслей, ни разговоры вслух с самим собой.

Уже несколько часов бот шел к невидимому в ночи берегу, и в рубке старшина в тысячный раз глядел на хронометр. Роковая медлительность стрелок могла свести с ума хоть кого. Поэтому каждый раз, глянув на хронометр, старшина стискивал зубы и, как от врага, отводил ненавидящий взгляд от медного, холодно светящегося круга.

Старшина устал. У него сводило руки и ноги, ныла натруженная поясница, звенело в голове. Минуты слабости, когда хотелось нагнуться к переговорной трубе и вызвать помощника, наступали все чаще. По старшина пересиливал себя. Повисая временами на штурвале, он упорно вел бот к той условной точке в океане, координаты которой были известны только ему.

— Зыбь, — не оборачиваясь, проговорил старшина. — Хуже нет этой зыби.

Баландин молчал, вглядываясь из-за плеча старшины в черные рубочные окна. Он понимал старшину: его ответственность, его раздраженность и усталость, его одиночество в этой тесной и низкой рубке, где, советуясь только с самим собой, старшина принимает решения и сам выполняет их; его напряжение в единоборстве с ночным океаном, когда на сотни миль вокруг нет ни створных огней, ни заранее отмеченных фарватеров, когда каждый звук за бортом кажется подозрительным и вызывает стеснение в груди. Но Баландин также знал, что старшина позвал его сюда не для того, чтобы жаловаться на трудности, и ждал, когда тот наконец заговорит.

— Слышь, старлей? — Старшина снял одну руку со штурвала к извлек откуда-то сложенную вчетверо карту. Поднес ее к сиявшему мертвенным светом нактоузу. — Смотри. В точку мы не поспеваем. Сносит, как котят. Но можно сделать финт ушами. Вот эту отметку видишь? Ноль

целых хрен десятых? Камни. Перепрыгнуть мы их сейчас не перепрыгнем. Но, — старшина вернул на курс рискнувший бот, — скоро пойдет вода, и тогда чем черт не шутит. Перескочим — наше дело в шляпе. Попробуем, старлей, а?

— А что не успеваем — точно?

— Как в аптеке! Течение. И ветер в морду.

«Так, — подумал Баландин, — только этого не хватало: не успеваем! Это значит, что надо либо срочно возвращаться, либо решаться на предложение старшины. Впрочем, возвращение невозможно: они все равно не успеют убраться до рассвета, и их расстреляет любой корабль. Стало быть, придется рисковать. А велик ли риск? Велик. Если бот сядет на камни, утром их выловят из воды, как зайцев в половодье. Хотя... Сколько от камней до берега? Не больше двух миль. От силы — две с половиной. Добраться на шлюпке раз плюнуть. Но бот! Японцы вмиг учуют, откуда дует ветер, и поднимут трам-тарарам. Тогда заказывай деревянные бушлаты. А если проскочим? И почему бы не проскочить, в конце концов! Боту нужно всею полметра под киль. Будет полметра. Приливы здесь большие, не то что на Балтике. Только бы старшина не подкачал. Не должен. Старморпач [2] за него как за себя ручался...»



— Когда будем у камней?

— Часа через два, — ответил старшина, понимая, что его предложение принято, и проникаясь симпатией к стоявшему рядом разведчику, за скромной внешностью которого угадывалось спокойствие видавшего виды человека. — Через два часа дошлепаем, старлей.

— Может, сменить? — предложил Баландин. — Отдохнешь пока.

— Спасибо, старлей. Только я штурвал, как и жену, в чужие руки не отдаю. Не обижайся. Иди лучше сам покемарь, я в случае чего звякну.

Он отвернулся от Баландина и стал переключать штурвал, выводя нос бота на новый курс. Баландин спустился в кубрик.

— Что там, командир? — это спрашивал Федор Калинушкин.

— Не успеваем. Пойдем напрямую.

— Прямо даже галки не летают, командир.

Баландин сел на старое место. Он понимал, что разведчики ждут от него более конкретных объяснений, и коротко пересказал им содержание разговора в рубке. Разведчики выслушали его молча. Со стороны могло показаться, что они не оценили серьезности положения, но Баландин хорошо знал истинную причину такой сдержанности. Люди, чьи силуэты едва угадывались в темноте кубрика, столько раз за свою жизнь бывали в различных переделках, что уже давно приучились сдерживать эмоции. Но каждый из них — и это Баландин тоже впал — в глубине души сейчас по-своему переживал его слова.

Однако молчание длилось недолго. Из угла снова послышался хрипловатый голос неугомонного Калинушкина, который пытался вызвать на разговор сидевшего рядом Лапцуй.

— Мунко, а почему ненцев самоедами звали?

— Дураки звали.

— Так уж и дураки?

Лапцуй не отвечает. Но от Калинушкина отделаться нелегко.

— А жен у тебя сколько было?

— Одна жена, сколько.

— Одна? — недоверчиво переспрашивает Калинушкин. — А ты любил свою жену, Мунко?

— Ну, любил.

— А бил тогда зачем? Помнишь, рассказывал? — в голосе Калинушкина слышится торжество человека, уличившего ближнего в смертном грехе.

— Надо было, и бил...

Против такого аргумента возразить нечего, и Калинушкин умолкает, погрузившись в

философию чужой мысли.

«Отбери ребят поотчаянней, — вспомнились Баландину слова начальника разведки. — Чтоб не моргнув в огонь и в воду. Не к теще идешь — к черту на рога...»

Новый человек начальник разведки, потому так и говорит. Отчаянных во взводе нет. На отчаянных воду возят. А у него североморцы. Матросы. Всю войну на Севере отгрохали, на скалах Мурмана. Немецких горных егерей вокруг пальца обводили. А уж те — дай бог каждому — вояки были... Пришлось попотеть, когда отбирал. Взвод — двадцать пять человек, ребята один к одному. И самолюбие у всех. Но отобрал. Асы высшей квалификации.

Баландин довольно улыбнулся, представив себе лица тех, кто вместе с ним томился сейчас в духоте и тесноте кубрика.

Ближе других к Баландину сидел главный старшина Влас Шергин. Этот человек с лицом гладиатора занимал в душе старшего лейтенанта особое место. Больше того — они были друзьями. Четыре года назад, в самом начале войны, Шергин спас Баландина, когда тот, раненный, барахтался в воде рядом с торпедированным кораблем. С той поры ничто не разлучало их.

Родом из поморского села, Шергин из тридцати лет своей жизни почти двадцать провел на море. Он мог бы рассказать о многом. О том, как десяти лет от роду нанимался покрутчиком [3] к деревенским богатеям. Как ходил за тюленями на промысловой шхуне. Как тонул, смытый за борт штормовой волной. Как один зимовал на острове, питаюсь водорослями и ракушками. Моро калечило и мордовало его, но он не расставался с ним и любил, как однолюб любит женщину. На флот Шергина призвали перед войной. Отслужив два года на крейсере, он был переведен боцманом на «морской охотник», где Баландин был помощником командира.

Почти двухметровый, спокойный и уравновешенный, Шергин обладал мощью и подвижностью медведя. В разведотряде он сдружился с Калинушкиным. Они прекрасно дополняли друг друга, и достоинства каждого из них были лучшей гарантией против всяких неудач.

Под стать Шергину был и Калинушкин, закадычный друг боцмана и неременный соучастник во всех его делах. Баландин любил этого дерзкого, насмешливого и удачливого парня. Сын керченского биндюжника, Калинушкин унаследовал от отца его хватку, его удаль, размах и склонность к горлопанству, которым славятся представители этой отмирающей профессии и которое, кстати говоря, не имеет ничего общего с тем, что называется «подрать горло» или «почесать язык». Горлопанство биндюжников — это знак принадлежности к беспокойному и предприимчивому цеху людей, привыкших надеяться па себя, на свою находчивость во всех случаях жизни, умеющих показать товар лицом, не лезущих за словом в карман, а всегда держащих его, как и кнут, наготове. Это качество приобретенное такое же, как угрюмость палача, общительность коробейника или словоохотливость комедианта. Но комедиантом или палачом, равно как и биндюжником, может стать не каждый, поэтому словоохотливость первого, угрюмость второго и горлопанство третьего так или иначе отражают свойство этих натур.

Такого же рода было и горлопанство Калинушкина. Он был трибуном по рождению, демагогом в лучшем значении этого слова, и страсти кипели в нем, словно смола в котлах для грешников. Изливалась эта смола частенько, однако ни врагов, ни недоброжелателей Федор не нашл. Искренность его слов и поступков не оставляли у людей места для изменных чувств. Флот Калинушкин любил самозабвенно и был одним из лучших дальномерщиков эскадры. Начальство ценило его, но «фитилями» не обходило, ибо часто обнаруживалось, что ленты

бескозырки у Калинушкина намного длиннее уставных, что из самой бескозырки изъята пружина и бескозырка напоминает скорее блин, чем форменный головной убор, что брюки у Федора шире допустимого. За все это полагалось наказание, и Федора наказывали. Но, увы, его пристрастия оставались незабываемыми: появляясь под розовыми свечами цветущих каштанов Петровского парка, он, как и прежде, шокировал патрулей и длиной лент на бескозырке, и шириной брюк.

На флоте, а затем в разведке Калинушкин был своего рода знаменитостью. Бессменный чемпион по боксу, он поражал всех феноменальной реакцией. Про него ходили легенды. Рассказывали, например, что он потехи ради ловил ртом летящих бабочек. Было это правдой или вымыслом, Баландин не знал, зато он не раз становился свидетелем того, как именно реакция выручала Калинушкина из самых отчаянных положений. Он всегда ухитрялся сделать необходимое на секунду раньше противника. Среди разведчиков не было равных Калинушкину по части добывания «языков». Как и Шергин, Калинушкин был одним из тех, с кем Баландин встретил войну и с кем не расставался все эти трудные и жестокие годы.

Впрочем, не уступал Калинушкину в популярности и Мунко Лапцуй, ненец из ямальской тундры. Его присутствие в группе избавляло разведчиков от всяких случайностей и неожиданностей. Мунко был глаза и уши группы, ее недремлющей первобытной душой. С неизменной трубочкой в зубах и ремненным арканом у пояса, он появлялся и исчезал, как тень. Оленевод и охотник, он был сыном своего племени; мог сутками не есть, с терпеливостью стойка переносил холод и жару, не знал усталости. Он жил, казалось, как и все люди, но на самом деле у него не было своей жизни. Дитя природы, он жил ее жизнью, как олень в тундре, рыба в озерах, птицы в небе. В его раскосых непроницаемых глазах покоилось равнодушие татарского властителя, а ленивая медлительность тела заставляла думать о медлительности мысли и души. То и другое было обманчивым. Глаза Мунко видели и подмечали все, а его сухое тело могло в любой момент сократиться с упругостью и стремительностью тетивы. Лишь один недостаток числился за ним: нарушая неписанный закон разведчиков, он ни за что на свете не соглашался расстаться с трубкой и курил ее, казалось, днем и ночью. Ни уговоры, ни угрозы начальства отчислить Мунко из разведки на него не действовали. В конце концов на ненца махнули рукой, прикрывшись для видимости тем, что Мунко-де пользуется не спичками, а кресалом. Все понимали, что разница между ними небольшая, но даже у самых ярых гонителей не достало духу лишить разведотряд его знаменитого следопыта.

Четвертым в списке стоял Иван Рында, самый молодой и внушающий Баландину некоторые опасения. Нет, Баландин не сомневался в Рынде как в разведчике, иначе он не включил бы его в группу; его опасения были иного свойства. Баландина давно настораживали замкнутость Рынды и его неистовость в бою.

Тихий и ничем не выделяющийся в обычных условиях, он преображался в предвкушении любого риска, любого рейда в тыл, становился нетерпеливым и жестким. Его смелости и дерзости удивлялись даже старые разведчики. Но бесполезно было приказывать Рынде привести «языка». Вид живых немцев был для него невыносим. Он умерщвлял их при каждом удобном случае. Баландин знал, что у этого белорусского парня была в жизни трагедия: на глазах Ивана немцы зверски убили его мать и сестру. Это и ожесточило Рынду, и он при каждом удобном случае пускался на такие рискованные дела, которые не могли быть оправданы ни обстановкой, ни человеческой логикой. Когда же не ходил в разведку, Рында или отсыпался, или коротал время в одиночестве.

Баландин не сомневался, что Рында вызовется добровольцем. И не ошибся. Однако сначала не хотел зачислять его в группу. Но, взвесив все, переменял решение. Рында был первоклассным

сапером и подрывником, и это обстоятельство перетянуло чашу весов на его сторону.

Как бы там ни было, а в предстоящей операции Рынде отводилась определенная роль, и Баландин был уверен, что разведчик справится с пей великолепно.

Пятым был радист, и, думая о нем, Баландин вспомнил те события, которые предшествовали появлению этого человека в разведывае.

Все началось два дня назад.

— Садись, старший лейтенант, и вникай, — сказал начальник разведки, когда, поднятый среди ночи, Баландин прибыл в штаб. Он пододвинул ближе карту. — Обстановка, скажу я тебе, пиковая. Нехорошая обстановка. Сегодня получена шифровка: флот готовит десант на острова. Куда будет направлен первый удар, думаю, тебе понятно. Сюда. — Начальник разведки ткнул обкуренным пальцем в то место на карте, где красные стрелы, как клещи, обхватывали зелено-коричневое пятно. — Островок, чтоб его приподняло да шлепнуло! Змей Горыныч, а не островок. Как они его брать собираются — ума не приложу. Каждый метр пристрелян. Но это не наше с тобой дело. У нас, старлей, загвоздка похлеще. Видишь ли, десант может высадиться только в одном месте — на юге. Здесь подходящие глубины, и ДБ [4] подойдут прямо к берегу. Но именно здесь и торчит этот чирей!

— Какой чирей? — хмуро спросил Баландин. Он никак не мог согреться со сна, хотя ночь была теплая. Чтобы как-нибудь унять дрожь, он закурил огромную самокрутку.

— Танкер! Не слышал разве?

— Нет, — признался Баландин.

— Э-э, брат, ты счастливчик, на готовенькое прибыл. А я знаешь сколько порток здесь протер? Роту одеть можно было! И всю эту азиатчину насквозь знаю. Народ, я тебе скажу! Так слушай. Вот тут, милях в трех от берега, сидит на рифах наш танкер. Наш, понимаешь? История эта старая, довоенная и до конца не выясненная, но одно установлено точно: судно вылезло на камни не по своей вине. Японцы специально переставили навигационные знаки, что и привело к аварии. Ну, команду, естественно, интернировали, а на танкере какая-то умная японская голова догадалась поставить пушки. Ничего номер, а? Батарея, вынесенная в море. Форт. И скажу тебе: он нам всю картину вот как портит! Вникни: не сегодня завтра корабли повезут десант, а тут этот дредноут как кость в горле.

— Задача, — сказал Баландин.

— Задача! Короче, нам приказано уничтожить пушки. Комфлота крепко надеется на пас.

— Задача, — повторил Баландин.

— Можно было бы использовать авиацию, и такие предложения были, но вся закавыка в том, что танкер находится в зоне действия береговых зенитных батарей, А их там понатыкано что поганок в лесу. Самолеты где взлетят, там и садут. В общем, старлей, ты назначен командиром группы. Бери, кого хочешь, но пушки уничтожь. Ясно? И еще. По сведениям, на острове базируются гидросамолеты. Не тебе объяснять, какую опасность они представляют для десанта. Надо разыскать их и... — Начальник разведки рубанул рукой воздух.

— А где они, эти самолеты?

— Точно не установлено. Но если покумекать, догадаться можно. На острове три озера. Вот, вот и вот. Два, как видишь, так себе, лужи, а третье перспективное. Большое, а самое главное — вытянуто как по заказу. Факт?! И немаловажный, если учесть, что для разбега гидросамолету нужно не меньше километра. А теперь прикинь и сделай выводы. Здесь они, субчики, больше деваться им некуда!

— Когда планируется выход?

— Завтра в ночь. Срок, конечно, жесткий, но больше нам не дают. Положение на фронте крайне напряженное. Наши войска в Хингане испытывают невероятные трудности. Нет воды. Технику приходится тащить на руках. Но армия продолжает наступление, и флот не вправо тормозит его. — Начальник разведки посмотрел на часы: — Сейчас три сорок, и мы дадим людям доспать, но не позже полудня состав группы должен быть определен. Врать не буду: операция, прямо скажем, смертельная, поэтому пойдут только добровольцы. Пять-шесть человек, включая тебя. Людей ты знаешь, тебе и карты в руки. Отбери ребят поотчаянней. Не беспокойся лишь о радисте. Радиста тебе дают из штаба.

— Я благодарю начальство за заботу, — сказал Баландин, — но радист имеется. Классный. Проверенный и перепроверенный. И заменять его я не собираюсь.

— Не горячись, старлей. Горячность в нашем деле хуже чесотки. Ты куда идешь? В тыл. К японцам идешь, дурья твоя голова. А что ты знаешь по-японски, кроме «банзай»? Ничего не знаешь. И радист твой перепроверенный ничего не знает. Может, «языка» придется брать — что бы с ним делать будете? Кукарекать? А мы тебе спеца даем. Мало того, что ключом как дятел стучит, еще и японский знает. А насчет «проверенный» или «непроверенный» можешь не сомневаться. Плохого не дадим.

Возразить было нечего. Да и незачем. Все возражения разбивались об один-единственный аргумент: из разведчиков действительно никто не знал японского. Но эта простая мысль даже не пришла Баландину в голову. Действуя в силу инерции, он ни на миг не задумался о том, что перед ними новый противник. Не немцы.

— Ладно, — сказал начальник разведки, наблюдавший всю гамму владевших Баландиным чувств, — вижу: понял. Тогда давай дальше. Высаживать вас придется с мотобота. Лучше бы с подлодки, но в тех условиях это дохлое дело. У острова сплошные банки [5] и почти восьмиметровая высота приливной волны. В проливах, кроме того, сильнейшие глубинные течения. Прет, как в трубу. Ну и мин они, конечно, набросали кругом. Так что лучше мотобота ничего не придумаешь. Осадка у него как у корыта, пройдет хоть по мелководью, хоть по минным полям. Ход, правда, маловат, но, как говорится, тише едешь — дальше будешь. Старшина бота предупрежден. Он, кстати, толковый мужик, так что в случае чего ты прислушивайся. Вот такие пироги, старлей... Есть вопросы?

— Два. Связь и возвращение.

— Связь будешь поддерживать на волне восемьдесят пять. Но особенно не вылезай, засекут как миленького. Ну а снимать — снимем. Бот будет ждать вас через сутки от нуля до четырех вот у этого мыска. Но четыре — это крайний срок. Нужно управиться пораньше. Здесь хоть и недалеко, но если вас обнаружат — пиши пропало. Пойдете на дно и «мама» сказать не успеете. Что еще?

— Все ясно, — ответил Баландин, хотя в тот момент еще не представлял, как можно одним наскоком уничтожить и самолеты, и пушки.

— Тогда иди поспи, если можешь, а к тринадцати ноль-ноль чтоб как штык. Со всеми гавриками. И с планом. Тут у меня кое-какие соображения имеются, но и ты подумай. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Перед выходом все обмозгуем вместе.

Спать, конечно, Баландин не лег. Не до сна было. Сидел над картой, смолил сигарку за сигаркой, думал, прикидывал. В конце концов решил: действовать двумя группами. Одна взрывает пушки, другая тем временем разыскивает и уничтожает самолеты. В ходе операции, естественно, могли возникнуть неожиданности и осложнения, но здесь Баландин целиком и полностью полагался на тех, кто следующей ночью вместе с ним отправится в поиск. Досадовал же командир разведчиков лишь на то, что им не удастся «проиграть» операцию. Нет времени. И тут ничего не попишешь: если на все дают только сутки — значит, действительно припекло...

Утром Баландин построил взвод. Сказал, что надо. Вызвались чуть ли не все. А кто не вызвался, на тех косо не смотрели. Тут дело такое — добровольное. Трудно было отбирать. Но отобрал. А на радиста глаза поднять боялся, хоть и понимал: ничего тут не поделаешь. И оттого родилась в душе неприязнь к человеку, которого не знал и не видел, и когда тот пришел, Баландин встретил его хмуро и недоверчиво.

Новый радист был низкоросл. Защитная вылинявшая форма сидела на нем мешковато и нескладно, словно под ней было не живое человеческое тело, а муляж. Мятые погоны с засаленными лычками топорщились на плечах радиста как ненужные принадлежности, что вызвало особое недовольство Баландина.

«Куда с таким в тыл?! — раздраженно подумал он. — Нянчійся с ним там...»

Сгоряча Баландин решил немедленно отправиться в штаб и со всей решимостью воспротивиться такому назначению, но вовремя одумался. Тем временем новенький снял с плеч ящик с рацией, аккуратно поставил его рядом с тумбочкой дневального и вскинул руку к пилотке:

— Товарищ старший лейтенант! Сержант Одинцов явился в ваше распоряжение!

— Явился не запылится, — насмешливо откликнулся со своей копки наблюдавший за сценой Калинушкин. — Обмотки-то куда дел, пехота?

— Отставить, старшина! — оборвал Калинушкина Баландин. При всей несимпатии, возникшей у него к новому радисту, он не мог позволить, чтобы так, во всеуслышание, подрывали авторитет армии. К тому же Баландину неожиданно понравилась реакция сержанта на слова задиристого разведчика. Собственно, реакции никакой и не было. Сержант словно бы не расслышал реплики, и эта невозмутимость могла быть отражением некоторых особенностей его характера.

«А он не так уж и прост, — подумал Баландин, чувствуя, как помаленьку улетучивается его неприязнь. — Во всяком случае, на пустой крючок не клюнул».

— Располагайтесь, сержант, — сказал он. — Коек много, можете выбирать любую. Полчаса вам на все устройство, а потом поговорим о делах.

— Слушаюсь! — ответил радист и, подцепив с пола рацию, направился к дальней койке.

— Единоличничек, — тотчас же прокомментировал его действия Калинушкин. — Кулак

тамбовский.

Баландин усмехнулся. Он знал, что Калинушкин не питает к радисту никаких определенных чувств, а ворчит в силу врожденной привычки. Правда, он знал и другое: Калинушкина задело такое откровенное невнимание к его персоне, и теперь старшина будет при всяком удобном случае приставать к новичку. Но, судя по всему, удовлетворения не получит.

Через час Баландин знал о радисте все. Самое смешное заключалось в том, что Одинцов действительно оказался тамбовским. И хотя в Тамбове он только родился, а всю жизнь прожил на Дальнем Востоке, совпадение было настолько поразительным, что Баландин засомневался: не пронюхал ли Калинушкин каким-то образом о некоторых подробностях биографии радиста? Но этого не могло быть, и Баландину оставалось только удивляться всегдашней удачливости пронырливого старшины.

Как бы там ни было, а свое открытие Баландин сохранил в тайне. Ибо, узнай о нем Калинушкин, кто знает, куда бы завела его непомерная гордыня...

Беседа с радистом успокоила Баландина. Одинцов оказался тертым калачом: воевал, прыгал в тыл с парашютом, имел награды. Настораживало Баландина лишь одно: по его мнению, Одинцов слишком восторженно отзывался о японцах и Японии. Конечно, сержанта можно было понять. Недоучившийся студент-японист, он радовался возможности увидеть кое-что своими глазами. Но понимал ли он всю сложность и ответственность операции?

В этом Баландин но был убежден, и, думая сейчас о радисте, он испытывал чувство некоторой неуверенности, которое не возникало у него, когда он думал об остальных...

2

Шорох. Как будто кто-то вкрадчивый и осторожный снаружи поскребся в борт. Так терлась шуга в Баренцевом море. Но так же скреблись о корпус подводной лодки минрепы, когда осенью сорок третьего группу высаживали в Бек-фиорде.

Баландин подобрался. Легкое движение в кубрике подсказало ему, что остальные разведчики также оторвались от своих дум и прислушиваются к донесшемуся звуку. Камни? Топляк? Или, быть может, мина, и следующее прикосновение будет смертельным?

И снова шорох. И вслед за тем частые подрагивания корпуса. И скрежет уже под днищем, словно бот тащит по песку. Рифы. Стало быть, они уже у камней, и старшина лавирует среди них в кромешной тьме, полагаясь на нюх и везение. А им пока что остается ждать. Надеяться и ждать.

— Надеть пояса, — приказал Баландин.

Он подумал, что надо бы подняться в рубку и хотя бы своим присутствием помочь старшине, но сразу же отказался от своего намерения, вспомнив недавний разговор со старшиной и его упорное нежелание кому бы то ни было доверить руль. Этот человек был из тех, кто в минуты опасности надеется только на себя. И предлагать ему помощь — значит мешать.

Скрежет под ногами нарастал. Удары в корпус участились, потом бот содрогнулся и, покачиваясь, как будто завис на невидимом балансира, в следующую минуту соскользнул с него. Снова наступила тишина. Баландин понял, что они перескочили рифы. Теперь можно было идти в рубку.

— Полный марьяж, старлей! — встретил его старшина. — Готовь своих, на полчаса делов осталось. Вода хорошая, приткнусь прямо к берегу. Пять минут вам на все тары-бары. Мне еще назад столько же топать. Дай бог до света управиться. Не успею — прямым ходом в рай угожу.

Баландин посмотрел на хронометр.

«Полчаса. Значит, в ноль пятьдесят. Самая темень. В такую темень никуда не сунешься — напорешься на мину или еще на какую-нибудь хреновину. Придется часа два ждать на берегу. Пока не посветлеет... Плохо, что они не знают обстановку. Очень плохо. Хуже нет действовать вслепую. Чуть-чуть промахнешься — и все накроется...»

— Жарища, — проговорил старшина, — упарился, как мышь. — Он протянул руку и поднял смотровое стекло.

Гул океана заполнил рубку. Он казался однообразным лишь поначалу, в первые минуты; потом стали различимы по отдельности все шумы огромного океанского тела: тяжелые всплески волн, протяжные вздохи, прерываемые каким-то бульканьем и шипеньем, словно по соседству с ботом выпускали пары паровозы, далекие, похожие на орудийную канонаду раскаты.

— Повезло с погодой, — опять сказал старшина. — Кабы посильнее ветер — ни в жисть не подойти. Однако пора, старлей, берег скоро. Вон наверху темнеет, видишь? Скалы, должно.

Баландин нагнулся к стеклу.

Впереди была темнота, но, присмотревшись, он различил в ней еще более плотные очертания. Это действительно могли быть скалы.

— Наката не слышно, — сказал он.

— Ветер в задницу, — ответил старшина. — Относит. Иди, старлей, не сомневайся. Берег, я тебе говорю!

Баландин спустился в кубрик.

— Смекаю, что приехали, командир? — поинтересовался Калинушкин.

— Правильно смекаешь. Быстро, ребята! Разбирай каждый свое — и наверх. Не торопись, сержант, — сказал он, видя, что Одинцов порывается протиснуться вперед. — Сначала мы.

— Бережете? — с ехидством спросил Одинцов.

— Не тебя, дурья голова. Рацию, — ответил откуда-то из темноты Калинушкин. Даже сейчас он оставался верен себе — был насмешлив и беспечен.

Берег надвинулся, как зверь Апокалипсиса, — неотвратимый, бесформенный, безгласный.

Сгрудившись у рубки, разведчики напряженно всматривались в него. Пока все шло без сучка без задоринки, но кто мог знать, что делается там, в темноте? Может быть, именно сейчас разворачиваются в их сторону стволы пулеметов и пушек, и чьи-то руки уже легли на гашетки и замки. А может, как не раз бывало, матово засветится над головой шар ракеты, раскромяет темень, и берег оживет от мертвой тиши и ударит в лицо огнем и громом.,

Стали видны буруны. Теперь только двухсотметровая полоса прибоя отделяла их от цели Бот

подбросило, швырнуло вниз, закрутило. Но старшина был начеку и не дал развернуть судно. С шипением разбрасывая волны, оно приближалось к берегу.

Толчок, клочотание воды за кормой, свистящий шепот из рубки:

— Пошел, ребята!..

Бесшумный прыжок Шергина, мгновенное раздумье Мунко. И снова шепот:

— Удачи тебе, старлей!..

Захлебывающиеся выхлопы дизеля, запах перегоревшего соляра. Медленно и неуклюже, словно рептилия, бот сполз в море, и ночь поглотила его.

Шестеро остались на берегу.

3

На рассвете пошел дождь. Мелкий и частый, будто его просеяли сквозь сито. Он падал невесомо, с монотонным шуршанием, покрывая лица и одежду серебристо-тусклой холодной пылью. Завернувшись в маскхалаты, разведчики сидели среди валунов, сами похожие на камни своей неподвижностью. В сумраке полурассвета серели лица с темными впадинами закрытых глаз.

Часы показывали три. Надо было уходить с берега. Баландин подкрутил завод часов и тронул за плечо сидевшего рядом Шергина. Тот сразу открыл глаза, секунду смотрел на Баландина, потом неуловимым движением перекинул к нему свое могучее, свитое из одних мышц тело.

— Пора, Влас. Поднимай ребят.

— Они не спят, командир.

— Взрывчатка не отсыреет? Дождь, кажется, зарядил на весь день.

— Все в норме. Своими руками увязывал.

— Тогда двинулись. А то валяемся, как котики на лежбище, подходи и бей палкой.

— Местечко невеселое, что и говорить.

Это было опасно — пересекать открытый, просматриваемый со всех сторон пляж, заваленный камнями и плавником. Ног л срывались с ослизлых бревен и обкатанных водой голышей, и разведчики продвигались медленно, часто останавливаясь, прислушиваясь и приглядываясь к застойной рассветной тишине. Неясное движение мнилось в густой тени нависших над головой скал; валуны казались фигурами людей. Невдалеке маячил темный обрывистый берег, и они спешили к нему, чтобы укрыться в его лощинах и гребнях.

Пляж кончился; глазам предстала узкая, идеально ровная, как нейтральная полоса на границе, песчаная лента — верхний урез воды, на котором не росло ни былинки. Любой предмет па песке отпечатывался словно на фотографии. Один за другим, гуськом, они перешли полосу, а потом тщательно заровняли песок.

Обрыв был рядом — гигантский срез, на котором видны были напластования и птичьи норы,

источившие серо-коричневый твердый грунт. Наверху обрыва плотной стеной стояла мокрая от дождя трава. По болотистому непропуску они поднялись на обрыв. И остановились: в пяти шагах из травы высовывалась ржавая сеть колючего заграждения.

— Физкультпривет! — сказал Калинушкин.

Картина была знакомая. Такая проволока опоясывала весь земной шар, и было бы чудом не встретить ее здесь. Они молча разглядывали проволоку. По виду безобидная, напоминавшая засохшие стебли дикой розы, она наверняка таила в себе разного рода сюрпризы. Задень ненароком один из шипов — и где-нибудь в километре отсюда зазвенит звонок. А может обойтись и без звонка: сработает замаскированная ловушка, и от человека останутся воспоминания. По части таких ловушек великими мастерами были прмцы.

— Понакрутили, в гробу я их видел, — с расстановкой сказал Рында.

— А ты думал, парадный трап тебе вывалят? — усмехнулся Калинушкин.

— Полундра! — остановил их Шергин. — А ну сбавь обороты!

— Давай, Ваня, — сказал Баландин.

Он не стал торопить Рынду и напоминать ему о том, что скоро совсем рассветет и тогда их могут заметить, — разведчик знал это и без него. Развязав мешок, он уже доставал из него штангу миноискателя. Состыковав трети, Рында подсоединил к штанге рамку, надел наушники. Затем повернулся к товарищам, махнул рукой.

— Ложись! — приказал Баландин.

Теперь все зависело от Рынды, от его умения и осторожности. Все, вся операция. И, следя за тем, как он приближается к проволоке, Баландин страстно желал, чтобы слепая судьба на этот раз прозрела.

Минуты шли. Светлело все заметной. Мир обретал привычную форму: трава перестала казаться лесом, а камни па берегу — людьми. Где-то пискнула пичуга, ей отозвалась другая. Потом они с порханием вырвались откуда-то и, едва различимые, закачались на упругом стебле. Из травы послышался характерный хруст — Рында резал проволоку. Пичуги вздернули хвосты, но не улетали. Неожиданно для себя Баландин загадал: если он просчитает до десяти и пташки не упорхнут — все будет хорошо Он начал считать не торопясь, стараясь быть честным. Хруст не смолкал, пичуги тревожно крутили головами. Заканчивая счет, Баландин для верности выдержал паузу, но птички продолжали раскачиваться на стебле. И когда они все-таки улетели, он проводил их благодарным взглядом, словно удача и в самом деле зависела от каприза этих пернатых существ.

Хруст прекратился — видно, Рында уже сделал проход и теперь шарил миноискателем на той стороне заграждений.

«Еще пятнадцать минут, — думал Баландин. — Если через пятнадцать минут Иван не закончит, мы влипли. Будет светло, как днем. Нас запеленгуют с любой сопки. Правда, дождь расходуется и работает на нас, но все равно надо закончить через пятнадцать минут. Потому что за «колючкой» — как пить дать траншеи. А их при свете не проскочишь...»

Подполз Рында. Он был перемазан землей, как проходчик.

— Готово, командир...

Через десять минут они лежали в ложинке за проволокой. Пелена дождя застилала все вокруг, и это радовало Баландина: у них появились шансы проскочить траншеи с ходу. Но сначала требовалось выяснить, где они и как охраняются.

— Мунко! — позвал он.

Ненец подполз, проворный как ящерица.

— Траншеи, — сказал Баландин.

Скуластое, темное лицо Мунко ничего не выразило. Он скинул со спины мешок и тенью скользнул в траву. Она сомкнулась за ним, как вода за ныряльщиком.

И снова ожидание — тягостное и мучительное, когда можно лишь гадать, чем обернутся события. Впрочем, предпосылки для оптимизма имелись. И довольно весомые. Во-первых, думал Баландин, японцы вряд ли серьезно относятся к мысли о заброске кого бы то ни было на остров. Скорее всего, такая возможность кажется им невероятной. Они слишком уверены в своей недосыгаемости, чтобы думать о диверсантах. Военное нападение, десант, налет авиации наконец — это куда ни шло. Но только не диверсанты. Однако война идет, и с этим нужно считаться. Готовность, конечно, повышенная, иначе и быть не может. Во-вторых, погода. В такую слякоть никому не хочется лишний раз высовываться наружу. Тем более сидеть в окопах. Часовые? Часовые, разумеется, стоят. Но часовые были и у немцев... В-третьих, Мунко. Здесь почти стопроцентная гарантия. Ненец — прирожденный пластун и следопыт. Если понадобится, пролезет в игольное ушко. Правда, от случайностей никто не застрахован, но шансов на то, чтобы остаться незамеченным, у Мунко больше.

Словом, тактическая обстановка Баландина обнадеживала. Зато отдаленные перспективы представлялись ему скрытыми мраком неизвестности. Танкер, самолеты... Ладно, танкер — на худой конец им известно, где он. А самолеты? Их еще надо отыскать на острове и что-то сделать, чтобы они не взлетели. Что? Взорвать? Сжечь? Но разведчиков только шестеро. Двое, как минимум, займутся танкером. Радиста можно не считать, его дело рация. Значит, трое. Почти ничего, если учесть, что самолетов не один и не два. А в запасе всего лишь ночь. Одна ночь, потому что днем все равно ничего не сделаешь. Днем хорошо бы поспать. Хотя бы часа два. И поесть — сил им понадобится много.

Появился Мунко — бесшумно и внезапно, будто снял с головы шапку-невидимку.

— Что, Мунко? — нетерпеливо спросил Баландин.

— Траншеи. Две. Солдат нет. Был часовой.

— Был?! — Баландин невольно бросил взгляд на пояс ненца, на котором в кожаных ножнах висел нож. — Ты снял часового?!

Картина, которую он себе представил, была ужасна: убитый часовой, которого — прячь не прячь — обнаруживают, суматоха, разрезанная проволока, облава...

Глаза Мунко сузились еще больше.

— Дождь. Холодно. Часовой ушел, командир.

Раскаиваться было поздно. Холодок в голосе Мунко не оставлял сомнений: ненец обиделся. А кто бы не обиделся? Хорош командир: подумать, что такой опытный разведчик, как Мунко, мог убить часовую и подставить их под удар! Но и Мунко тоже хорош — бухнул так, словно дело уже сделано. Тут кто хочешь схватится за голову... Значит, часовой ушел... Неплохо, неплохо. Похоже, японцы и в самом деле не ждут гостей, если часовые разгуливают как хотят. Но радоваться рано. Часовой как ушел, так и придет — не станет же он до конца смены торчать в блиндаже. За такие дела по головке не гладят. Так что нужно считать, что часовой на месте, и не надеяться на сладкую жизнь.

Часовой действительно был на месте — они убедились в этом, едва разглядели траншею. Он стоял неподвижно, как пугало на огороде, и штык тускло поблескивал у него над головой. И хотя Баландин был готов к такому продолжению, в нем закипела злоба на часового.

«Черт бы тебя побрал, дурак прилежный, — с ненавистью думал он. — Выставился! Не мог еще пять минут посидеть в своем вшивом блиндаже!..»

Но часовому было ровным счетом наплевать на эти проклятия. Он стоял в прежней позе и даже не догадывался, что родился под счастливой звездой, ибо те, кто мог умертвить его в мгновение ока, больше всего на свете не хотели этого. Шепот Мунко почти слился с шелестом дождя:

— Там поворот, командир...

Путь до него показался шестерым вечностью. Траншея поворачивала почти под прямым углом, и за выступом они могли скрыться от часового.

Мунко первым спрыгнул на дно. Вытащив нож, он встал на повороте, прильнув к стенке траншеи, не сводя глаз с часового. Помогая друг другу, разведчики спускались в траншею. С обеих сторон в нее выходили двери блиндажей, и каждая из дверей могла в любой момент распахнуться.

Шергин еще оставался наверху, когда разведчики услышали тихий возглас Мунко:

— Командир!

Баландин одним прыжком встал рядом с ненцем, осторожно выглянул. Сердце заколотилось где-то у горла: часовой медленно шел по траншее, серо-зеленый и неясный, как призрак.

«Заметил? Нет, идет будто на прогулке. Надоело стоять на одном месте. Дойдет или остановится?..»

Часовой не останавливался. До него оставалось десять метров. Восемь. Пять. Сейчас он дойдет до угла и увидит... Нет, он ничего не увидит, потому что раньше умрет...

Мунко отвел руку с ножом, готовый метнуться и ударить. Но не метнулся, удивленно глядя на Одинцова, который вдруг шагнул вперед и, пошатываясь, пошел навстречу часовому.

— Томарэ! [6] — громко и испуганно сказал тот.

— Нани о донаттэ иру ка? [7] — ответил Одинцов. И Баландин не узнал его голоса.

— Тосиро, омаэ ка? [8]

— Кутабарэ! [9] — грубо сказал Одинцов. Согнувшись пополам, он уперся рукой в стенку, и разведчики услышали такой звук, будто заклокотала засорившаяся раковина. Что-то с громкими всплесками полилось на землю.

— Коно яро, мата нондэ кита на! [10] — брезгливо сказал часовой. — Соко ни кисама но као о цукондэ яритаи! [11] — Он повернулся и пошел назад.

Одинцова продолжало рвать. Его прямо-таки выворачивало. Ошеломленные разведчики стояли не дыша, и когда Одинцов вернулся к ним, ни у кого пошло слов.

— Скорее! — сказал радист, пряча за пазуху пустую фляжку. — Пока этот чистюля из вернулся.

Они помогли спуститься Шергину и быстро пошли в дальний конец траншеи, над которым нависал спасительный полог еще всю зеленой травы.

Они шли уже больше часа молча, ступая след в след, как лоси, идущие на водопой. Впереди Мунко, за ним остальные: Баландин, Одинцов, Рында, Калинушкин, Шергин. Последний — тяжеловесный и громадный, с резиновой надувной лодкой за плечами — и впрямь напоминал матерого лося-самца, замыкавшего строй, охранявшего его от всех превратностей и случайностей.

Новый день наступил, но солнце не смогло прорвать плотную завесу дождя и туч; его лучи преломлялись где-то в высоте и, отраженные, возвращались к своему светилу, так и не достигнув покрова земли, Ев озарив ее тайн, красот и бедствий.

Станный и чудесный мир расстилался вокруг, и они с удивлением и несмелой радостью, от которой давно отвыкли и которая, как упорный росток, пробивалась сейчас наружу, смотрели на этот мир: на траву выше их роста, блестящую от дождя и трепетавшую от каких-то тайных внутренних содрогания; на гигантские папоротники и хвощи, непривычные и чуждые глазу, будившие смутные воспоминания о миллионлетних бессловесных эпохах, о гадах в морях девона, в чьих неповоротливых мозгах уже созрела дерзостная мысль о переселении в иную юдоль; на невиданные цветы, тяжелые головки которых тускло мерцали под темными и влажными сводами стоявшей, как лес, травы.

В этом мире не было и не могло быть войны. Храмы не оскверняют, а это был храм тишины, спокойствия и высоких дум, и мысли каждого из шестерых возвращались к тому высокому, что было в их ждали и что не состоялось; что выражало ее средоточие и смысл; от чего пронзительной и светлой печалью занимались сердца и одухотворялись лица.

И каждый из шестерых старался подольше удержать в памяти дорогие картины, словно предчувствуя наступление той ночи, во тьме которой померкнут краски, растворятся звуки, исчезнут лика, образы — все...

Приноравливаясь к валкому, скользящему шагу Мунко, Баландин старался не сбиться с ритма и время от времени незаметно поглядывал на компас. Но всякий раз убеждался, что его опасения напрасны: Мунко вел отряд как по нитке. Способность ненца вслепую выдерживать маршрут вызывала изумление.

Вспоминая прошлое, возвращаясь к временам трехлетней позиционной войны на Севере, Баландин пытался припомнить хоть один случай, когда бы Мунко ошибся. Бессменный проводник разведчиков, ненец всегда оказывался на высоте. В пургу ли, в туман, которым так славится теплое Кольское побережье, летом и зимой Мунко находил дорогу, как находят ее

вожаки птичьих стай, и беспокойство Баландина было лишь данью опыту городского жителя, привыкшего на каждом шагу встречать стрелки и указатели. Всерьез же Баландин думал лишь об одном — об отдыхе.

Нагруженные взрывчаткой, продуктами и оружием, не спавшие уже больше суток, вымокшие и грязные, разведчики представляли невеселое зрелище. А основные события ждали их впереди, и вопрос об отдыхе, хотя бы кратковременном, становился насущной необходимостью.

Но пока Баландин откладывал его осуществление. Оглядывая открывавшуюся за очередным поворотом местность, он не находил мало-мальски пригодного угла, где бы можно было расположиться и со спокойным сердцем поспать. Он грезил о бастионе, о неприступной Бастилии, а кругом была только трава. Высокая, густая, годившаяся разве только на силос. Поэтому, когда Мунко вдруг согнулся и полез куда-то вниз, Баландин понял, что им в конце концов повезло.

Он не ошибся.

Глубокая и узкая котловина — классический среднерусский овраг, по глинистым склонам которого журчали ручьи, — тянулся на добрую сотню метров. Все та же трава росла на дне котловины, но не это было главным. Бастионы существовали! Ибо только так можно было назвать высокую, вдававшуюся в овраг площадку, крутые бока которой напоминали своей монолитностью башню. Заросли корявого и прочного кустарника не хуже спиралей знаменитых МЗП [12] преграждали подступы к площадке. При случае здесь можно было задержать полк.

С трудом выдирая ноги из ветвей кустарника, они поднялись наверх и по краю оврага прошли на площадку. И теперь в полной мере оценили ее достоинства: открывавшийся с высоты обзор, идеальную скрытность и потенциальные возможности площадки как позиции.

— Шабаш! [13] — сказал Баландин.

И это знакомое любому моряку слово напомнило им многое: довоенный Кронштадт, могучие обводы стоящего на рейде «Марата», ряды шлюпок па воде, над планширами которых отлаженно и четко, как звенья коленчатого вала, мелькают обнаженные торсы гребцов, бешеный темп, кипенье воды под форштевнями, лес вскинутых на валёк вёсел, с которых в лицо летят брызги, толпы людей на набережные...

— Да-а, — протянул Калинушкин, стаскивая с плеч вещмешок, — была жизнь, командир... Эх, помню, в Петергофе!.. Придешь в парк, а там — мама родная! — ну все тебе: и раки, и воблушка, и лучшее в мире пиво под названием «бочковое». Сядешь за столик, а кругом фонтаны и девушки в белых платьях. Сидишь как у Христа за пазухой. Помнишь, Влас?

— Насчет Христа не знаю, а уж девушек ты ив пропускал! Тебя медом не корми — дай за коленочку подержаться, — засмеялся Шергин.

— Где уж нам, — скромно сказал Калинушкин — Мне бы вашу комплекцию, Влас Зосимович! А я что? Как говорил командир нашего славного «бобика»: семь лет на флоте и все на кливершкоте...

Хитрый разведчик явно приbedнялся. Он как раз не принадлежал к категории тех людей, относительно которых была сложена поговорка, но, как всякий везунчик, любил иногда поплакаться и повздыхать. Если же следовать истине, то многие женщины довоенного

Кронштадта так или иначе принимали участие в судьбе Калинушкина.

Знакомые у него имелись во всех сферах. Официантки бесплатно кормили его. В ларьках ему отпускали пиво в кредит. Медсестры в санчасти выписывали освобождения по любому случаю. И даже на гарнизонной гауптвахте уборщица снабжала его папиросами. Женщинам нравился отзывчивый и веселый нрав Калинушкина, и они тянулись к нему. Им казалось, что без их хлопот и ухаживаний Федор пропадет. Он но разубеждал их, принимая заботы как должное. Наверное, многие женщины любили его и мечтали прибрать к рукам, но от семейных уз Федор шарахался, как необъезженный жеребец от упряжи. Так он был создан. Постоянство тяготило его; женщины это чувствовали и прощали ему все измены и увлечения.

Лишь один раз Калинушкин чуть не влюбился. Она работала билетершей в горсаду, а ему как раз понадобились билеты на аттракцион. Он пришел в горсад с друзьями, они стояли позади и жаждали прокатиться на самолетах.

Деньги у Калинушкина были, но он хотел еще раз продемонстрировать друзьям свою неотразимость. И попросил билеты в кредит. Она отказала. Слова оправдания в данном случае никакой роли не играли: за единой стояли «кореша», которые могли стать свидетелями его поражения. Калинушкин не колебался ни секунды. Окошечко в кассе было узкое, а плечи у Федора — широкие. Он загородил ими кассу и, отстегнув часы, протянул их в окошко. Она посмотрела на него и вернула часы вместе с билетами. Вечером он провожал ее. Они шли по гулкой булыжной мостовой, и он вдохновенно рассказывал ей о пассатах и муссонах, о шквалах и альбатросах в грозовых тучах, о смуглолицых женщинах далеких южных морей. В подъезде он сделал попытку поцеловать ее, но она вырвалась и убежала.

Их роман длился ровно три недели. Дождаться воскресений у Калинушкина не хватало сил, и он ходил в «самоволку». За это полагалось двадцать суток ареста с содержанием на гауптвахте, но Федор рисковал не задумываясь.

Но однажды он встретил ее в парке с курсантом. Наверное, у нее ничего не было с тем парнем, но «измена» смертельно обидела Калинушкина. Он назвал курсанта салагой и толкнул его. Курсант не знал о громких титулах Калинушкина и полез в бой. Нокаут последовал на первой минуте. Вспоминая потом эту историю, Калинушкин во всем винил соблазнителя курсанта. А что касается девушки, то он признавался, что она ему действительно нравилась...

Зная по опыту, что сейчас начнутся душещипательные воспоминания, Баландин сказал:

— Разговорчики отставить! Пятнадцать минут на прием пищи — и спать. Всем. Дежурить буду я. Подъем — в двенадцать ноль-ноль.

Когда ели, Калинушкин, отправляя в рот румяный кусок американской колбасы, спросил:

— А правда, командир, что союзники ее из опилок делают? Мне один баталер [14] в Питере травил.

— Неправда, — ответил Баландин. — У твоего баталера в голове опилки.

— Я ему то же сказал, а он мне загнул что-то насчет круговорота элементов в природе. В будущем, говорит, все будет делаться из подсобного материала. Лежит доска, к примеру. Ты ее в аппарат особый. Кнопку чик — получай бифштекс с кровью. Даже водку, говорит, из нефти делать станут. Тут уж я натурально не поверил.

Одинцов засмеялся.

— Про колбасу поверил, а про водку нет?

Калинушкин, как конь, повел на радиста фиолетовым огненным глазом.

— Колбаса, серый ты человек, для желудка. Он гвозди переваривает. А водка для души. С нее и спрос особый. Хотя для кого как. Для тебя небось лучшая рыба — колбаса, а, пехота?

— Угадал. Дают — не мохаю и ем не охаю, — ответил Одинцов, игнорируя выпад Калинушкина.

— Очень даже полезный продукт.

— Продукт! — передразнил Калинушкин радиста. — Ты еще про мануфактуру вспомни! До чего ж ты скучный человек, сержант, ну прямо божья коровка!

Чтобы остановить готовую вспыхнуть перепалку, Баландину пришлось опять применить власть командира.

— Спать! — приказал он. — А по тебе, Федор, «губа» плачет. Давно не сидел? Могу похлопотать, когда вернемся.

— Данке шён, командир. У начальства всегда так: чуть что — сразу «губа». Как будто нет других методов воспитательной работы...

Но вскоре все затихло на площадке. Никакие труды и потрясения не могли заглушить в молодых организмах потребность в отдыхе, и, разморенные сытной едой и навали тлейся усталостью, разведчики уснули. Их сон был непродолжителен, но глубок, и это краткое отдохновение, это недолгое пребывание на грани реальности и небытия восстановило их силы и приблизило к событиям, которым уже был задан ход, которые назревали медленно, но неотвратно.

4

В бинокль танкер был виден как на ладони.

Зажатый рифами, он лежал с небольшим дифферентом на корму, отчего казалось, что судно пытается и не может вытащить из воды свое громоздкое железное тело. Над танкером ярусами кружились чайки. Время от времени они устраивали на воде баталии из-за какого-нибудь огрызка, брошенного с борта, и поднимали такой крик, будто их уже настиг день страшного суда. Потом птицы успокаивались, вновь взмывали в воздух, усаживались плотными рядами вдоль бортов, не обращая внимания на спящих по палубе людей. Война сюда еще не дошла, и птицы были непуганы.

Баландин подрегулировал резкость.

Итак, четыре пушки: две на носу, две ближе к корме. Пулеметы на мостике не в счет, с ними можно разделаться походя. Главное — пушки. Интересно, какой калибр они поставили? Кажется, неплохо видно, но точно не определишь. Здешний воздух так пропитан водой, что даже цейсовские линзы отпотевают как обыкновенные стекла. Сотки? Вряд ли. Сотка — это уже внушительное орудие, и ее надо ставить основательно. Скорее всего — семидесятипятимиллиметровки. Или даже сорокапятки. Что ж, батарея таких пушек, вынесенная на три мили в море, совсем неплохо. Действительно, не дурак придумал. Начальник разведки прав: авиации здесь делать нечего. При такой погоде и плотности зенитного огня с берега шансы на прицельное бомбометание практически равны нулю. Батарея угробит самолеты... И ведь как стоит, стерва, — точно на пути десанта! Ни с какой

стороны не обойти, расколошматит из пушек за малую душу...

Баландин опустил бинокль и обвел взглядом лежавших рядом разведчиков. Они тоже разглядывали танкер: Шергин упорно, не отрывая бинокля от глаз; Калинушкин, наоборот, то и дело протирал линзы; лицо Ивана Рынды выражало почти детскую заинтересованность; Одинцов смотрел в окуляры, не прислоняя бинокль к лицу, словно следил за представлением в театре; один Мунко, как видно, не доверял технике, полагаясь на дальнорюкие рысьи глаза, — бинокль болтался у него на груди.

Кого послать? Впрочем, едва оформившись, вопрос уже звучал риторически. Роли были распределены давно, но Баландину нужна была пауза, чтобы еще раз и окончательно утвердиться в правильности выбора и сказать об этом вслух. Пойдут, конечно, Влас и Калинушкин. Лучше их никто не сделает того, что предстоит сделать. Шергин с его силой при необходимости голыми руками согнет орудийное дуло, а сверхреакции Федора завидовали в свое время все флотские боксеры. Подрывное дело оба знают как таблицу умножения, и ко всему прочему — закадычные друзья. Все правильно, Влас и Калинушкин.

Баландин положил бинокль на камень перед собой и знаками подозвал обоих разведчиков. Когда те подползли, спросил, кивая на танкер:

— Как думаете, какие там пушки?

— Трехдюймовки, — тотчас отозвался Калинушкин. Это было в его манере — говорить и действовать так, словно он находился на ринге, где на размышление даются доли секунды.

— Точно, — подтвердил Шергин. — Большие без хорошего фундамента не поставишь.

— Вашими бы устами, — усмехнулся Баландин, довольный, однако, тем, что мнение разведчиков совпадает с его собственным, — Значит, говорите, трехдюймовки? Я тоже так думаю. А теперь давайте кумекать вместе. — Баландин помолчал, собираясь с мыслями. — На танкер пойдете вы. Сейчас полный прилив, так что время на размышление у вас есть. Готовьте лодку, заряды, кошки [15]. С отливом двинетесь.

— Вопросов нет, командир. Есть предложение. — Калинушкин, как примерный ученик, поднял руку.

— Давай.

— До отлива, командир, что до морковкина заговенья — шесть часов. А там темень как в канатном ящике. На нашей галоше шибко не разбежишься, в темноте зальет того гляди. А чуток просчитаешься — вовсе в море унесет. Вот я и думаю: может, пораньше отчалить? Часиков в восемнадцать. Как раз и темнеть начнет. В такую хлябь нас ни один дальномер не засечет, ручаюсь как представитель бэчэ-четыре [16].

— Хорошо, — сказал Баландин, — кладем полтора часа на всю дорогу. Значит, к двадцати часам доберетесь. А там что будете делать? Возле танкера болтаться или, может, сразу к японцам ползете?

— Зачем к японцам, командир? Вон на том камушке отлежимся. — Калинушкин показал на хорошо различимую глыбу, торчащую из воды в кабельтове [17] от танкера, размером и формой напоминающую ту, на которой стоит в Ленинграде конный Петр. — Оттуда в любой момент в гости собраться можно.

Баландин задумался.

План Калинушкина был очень неплох. Действительно, вместо того чтобы нырять в темноте на утлой лодчонке, можно было простым способом снять этот вопрос с повестки дня.

Единственная угроза — что лодку заметят. Опять риск? А что лучше: ожидание опасности, которую предвидишь, или полное неведение? К тому же Калинушкин прав: дождь, видимость пулевая. Разглядеть крохотную шлюпку будет трудно. Все равно что искать иголку в стогу.

— Влас?

— Чего думать, командир! Федор в яблочко попал.

— Заряды связать успеете?

— Черта свяжем, не то что заряды!

«Ну вот, — подумал Баландин, — вот и начинается. Сколько раз уже это было? Не вспомнить. И все равно чувствуешь себя как на вышке, с которой нужно прыгнуть».

Он отчетливо представлял себе все трудности, которые ожидали Шергина и Калинушкина.

Нелегко будет добраться до танкера. Волна порядочная, потом еще рифы перевалить надо. А там — танкер, железный скользкий борт. Не по трапу подняться. И за спиной автоматы и взрывчатка. Правда, на Севере было и потруднее, когда доты с моря брали. Из воды — и прямо на скалы. Как альпинисты. Егеря генерала Дитля остались тогда с носом... Когда японцы выставляют часовых? По логике — с темнотой. Значит, часов с девятнадцати. А сменяют? Через два часа? Три? Гадай не гадай — не узнаешь. Надо прикинуть оба варианта. И сколько их, этих часовых? Двое? А если больше? В общем, как всегда, уравнение со многими неизвестными...

Калинушкин и Шергин вязали заряды. Брали толовые шашки, связывали их по десять штук, вставляли внутрь капсюля. Вес зарядов получался солидным — пуд.

Четырехсотграммовые шашки, похожие на куски хозяйственного мыла, в руках Шергина казались детскими кубиками. Привыкший возиться с разного рода узлами и канатами, боцман работал споро, изредка бросая недовольные взгляды на Калинушкина, который, обычно сноровистый и разворотливый, на этот раз еле-еле шевелил руками. Такое положение вещей добросовестного Шергина не устраивало, и он наконец не вытерпел:

— Чухайся, Федор, чухайся! Не картошку на камбуза частишь.

Калинушкин посмотрел на друга безмятежным, обезоруживающим взглядом.

— Ты в судьбу веришь, боцман? — неожиданно спросил он.

— Здравсьте, я ваша тетя! Это тебе зачем?

— Да так, для общего кругозора. Вдруг шлепнут? Так и не узнаю вашего отношения к тайнам природы.

— Я тебе шлепну! — разозлился Шергин. — Я тебя так шлепну, что ни одна санчасть не склеит!

— А все-таки? — не отставал Калинушкин. — Веришь или нет?

— Не верю. И тебе не советую... Ну куда ты капсюль суешь? Куда, я тебя спрашиваю?!

— А хоть бы и посоветовал, — невозмутимо продолжал Калинушкин. — Мне цыганка в Керчи нагадала, что я в двадцать пять лет мослы отброшу. Как видишь, третий год в женихах перехаживаю.

— Чего тогда треплешься? «Шлепнут», «шлепнут»!..

— К слову пришлось. Жалко, если дуба врежем. Молодыми и красивыми.

— Тьфу! Дурак был, дураком и остался! На кой ляд ты тогда мелким бесом перед командиром юлил? Боялся, что не возьмет, вспомнит, как ты в Бек-фиорде выпендривался?

— Дробь [18], боцман! Был грех, правда, боялся. Командир, сам знаешь, скажет — и точка. А куда я без вас?..

— Ну и не чирикай. Тебя за хвост не дергают, ты и не чирикай.

Негромкий свист прервал их разговор. Разведчики переглянулись.

— Мунко, — сказал Шергин, — стряслось что-то.

Пригибаясь, они нырнули в заросли и через минуту были на площадке. Все, кто находился там, сгрудившись, напряженно всматривались в противоположный конец оврага.

— Что, командир?

Баландин молча показал рукой вниз.

Раздвинув траву, Шергин и Калинушкин посмотрели в образовавшийся просвет. В нем, как в прицеле, четко обозначилась фигура человека. Балансируя руками, человек осторожно спускался по скользкому склону в овраг.

— Солдат, — прошептал Мунко, чьи зоркие глаза уже разглядели то, чего еще не видели остальные.

Солдат с грехом пополам одолел склон и теперь шел до дну оврага. Из травы виднелись лишь его плечи и голова.

Баландин сомневался всего мгновение. Такой случай упускать было нельзя. «Язык» сам шел в руки.

Мунко глядел выжидающе. Баландин кивнул. Ненец снял с пояса свернутый в кольцо аркан и скользнул в траву.



Солдат уже прошел половину оврага и приближался к тому месту, где, поворачивая, тропинка упиралась одной стороной в подножие площадки и где, они знали, его поджидал Мунко. Теперь разведчики видели солдата хорошо — от обмоток до какой-то легкомысленной шапочка на голове. Солдат был безоружен, а в руках нес что-то похожее на обыкновенную уздечку.

— Тоже мне, жокей! — хмыкнул Калинушкин. — Иди, иди, сейчас Мунко заделает тебе козью морду!

Они не видели ненца, взмаха его руки: просто из травы вылетела стремительная серая змея и упала на плечи солдата. Он рухнул как подкошенный и отчаянно забился, пытаясь сбросить с шеи аркан. Но Мунко не давал ему слабину и уже подтаскивал к себе солдата.

— Помоги, Влас, — сказал Баландин.

Шергин юзом скатился с площадки.

— Кино, — сказал восхищенно Калинушкин. — Раз-два — и ваших нет. Ковбой, а не человек! Командир, мой сто грамм — Мунко. Премия от Балтфлота.

Отдуваясь, на площадку поднялся Шергин. На руках он, как ребенка, нес скрученного арканом солдата. Во рту у пленного торчал кляп — кусок его же обмотки. Черные раскосые глаза солдата были открыты. Он переводил их с одного разведчика на другого — без страха, скорее с удивлением.

— Выньте у него эту тряпку, — велел Баландин.

— Заорет, командир, — усомнился Рында. — Пусть немного очухается.

— Заорет — по кумполу, — сказал Калинушкин, недвусмысленно подбрасывая на ладони гранату.

— Выньте, — повторил Баландин. — Развязывать пока подождем, а портянку выньте.

Кляп вынули и усадили пленного поудобней.

— Спроси у него, кто он такой, — сказал Баландин Одинцову.

Радист перевел пленному вопрос. Тот повертел шеей, на которой уже вспухал сине-багровый рубец, потом быстро заговорил. Разведчики как один уставились па радиста, следя за выражением его лица. Только Мунко сидел на корточках в отдалении и лениво посматривал по сторонам. Пленный замолчал. Одинцов спросил еще о чем-то и повернулся к Баландину. Он был явно растерян.

— Это не японец, товарищ старший лейтенант. Кореец. Его зовут Ун Да Син. Он ездовой. А здесь искал лошадь.

У разведчиков вытянулись лица, а Шергин даже плюнул с досады. Нестроевой пленный, конечно, не был подарком. Ладно бы писарь, штабист какой, а то — ездовой! Что он мог знать, кроме сена и лошадей?

— Я же говорил — жокей, — презрительно сказал Калинушкин. — Он и весит-то тридцать два с пистолетом!

«Да, не повезло, — подумал Баландин. — На кой черт нам этот конюх?»

Но все равно спросил:

— Знает ли он, где самолеты?

Выслушав Одинцова, пленный утвердительно кивнул. Кивок был понятен и без перевода, и разведчики посмотрели на тонного уже с интересом.

— Плакали твои сто грамм, Федор.

— Шут с ними, командир! Я этому эскимосу Мунко и закуску бесплатно выставлю!

Пленный снова заговорил — возбужденно, пробуя даже жестикулировать.

— Развяжите его, — приказал Баландин.

Одинцов едва успевал переводить.

— Самолеты недалеко, километрах в восьми. Там озеро. Пятнадцать машин. Летчики живут там же, в казарме. Все они — камикадзе. Ун Да Син часто бывает там. Возит летчикам продукты и белье. Он ненавидит японцев. Они убили его брата. Это было еще до войны, когда строилась укрепления на островах. Их строили китайцы и корейцы. Потом рабочих уничтожали — вывозили ночью в море и топили. Ун с братом работали на соседнем острове. Весь их отряд тоже утопили. Четыре тысячи человек. Ун спасся чудом. Его подобрала в море рыбаки. Так он попал сюда. У него не было ни документов, ни жилья, и он стал батраком. Потом пошел в армию вместо сына хозяина. Он не мог отказаться: хозяин грозил его выдать. Тогда бы Уна расстреляли.

— Ничего себе житуха, — сказал Калинушкин. — Либо к рыбам на корм, либо к стенке. Ну и паразиты!

— Самурай, он самурай и есть. Сам себе кишки выпускает, не то что другому. Фашист, в общем, — заключил Рында.

Разведчики замолчали, глядя на пленного с откровенной жалостью. Даже они, сами убивавшие и видевшие убийства, были поражены жестокостью услышанного. Молчал и пленный. Его руки нервно шарили по одежде, а по смуглому, отмеченному печатью страданий лицу пробегали мгновенные судороги. Казалось, корейца терзают какие-то тайные видения.

— Как охраняются самолеты? — прервал Баландин молчание.

— Хорошо. Кроме летчиков, на озере расположен караульный взвод. Пулеметы на вышках. У плотины — в дотах.

— Плотина?

— Да. Там есть плотина.

Баландин едва сдержал радость. Плотина, плотина... Это уже было кое-что. Вернее, все. План отчетливо складывался в голове.

Самолеты уничтожать не придется. Нет надобности жечь или взрывать эти летающие лодки, когда можно взорвать плотину. Уровень озера упадет, и самолеты обсохнут, как киты на

отмели. Впрочем, обязательно ли взрывать? Раз существует плотина, существуют и шлюзы. Это элементарно. И стало быть, их можно открыть. Вопрос — какие шлюзы? Плотина скорее всего самодельная. Значит, и шлюзы простейшие. Клинкеты. Обыкновенные задвижки и шпиндели. Тоже элементарно, как закон Архимеда. Но здесь-то и зарыта собака. Допустим, откроем клинкеты. Ну и что? Ну, потечет водичка и будет течь до второго пришествия. А дальше? Озеро большое, за час не вытечет. Рано или поздно придут солдаты и закроют клинкеты. И постараются узнать, кто их открыл... Нет, плотину надо взрывать. Ухнуть так, чтобы всем чертям стало тошно. Тогда попробуй заделай. Тут на неделю работы, а на педелю можно десять десантов посадить...

Баландин ликовал. Проблема решалась просто и, как ему казалось, наилучшим образом. К утру от озера останется грязная лужа. Самолеты не поднимутся. Правда, горячие головы наверняка попробуют взлететь. Пусть взлетают! На здоровье! Садиться все равно некуда. Разве что в океан. А это — гроб с музыкой...

Но радость неожиданно померкла. Простая мысль обдала Баландина холодом. Взрывчатка! У них не хватит взрывчатки! Плотина — не пушки. Чтобы своротить ее, нужен центнер тола. Если даже заложить в плотину все, что у них есть, они пробьют только дырку. Дырку, которую можно заткнуть задом. Все летит кувырком, весь план. План, в котором не было изъянов. И вот извольте бриться — взрывчатка!..

Баландин испытывал полную опустошенность. Как гипнотизер после сеанса, вложивший в заключительный номер все силы души и тела, он отрешенно смотрел перед собой, и в его потрясенном мозгу ее возникало никаких мыслей.

Подошел Мунко, сел рядом с пленным, стал сматывать аркан. Баландин машинально следил за движениями ненца. Какой-то неясный образ мелькнул в дальних далях сознания. Исчез. Вновь возник, неуловимый, как нетопырь. Баландин напряженно думал. Он уже знал, что расстановка сил изменилась, что в цепи событий появилось новое звено, но не мог понять, чем вызвана такая неожиданная перемена. Не хватало какой-то детали, чтобы неясная пока мысль приобрела видимые контуры.

Мунко сматал аркан, засунул его за пояс, внял пилотку, изнанкой вытер мокрое лицо. Прямые жесткие волосы ненца рассыпались, как солома. И тут Баландин уразумел: Мунко! Если обрядить ненца подобающим образом, он сойдет за стопроцентного японца! Выход, черт побери! Плотина все-таки взлетит, или он ровным счетом ни в чем не смыслит!..

План был предельно прост и на первый взгляд совершенно невыполним, ибо в его основе лежала невероятная мысль. Или почти невероятная. Но Баландин не думал так. Как игрок, на которого снизошло наитие, он в один миг объял внутренним взором и видимое пространство, и отдаленные перспективы. И сделал ставку.

Итак, они отпускают пленного. Именно отпускают, потому что никто, кроме него, не принесет обмундирование для Мунко. Можно, конечно, раздеть корейца, но проку от этого никакого. Даже переодетый, Мунко один ничего не сделает. А пленный знает все: и где самолеты, и как туда добраться, и как пройти посты. И только вдвоем они смогут сделать невозможное — добыть взрывчатку и взорвать плотину.

Это был предел мечтаний; в душе же Баландин не сомневался, что товарищи не согласятся о его предложением. Но на этот случай у него имелось свое собственное мнение. И доводы, которые он считал немаловажными. Он изложил план. Разведчики выслушали Баландина внимательно, но он сразу понял, что никто из них не верит в серьезность его затеи.

— Сказки, командир! — решительно сказал Калинушкин. — Про белого бычка. Разжалобил нас этот жокей. Да отпусти мы его, он через час полк сюда приведет! Кореец! Он нам паспорт показывал? Припечет — арапом назовешься!

— Не вернется он, командир, — поддержал Калинушкина Рында. — Что он — дурак?

— Должен вернуться, — убежденно сказал Баландин. — Надо только растолковать ему все. Не забудьте, что Корея была захвачена японцами. Для самураев корейцы, как и китайцы, — низшая раса. Это во-первых. Во-вторых — брат. Не думаю, чтобы это было выдумкой. Такие штучки японцы проделывают не впервые. В свое время они уничтожили строителей бактериологических лабораторий в Маньчжурии. Так что, если подумать как следует, Ун должен вернуться. Ему терять все равно нечего.

— Шкуру, командир. Завалится — из него же кишмиш сделают.

— Все будет зависеть от него самого. А ты что скажешь, Влас?

Боцман сосредоточенно соскабливал грязь с сапога.

— Отпустить недолго, командир. Только гарантий, что он вернется, — с гулькин нос. Все это правильно — низшая раса, брат. Однако Иван тоже прав, жить пленному хочется. Продать, может, и не продаст, но чтоб вернулся... Тут характер нужен. А что он за человек? Лучше самим все сделать.

— Как? — спросил Баландин. — Ты же слышал: пятнадцать машин. Как ты их сожжешь? Туда пробраться чего стоит — охрана, летчики, пулеметы. Ну одну, ну две машины от силы сожжем. А остальные? Пока будешь мотаться от самолета к самолету, подстрелят как чирка. А плотина — дело верное.

— А я и не спорю. Но в нашем положении дорожке синица в руках, чем журавль в небе. А если продаст? Представляешь?

Баландин представлял. Неудача с корейцем означала полный провал операции и несомненную гибель группы. Японцы не выпустят их живыми. Они здесь как в мышеловке. Но еще не дернули на крючок. Однако дверца может захлопнуться в любую минуту. И не опередят ли они события, отпустив пленного?

Все это Баландин понимал. Очень хорошо, без всяких натяжек я иллюзий. И тем не менее настойчивая мысль о возможности взорвать плотину не покидала его.

Нет гарантий, как говорит Шергин? Есть. Пусть небольшие, но есть. Человек, у которого отняли родную землю и убили брата, не может питать верноподданнических чувств к захватчикам и убийцам. С этим надо считаться. Верно: жить хочется всем, и проще всего предположить, что кореец удержит, если отпустить его. А если вернется? Если он смелый человек?

Рассуждая так, Баландин внимательно присматривался к пленному. Тот сидел, поджав под себя ноги, глядя на разведчиков без страха и тревога.

Баландин видел многих пленных. И неплохо знал их психологию. Как правило, они раскрывались в первые же минуты. Цепляясь за жизнь, большинство из них заискивали, торговались, юлили и, в конце концов, без утайки рассказывали обо всем. Некоторые не

говорили ничего. Но таких было немного. Такие чаще всего вели себя нагло: пытались угрожать, выставляли нелепые и невыполнимые требования, становились в позу. Собственно, это было то же торгашество, лишь прикрытое громкими словами.

Кореец не походил во на тех, ни на других. В нем не чувствовалось ни заискивания, ни готовности лизать сапоги тех, от кого зависела его жизнь, ни угодливого мельтешения. Встретив взгляд Баландина, он не отвел глаз, ничем не выразил своего беспокойства.

«Нет, он не трус, — подумал Баландин. — И не предатель. Те ведут себя по-другому. На этого парня можно положиться...»

Назвав пленного «парнем», Баландин только теперь заметил, что тот действительно молод.

«Ему нет и тридцати. Он мой ровесник, если не моложе. Наверное, его тоже где-то ждет мать. Его и брата...»

Баландин больше не колебался.

«Нельзя думать о людях хуже, чем они есть. Иначе можно разувериться во всем. Даже среди немцев были честные и порядочные ребята. Как тот ефрейтор, который приполз однажды к нам в траншеи. Он ничего не принес с собой, никаких документов. Просто он сказал, что ненавидит войну и Гитлера. Его накрыло миной, когда он выступал по радио. Его и операторов. Вместе с установкой...»

— Сержант, — сказал Баландин, — объясни ему все. Все — от альфы до омеги.

— Зря, командир, — сказал Калинушкин. — Как бы локти не пришлось кусать.

— Не каркай, — оборвал его Шергин. — Не один ты кусать будешь. Поживем — увидим.

— Поживешь тут, — пробормотал Калинушкин.

Шергин молча показал ему похожий на гирию кулак.

Одинцов говорил долго. Кореец слушал не перебивая. Когда радист остановился, он некоторое время молчал, потом что-то сказал — решительно и резко. Одинцов обернулся к разведчикам.

— Он согласен. Он принесет одежду и пойдет с Мунко. Он просит верить ему.

— Хорошо, — сказал Баландин. — Пусть идет. Мы будем ждать его здесь.

Никогда Баландин не испытывал такого нервного напряжения, как в эти нескончаемые минуты, когда, лежа у края площадки, он не отрываясь смотрел в дальний конец оврага, куда сбегала блестящая от дождя тропинка. Час назад на ней появился человек; по ней он ушел обратно и теперь должен был появиться вновь. Или не появиться.

Временами Баландин готов был раскаться в содеянном, и только затаенная надежда, как рефрен звучавшая в нем, удерживала его от последнего шага. Да и чем могло помочь это запоздалое раскаяние? Оставалось одно — ждать. Ожидание стало уделом всех шестерых, и никто из них не мог сказать, что грянет с ним — успех или ярость последней отчаянной схватки.

Ун Да Син появился неожиданно. Мунко успел лишь предупреждающе поднять руку, а кореец уже скатился в овраг и, не разбирая дороги, устремился к площадке. Шуршала и волновалась

раздвигаемая быстрым телом трава. Сверху казалось, что по дну катится сорвавшийся с обрыва камень.

— Во прет! — удивился Рында. — Как наскипидаренный!

— Застукали, — убежденно сказал Калинушкин. — Чтоб мне сдохнуть, застукали!

Все невольно сжали в руках автоматы, ожидая увидеть тех, кто нагнал на корейца такого страха. Но склон был пуст. Кореец между тем уже взбирался на площадку. Слышалось его тяжелое дыхание и чавканье размокшей земли под ногами. Затем над краем площадки показалось его лицо — мокрое и тревожное. Однако эта тревога исчезла с физиономии корейца, едва он увидел разведчиков. Одним махом преодолев последние метры, он протянул Баландину перетянутый ремнем узел.

— Что случилось, сержант? Почему он мчался как угорелый?

Радист перевел вопрос.

Кореец принялся объяснять, возбужденно блестя глазами и показывая рукой назад.

— Факт, застукали, — сказал Калинушкин.

— Да подожди ты! — остановил его Одинцов. — Никто никого не застукал. Просто Ун боялся, что мы не дождемся его. Ему пришлось запрягать лошадь, и он задержался.

— Какую еще лошадь? — спросил Баландин.

— Он приехал на лошади. Повозка осталась вон там, за оврагом. Он говорит, что на озеро лучше ехать. Если они придут пешком, их могут спросить, зачем они пришли. А так никто не спросит, все привыкли, что Ун приезжает на лошади.

— Молоток! — сказал Калинушкин. — Не гляди, что глаз узкий, а котелок варит. Слышь, Ун? Котелок, говорю, у тебя варганит что надо. Тебя бы к нам на Балтфлот. Адмиралом. Пошел бы в адмиралы, Ун?

— Ну что ты талдычишь? — с неудовольствием сказал Шергин. — Ему же твои слова как мертвому припарки.

— Много ты знаешь, боцман! Кровь из носа: насчет адмирала он усек. Усек, Ун?

Кореец вежливо улыбнулся.

— Видал! — обрадовался Калинушкин. — А ты говоришь!

Баландин все еще держал узел в руках. Напряжение схлынуло, он предчувствовал удачу и не боялся отпугнуть ее неосторожным словом или поспешностью. Однако времени было в обрез. День клонился к закату, а еще ничего не было сделано.

Баландин протянул узел Мунко.

— Давай, — сказал он, — облачайся.

Мунко взял узел и скрылся в траве. Когда он появился оттуда, разведчики не могли удержаться от смеха: ненец выглядел как заправский японец. Форма пришлась ему впору и

была, что называется, к лицу.

— Ну, Мунко! — только и вымолвил Шергин.

А Калинушкин фертом прошелся перед ненцем, кланяясь и разводя руками:

— Комси-комса! Наше вам с кисточкой!

Кривляние Калинушкина не понравилось Мунко. Он посмотрел на него потемневшим взглядом:

— Не знаешь ты жизни, Федор! Глупый, как сибико гуся! — В устах ненца эти слова звучали как самое сильное ругательство.

— Вот те раз! — притворно удивился Калинушкин. — К нему с уважением, а он тебя матом! Какого-то сибико придумал.

— Сибико — это самка, — сказал Одинцов. Разведчики снова засмеялись, на этот раз над Калинушкиным.

— Ладно, — пригрозил тот, — я ему ату гусыню припомню! Не мог по-человечески обозвать, змей!

— Все, — сказал Баландин, жестом прерывая веселье. — Порезвились и хватит. — Он достал из-за пазухи планшетку с картой. — Где твоё озеро, Ун?

Кореец помедлил, прикидывая, потом ткнул пальцем в нижний обрез карты.

— Та-ак, — протянул Баландин. — По прямой — километров десять. Учитывая рельеф и вид транспорта, кладем два часа. А? — Он посмотрел на разведчиков. Те согласно кивнули. — Отлично, — продолжал Баландин, — поспеют как раз к темноте. А нам что ни темней, то лучше. Теперь главное — взрывчатка. Ун, что можно раздобыть на озеро?

— Он говорит, — перевел Одинцов, — что не знает, есть ли там тол. Но бомбы есть. В складе на берегу.

— Что в лоб, что по лбу, — сказал Шергин. — Бомбы даже лучше. Две дуры килограмм по полста — и хватит, А для затравки пяток шашек с собой возьмут.

«Лошадь кстати, — подумал Баландин. — На себе бомбы не попрешь».

— Далеко от склада до плотины?

— Не очень. Ун говорит, что можно доехать за час.

— Добро. Теперь слушай внимательно, Мунко. Приедете — пусть Ун тебя куда-нибудь спрячет. Маскарад маскарадом, но лучше не лезть па глаза. Дальше. Склад берите ночью, когда все уснут. Часового хочешь не хочешь — придется снимать. Дождись смены и снимай. Тогда у вас часа два, а может, три в запасе будет, смотря через сколько они сменяются. Грузите бомбы — и к плотине. Ну а там сами сообразите, что к чему. Да не забудьте колеса обмотать. Чтобы ни стуку, ни скрипу, понял?

— Понял, командир.

— Тогда собирайтесь. Влас, давай шашки и шпуры.

— Лучше целый заряд взять, командир. У нас есть готовые.

— Неси. Заряд так заряд.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал вдруг Одинцов, — а если к Мунко кто-нибудь пристанет? Разговорчивый какой-нибудь, вроде того в траншее? А Мунко по-японски ни слова.

— Это уж точно, — сказал Калинушкин, — Ни в зуб ногой.

Баландин пожал плечами:

— Тут ничего не поделаешь, сержант. Будем надеяться, что любителей поговорить не найдется. А потом, с ним Ун. Догадается, как выкрутиться в случае чего,

— Командир, — подал голос Рында, — а пусть Мунко зубы завяжет. Болят, мол, зубы, отвалите.

— А что? Верно, — сказал Шергин. — Иван молчит, молчит, а скажет — так в точку. Замотай чем-нибудь, Мунко, и мычи, если прицепятся.

Баландин засмеялся.

— Придется замотать, Мунко. Все правильно, ни одна собака не догадается. — Он стряхнул о планшета дождевые капли. — И вот что еще. Надо по возможности заблокировать подступы к озеру. На тот случай, если Влас и Федор управятся раньше Мунко. А это без сомнений. Хорошо бы, конечно, сработать синхронно, но чудес не бывает. Плотины у черта на куличках, а танкер рядом. Когда пушки взлетят, заварушка, сами знаете, какая поднимется. Тут и надо помочь. Мунко. — Баландин опять смахнул капли с планшета. — Озеро — вот оно. И две дороги. Эта и эта. Первая так себе, вроде тропинки, а вторая грунтовка, хоть на машине кати. Но место для засады есть. Мост. Видите? Устроен — лучше не придумаешь. Слева болото, справа — море. Мост заминирован. Это по твоей части, Иван. Сделаешь что надо и, если попрут, рванешь. Не попрут — еще лучше. А тропку мы с сержантом оседлаем. Сбор здесь, на площадке. Крайний срок — четыре ноль-ноль. Иначе не выберемся. Судно будет ждать вот за этим мысом. Все. Как с зарядами, Влас?

— На полчаса работы.

— Закругляйтесь. Проверь все: мошки, троса, лодку. Мунко, готов?

— Готов, командир.

— Отправляйтесь. Берешь? — спросил Баландин, видя, что Мунко засовывает за пояс свой аркан.

— Ненец без тынзея — какой ненец?

— Ну смотри.

— Лакамбой, командир. Прощай!..

Дорога петляла между сопок, взбиралась на пологие гладкие вершины, ныряла в овраги, пересекала многочисленные речки и ручьи. Воды на бродах было немного; виднелось усыянное галькой дно и камни на нем, среди которых шныряла серебристая стремительная форель.

Лошадь входила в воду безбоязненно, с шумом расплескивала ее; светлые струи мутнели; форель молнией кидалась в стороны и пропадала в холодной глубине.

Ун, не оборачиваясь, правил лошадей; свесив ноги, Мунко сидел позади корейца, погруженный, казалось, в созерцание открывавшихся видов. Он думал, и мысли его были короткими и простыми. Он думал о тундре. С тех пор как он знал себя, он знал тундру — ее неоглядность летом, белые снега зимой, перекочевки, олени аргиши, косяки крикливых птиц, дымные чумы, в которых всегда пахнет шкурами и рыбой и где женщины ждут мужчин, чтобы накормить их и отдать им свои ласки.

Он вспомнил жену Ванойти и разговор с Калинушкиным. И рассердился на него. Глупый человек Федор. Не знает жизни. Такой жены, как Ванойти, нет ни у кого в стойбище. Большой калым дал за Ванойти Мунко. Десять оленей дал. Лучшие торбаса шьет Ванойти. Все женщины завидуют. Двое детей у них. Оба — хасава нгацеки [19], крепыши. Хорошо. Охотниками будут. Старшему уже десять весен. Когда Мунко вернется, он научит сына стрелять из ружья. И бросать тынзей. Они пойдут в тундру и там поймают оленя. И он покажет сыну, как надо колоть оленя. С одного удара, чтобы не мучить. Покажет, как подрезать сухожилия и снимать шкуру. Мужчина все должен знать. Мужчина — охотник. Пусть растут сыновья. Хорошо. Он спокоен. Ванойти хорошая жена. Он вернется. Они будут сидеть в чуме, пить спирт, есть печень, и он расскажет Ванойти, как воевал. А если бил ее — так что? Все бьют. Ванойти — нгамзани пеля, часть его плоти. Разве не знает этого Федор? Глупый Федор. Как сибико гуся. И жизнь плохо знает. Совсем не знает. Командир знает, Влас знает, а Федор нет...

Эта мысль вернула Мунко хорошее расположение духа. Он вытащил трубку и стал сосать ее. Потом потихоньку запел, прикрыв глаза и покачиваясь в такт движению повозки.

Он пел старую песню о старике и старухе, у которых было семь сыновей. Первый сын — Харюци, второй сын — Вануйта, третий сын — волк, еще один сын — лесной медведь, еще сын — белый медведь, еще сын — росомаха, еще один сын — Минлей [20]. И отпустил старик своих сыновей в разные места. Харюци и Вануйте он дал оленей. Сыну-волку сказал: «Ты кормись оленями Харюци и Вануйты». Лесному медведю сказал: «На земле питайся». Белому медведю сказал: «Иди к морю, в воде живи!» Росомахе сказал: «Ты ведь не можешь живых зверей добывать, где найдешь падшего зверя — его и съешь! Добудут Вануйта и Харюци в слопец [21] песка — его съешь!» Минлею сказал: «Ты своим путем иди. С разными птицами ведь справишься».

Затем расплодился он. Опять разделились. Харюци разделил своих сыновей на десять родов. Вануйта своих сыновей тоже на десять родов разделил. И другие разделили. Так стало много ненцев...

Заунывный речитатив наводил на корейца тоску. Он несколько раз с беспокойством оглядывался, но Мунко не замечал его взглядов. Он пел уже о другом, о том, что видел вокруг: о лошади, которая везла их, о траве, цепляющейся за ноги, о пугливых рыбах в воде. Его несколько не тревожило то, куда они едут и что их там ждет. Он знал: они приедут, и он сделает все, о чем говорил командир, — возьмет бомбы и взорвет плотину. О, сав [22]! Командир хороший ненец [23]. Настоящий хасава [24]. Очень смелый, однако. Но бережет себя. Плохо, что не бережет. Убить могут. Тогда прервется род.

Мысль о собственной смерти не отягощала сознание Мунко. Ненец не может умереть на чужой земле — в этом он был твердо уверен. Его отец умер в тундре. И отец его отца. И все ненцы, каких он знал, умирали в тундре. Так было всегда. Покойник хочет в свою землю. Только отступники умирают на чужбине. Но и она не принимает их. И тени изгоев приходят по ночам

в стойбище и бродят вокруг чумов. И тогда лают собаки, которые видят их. Нет, он не умрет на чужой земле. Яшту [25].

И когда, миновав очередной овраг, повозка выехала к озеру, ничто не дрогнуло в языческой душе ненца. Он лишь сильнее сощурил глаза, запечатлевая подробности незнакомой жизни.

Смеркалось. В мутной пелене дождя озеро — сильно вытянутый, с голыми берегами овал — выглядело безжизненно и уныло.

Несколько домов стояло на берегу; за ними, как арка моста, вздымалась гофрированная крыша ангара, а еще дальше виднелись самолеты — серо-зеленые неподвижные силуэты, к которым от берега тянулись длинные настилы деревянных пирсов. Людей на берегу не было; дождь с тихим монотонным звоном падал в озеро. Они подъехали к шлагбауму. Как и все шлагбаумы в мире, он был выкрашен в черно-белый цвет, от которого рябило в глазах.

Не слезая с повозки, Ун крикнул. В запотевшем окне караульной будки мелькнуло чье-то лицо. Прислонив к глазам ладонь, человек за окном несколько мгновений рассматривал повозку. Потом скрипнула дверь, и из будки вышел солдат. Вобрав голову в поднятый воротник плаща, он, ни слова не говоря, поднял шлагбаум. Пропустив повозку, солдат закрыл шлагбаум и снова скрылся в будке.

Они тронулись дальше, Ун обернулся и подбадрывающе кивнул Мунко. Ненец ответил ему неразборчивым возгласом.

Во всем деле Мунко не нравилось лишь одно — повязка, которая, как женский платок, закрывала половину его лица. Она раздражала ненца.

«Глупый человек Иван, — размышлял он. — Придумал тряпку. Зачем придумал? Нельзя разве без тряпки? Ванойти смеялась бы над ним».

Самолюбие ненца страдало, и он с удовольствием снял бы повязку, но, вспоминая наказ Баландина, терпел и делал вид, что выдумка товарищей никак не задевает его. Проехав метров сто вдоль берега, Ун свернул к длинному бревенчатому бараку. Окна барака были темные, но изнутри доносились громкие голоса, выкрики и нестройное пение.

— Сodzюся [26], — сказал кореец а красноречиво щелкнул пальцем по горлу. Мунко понял его.

— Спирт, — сказал он. — Хорошо.

Они миновали барак, еще раз свернули и остановились около небольшого сарая с навесом. Ун спрыгнул с повозки, ввел лошадь под навес. Открыл дверь, знаком пригласил Мунко за собой. Сарай был наполовину набит сеном. Притворив дверь, кореец не меткая принялся разгрести сено. Он, словно крот в землю, вгрызлся в плотно спрессованную пахучую массу, и скоро из лаза торчали лишь стоптанные подошвы его ботинок. Затем исчезли и они. Несколько минут в сарае слышались возня и сопение, потом из норы показалось вспотевшее, усыпанное сенной трухой лицо Уна. Поднявшись, он выразительно посмотрел на Мунко. Ненец подошел, поправил на поясе нож, без колебаний полез в нору. Ун что-то сказал вслед и стал забрасывать лаз. Звякнула щеколда, и в сарае наступила тишина.

5

Солдат Доихара Сэйдзи считал себя настоящим японцем.

Он обожал несравненного микадо, почитал законы и священную гору Фудзи, не прелюбодействовал и свято верил в великое будущее горячо любимой О-я-симы [27]. Правда, он не был самураем, и ему не разрешалось носить мечи, но в этом были виноваты неудачливые предки, оставившие в наследство Доихара мотыгу вместо самурайских мечей. Впрочем, Доихара ее был в особой обиде на предков: по крайней мере ему не придется делать харакири, ведь он всего-навсего простой иттохэй — солдат первого разряда. И он всегда довольствовался тем, что имел.

Когда началась война на Тихом океане и Доихара призвали в армию, он воспринял оба события с невозмутимостью человека, давно ожидавшего их. Он не сомневался в победе. Ведь храбрые японские моряки и летчики в первый же день войны утопили в Перл-Харборе чуть ли не весь американский флот, а через несколько месяцев отняли у англичан Гонконг и Сингапур. Нет, такая война не могла затянуться надолго, и Доихара искренне жалел, когда стало известно, что полк переводят на север. Триумф и лавры доставались другим.

Однако вскоре выяснилось, что славу делить не пришлось. Союзники перешли в наступление, войска императора несли тяжелые потери, и Доихара возблагодарил всемиростивую и всеблагую Аматерасу [28] за чудесное спасение.

Конечно, жизнь на Курилах была не из легких, но она вполне устраивала Доихара. Русские воевали далеко на западе, и единственное, от чего страдал Доихара, так это от скверного курильского климата. Особенно зимой, когда неделями мела пурга — то ледяная, то с мокрым снегом. В таких условиях немудрено было заработать ревматизм, а Доихара находился уже в том возрасте, когда люди начинают заботиться о собственном здоровье. Но худшее поджидало Доихара впереди.

В восемнадцатый год эры Сева [29] возле острова потерпел крушение русский танкер. В казармах поговаривали, что дело обошлось не без вмешательства соотечественников Доихара, будто бы переставивших навигационные знаки, но сам Доихара не верил разговорам. Русские всегда были плохими моряками. Иначе они не отдали бы в свое время острова Японии. И уж конечно, они сами вылезли на рифы.

Как бы там ни было, а целехонький танкер плотно сидел на камнях, и это обстоятельство сыграло роковую роль в жизни солдата Доихара Сэйдзи.

Неизвестно, кому пришла в голову мысль поставить на танкер пушки, но таким образом танкер превратился в форт, четыре орудия которого обслуживали пятьдесят артиллеристов, в том числе и заряжающий Доихара.

Настали трудные времена. Море редко бывало спокойным, и пятьдесят человек жили среди постоянного грохота обрушивавшихся на танкер волн. В сильные штормы корпус судна гудел, словно барабан, по которому били громовики [30], скрежетал и раскачивался. Особенно страшно было по ночам, когда волны, казалось, вот-вот сорвут танкер с каменного основания и повергнут в холодную бездну, разверзшуюся прямо за тонким железом бортов. В такие ночи Доихара молился.

А недавно началась война с русскими.

Они, оказывается, победили, хотя поручик Хата неоднократно говорил, что немцы разобьют Россию, и теперь перебросили войска сюда, чтобы помочь американцам и англичанам. Но им не удастся взять даже острова, потому что таких укреплений не взять никому. Русские напрасно потеряют время, а из-за их упрямства Доихара придется неизвестно сколько торчать

на этом железном гробу...

Такие не очень веселые мысли владели солдатом Доихара Сэйдзи, час назад заступившим часовым. Расхаживая взад-вперед по мокрой и скользкой палубе, он то и дело вытирал лицо и с нетерпением ожидал смены. Где-то в темноте, на другом конце танкера, находился второй часовой, и Доихара с удовольствием составил бы ему компанию, но он трепетал при мысли, что поручик Хата выйдет проверять посты и не застанет Доихара на месте. Тогда ему несдобровать, потому что рука у поручика тяжелая. И вообще, он черствый и бездушный человек. Замучил солдат никому не нужными учениями и тревогами, придирается по каждому пустяку. Даже сейчас, на посту, нельзя чувствовать себя спокойно, потому что не знаешь, когда поручику взбредет в голову проверить караулы. Смешно подумать, что на танкер могут напасть! Однако поручик прожужжал об этом все уши. Говорят, он страдает бессонницей, вот и выдумывает всякое, чтобы не скучать по ночам. Разве возможно пробраться на танкер?! Даже ниндзя [31], эти ужасные демоны в человеческом обличье, которые могут летать по воздуху и ходить по воде, не отважились бы на такой безрассудный поступок. Но что поделаешь, поручик Хата не верит в тишину, и Доихара приходится мокнуть и мерзнуть, выстаивая положенные два часа.

Вздыхнув, Доихара подошел к одной из пушек и сел у щита, поставив арисаку [32] между колен. Сталь щита холодила спицу, но все же у пушки было теплее, чем на открытом месте. Доихара стал думать о доме.

Только в армии он по-настоящему оценил, что значит своя семья и свое жилище, куда можно возвратиться после трудов, подсесть к хибати [33] и наслаждаться покоем и теплом. И даже выпить чуточку сакэ, а потом лечь спать с собственной женой и сколько хочется ласкать ее горячее и покорное тело.

Доихара опять вздохнул.

Что ни говори, а мужчине трудно без женщины. А здесь нет даже публичных девок, и солдаты буквально озверели. Пока их не засунули на эту коробку, было легче. Девки привозили часто, но он, Доихара, ни разу не ходил в эти дома, где холостые и женатые с одинаковым бесстыдством предавались блуду...

Постепенно мысли Доихара приняли иное направление; он вспомнил, что уже настала ночь осеннего полнолуния, любимого праздника всех японцев, и с завистью подумал о тех, кто встречает его под родной крышей. В деревне сейчас в каждом доме горят разноцветные бумажные фонарики, и хозяева уже поставили в фарфоровых чашках рис и сакэ — пищу и питье для мертвых, потому что сегодняшней праздник — это праздник поминовения усопших. Их души три дня гостили на земле и сегодня возвращаются в свой мир. И нужно получше проводить их.

Здесь Доихара задремал, и ему представилась деревня, огни на полуночных улицах и праздничная шумящая толпа...

Внезапно сон отлетел от него: он увидел ниндзя. Чернее мрака, окружавшего танкер, тот возник над бортом, на мгновение замер и вслед за тем бесшумно спрыгнул на палубу.

Доихара затрясло. Он знал, почему появился ниндзя: демоны являются всегда, стоит только подумать о них. А это к несчастью. Забыв о винтовке и своих обязанностях, Доихара как замороженный следил за призрачной, едва шевелящейся тенью. Его напряжение было столь велико, что он не заметил, как появился второй ниндзя. Доихара догадался об этом минуту

спустя, когда тень у борта вдруг увеличилась, странно задрожала и неожиданно распалась на две, одна из которых тотчас пропала в темноте, а вторая направилась прямо к Доихара. И хотя его скрывала пушка, он знал, что это плохая защита — ведь ниндзя видят в темноте, и, оцепенев, безвольно ждал своей участи.

Ниндзя приближался.

Он двигался медленно, но плавно и легко, будто не шел по мокрому железу, а скользил над ним. Иногда он останавливался, как останавливается змея, подкрадывающаяся к лягушке, затем опять начинал медленно и плавно скользить. Наконец он приблизился настолько, что Доихара расслышал его дыхание. Нужно было только протянуть руку, чтобы коснуться ниндзя. И тут произошло такое, от чего у Доихара захватило дух: ниндзя вдруг споткнулся! Он даже взмахнул руками, стараясь не упасть, и сдавленно зарычал то ли от боли, то ли от неожиданности.

Доихара не видел предмета, вставшего на пути ниндзя, но знал, что на том месте над палубой торчит железный вентиляционный грибок. Это о него споткнулся ниндзя. Выходит, он не заметил препятствия? Но тогда что же это за ниндзя?! Настоящие ниндзя видят в темноте как днем, а этот споткнулся да еще зарычал, словно его прижгли раскаленным железом!..

Кровь отхлынула от щек Доихара. Только теперь он начал понимать происходящее. Перед его мысленным взором встало грозное лицо неумолимого поручика Хата, и это видение пересилило все страхи. Доихара вновь осознал себя настоящим японцем и верным солдатом императора. Сжав арисаку, он стремительно поднялся и, как на плацу, сделал выпад.

Он почувствовал, как штык вошел во что-то мягкое. В плоть. И это было последним земным ощущением солдата Доихара. Он не успел принять исходного положения: вырванная какой-то страшной силой, арисака отлетела в сторону, и Доихара услышал хруст собственных костей. Та же сила, которая перед этим вырвала у него из рук винтовку, сдавила его горло, и он умер прежде, чем обмякшее тело свалилось на палубу.

...Отпустив японца, Шергин разогнулся и прислушался. На танкере все было по-прежнему спокойно. Бились волны, порывами налетал ветер, и в один из промежутков Шергину показалось, что он услышал короткий не то всхлип, не то стон, донесшийся с кормы танкера, куда минуту назад ушел Федор Калинушкин. Звук был неясен и мимолетен, но Шергин нисколько не сомневался в его происхождении: там, в темноте, только что умер или умирал человек. Кто — этого Шергин не знал. Он был уверен в друге, но собственная оплошность поколебала его уверенность и заставила разведчика замереть в ожидании. С секунды на секунду тишина могла взорваться, и это означало бы, что Калинушкину не удалось спясть часового; в одинаковой мере события могли сохранить свой первоначальный ход, и это значило бы, что Федор жив и сейчас пробирается назад.

Прошла минута и другая. Недра корабля безмолвствовали. Шергин перевел дух, и тотчас острая боль пронзила бок и отдалась во всем теле. Оно налилось слабостью, на лице разведчика выступил холодный пот. Чтобы не упасть, Шергин ухватился за щит пушки и сполз по нему на палубу. Перед глазами поплыли радужные круги. Стиснув зубы, Влас усилием воли удерживал уходящее сознание. Постепенно слабость стала проходить, осталась только боль. Шергин расстегнул ватник, задрал гимнастерку, сунул под тельняшку руку. Нашупал рану. Она была мягка и нежна, как тело устрицы. Кровь вытекала из нее тонким горячим ручейком.

Зажав рану ладонью, Шергин другой рукой вытащил из кармана индивидуальный пакет. Зубами разорвал его, приложил к ране тампон, стал туго наматывать бинт. Ему казалось, что

под марлей тлеет кучка горячих угольев.

Шорох за спиной заставил Шергина позабыть о боли. Конечно, это мог быть только Калинушкин, однако на всякий случай разведчик вытащил нож. Но тут же спрятал его, услышав негромкий условный свист.

Шергин ответил. Темный силуэт выскользнул из-за пушки и приблизился к нему.

— Ну? — спросил Шергин.

— Капут махен, — коротко ответил Федор. Его, видимо, удивила странная поза Шергина. Он опустил рядом с ним на корточки и, разглядев повязку, встревоженно спросил: — Ты что?

— Пропорол, сволочь, — Шергин кивнул на труп Доихара.

— Сильно?

— Сильно не сильно, Федя, а дырка — вот она. Помоги замотать и тащи заряды. Придет смена, нам с тобой крышка.

Перевязав боцмана, Калинушкин помог ему подняться.

— Водка у тебя? — хрипло спросил Шергин.

— В мешке.

— Неси.

Калинушкин мгновенно растворился в темноте.

Шергин посмотрел на часы. Было половина третьего. Смена могла появиться или через полчаса, или в четыре.

«Вилка, — подумал Шергин, — и поди догадайся, когда будет накрытие. Придется рассчитывать на худшее, и, стало быть, у нас есть только полчаса. Даже меньше, потому что нужно успеть спуститься в лодку. Значит, минут двадцать. Хватит. Заряды готовы, а вставить трубки и поджечь шнуры — минутное дело. Федор еще раз прогуляется на корму, а он управится здесь. Заряды четырехкилограммовые, от пушки останутся головешки... Вот только бок. Надо же так нарваться! Как последний салага! Но кто думал, что этот косоглазый станет прятаться, вместо того чтобы караулить! Выскочил как черт из коробки. Хорошо, хоть не в точку попал. С перепугу, видно...»

Появился Калинушкин, волоча мешок с зарядами.

— На, — он протянул Шергину флягу.

Шергин отвинтил крышку и сделал несколько больших глотков. Водка была холодная и оттого почти безвкусная, и Шергин пожалел, что во фляге не спирт. Спирт лучше всего заглушает боль и действует быстрее, а для него сейчас главное — продержаться эти двадцать минут. А там можно будет просто бултыхнуться за борт, Федор выловит. Они быстро приготовили заряды.

— Давай на корму, Федя, — сказал Шергин. — Поджигай и вали назад. Времени у нас, сам знаешь, кот наплакал.

— Знаю, — сказал Калинушкин.

Взяв заряды, он уже собирался юркнуть в темноту, но не успел: ослепительно белый, почти космический свет вспыхнул у них над головами, опережая вой сирены и беспорядочные выкрики вскакивающих по тревоге людей.

6

Ун вел лошадь под уздцы. На дороге то и дело встречались лужи и колдобины, и кореец первым вступал в них, нащупывая ногами колею и осторожно направляя лошадь.

В двух шагах впереди ничего нельзя было разобрать, но это не особенно беспокоило корейца. Он хорошо знал дорогу и мог бы пройти по ней с завязанными глазами. Его тревожило другое — шум, который они создавала. Несмотря на все старания Уна, перед каждой ямой до предела замедлявшего движение, лошадь шлепала по лужам, как слон по болоту. Да и повозка гремела точно железная, когда колеса наезжали на камень или срывались в особенно глубокую рытвину.

Правда, пока это было не опасно, но скоро они должны были обогнуть озеро, и тогда часовой у плотины мог услышать шум.

«Нужно остановиться в лощине, — думал Ун. — Оттуда до плотины не больше половины ли. Я подожду, а тем временем русский убьет часового. Тогда мы подъедем и заложим бомбы...»

Сложные чувства владели корейцем.

С того момента, когда его, связанного, притащили на площадку и он увидел бесстрастные и суровые лица незнакомых людей, одетых в пятнистую невиданную одежду, он понял, что его путь каким-то неведомым образом пересекся с их судьбами.

От незнакомцев веяло такой силой, таким спокойствием и скрытой опасностью, что, будь познания корейца обширнее, он принял бы этих людей за существ с иной планеты. Но такая мысль не приходила ему в голову. Он был неграмотным крестьянином и не подозревал о многообразии и бесконечности вселенной, равно как и о существовании многих высоких понятий и категорий. Если бы у него спросили, что заставило его согласиться на участие в смертельном и рискованном деле, он не ответил бы. Не думая о сути и взаимосвязи явлений, он следовал какому-то внутреннему позыву, который внушал ему уверенность в правде его решений и поступков. И эту правду он впервые почувствовал в голосе и прочел в глазах никогда им ранее не виданных людей. Он мог бы не вернуться к ним и даже предать их, но не сделал ни того, ни другого, и, шагая по темной дороге, проваливаясь в рытвины и ухабы, вымокший и уставший от непривычного внутреннего напряжения, он тем не менее перебарывал его и думал лишь о конечной цели так внезапно свалившегося на него дела.

Он не сомневался в успехе. Только случайность или чрезвычайные обстоятельства могли помешать им выполнить задуманное. Но никаких помех пока не было и, как ему казалось, не предвиделось. Они все сделали чисто. Никто не видел, когда они выехали. Ун не такой дурак, чтобы ехать старой дорогой. Он провел лошадь по воде, а на ней следов не остается. Склад они закрыли, а труп часового спрятали. Его можно искать хоть до конца жизни. А кровь смоем дождь. Летчики в казарме? Они тоже ничего не видели. Они перепились и горланили свои песни. А что им делать еще? Их ожидает последний полет. Их нагрузят бомбами, и они спикуруют на палубы кораблей. Они сумасшедшие, эти летчики. У них у всех белые глаза... Часовой на плотине? Русский убьет его. Это не человек, а демон. Часовой у склада даже не

вскрикнул, когда русский ударил его ножом. Так будет и на плотине. Никто не увидит их. Ночь. Солдаты спят, а когда бомбы взорвутся, Ун и русский будут уже далеко. Он отомстит за брата. И за всех тех, кого японцы утопили в ту страшную сентябрьскую ночь, воспоминания о которой преследуют его, как кошмар.

...Ун был третьим ребенком в семье. А всего детей было восемь, и, конечно, семье жилось нелегко. Но все же у них было свое жилье и крохотное поле, на котором они выращивали чумизу и гаолян. После работы все собирались в доме, ели лук и бобы, а потом женщины садились плести соломенные сандалии для продажи, а мужчины собирались у себя, чтобы покурить и послушать рассказы отца.

Так шли годы, и ничто не менялось в деревне, но однажды из города приехал чиновник и объявил о мобилизации. Япония готовилась к войне, и нужно было строить укрепления. На работы забирались все здоровые мужчины от восемнадцати до сорока пяти лет. Так Ун с братом оказались на островах.

Вместе с другими рабочими они долбили твердую как камень землю, рыли котлованы, пробивали тоннели и подземные переходы. Работали с утра и до вечера, и с утра и до вечера их охраняли молчаливые солдаты с короткими винтовками за спиной. Иногда на стройку приезжали какие-то военные, и в такие дни рабочим совсем не давали разогнуться.

Ночью в бараках кое-кто поговаривал, что надо бежать со стройки, но таких слушали с недоверием и опаской. Да и как можно было убежать с острова, когда кругом было море Единственное, чем утешали себя измученные непосильной работой люди, так это воспоминаниями о прежней жизни, которая теперь казалась им раем. Ун с братом спали па нарах рядом, и бывало, что всю ночь они проводили за разговорами о далеком доме, о сестрах и братьях, оставшихся в родной деревне.

Так было и в ту темную душную ночь. Уже почти все спали, когда в барак пришли солдаты. Они подняли рабочих, вывели их на улицу и строем повели куда-то. Пронесся слух, что всех отправляют на родину, и люди радостно переговаривались, не замечая ни дождя, ни порывов ветра. Колонну привели на берег. Желтые фонари раскачивались над пирсом, возле которого темнел силуэт причаленной баржи.

Рабочих посадили в трюм. Он был сырой и холодный, но на это никто не обращал внимания. Всем хотелось домой, под синее небо. Трюм закрыли, над головой прогрохотали по палубе солдатские ботинки, а катер потащил баржу в море. Волны швыряли ее, и скоро у большинства начались приступы морской болезни. Стоны людей заглушались хлюпаньем волн, грохотом и скрипом расшатанных переборок. Никто не знал, сколько уже прошло времени; никто ни о чем не думал. Прижавшись друг к другу, люди оступело ждали конца своих мучений.

И вдруг кто-то закричал, что в трюм прибывает вода. Поднялась паника. Все вскочили и стали колотить в переборки. Многие бросились к люку. Но он был закрыт снаружи. А вода прибывала. Теперь уже все слышали ее зловещее клокотание. Вопли людей, которых обуял ужас смерти, слились в один звериный вой.

Оторванный в суматохе от брата, Ун вместе с другими метался и кричал в темноте трюма, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку. Но ее не было. Повсюду Ун натывался на железо.

Баржа погружалась. Вода уже доходила до груди и продолжала прибывать. Не выдержав ее напора, со звоном лопнула одна из переборок. Ун устремился к пролому. Чьи-то руки цеплялись за него, но он отдирали их от себя, с безумной яростью пробиваясь вперед. Срывая с

тела куски кожи, он протиснулся в пролом. Здесь, за переборкой, вода доходила уже до потолка, и, плавая в ней, Ун случайно уцепился за какой-то рычаг. Он рванул его и с бешеной радостью ощутил, как над головой открылась узкая горловина, в которую со свистом устремился оставшийся в барже воздух...

Над морем стояла крошечная тьма. Баржа уже едва возвышалась над водой, и Ун не раздумывая прыгнул за борт. Он плыл до тех пор, пока не почувствовал, что силы и сознание оставляют его. Некоторое время он еще пытался удержаться на воде, но тут в голове у него вспух и лопнул раскаленный добела шар...

Очнулся он на берегу. Возле Уна, рассматривая его хитрыми сощуренными глазами, сидел пожилой японец. Когда Ун подкрепился чашкой горячей сакэ, японец рассказал ему, как он на своем кавасаки подобрал Уна в море. Видимо, японец догадывался кое о чем и раздумывал, как ему поступить. Он не собирался укрывать Уна, но времена наступали тяжелые, ему требовался бесплатный работник. Так Ун сделался батраком. А когда сына хозяина призвали в армию, вместо него пошел служить Ун. Чиновников, получивших от хозяина Уна солидный куш, не интересовало ни прошлое вновь испеченного рекрута, ни тем более его будущее...

Не догадываясь о переживаниях своего помощника и провожатого, Мунко сидел на повозке и следил за тем, чтобы бомбы не бились друг о друга, когда колеса проваливались в очередную рытвину. Ненец был доволен. Он наконец-то развязал и выбросил повязку и снова чувствовал себя мужчиной.

Все идет так, как сказал командир. Они приехали, и Ун спрятал Мунко. Хорошую нору сделал. Тепло в ней, как в чуме. Мунко не замерз, пока дождался. А потом Ун пришел и повел его к складу. Часовой глупый. Сидел как хабэво [34] под снегом. И умер как глупец. Они открыли дверь и взяли бомбы. И теперь едут. Долго, однако. Командир беспокоиться будет. Но разве виноват Мунко? Даже старуха Парнэ [35] не увидит сейчас дорогу. Только Ун увидит. Настоящий человек Ун. Мужчина.

Повозка внезапно остановилась. Думая, что они приехали, Мунко соскочил на землю. Уна не было видно. Мунко наугад двинулся вперед и наткнулся на корейца. Тот стоял рядом с лошадей, зажимая ей морду руками. Разглядев Мунко, он прижал к губам палец.

Мунко затаил дыхание. Сначала он ничего не услышал, по спустя мгновение сквозь шелест дождя до слуха донеслись чьи-то громкие голоса. Кто-то шел навстречу повозке.

Медлить было нельзя. Ун потянул лошадь в сторону. Не чувствуя под ногами наезженной дороги, она заупрямилась, замотала головой, пытаясь вырваться из рук ездового. Но Ун был начеку. Он быстро схватил лошадь за нижнюю губу и с силой перекрутил ее. Подчиняясь боли, лошадь послушно пошла за корейцем. Въехав в траву, они остановились и замерли. Загородив собой корейца, Мунко вытащил нож. Судя по голосам, двое или трое людей прошли мимо них и стали удаляться. Немного подождав, Ун снова вывел лошадь на дорогу. Мунко занял свое место на повозке, и они поехали дальше.

Встреча насторожила и обеспокоила обоих. Но в отличие от Мунко, устремившего все внимание вперед, Ун думал теперь и о тыле. Он знал определенно, что им встретились солдаты, караульные с плотины, которым что-то понадобилось на озере. Они могли вернуться в любое время и помешать диверсии. Их приход мог явиться той самой случайностью, которую кореец в своих планах практически скидывал со счета.

Была и еще одна причина для беспокойства. Солдаты могли задержаться на озере, и тогда Ун

рисковал столкнуться с ними на обратном пути. Конечно, он будет наготове и постарается первым обнаружить солдат, но может случиться и наоборот. Тогда при всем желании он не отвертится. Ездовой, без надобности путешествующий ночью, — одного этого хватит для обвинения. Когда же взлетит плотина, с ним и вовсе перестанут церемониться. А средства развязать ему язык у японцев найдутся...

Но, несмотря ни на что, намерения Уна не изменились. Он лишь чаще оглядывался назад, всматриваясь и вслушиваясь в окружающий дорогу мрак. Наконец, различив что-то, снова свернул на обочину. Повозка накренилась, подпрыгнула раз-другой и встала.

Мунко почувствовал на своем локте руку Уна. Ненец спрыгнул, и они сошлись в темноте, словно заговорщики.

Плотина была где-то рядом. Ее с головой выдавал шум падающей с высоты воды. Но, видно, перепад уровней и напор были небольшими, потому что плеск перекрывало ровное мощное гудение, словно поблизости вертелись крыльчатки вентиляторов или насосов. Впрочем, так могло и быть, если, кроме плотины, здесь располагалась еще и водокачка.

Показав рукой в направлении шума, кореец изобразил затем шагающего часового и дотронулся до висевшего на поясе Мунко ножа. Разведчик понял его. Откинув с головы капюшон маскхалата, он скрылся в темноте. Ун достал из повозки торбу с овсом, подвесил ее лошади на шею и приготовился ждать.

Долго разыскивать плотину не пришлось. Преодолев кочковатое болотце, Мунко, не задерживаясь, перемахнул через какую-то канаву и уперся в начало дамбы. Здесь он залег и стал вслушиваться в плески и гудение.

Но вскоре он понял, что выбрал неудачное место. Он видел только начало плотины, вернее, один из ее концов; другой же был скрыт от него. Подумав, Мунко решил перебраться к середине дамбы, но вспомнил, что этого сделать не удастся: под дамбой проходила река. Оставалось одно — подняться наверх.

Распластываясь, вжимаясь в дерн, ненец, как паук по стене, пополз по откосу. Через минуту разведчик оказался у цели. Один только шаг отделял его от верхнего основания усеченной земляной пирамиды. Если часовой находился поблизости, этот шаг мог оказаться для Мунко последним. И он не торопил события.

Прислонившись ухом к земле, он старался уловить хотя бы малейшее колебание почвы, которое подсказало бы ему местоположение часового. Гудение мешало ненцу, но он заставил себя не обращать на него внимания, весь сосредоточившись на одном. Однако ни единый звук не выдавал присутствия поблизости человека.

И тогда Мунко решил выглянуть. Его голова поднялась над краем дамбы, словно над бруствером. Но как ни кратковременно было это движение, кошачьи глаза ненца успели разглядеть часового. Тот бесформенным черным силуэтом маячил в дальнем конце дамбы.

Мунко позволил себе расслабиться. Теперь, незамеченный и невидимый, он мог играть с часовым, как кошка с мышью. Но не больше, потому что снять его Мунко не мог: ни он, ни оставшийся на дороге кореец не знали, когда японцы сменяют посты, и всякий риск по этой причине был равносителен самоубийству. Только это и спасало часового от немедленной и мгновенной смерти. Как ни велико было искушение Мунко расправиться с постовым, он приказал себе пока не думать об этом. Человек, которого он должен был убить, еще спал в

караульном помещении и вряд ли предчувствовал, что смерть уже поджидает его.

Время над плотиной остановилось. Разгоряченное тело Мунко начало остывать, разведчика мучила жажда. Рядом текла река, но Мунко старался не думать о ее прохладной живительной влаге. Любое неосторожное движение могло выдать ненца с головой, а он согласился бы умереть, чем провалить задание. Он лизал мокрую траву и, не сводя глаз с часового, дожидался прихода смены.

Вместе с ожиданием росло беспокойство о корейце, который в полном неведении сидел сейчас под дождем и нервы которого могли не выдержать выпавшей на их долю нагрузки. А без помощи корейца задача Мунко усложнялась во много раз. Но, вспоминая все, что сделал Ун за прошедший день, Мунко успокаивался и вновь принимался лизать траву.

Часовой между тем уже не стоял на месте, а расхаживал взад-вперед по дамбе и проявлял все признаки нетерпения, которые проявляют караульные, когда смена задерживается. Японец проходил так близко от Мунко, что тот явственно ощущал исходящий от часового тяжелый запах мокрой одежды, давно не стиранного белья и немытого тела. Чужие запахи раздражали Мунко, и он едва сдерживался, чтобы не отворачиваться при приближении часового.

Наконец впереди послышались шаги и голоса. Часовой что-то крикнул и трусцой поспешил навстречу идущим. Процедура смены заняла не больше минуты. Скороговоркой были сказаны обязательные фразы, и новый караульный занял свое место, завистливо провожая смененного, который, забыв о только что перенесенных невзгодах, шагал за разводящим к караульному помещению, где его ожидали несколько часов безмятежного сна.

Мунко воспрянул. Вынув из-под пилотки какую-то тряпицу, он насухо вытер руки и достал нож.

7

Добравшись до моста, Иван Рында с обстоятельностью, которой всегда отличались его действия, осмотрел «объект». Мост был как мост — полтора десятка бревен, скрепленных квадратными железными скобами. Расположен он был и в самом деле удачно: справа от дороги начинался обрыв, слева лежали болотистые непропуски.

«Сюда бы пулеметик, — подумал Иван, — можно было бы дров наломать».

Окончив осмотр, он занялся делом — вынул и стал налаживать самодельную мину. «Самodelки» были страстью Ивана. Еще в партизанском отряде он без конца мастерил их и достиг в этом занятии выдающихся результатов. Его тяжелые руки, которыми он без содрогания перерезал горло немецким часовым, оказались специально созданными для возни с проводками и взрывателями. Через эти руки прошли тысячи мин, гранат и снарядов, и ни один взрыватель в них не сработал преждевременно.

Установив мину, Иван выбрал местечко посуше и лег, положив рядом автомат и две «лимонки» на всякий случай. Несколько минут он ворочался в траве, устраиваясь поудобнее, и наконец утомился. И сразу же до смерти захотел курить. Чтобы как-то отвлечься от мысли о куреве, Иван достал самодельный наборный мундштук и по старой партизанской привычке принялся грызть горьковатый, пахнущий табаком черенок. Конечно, если бы не святой закон разведчиков — не курить на задании — он бы высосал втихую махорочный «гвоздик», тем более что в такой глуши и под таким дождем ни один самый чуткий нос не унюхал бы дыма. Но уговор, как говорят, дороже денег, и Иван стойко переносил муки табачного голода. Гораздо больше его не устраивало само задание. Подумаешь, заминировать мост! Он не считал это

событием и с горячностью молодости завидовал Калинушкину и Шергину. У тех действительно было дело.

Еще днем, когда они наблюдали за танкером, Иван в глубине души надеялся, что взрывать пушки пошлют его. Он уже представлял, как лезет на борт, как снимает часового и закладывает заряды. Но командир рассудил по-своему. Послал Калинушкина и Власа, и по этому поводу Иван ничего не мог возразить. Ребята что надо, кому хочешь рога свернут. Но с пушками лучше управился бы он. С плотиной дело другое. Тут как ни крути, а Мунко никем не заменишь. Вылитый самурай.

Иван вспомнил кислую физиономию ненца, когда тот, наряженный, предстал перед разведчиками, и рассмеялся. Картина!

Но командир рисковал. А если бы тот фрукт не вернулся? Сливай воду — их взяли бы голыми руками. Ну не совсем, конечно, голыми, кое-кого и они бы «уговорили», не маленькие. Но ведь вернулся! И с Мунко поехал. Может, там и продаст? Нет, не продаст. По морде видно. За брата мстит. Командир сразу все понял. А они как бараны упирались. Командиру бы орден за это. Получит, дай только вернуться. И им что-нибудь обломится, по «Звездочке», как пить дать.

Иван подумал о «Звездочке» не случайно. Была у него такая «хитрая» примета — желать одного, а говорить о другом. Этим он как бы приманивал к себе удачу, убеждал себя в том, что случится то, о чем помалкиваешь.

Ему, например, хотелось иметь медаль «За отвагу». Была у него и «Звездочка», и «Знамя» было, а «За отвагу» не было. Не представляли Ивана к этой почетной медали. Один раз даже к «Славе» представили, да не утвердил какой-то штабист наверху. Сопливый еще, сказал. Командир жалобу писал, а потом его ранило. Так и накрылась «Слава». И даже медалью не заменили, тыловые крысы. Поползали бы сами на брюхе, небось подобрели бы...

Передумав обо всем, Иван начал томиться. Ни одного постороннего звука не слышалось вокруг, ни единой живой души не ощущалось возле. Шумело под обрывом море, сыпал и сыпал дождь.

А между тем лишь минуты отделяли шестерых людей от роковых событий, от того момента, когда непрочная цепь обстоятельств и причин начнет раскручиваться, словно сорванная с катков танковая гусеница.

Уже готовился к обходу постов японский поручик.

Уже Мунко, сняв часового, закладывал в плотину бомбы.

Уже навстречу своей судьбе ехал по темной дороге кореец Ун.

Но еще спал в своем бронеколпаке прикованный к пулемету солдат-камикадзе, который через несколько минут пошлет в грудь Мунко смертельную очередь.

Еще стояли в ангарах холодные танки, которых встретит у моста двадцатитрехлетний Иван Рында.

Еще не была дослана в ствол миномета мина, которая ранит Баландина.

Но эти минуты истекали, и, когда последняя канула в вечность, над миром грянули автоматы.

Они гремели, как набат, как аккорды торжественного реквиема, оплакивая мертвых и прославляя живых...

Боль и отчаяние захлестнули душу Ивана Рынды.

Обратившись в ту сторону, где над морем, как следы метеоров, метались и гасли на лету огненно-белые трассы, он по грохоту и доносившимся крикам пытался представить себе ход так неожиданно начавшегося боя.

Еще минуту назад ничто не предвещало его; теперь же боевые звуки становились все громче и ожесточеннее, все беспощадней и сильнее; и эта беспощадность, это непрерывное нарастание огня не могли продолжаться вечно. Они требовали исхода, и этим смертным истечением могла стать только гибель Калинушкина и Шергина. Что могли сделать двое, пусть сильных и отважных, людей против сорока или пятидесяти солдат, поднятых среди ночи, растерянных и напуганных, преодолевавших сейчас этот страх и растерянность и потому злых и одержимых жаждой расплаты?

Но сердце Ивана, ожесточившееся в войне, испепеленное огнем бесчисленных страданий и потерь, восставало против гибели близких и дорогих ему людей, и он с надеждой вслушивался в шум и грохотанье схватки, шепча страстные и неразборчивые слова.

Треск и гул в океане достигли той силы, по которой можно было определить, что развязка приближается. Затем и гул и треск смолкли, и сердце Ивана сжалось от предчувствия и безысходной тоски. Он не хотел верить, что все уже предрешено там, на танкере, и не знал, что в эти минуты Калинушкин переползает на другую позицию, а почти теряющий сознание окровавленный Шергин спускается по трапу в теснины артиллерийского погреба.

Теперь время не тянулось — летело. Тьма уступила место предрассветному сумраку. Светлые полосы тут и там засветились на небе, и стали видны пунктирные струя отвесно падающего дождя.

Остров ожил. Смутный гул, словно гул начинающегося землетрясения, зародился в его недрах, вырываясь и выплескиваясь наружу в дальних и ближних концах молчавшего дотопе массива. То был гул спешно передвигавшихся людских масс, застигнутых взрывами и занимавших теперь свои места в капонирах, в траншеях, у амбразур, где, слепо уставясь в сумрак, людей дожидались мертвые и потому бесполезные пока агрегаты войны. Им требовалась цель и программа, и она уже задавалась им, но лязг орудийных замков и скрипы поворотных устройств и механизмов не слышались за расстоянием; все вбирал в себя и заполнял низкий, как рокот моря, гул.

Когда же умолкнувшие было крики вновь огласили ночь, их нетерпение и ярость заглушила превосходящая их ярость одинокой автоматной очереди.

Трагичность услышанного потрясла Ивана. Только обреченное существо могло издать такой высокий и безысходный звук. И когда он внезапно оборвался, тишина обрушилась на мир, как обвал. Ее безмолвие заполнило земные пространства и сферы, и стали слышны торжествующие клики победителей. Они множились и нарастали, когда хлябь океана разверзлась. Белый протуберанец поднялся над притихшей водой и с немислимой быстротой рванулся в небо. Мгновенье был виден его кометный, дрожащий и вихляющий хвост, затем над морем прокатился и упал удар чудовищной силы.

И сердце Ивана облилось кровью, и слезы оросили лицо... И как продолжение, неподалеку длинно и зло ударил автомат. Иван замер. Он еще надеялся, что эта очередь была случайной,

но вскоре надежды покинули его: автомат заработал как заведенный, к нему присоединился другой, и отзвуки новой схватки коснулись обостренного слуха разведчика.

Сомнений не оставалось: бой вели Баландин и Одинцов. И тогда Рында поднялся. Беспольный и никому не нужный мост, у которого он провел в бездействии столько часов, был ненавистен ему. Как некое существо, от которого исходили все неудачи и зло. И, яростно погрозив его ослизлым сваям и бревнам, Иван ринулся туда, где, перебивая друг друга, строчили и строчили автоматы.

Он не пробежал и двадцати шагов: вдруг все сместилось и стало не собой — и гром стрельбы, а гул движения. И словно занавес упал сверху, отгородив полмира, впитав в себя его дыхание и пульсации. Из-за спины дохнуло гарью; призрачный колеблющийся свет прорвал мокрую серую мглу и заметался под небом. И тяжкий лязг возник вдали, приближаясь и нарастая, как рев камнепада...

8

Молва не ошибалась, утверждая, что поручик Хата не спит по ночам. Единственного отпрыска древней самурайской фамилии действительно мучила бессонница.

Пять лет, проведенных без отпуска в казармах и казематах среди серого солдатского быдла, основательно расшатали нервную систему поручика. Редкие и по большей части случайные развлечения не компенсировали хронической усталости. Мало чем помогали и офицерские клубы. Любой вечер там, как правило, кончался попойкой, а среди офицеров почти невозможно было найти по-настоящему культурного человека. Войне не предвиделось конца, и кадры все чаще пополнялись наспех обученными унтер-офицерами, большинство из которых были абсолютными невеждами и солдафонами. Поручик Хата сторонился их. Свое одиночество он восполнял поэзией. У него была чувствительная, экзальтированная натура, а божественная гармония старинных танка [36] как нельзя лучше способствовала его душевному настрою. Поэтому поручик повсюду возил с собой изящные пергаментные томики, украшавшие некогда стены семейной библиотеки.

Надо ли говорить, что на танкере чтение стало единственной отрадой и страстью поручика Хата. Конечно, днем у него не было для а того времени. Всё отнимали дела. Солдаты, лишённые последних удовольствий, все больше и больше распускались, появились случаи вольнодумства и невыполнения приказаний, и поручику приходилось железной рукой приводить непокорных к повиновению. Он до предела насытил программу занятий, справедливо полагая, что загруженному человеку не придет в голову раздумывать о сложностях и противоречиях бытия, и целыми днями муштровал солдат, отрабатывая учебные задания.

Зато ночью, когда измученные солдаты укладывались спать, поручик запирался в своей каюте и, отрешившись от всего земного, погружался в чарующий мир поэтических образов. Засыпал он обычно перед рассветом, а нередко и вовсе не смыкал глаз; однако, появляясь утром на палубе, бывал неизменно свеж и непроницаем. Побеждают лишь сильные. Кто слаб — пусть уйдет в вечность. Так считал поручик Хата, так повелевал Бусидо, закон самураев.

Этой темной и ненастной ночью поручик по обыкновению не спал. Снаружи завывал ветер, и шумело на рифах море, но поручик не замечал неистовства стихий. Удобно расположившись в глубоком кожаном кресле, оставшемся в каюте от старых хозяев, он наслаждался безукоризненным строем и напевностью стихов. Поги поручика, укутанные толстым футоном [37], согревала анка [38]; тепло от нее приятно растекалось по всему телу. Время от времени

поручик откладывал книгу в сторону и, прикрыв глаза, осмысливал прочитанное.

Как песок сквозь пальцы, текли минуты, часы. Угасала и вновь возрождалась жизнь, гибла осмеянная и поруганная любовь, рушились святые узы товарищества, предавалась анафеме добродетель. Миром правило зло. Люди безбоязненно творили грехи, а искупления не было. Поэт, живший тысячу лет назад, хорошо понимал это. Но поэт призывал убить зло в человеческой душе, и это было ошибкой. Ибо, убивая в человеке зло, лишаешь его силы. А что может бессильный?..

Поручик захлопнул книгу. Надо было идти проверять посты. Не хотелось вылезать из футона и выходить на дождь и ветер, но поручик решительно подавил всякие колебания. Долг превыше всего. С этих скотов солдат нельзя спускать глаз, так и норовят сделать какую-нибудь гадость. Плохо ухаживают за оружием, отлынивают от всякой работы, а в последнее время дело дошло до того, что стали спать на посту. Правда, пойманные на всю жизнь запомнят полученный урок — каждому из них дали по сто палок, — однако это вряд ли научит остальных. Нужны более действенные меры, и он, поручик Хата, прибежит к ним. В следующий раз виновных просто-напросто обезглавят...

Поручик жестко усмехнулся, словно уже видел лежащие в корзине отрубленные головы, затем стал одеваться. Проверив напоследок, исправно ли действует фонарик, он вышел из каюты.

Тяжелый шум накатывающихся на судно валов заложил уши. Было темно, как в мешке, однако, присмотревшись, поручик различил в темном месиве вола более светлые участки — рифы, вокруг которых вздымались белые каскады брызг. Рифы сопротивлялись напору ветра и воды, но время от времени какая-нибудь крупная волна переваливала через барьер и ударяла в танкер. Судно вздрагивало. Дрожь доходила до палубы, и в разных местах на ней начинало что-то скрежетать, перекачиваться, елозить.

Постояв у двери и освоившись с новой обстановкой, поручик осторожно спустился по трапу на палубу.

Дьявольская ночь... Видно, не в духе старик Сумиёси [39] — в таких волнах могут резвиться разве что водяные — каппа [40]...

Знакомый с детства по рассказам бабки образ пучеглазого, чешуйчатого и перепончатого водяного четко предстал в живом воображении поручика. Впрочем, вряд ли и каппа сейчас удержится на плаву — такие волны вышвырнут хоть кого. И тогда крышка водяному: ведь вода, которую он как величайшую драгоценность хранит в ямке на голове, выльется, и каппа поверяет свою силу. Как этот русский танкер.

Поручик прищелкнул пальцами. Ему понравилось пришедшее в голову сравнение. Кстати, почему бы не закодировать танкер — «Мертвый каппа»? Оригинально и в чисто японском духе. Нужно будет подсказать это дуракам, сидящим в штабе, у которых при рождении кастрировали всякое чувство поэзии...

Здесь мысли поручика прервались, потому что он вдруг уяснил, что двигается явно в северо-западном направлении. А только сумасшедший или невежда, незнакомый с магией чисел и звезд, рискнет выбрать — да еще ночью! — северо-запад — направление, всегда считавшееся несчастливым, открытым для вторжения демонических сил.

Хата остановился. Еще не поздно было вернуться назад и проследовать привычным маршрутом, но поручик был настолько же упрям, насколько и суеверен. Не в привычках

самурая сворачивать с избранного пути. К тому яге это довольно забавно — появиться с той стороны, откуда тебя не ждут. Часовые наверняка наложат в штаны. Но если они спят — горе им!..

Соблазн захватить часовых спящими заставил поручика позабыть о приметах и магии. Не раздумывая больше о последствиях, он двинулся дальше.

Тьма как будто до предела сгустилась над танкером, но поручик свободно ориентировался среди встречающихся на его пути препятствий. Фонарик он не зажигал — свет понадобится ему в последний момент, чтобы осветить заспанные, дрожащие хари и насладиться мгновенным страхом в вытаращенных, бессмысленных глазах часовых. О, это будет превосходный спектакль!

Из темноты, словно скала, надвинулся массивный силуэт ходовой рубки. Поручик уже не шел, а крался, и, едва в густой тени проступили очертания оружейных стволов, он замер, как легавая, делающая стойку. Ноздри поручика трепетали, он с трудом одерживал дыхание, стараясь расслышать шаги часового или увидеть его самого. Но возле пушек не угадывалось никакого движения.

«Спит, — со злобной радостью подумал поручик. — Спит, ублюдок!» Он был почти счастлив от того, что его предположения сбывались и что на этот раз никакие силы не спасут преступника. Довольно сдюжества! Утром перед строем произведут экзекуцию. Пора напомнить не только солдатам, но и кое-кому наверху, что решительные поступки всегда были в традициях нации ямато... Но где же все-таки часовой?

Поручик обошел первое орудие. Никого. Зато у второго он тотчас наткнулся на того, кого искал. Привалившись плечом к станине орудия, часовой спал как убитый. Он сидел на корточках, согнувшись в три погибели, но, видимо, не испытывал никакого неудобства. Винтовка валялась рядом, и это обстоятельство вызвало особую ярость поручика.

Негодяй! И такой мрази дозволили защищать интересы империи!

Бешенство душило поручика. Он шагнул к часовому и изо всех сил ударил его ногой в бок. Он ясно услышал, как екнула селезенка в утробе спящего, но часовой не пошевелился. Он лишь бесчувственно мотнул головой.

Поручик не верил себе. От такого удара пробудился бы мертвый, а этот троглодит только рыгает, как обожравшаяся свинья! Пьян?! Ну конечно пьян! Фельдфебель Кавамото давно предупреждал, что солдаты неизвестно где достают сакэ и напиваются, но он пропустил тогда слова фельдфебеля мимо ушей. В таких условиях даже солдатам необходима разрядка. Но пить на посту!..

Вконец разъяренный, поручик схватил часового за волосы и направил ему в лицо свет фонаря. То, что он увидел, было неправдоподобно, чудовищно, кошмарно: солдат был мертв. Об этом свидетельствовали страшная гримаса на лице и рана на шее, из которой ровной струей била густая черная кровь...

Поручик Хата почувствовал себя на грани безумия. К горлу подступила дурнота. Он с ужасом отдернул руку. Потеряв равновесие, труп запрокинулся навзничь, гулко стукнувшись головой о палубу. Поручик смотрел на него остановившимися, расширенными глазами. Он был как в столбняке. Фонарик все еще горел в руке поручика, освещая большую темно-красную лужу, медленно растекающуюся по палубе. Один из языков, извиваясь точно живой, пополз прямо к ногам поручика. Брезгливо передернувшись, Хата отступил назад. К нему возвращалась

способность действовать и соображать. Он погасил фонарик и вытащил пистолет.

Итак, на танкере враги — демоны не оставляют таких страшных ран. Часовой убит недавно, кровь еще не запеклась. Идти на второй пост бессмысленно. С часовым там, вероятно, тоже покончено, и нет никакой гарантии, что в темноте сам не нарвешься на нож. Надо действовать быстро и решительно. Диверсантов наверняка немного, иначе они уже подняли бы шум. Это, конечно, русские, и, конечно, их интересуют пушки. Танкер для них как бельмо на глазу. Надо немедленно поднять тревогу. Стрелять? Глупо, только обнаружишь себя. А диверсанты, как известно, владеют оружием в совершенстве... Куда смотрит дежурный в рубке?! У него под носом убивают часовых, а эта скотина и ухом не ведет! Мерзавцы! Ни на кого нельзя положиться!.. Скорее в рубку! Включить прожекторы и объявить тревогу. Правда, освещать танкер ночью категорически запрещено, но он плевать хотел на эти запрещения. Как говорит фельдфебель Кавамото, козе не до любви, когда хозяин нож точит...

Перешагнув через труп часового, поручик кинулся к рубке, нащупал поручень трапа. Он опасался, что опоздает, но заставил себя не спешить, боясь сорваться и загреметь. Благополучно миновав трап и крыло мостика, поручик рывком открыл дверь рубки и, оттолкнув поднявшегося ему навстречу дежурного, включил рубильник...

9

Мунко все не мог убить часового у плотины. Словно чувствуя взгляд ненца, солдат беспокойно озирался и никак не хотел подходить к краю, где в траве затаился разведчик. Всякий раз, пройдя в дальний конец дамбы, часовой поворачивал назад и, как заговоренный, останавливался у незримой черты, отделявшей его от смерти.

«Ну иди, чего не идешь?» — про себя твердил Мунко и поднимал нож, но японец поворачивал обратно.

Мунко опускал руку и вновь распластывался на земле.

«Крадешь, однако», — думал он.

Но время шло, а часовой по-прежнему оставался вне досягаемости.

Мунко начал беспокоиться. Ночь давно вступила в свои права, а дело пока еще не сдвинулось с мертвой точки. Тогда, предприняв очередную безуспешную попытку снять часового, ненец решился на отчаянный шаг — пробраться к противоположному концу плотины. Взяв нож в зубы, Мунко пополз по скользкому и крутому скосу. Насколько он длинен, разведчик не знал. Может быть, скоро дерн кончится и начнется бетонное тело плотины, а может, все перекрытие сделано из земли.

«Лучше из земли, — думал Мунко, — по камню плохо ползти, однако».

Но разочарование наступило гораздо раньше, чем Мунко предполагал: едва он прополз десяток метров, как рука наткнулась на какой-то столб. Сердце Мунко екнуло от предчувствия. Это не мог быть случайный столб, в таких местах просто так столбы не ставят.

Осторожно, словно отрастающие олени рога, Мунко начал ощупывать столб. Его рука сантиметр за сантиметром продвигалась по шершавой поверхности, пока пальцы не наткнулись на острый и холодный шип. Мунко отдернул руку.

Заграждение. Проволока, которой он за глаза навиделся за четыре года войны. Три года она чуть ли не каждый день вставала на его пути, а теперь преграждала дорогу к единственному месту, где он мог без риска убить часового. Упрямого и из-за этого ставшего ненавистным часового.

Вдоль заграждения Мунко спустился вниз. Проволока тянулась и сюда, отгораживала подходы к плотине и пропадала в реке. Все было знакомо и сделано по правилам фортификационной науки. Лишь электрический ток «забыли» подключить к проволоке ее создатели, не думая и не гадая, что когда-либо в их дом явится без приглашения русский разведчик.

А разведчика между тем терзал самый настоящий страх. Лежа у воды, Мунко мучительно искал выход из создавшегося положения. Подняться на дамбу он не мог — часовой сразу заметит его. Надеяться, что рано или поздно японец подойдет поближе, тоже не приходилось. И так уже был потерян час. Оставался последний путь — через реку.

Но здесь железная натура ненца не выдерживала. Он панически боялся воды. Это качество родилось вместе с ним и было неотъемлемой частью его существа, как и бесстрашие во всех других случаях. Весь народ Мунко боялся воды. Но боязнь эта была не страхом смерти, а боязнью самой по себе, объяснение которой выходило за рамки общедоступного. Так в ужасе кричит мартышка, завидев ползущую в листве змею; так зверь бежит пламени. И лишь одна-единственная сила способна победить эту боязнь — разум. И Мунко обратился к нему.

Медленно текла темная река. С этой стороны она подходила к плотине, и преграда сдерживала естественный ход потока, о чем свидетельствовали крутящиеся впадины воронок, то возникавших вдруг у краев, то так же внезапно исчезающих. И что-то вечное было в уходах и приходах этих мгновенных образований, какая-то близкая связь.

Мунко безоглядно вступил в воду. Она облегла его тело, упорно и настойчиво толкала к подножию плотины, где, словно над входом в местный Аид, клубилась беспросветная тяжкая мгла. Как водолаз расставляя ноги, Мунко балансировал на илистом дне, шаг за шагом продвигаясь вперед. Вода медленно, но неуклонно поднималась. Сначала она плескалась где-то на уровне пояса, потом мягко сдавила грудь и теперь подбиралась к горлу, ударяя в нос затхлым запахом тины. Собравшись с духом, Мунко оглянулся. Берега не было видно. По горло в воде, ненец стоял на середине реки, не отваживаясь ни вернуться назад, ни следовать дальше. Дно продолжало понижаться, а плавать Мунко не умел.

И все-таки он шагнул. И с головой ушел под воду, успев судорожно хватить ртом воздух. Этот запас и запас легких и вытолкнули его наружу. Он забарахтался в воде, нечеловеческим усилием сдерживая рвущийся из груди крик. Течение подхватило ненца и повлекло его к плотине. Погружаясь и выныривая, Мунко отчаянно боролся за жизнь.

Его спасла близость плотины. Протащив разведчика несколько метров, течение прибило его, полузахлебнувшегося, к дамбе, ударило обо что-то железное. Это «что-то» было фланцем трубы, заменявшей японцам один из шлюзов, и за него мертвой хваткой ухватился Мунко. Вода засасывала его в трубу, но ненец прилип к железу, как на присосках.

Отдышавшись, Мунко попробовал разобраться в сложившейся ситуации.

Он находился внутри огороженного проволокой пространства, почти у середины плотины. Часовой расхаживал где-то над ним, и ненцу надо было только подняться, чтобы рассчитаться с часовым за все. После того что Мунко перенес, это не составило бы для него труда. Сложнее было выбраться из воды.

До верхнего края трубы Мунко не доставал, зато нижний, за который он держался, мог стать опорой для ног. Перехватившись поудобнее, ненец уперся коленом в нижний край. Подтянул другую ногу. Через минуту он уже стоял скрючившись внутри трубы, обдумывая дальнейшие действия. Нужно было выбраться на наружную поверхность трубы. Это могло показаться легким делом лишь со стороны. В действительности же торчавший из дамбы конец трубы был длиной не более полуметра, так что, когда Мунко попробовал перегнуться и лечь на него животом, из этого ничего не получилось. Его голова уперлась в дамбу, и он не смог полностью лечь на трубу, чтобы подтянуть затем ноги. Нужно было попробовать другой способ. Собравшись в комок, Мунко сильно оттолкнулся ногами и, переворачиваясь как акробат, лег на трубу боком. Ему удалось удержаться на ней, и в следующий момент он уже карабкался по склону.

Часовой находился на месте. Он, точно челнок, ходил все тем же маршрутом, упорно не желая переступать известную только ему границу. Но в данный момент это уже не играло никакой роли. Его час пробил. Прикинув вероятную точку встречи, Мунко потянулся к ножу. Но пальцы не нащупали знакомых шероховатостей рукоятки. Ненец не верил себе, но факт оставался фактом: ножа на поясе не было. Видно, он оторвался и упал в воду, когда Мунко влезал на трубу. Правда, оставался пистолет, но Мунко не очень-то рассчитывал на него: в темноте удар мог прийтись не к месту. И тут ненец вспомнил об аркане. Свернутый в кольца, он торчал за поясом — прекрасный ремень из шкуры морского зайца, служивший Мунко, как и утерянный нож, многие годы. Конечно, разведчик не собирался повторять то, что он проделал днем с Уном, — рассчитывать на точный бросок ночью не приходилось, но все же захлест представлялся Мунко более надежным, чем удар пистолетом.

Вытащив аркан, Мунко проверил, не запутался ли он. Потом сложил ремень втрое и приготовился к схватке. Часовой приближался с дальнего конца плотины. За шумом льющейся из труб воды не слышно было его шагов, и солдат казался бесплотным, как бы парящим над землей. Дойдя до «границы», он повернулся и тем же равномерным шагом пошел назад. Солдат был педантом, это роднило его с ненцами и позволяло разведчику надеяться, что в нужный для него момент часовой не изменит своим правилам.

Японец возвращался. Держа аркан наготове, Мунко ждал, и как только часовой, пройдя мимо, подставил спину, разведчик неслышно поднялся. Двумя кошачьими прыжками он догнал часового и, захлестнув арканом его горло, дернул к себе. Часовой захрипел и взмахнул руками. Винтовка съехала с его плеча и упала в грязь. Предсмертным сумасшедшим усилием японец пытался освободиться, но Мунко висел на нем как клещ, все туже стягивая ремень аркана. Наконец тело солдата ослабло, и он повалился на землю, колотя ногами. Мунко всей тяжестью навалился ему на лицо.

Сбросив труп под откос, ненец, не задерживаясь ни на минуту, кинулся на дорогу. Он уже не надеялся застать корейца па месте. Однако Ун ждал его. Ужасный вид Мунко объяснил ему все, и он простил разведчику те сомнения и страхи, которых натерпелся, пребывая так долго в темноте и неизвестности.

Они подъехали к плотине. На узкую насыпь повозка не въехала бы, и им предстояло перенести бомбы па руках. Это была последняя помощь, которую Ун мог оказать разведчику, потому что корейцу надлежало возвращаться.

Они перенесли бомбы, и когда холодные пятидесятикилограммовые чушки были положены на землю, настала минута прощания. Что могли сказать при этом незнакомые, не понимающие языка друг друга люди? Они не знали ни чужих обычаев, ни правил расставания и оттого испытывали неловкость, еще более сковывающую их. Но пережитое совместно уже роднило их:

его нельзя было отбросить, и, понимая это, они протянула друг другу руки...

Оставшись один, Мунко принялся за работу. Он мог бы взорвать бомбы и так, но ему хотелось немного зарыть их, чтобы сила детонации пошла и вглубь, в земляное тело плотины. Он снял с винтовки убитого часового штык и, торопясь, стал копать траншею. Он чувствовал, что время истекает, но надеялся уложиться в срок.

Он вырыл подобие желоба и уложил туда бомбы. Достал завернутый в плащ-палатку заряд. Проверил зажигательную трубку и шнур. Вынул спички. Кожаный кисет надежно защитил их от воды, и коробка была сухой и чистой. Разведчик уже готовился поджечь шнур, но рука остановилась на полпути: далеко на горизонте, словно огни сияния, в небо взметнулись узкие голубые лучи. И тотчас глухо ударили две очереди. Лучи погасли, но автоматы продолжали строчить — дробно, не переставая.

«Плохо, — тревожно подумал ненец. — Влас и Федька стреляют, однако».

Все решали секунды. Где-то в темноте хлопнула дверь, раздалась слова команды. Охрану поднимали по тревоге.

Сложив несколько спичек в пучок, Мунко поджег шнур. Капли дождя попадали на него, и слабо спрессованная пороховая сердцевина горела с шипением и треском. Мерцающая красная точка, похожая на огонек цветущего в ночи папоротника, быстро перемещалась к основанию шнура. Он укорачивался на глазах.

Убедившись, что дождь не зальет шнур, ненец бросился прочь от плотины. Он был уже на берегу, когда земля под ним содрогнулась и уши заложил ворвавшийся в них горячий вихрь. Еще висел в воздухе тяжелый гул взрыва, но уже новый звук возник и стал разрастаться над оглохшей, ошеломленной землей — захлебывающийся рев устремившейся к освобождению воды.

Мунко остановился. Взглянув назад, где в темноте клокотал и кипел водоворот, он метнулся в заросли. Он раздвинул их, и, как будто дожидаясь только этого, из проема навстречу Мунко вылетела длинная огненная стрела и воткнулась ему в грудь.

Разящая сила опрокинула ненца. Он упал на мягкий сырой мох, ощущая торчащий из-под лопатки конец стрелы. Чужое темное небо предстало его глазам, и он смотрел в очертания незнакомых небес, еще не веря, что умирает, что этот низкий свод сомкнется скоро над окоемом его жизни.

А стрелы все летели и летели над ним. Японский пулеметчик, который сидел в бронеколпаке в десяти шагах от Мунко, всполошенный взрывом, все нажимал и нажимал на гашетку, посылая в ночь слепые очереди трассирующих пуль.

10

Знаете ли вы, что такое ночной бой на танкере? Когда против пятидесяти дерутся двое и один из них ранен и истекает кровью? Когда не остается никаких надежд, кроме одной — победить или умереть?

...Разбитые двумя автоматными очередями, погасли прожекторы. Тьма вновь сомкнулась над танкером. После света она стала еще непрогляднее и плотнее, но уже не безмолвствовала, а трещала и озарялась, точно небо в грозу.

Японцы стреляли наугад. Пули с визгом рикошетили от железа палубы, горохом били в щиты пушек. Перекрывая винтовочную пальбу, с мостика ударил пулемет. Сине-багровое клокочущее пламя па рыльце пулемета, похожее на пламя автогенной горелки, казалось привешенным в воздухе.

Невидимый пулеметчик водил стволом, словно брандспойтом. Одна из очередей с оглушающим грохотом ударила в щит, за которым укрылись разведчики.

— Ну-ка шурани его, Федя, — сказал Шергин таким тоном, будто они находились на стрельбище.

— Сейчас, боцман! Сейчас мы его прямым в челюсть!

Встав на одно колено, Калинушкин высунулся из-за щита. ПППШ задрожал в его руках. Видимо, японец увидел вспышку, потому что он перестал беспорядочно поливать палубу, а перенес огонь на разведчика.

Смертоносные струи связали противников. Перевес в этой дуэли явно был на стороне японца: каждая очередь его крупнокалиберного пулемета могла в любой момент, как топором, перерубить Калинушкина. Но смерть пока щадила его, и внезапно все кончилось. Блуждающий огонь в вышине погас. Смолк перекрывающий все звуки грохот, и в наступившем звенящем вакууме было странно слышать непохожие на выстрелы хлопки арисак.

— Аут! — сказал Калинушкин, вставляя в автомат новый диск. — Слышь, боцман? Кранты самураю!

Шергин не ответил ему. Прислушиваясь к выстрелам и крикам в темноте, он с беспощадной ясностью представил себе неминуемую развязку. Японцев не меньше полусотни. Пока они еще не знают, с кем имеют дело, но рано или поздно поймут, что против них только двое. И тогда полезут напропалую. Минут десять они с Федором продержатся, а там рукопашная и...

Он не стал думать дальше. Мысль более сильная, чем мысль о смерти, владела его сознанием. Пушка! Если их не взорвать теперь, то через десять минут будет поздно. Все пойдет прахом. Они погибнут, а пушки останутся целыми. И разнесут баржи с десантниками как гнилые арбузы...

Огонь японцев вновь усилился. Теперь он стал более организованным, и это было верным признаком того, что солдаты готовятся к решительным действиям. Разведчики отвечали короткими очередями, лишь иногда выпуская лишней десяток пуль в то место, где, как им казалось, назревали какие-то события. Опять заработал пулемет, и под его прикрытием японцы стали сосредотачиваться для последнего броска.

Шергин стиснул локоть друга. Калинушкин обернул к нему лицо, на котором неистово сверкали белки цыганских глаз.

— Давай попрощаемся, Федя.

— Ты что надумал, боцман?

— Прощаемся давай, говорю... Пора кончать эту богадельню.

— Говора толком!

— А разве я без толка? Снаряды-то под нами! Жахнуть парочку гранат — и амба! Ни костей, ни перышек!..

Калинушкин вплотную придвинулся к Шергину, вглядываясь в него так, словно видел впервые. За какие-нибудь полчаса Шергин сильно изменился: лицо его осунулось, глаза запали. Он часто и тяжело дышал, и Калинушкин понял, что боцман держится из последних сил.

«Эх, Влас, Влас... Фрицы нас не взяли, а тут... Ну ничего, боковы дети! Думаете, все?! Хрен вам!..»

— Ты прикрой меня, Федя...

— Давай, боцман! — яростно зашептал Калинушкин. — Сыпь! У-у, сучьи души!

Уползая в темноту, Шергин слышал, как бешено заработал автомат Калинушкина.

Выпустив добрую половину диска, Федор заставил японцев залечь. Хуже было с пулеметом: расчет не жалел патронов, как метлой, подметая палубу. Выбрав удобный момент, Калинушкин переполз ко второму оружию. Здесь он разложил перед собой запасные диски и гранаты и стал ждать.

Он знал, что это его последняя позиция, но не думал о смерти. Эта мысль была для него сейчас глубоко безразлична, как и мысли о самом себе. Он ощущал себя каким-то посторонним существом, о котором не надо заботиться и переживать, потому что и заботы и переживания предназначались другим: Шергину, который полз где-то в темноте, задыхаясь от напряжения и боли, товарищам на берегу, которые молча и скорбно прислушиваются к перестрелке, женщинам, которых он любил и которые любили его, — всей той жизни, которая была, есть и будет... Время медлительно текло сквозь него. Оно не замедлило свой бег, но его образы устойчиво удерживались в сознании, смешивались в общий мотив, в котором звучали радость, любовь и боль...

Пуля ударила его в плечо. Он содрогнулся, но не от удара, а от неожиданности и удивления перед случившимся. И впервые подумал, что может быть убит. Это ужаснуло его своими последствиями: Шергин еще не добрался до погреба. И не доберется, если его, Федора Калинушкина, убью г. раньше времени. Все лопнет как мыльный пузырь... И те гады опять зашевелились...

Калинушкин вырвал из дыры в ватнике клоч ваты и заткнул им рану. Затем со злостью ударил по ожившим японцам длинными очередями.

— Давай, давай! Подходи, гады! — сквозь зубы бормотал он и ругался страшными ругательствами, которые звучали сейчас как заклятья...

Добравшись до тамбура, Шергин отдраил дверь и ввалился в тесное помещение. Вниз вел крутой трап, но прежде чем спуститься, боцман ударами приклада заклинил за собой дверь.

Бой на палубе разгорался. Выстрелы слились в сплошной гул, и Шергин подумал, что на этот раз одному Федору долго не продержаться. Автомат Калинушкина бил не переставая, потом одна за другой гулко грохнули две гранаты.

«Окружили», — с болью и отчаяньем подумал Шергин, спускаясь по трапу.

Был миг затишья, когда боцману показалось, что наверху все кончено. Он остановился, но тут же автомат ударил вновь, и буйная, пьянящая радость охватила Шергина.

«Держись, Федя, держись, браток! — шептал он, преисполненный великой любви и благодарности к другу. — Я сейчас...»

Он наконец спустился, чувствуя невероятную боль внизу живота. Казалось, к нему привесили пудовую гирию.

Освещенные лучом фонарика, из темноты трюма выступили штабеля ящиков. Тут же стояли уже готовые к применению снаряды.

— Годится! — вслух сказал Шергин.

Он положил фонарик на ящик и достал гранаты. Страх не было. Лишь неизбывная тоска по всему, что останется после, томила Шергина. Она была тяжела, как удушье.

Он поставил гранаты на боевой взвод. Матово поблескивающие головки снарядов притягивали к себе взгляд. Не отводя глаз от этого тусклого смертельного сверкания, Шергин поднял руки с гранатами. Он уже не слышал наступившей наверху тишины и не знал, что Федор Калинушкин умер, прошитый очередью из зенитного пулемета «гочкис», и что сейчас японцы глумятся над его телом. И только когда в дверь посыпались удары, он, не оборачиваясь, торжествующе сказал:

— Стучите, сволочи, стучите!

И с размаху опустил руки...

11

Жизнь едва теплилась в израненном, изуродованном теле Мунко. Остывающие члены уже не чувствовали ни холода просочившейся сквозь мох воды, ни горячего тепла крови, которая, смешиваясь с водой, пропитывала мох, уходила в землю. Вместе с ней уходил в небытие Мунко. Сознание то покидало ненца, то возвращалось вновь, и в эти краткие минуты просветления одна лишь мысль терзала его — мысль о том, что он умирает не на своей земле. Что дух его не обретет покоя, скитаясь по нивам чужой жизни. И нестерпимее становилась смертная мука, и боль отпускала онемевшее тело и сосредоточивалась в одном месте — в душе.

А ночь все длилась и длилась, и время умножало бессилие и страдания Мунко, ввергая в мрак и возвращая к свету. И все длиннее были промежутки тьмы, все реже билось разорванное железом, обескровленное сердце, все тише звучали мировые звуки и скоро смолкли совсем. Иная музыка — торжественные и высокие хоры — грянула в высоте для него одного. Звучащая эфирная волна подняла Мунко с кровавого и холодного ложа и вознесла над ночью. Ослепительный свет блеснул в разрывах клубящихся туч, и он увидел тундру. Затихая, волна унеслась вдаль, за край земли, оставив Мунко посреди великого разнотравья.

Ни чума, ни дымка не виделось вокруг, и непохоже было, чтобы люди жили в этих местах, но Мунко знал, куда идти. Неведомая сила управляла им, влекла к закатному горизонту, откуда исходил таинственный и странный зов.

День шел Мунко. А потом увидел озеро. Дикая гуси плавали в нем. И Мунко вошел в воду и стал гусем. И братья сказали ему: «Иди к вершине, обильной пищей, иди на место твое, где опадают перья весенних гусей, где осенние гуси надевают свои перья. Иди в город твой,

висящий на конце жилы...»

И еще день шел Мунко. Река на пути. И стал он рыбой. И мать-нельма сказала ему: «Иди к берегу твоей извиистой протоки, иди на место твое, где дети наши и любовь наша. Иди в твой город, висящий на конце крапивной нити...»

Третий день идет Мунко. Олени встретились ему. И старый самец, в глазах которого отражалось небо, сказал: «Иди к пастбищу твоему. На место твое иди, где летний заяц и нежная женщина. Иди в твой город, висящий на ветках семи берез...»

На четвертый день вышел Мунко к другой реке. Черная вода текла в ней, черная трава росла на берегу, а за поворотом увидел Мунко черный чум. Удивился Мунко: сколько лет жил в тундре, не видел таких чумов. Остановился он. Тихо было возле чума. Ветер не дул в этих краях, вода не плескалась. Только кричала в реке невидимая птица гагара. Долго стоял Мунко. Хотел уже войти в чум, посмотреть, но тут вышел к нему большой старик.

«Старый, однако, — подумал Мунко, — совсем белый».

— Вот ты пришел! — сказал старик.

И Мунко увидел его мертвое костяное лицо. И понял, что пришел на Монготта, реку Мертвых, где живет бог Нум — отец всех ненцев.

— Я миндумана [41], — ответил Мунко.

— О сав! — сказал старик. — Глаза Нума видели твой путь. В чум пойдём. Лаханакко [42] будет. Язык оленя будет.

Черные постели [43] лежали в чуме. Старик усадил Мунко напротив входа — на место почетного гостя. Поставил два блюда — с языками и кровью. Уселся сам.

— Ешь, однако.

Мунко взял язык, обмакнул в кровь, стал жевать терпкое и солоноватое от крови мясо.

«Вера такая [44], — думал он. — Ненцы всегда ели мясо с кровью. Нельзя в тундре без крови, кости мягкими станут...»

Старик с одобрением глядел па него.

— Ты хорошо воевал, — сказал старик. — Нум видел твои дела. Ты сын своего отца.

— Слабого оленя догоняет сармик [45]. В моем роду не было слабых.

— О сав! — откликнулся старик. — Не было! Все улетели к верхним людям [46]. Ты последний. Худо, однако. Закончится род.

— Семя мое в детях живет.

— Сколько пешек [47] замерзает в буран? Дети твои малы. А буранов в жизни много.

— Вырастут дети. Ванойти хорошая мать.

— О сав! — сказал старик.

Они доели языки и допили кровь. Старик поднялся:

— Пойдем, однако.

Они вышли из чума.

— В тебе больше сил, хахая нями [48], — сказал старик, — взойди на высокое место, покричи оленей. Три раза покричи, больше не надо.

Поднялся Мунко на холм, смотрит — нигде ни одного оленя нет. Однако закричал три раза. Взглянул — из-за реки бегут три черных оленя. В воду бросились, поплыли. На берег вылезли.

Стал старик запрягать оленей. Левого вперед выдвинул, пелекового [49] запряг, третьего в середину поставил. Постель положил в нарту.

— Три года меня не будет, а ты на четвертый год выходи ко мне навстречу.

Только эти слова и сказал старик. И прах поднялся над тундрой, и свист многих крыльев наполнил ее: звери бежали прочь и птицы летели в другую сторону. Они так сильно махали крыльями, что погас огонь в чуме. А кто не успевал убежать и улететь — падали под копыта черных оленей.

Три года как три дня прошло. Живет Мунко в чуме, сам не знает, живой он или мертвый.

Вечером загремела нарта.

«Должно быть, старик», — думает Мунко. Только подумал — анас [50] показался. Нум как сыч сидит, совсем костяным сделался.

— Как съездил? — спросил его Мунко.

— К брату ездил. К Падури [51]. Хороших бегунов [52] дал брат. Садись, поедem на место твое.

Попрыск [53] ехали. В полдень увидели одного дикого оленя.

Старик сказал:

— Изготовь твой лук, хахая нями.

— Где ж возьму его? — спросил Мунко.

— Разве не видишь, — сказал старик, — в нарте твой лук.

Изготовил лук Мунко. Выстрелил. Дикая олень упал. Подъехали они к тому дикому оленю — стрела шею его пополам разрубил.

Старик опять сказал:

— Изрядная сила у тебя, мой брат.

Съели они печень оленя. Остальное в нарты положили, дальше поехали. Еще попрыск гнали. Пристали олени, хромать начали. Старик бросал им кровь [54] из копыт.

К берегу приехали. Желтый лед лежал на воде. Снова удивился Мунко: сколько лет жил в

тундре, не видел льда летом. Спросил у старика.

— Это мой мост. По этому мосту я хожу к людям; и это не лед, а железо.

За мостом снова трава пошла, знакомые места стали встречаться. Старые чумовища [55] увидел Мунко, а еще дальше — сломанные опрокинутые нарты, торчащие к небу тюры [56] и олени мертвые головы. Догадался, что старик привез его к родовому хальмеру [57]. Отец похоронен тут. И отец отца. И все мужчины рода.

— Слезай, — сказал старик. — На земле предков умрешь. Нум будет твоим самбаной [58].

Старик поднял бубен. Солнце и луна были нарисованы на нем и ребра оленя.

Трижды прокричала гагара [59].

— Не спеши, — сказал старик. — Нум еще не сделал бубен летним [60].

Опять закричала гагара.

Старик ударил в бубен колотушкой. Гром прокатился по тундре, и стало слышно и видно до самого края. На полуночи белый медведь грыз нерпу, волк преследовал оленя на восходе, и в других концах слышались вопли и стоны.

— Белый олень! — крикнул старик. — Из дома, покрытого черным зверем, приходи сюда!.. Удержи свой гнев!.. С чистого неба на холмистую землю спустись!.. На белого оленя сядем верхом, белую олениху поведем в паре!.. В город твой спустись!.. Заговори!.. Явись, могучий!..

Смотрит Мунко — черной тундра стала, будто ночь наступает. Видит — нож достал старик.

— В место твое иди!

И погрузил нож в грудь Мунко. Из-под лопаток вышел нож, разрезав сердце. И небо упало на Мунко.

...Падал и падал дождь. Сладкие испарения, заглушая запах сторевшего тола, поднимались от земли, и вместе с ними над поникшими травами витал успокоившийся дух Мунко.

12

С первой и до последней минуты — с того рокового момента, когда, как гром, раскатилась первая очередь, и до чудовищной вспышки над морем — Баландин верил, что счастье и этой ночью не изменит Калинушкину и Шергину. Сколько раз в своей жизни они были на волоске от смерти и всегда уходили от нее. Уйдут и сейчас. Не те это были люди, чтобы погибнуть в, быть может, последнем бою. Не те!

Прислушиваясь к перестрелке, он пытался представить, что же произошло на танкере. Какая случайность подстерегла разведчиков? В чем сплеховали друзья, о бессмертии которых говорили и в шутку, и всерьез? В которое уверовал и он, как втайне верят в невозможное.

Еще до начала событий, мысленно проделывая тот путь, который предстояло проделать Калинушкину и Шергину, Баландин все больше утверждался во мнении, что, несмотря на трудности, разведчикам удастся взорвать пушки. Были, были к тому немалые предпосылки!

Размышляя и так и этак, Баландин готов был поклясться, что никому, даже самому бдительному и недоверчивому человеку на танкере, не могла прийти в голову мысль о готовящейся диверсии. Слишком невероятной она должна казаться людям, чувствующим себя в полной безопасности под охраной своих батарей. Война войной, но существовали пределы допустимого, и с этой точки зрения возможность диверсии не лезла ни в какие ворота.

Самое трудное для ребят — подняться на танкер. Здесь можно дать маху. Ночь, кошки придется бросать вслепую. Зацепятся ли? Да если и зацепятся, карабкаться по капроновому ленд-лизинговскому тросу в мизинец толщиной — трюк, прямо скажем, цирковой. Это не по шкентелю с мусингами [61] подниматься. Там тебе и трос раз в десять потолще, и узлы через каждые полметра — лезь не хочу... Только бы добраться до палубы, а там мальчики сообразят, что к чему. Взрывали и пушки, и доты, и чего только не взрывали. Опыта не занимать. Шум, конечно, поднимется, но пока на танкере очухаются, Федор с боцманом успеют уйти. Ищи ветра в поле...

В этом смысле положение Мунко, который в данный момент пребывал неизвестно где, казалось Баландину намного серьезнее, и в мыслях он все чаще обращался к ненцу, призывая на помощь и фортуна, и Николу морского, и прочих угодников, какие только существовали на свете.

Вой сирены и прогремевшие вслед за тем очереди ошеломили Баландина. В один миг представилось ему все: мертвый танкер, кипение моря на рифах, яростные лица Калинушкина и Шергина. О них, только о них думал в эти отчаянные минуты их командир. Прислушиваясь к перекатам и нарастанию огня, он зримо видел все перипетии грохочущего в темноте боя, всем сердцем ощущал его трагичность, его ожесточенность и накал. Его душа рвалась на помощь боевым соратникам; его мысли принадлежали им, и в мире не было силы, которая остановила бы этот мощный поток излучения. Одна надежда владела им и питала его — что счастье и этой ночью не изменит Калинушкину и Шергину. Уйдут! Не могут не уйти!..

Взрыв оборвал все надежды. Воздушная горячая волна, в которой растворились бессмертные души друзей, пронеслась над головами, ударяясь о скалы и вырывая с корнем чужую экзотическую траву.

Огромная тяжесть вдавила Баландина в землю, но он превозмог ее и приподнялся на локтях, невидящим взглядом всматриваясь в сгустившийся еще более мрак. Сырая плотная завеса скрывала все, но ему чудилось, что сквозь нее, сквозь все помехи мирового эфира прорываются и летят к нему живые голоса Власа и Федора...

Свистящий шепот Одинцова вернул Баландина к действительности:

— Японцы, командир!

Баландин обернулся и сразу увидел тех, кого возненавидел за эти короткие минуты. Трое солдат с винтовками наперевес стояли в пяти шагах от них, не решаясь углубляться в неизвестность и темноту. Японцы еще не видели разведчиков, и Баландин решил не принимать боя. Махнув рукой Одинцову, он пополз в сторону от тропинки, бесшумно раздвигая траву.

Но скрыться не удалось.

— Томарэ! — гортанно крикнул передний солдат и поднял к плечу винтовку.

Таиться не вмело смысла. С кошачьей ловкостью перевернувшись на спину, Баландин одной очередью свалил всех троих. Обернулся к радисту:

— Не отставай! Попробуем проскочить!

Они осторожно двинулись вперед, готовые в любой момент пустить в ход автоматы. Но вскоре оба поняли, что пробиться без боя не удастся: вокруг вдруг все пришло в движение, тут и там раздавались выкрики и голоса, и топот множества ног слева и справа, впереди и позади возвещал о том, что они находятся в самой гуще неприятельского расположения. И когда прямо на них из травы выкатилась темная масса людей, у разведчиков не оставалось времени на раздумывания. Кинжальными очередями они вспороли эту массу и, укрываясь от роя полетевших навстречу пуль, бросились ничком на дно неглубокой лощинки, в которой хлюпала тепловатая застоявшаяся вода.

Впереди раздавались стопы и крики, но их перекрывали властные слова команды; они раздавались со всех сторон, и Баландин понял, что сюда, к ложбинке, где они залегли с радистом, спешат все, кто находится поблизости. Спешат, привлеченные выстрелами и погоняемые силой приказа.

«Всё, — подумал он, — не выкрутиться». И ощутил странное спокойствие. Мысль о близком конце не удивила и не испугала его. Он чувствовал лишь огромную усталость, но не догадывался, что это была усталость не тела, а души; усталость, рожденная видом непрерывных смертей и убийств; усталость, которая давно копилась в нем, от которой поседели виски, которая заставляла его просыпаться по ночам и прислушиваться к чему-то внутри себя.

Он посмотрел на радиста. Одинцов с деловитым видом раскладывал возле себя гранаты и запасные диски.

— Боишься, сержант? — спросил Баландин. Ему не хотелось сейчас видеть рядом с собой слабого человека.

— Жалко, командир, — ответил радист, продолжая возиться с дисками.

Он не сказал, чего именно ему жалко, и Баландин так и не дождался от него более вразумительного ответа. Это не рассердило Баландина, как не рассердило и то, что Одинцов уже дважды за последние несколько минут назвал его «командиром», хотя так Баландина называли лишь старые разведчики, воевавшие вместе с ним еще на Севере. В другое время Баландин не преминул бы напомнить о субординации, но в последний час ему не хотелось обижать радиста.

— Давай связь, сержант, — сказал он.

Привычным движением открыв рацию, Одинцов надел наушники и закрутил верньером, настраиваясь на волну.

— Передавай: задание выполнено. Ведем бой. Прощайте.

Одинцов застучал ключом.

Прислушиваясь к пisku морзянки, Баландин не отрывал пальца от спускового крючка. Он чувствовал, что кольцо вокруг них сомкнулось, вот-вот начнется атака, и не хотел пропустить этот миг. Он знал, что сумеет задержать японцев на то время, пока Одинцов ведет передачу. У него был автомат, по сравнению с которым арисаки японцев выглядели просто-напросто самоделками. Правда, арисак было много, но мощь автомата все равно превосходила их.

Особенно сейчас, в ближнем бою, когда надо будет бить в упор.

Отстучав текст, Одинцов стал дублировать его. Он дошел до половины, когда началась атака. Радист схватился было за автомат, но Баландин подтолкнул его к рации.

— Передавай! — крикнул он.

Для начала Баландин прошелся веером по всей цепи наступающих и, когда среди них произошло замешательство, стал бить по тем участкам, где наиболее упорные пытались пробиться вперед.

Валилась срезанная пулями трава, образуя узкие просеки. Гильзы с коротким шипением падали в воду на дно ложбинки. Плясало пламя на конце дульного среза. Оно выдавало Баландина, и он старался за один раз выпускать не более четырех-пяти пуль. Краем глаза он увидел, как, закончив передачу и захлопнув ненужную больше рацию, пополз на другой конец ложбинки радист. Через секунду и там заметалось пламя, и пространство впереди огласилось новыми стонами и криками. Японцы откатывались.

Баландин посмотрел на часы. Стрелки подходили к четырем. С момента высадки группы на остров прошло уже больше суток, и в эти самые минуты кончался назначенный Баландиным срок сбора. Бот, если он еще ждал их, наверное, готовился к отходу.

«Все, старлей, — сам себе скачал Баландин, — не будет больше сбора. Никакого сбора не будет...»

Только двое из разведчиков еще могли успеть к сроку — Мунко и Рында, но Баландин не знал, что ненца уже нет в живых, а что Рында лежит сейчас у моста, поджидая ползущие по дороге танки...

Противный вой раздался в воздухе, и недалеко от ложбинки, как жаба, шлепнулась мина. Осколки тоненько пропели над головой.

— В рот бы им кило печенья, — сказал Баландин. — Миномет приволокли, гады! — И выругался.

Мины продолжали шлепаться вокруг ложбинки. Японцы так и не засекли ее и били по площадям.

Обстрел продолжался минут десять; вслед на тем раздались такие неистовые крики, что за ними не стало слышно винтовочной трескотни.

— Держись, сержант, — предупредил Баландин, удобнее прилаживая автомат, — похоже на психическую.

Японцы и в самом деле лезли напролом. Автоматы разведчиков работали без перебоя, но два человека не могли поспеть всюду, и скоро настал момент, когда им пришлось вспомнить о гранатах. Их было десять, и пять из них одна за другой вылетели из ложбины, разметав нападавших, заставил их снова искать спасения в бегстве. Не дожидаясь, когда солдаты выйдут из опасной зоны, опять ударил миномет. Тяжело ухнув, мина разорвалась у самого края ложбины.

— Теперь засыплют, — сказал Одинцов и посмотрел на Баландина.

Старший лейтенант сидел на дне ложбины, держась руками за грудь. Из рта у него текла кровь. Он силился сплюнуть ее, но кровь текла и текла, расплываясь по ватнику черным агарным пятном. Одинцов бросился к Баландину. Тот смотрел на него осмысленным строгим взглядом, и эти строгость и осмысленность сказали радисту все. Он быстро расстегнул на Баландине ватник, разорвал гимнастерку и тельняшку. Рана была ужасна: осколок наискось разорвал грудь, и казалось чудом, что командир еще жив и пытается что-то сказать Одинцову.

Перевязав Баландина, радист уложил его поудобнее и, собрав в одну кучу все гранаты и диски, занял свое место. Когда началась атака, он подпустил японцев почти в упор и только тогда разрядил в них взятый у Баландина диск...

13

Лязг все нарастал.

И свет уже был не светом, а снопами огня, то упирающимися в землю, то подлетающими вверх: качаясь, как слоны, к мосту шли танки, и пламень фар метался в такт тяжелому движению машин. Скрежеща и забывая моторами, они железной змеей ползли по дороге, раскидывая в стороны мокрую землю.

Вжавшись в мох, Иван следил за их приближением. Пять танков, грохоча и буксуя, накатывали на мост, и в свете фар их мокрая и скользкая броня казалась складчатой кожей допотопных чудовищ, испуганных чем-то и в слепой панике крушащих и перемалывающих все на своем пути.

Но ходу вперед им не было. Это Иван знал и с нетерпением дожидался того момента, когда передний танк вползет на мост.

Танк надвинулся; одна фара у него не горела, и он заворочался перед мостом одноглазой глыбой; гусеницы со скрежетом прокрутились, бросив в стороны ошметья прилипшей к ним глины; дохнуло горячим и едким дымом выхлопной трубы.

Впереди была глубокая рытвина, танк с ходу ввалился в нее, выскочил, но перед самым мостом сел днищем в другую яму, закрутился волчком. Было слышно, как водитель гремит рычагами в утробе танка, виднелись заклепки на его скошенных лобовых плитах и синие драконы на бортах.

Пятясь, неуклюже и тяжело задирая зад, танк выбрался из ямы и, обойдя ее, стал взбираться на мост. Настил дрожал и стонал от тяжести; цепляясь за бревна, гусеницы уродовали и рвали их. Окутанная паром и дымом, серо-зеленая машина медленно подбиралась к середине моста.

И тут грянуло.

Бревна вдруг вспучились под танком и начали разламываться, как спичка. Фонтан огня и грязи взметнулся над мостом.

Подброшенный взрывом, танк опрокинулся и, задержавшись на мгновение у края, стал рушиться под обрыв, гремя разорванной гусеницей, которая, словно хвост агонизирующего зверя, молотила его по смятым, искореженным бокам.

Минуту слышалось это железное падение, этот смертельный, грохочущий обвал, потом внизу сильно плеснуло, и грохот смолк. Прах и дым осели, и, будто кости обнажившегося остова, стали видны торчащие, развороченные бревна моста.

Освобожденная энергия сжала время в эпицентре взрыва. Но за его пределами оно продолжало течь с неизменной скоростью, и с такой же быстротой реагировали на изменение условий люди. И эта разница в скорости физических реакций и реакций на них человеческого организма пагубным образом повлияла на то, что произошло вслед за взрывом: приостановленный маневрами ведущего, второй танк затормозил перед мостом; но водитель третьего, не ожидавший ни взрыва, ни мгновенной гибели первого танка, ни остановки второго, с ходу наскочил на него.

Удар пришелся в баки. Они вспыхнули багровым, коптящим и жирным пламенем, которое потекло по броне и тут же перекинулось на ударивший танк. Будто обожженный излившимся на него горячим потоком, танк взревел и рванулся назад, но что-то держало его; какой-то крюк или трак зацепился за тело чужой машины, и уже обе они, охваченные шипящими огненными языками, ревели и катались в грязи, как схватившиеся насмерть мифические единороги. Но крюк крепко держал их, и когда наконец, вырванный с мясом, он отпустил сцепившиеся машины, им уже ничто не могло помочь — они пылали как факелы.

Танкисты стали прыгать из люков. Иван срезал их одной длинной очередью. Еще, нелепо взмахивая руками, как куклы, валились танкисты, а Иван уже метнулся на другую сторону моста. И вовремя: град свинца из двух оставшихся танков тотчас обрушился на то место, где он только что лежал.

— На-ка, выкуси! — злорадно сказал Иван и показал танкам дулю. — Сунетесь — в два счета кранты сделаю.

Но танки без этого предупреждения уже пятились, точно раки, назад: в горевших машинах начали рваться боеприпасы, и уцелевшие поспешили ретироваться.

Моторы урчали все глуше, и Иван подумал, что инцидент можно считать законченным. Моста нет, а пока его наведут, всякая техника может спокойно загорать в гаражах и ангарах. Но, рокот моторов вдруг вновь усилился. Теперь он раздавался слева от дороги, и это было непонятно. Слева лежали непропуски, а по ним не то что танк, лошадь не прошла бы. Однако скрежет, перемешанный с чавканьем, какое производит землечерпалка, доносился именно с того, как казалось Ивану, гиблого места.

Удивленный и озадаченный, он смотрел на расстилавшуюся в пятидесяти шагах от него кочковатую низину, ожидая увидеть на ней нечто небывалое. Вместо этого он увидел танк. Покрытый грязью и болотной жижей, он не спеша пробирался вперед, подминал под себя кочки и амортизируя на них как на подушках. Зыбь ходуном ходила под танком, по он, словно огромный гиппопотам, отфыркиваясь и урча, преодолевал непропуск.

Наконец Иван понял, в чем дело. Приближавшийся танк не был тяжелым КВ или даже Т-34. Это был легкий японский танк, приспособленный к местным условиям. Он, как колхозный трактор, на котором до войны работал отец Ивана, мог с легкостью пройти и по настоящему болоту.

— Вот вша! — сказал Иван. — Ползет, гнида, и фамилии не спрашивает!

Улегшаяся было злость вспыхнула в нем с новой, неистовой силой. Позади, быть может, гибли его товарищи, а он ничем не может помочь им. Он взорвал мост и угробил три танка в придачу, а этот драндулет ползет как ни в чем не бывало! А там и второй, глядишь, объявится...

Иван пересчитал гранаты. Пять «лимонок». Маловато, да и не для танков, но ведь и танки не

немецкие. Банки консервные, а не танки. Звон один. Он связал гранаты. Связку из двух сунул за пазуху, из трех — взял в руки. Выглянул. Танк буксовал на середине непропуска. Водитель, видно, был осторожен, он не рвал рычаги, а работал «враскачку» — взад-вперед. Метр за метром танк вылезал из хляби.

Оценив все, Иван понял, что выпускать танк на сухое место нельзя. Тут он натворит дел. Лучше всего встретить японца вон у той кочки. Защита, конечно, липовая, но все лучше травы.

Танк приближался. Лежа за кочкой, Иван дожидался, когда машина, проходя мимо, подставит под удар борт. Бросок должен быть точным, иначе танк без задержки выскочит на дорогу.

— Постой, стерва! Я тебя укорочу! Я тебе сверну рожу набок! — твердил Иван.

Танк приблизился — горячий, грязный и зловонный. Быстро поднявшись из-за кочки, Иван метнул связку в трансмиссию. Приглушенно ухнуло. Танк закрутился, как ёрш на сковородке, подергался и стих. Но кто-то еще оставался живым у него внутри, потому что вдруг ударил один из пулеметов.

«Давай, — подумал Иван, — пали на здоровье. А я подожду, пока ты поджариться».

Танк задымил. Люк со звоном отвалился, из него показался толстый японец, спешивший покинуть горящую машину.

— Привет! — сказал Иван, лоя танкиста на мушку. Тот так и не успел выбраться из люка, повис па башне вниз головой.

Боеприпасы уже рвались вовсю, когда на дальнем конце болотины показался последний танк. Его водитель не осторожничал и гнал по проложенной колее, как по дороге. Танк начал стрелять издали остервенело, из обоих пулеметов. То ли стрелок догадывался, где танк могут поджидать, то ли действовал наобум, но очереди ложились рядом с Иваном. Одна, как огнем, прожгла кочку, располосовала рукав ватника. Иван рванулся назад, но вспомнил, что все равно не успеет добежать до моста, срежут. Оставалось одно — укрыться за подбитым танком. До него было не больше двух десятков шагов.

Иван метнулся. Он уже почти добежал, когда по правой руке будто хватили кувалдой. На миг ему показалось, что руки нет, и он остановился, но переборол внезапный испуг и добрал до танка. Рукав набухал кровью, которая пачкала железо, землю, траву.

Жаркая истома охватила Ивана. Он сел в грязь возле танка, прижавшись лбом к холодной броне. В голове гудело, и он не мог понять, гудит ли это остывающая броня или отливает от сосудов уходящая из тела кровь.

Грохотанье набегавшего танка всколыхнуло Ивана. Ненависть к железному существу, которое через минуту раздавит его, вомнет в грязь, перекрутит и выбросит, подняла Ивана на ноги. Здоровой рукой он достал из-за пазухи гранатную связку. Зубами выдрал чеку. Теперь оставалось лишь разжать пальцы.

Танк показался. Обходя подбитый, он свернул с колеи, надсадно завывая мотором. Оттолкнувшись от борта, Иван, шатаясь, пошел ему навстречу. Он находился в мертвом пространстве, и очереди со свистом проносились у него над головой. Он не мог упустить этот танк и напрягал все силы, чтобы не упасть раньше времени. Если бы разверзлись вдруг небеса и свет осветил бы землю, ничего, кроме смерти, не прочел бы водитель на окаменевшем лице окровавленного матроса.

Но небеса не разверзлись, и, когда танк наехал, Иван лег ему под правую гусеницу. Он ощутил неодоушевленность сформированного человеческими руками металла и хотел закричать, но раздавленная грудь не вобрала воздуха. Тогда он, как на колени женщине, положил голову на землю и разжал пальцы...

14

Они пришли и молча сели рядом — Мунко, Иван, Шергин, Калинушкин. Их бескровные лики были спокойны; их мертвые зеницы смотрели сквозь него; их отверзлые раны, как язвы, покрывали простреленные, обезображенные тела. Их губы шевелились, обращая к нему беззвучную речь, но нем и непонятен был этот мертвый язык.

Угасающим, меркнувшим взором Баландин смотрел на них, и образы прошедшей жизни тихо всплывали со дна памяти и, как уносимые ветром листья, пропадали в немыслимой, ожидающей его дали. И бесконечен был их ход, и ни один образ не повторился дважды; и эти бесконечность и неповторяемость удивляли его и были так же недоступны для понимания, как лоно и власть, их породившие.

Новый день наступил, но солнце не смогло прорвать плотную завесу дождя и туч: его лучи преломлялись где-то в высоте и, отраженные, возвращались к своему светилу, так и не достигнув покрова земли, не озарив её таил, красот и бедствий...

II. РАТНАЯ ЛЕТОПИСЬ РОССИИ

Владимир Михановский

РУСЬ КРЫЛАТАЯ

Повесть



сень в том году выдалась капризная да ранняя, так что люди, можно сказать, и солнышка-то не видали. К началу сентября и вовсе лето пропало, как не бывало его. Обложные, тягучие тучи завесили небо, частенько шел нудный дождь.

В зарослях, окружающих монастырь, тревожно атели кисти рябины, которая в этот год уродилась отменной. Неплох был и урожай, но он пропадал, гнил на корню, и тут уж не погода повинна была: враг коварный просочился, пробился сюда, почитай, в самую сердцевину Руси святой. Разорал дома, жег, грабил, убивал.

Смутное время!

Как сопротивляться вооруженному, организованному супостату? Единственной более или менее надежной защитой для окрестного люда представлялись только стены Троице-Сергиевого монастыря, и сюда потихоньку начал стягиваться народ из окрестных деревень.

Недруг, сытый да наглый, пришел по Московской дороге. День и ночь бесконечно тянулись, поскрипывая, повозки, доверху груженные награбленным добром, мычал угоняемый скот, мародеры горланили пьяные песни. Частенько между разношерстными пришельцами вспыхивали драки, которые кончались поножовщиной.

Они попытались с ходу взять монастырь, но были отброшены.

После нескольких неудачных попыток, многих потерь, враги задумали иное и принялись со всех сторон обтекать твердыню монастыря, так что последний в конце концов уподобился островку, который со всех сторон окружен беснующейся талой водой.

К концу сентября последняя тропинка, ведущая из монастыря, была перерезана. Поляки обложили его и заранее предвкушали победу. О несметных богатствах монастыря ходили легенды, что особо их притягивало.

...Иван вышел из избы на рассвете. В последнее время ему худо спалось, на душе было тревожно. Улицы оказались переполненными, и он подивился, сколько все-таки народу прибыло — не протолкнешься. Матери кормили младенцев грудью тут же, на улице, в воздухе стоял гул голосов, плач детей, надрывное мычанье недоенной скотины.

Миновав площадь, тоже почти всю забитую пришлым людом, он направился к крепостной стене. Хотелось посмотреть, что происходит там, снаружи.

Ворота, обычно распахнутые настежь, сейчас оказались наглухо закрытыми. Иван потрогал пальцем поперечное бревно, потом с силой толкнул его, отчего несмазанные петли ворот натужно заскрипели.

На звук подошел стражник с пикой.

— Чего тебе, пташка ранняя?

— Отвори, — попросил Иван.

— Смерти захотел?

— Глянуть желаю, что на белом свете деется. А то сидим тут, как в крысоловке.

Стражник покачал головой:

— Нельзя.

— Почто?

— Заказано ворота отворять.

— Вчера я бегал наружу...

— Вчера бегал, а сегодня не побегаешь. Велено никого не впускать и не выпускать, — зевнул

стражник.

— А ты потихоньку, в калитку меня выпусти. А? — попросил Иван. — Что ж ты, не знаешь меня?

— Кто ж тебя не знает, прыгунка, — ухмыльнулся стражник. — Только зря просишь.

— Я пробегусь — за мной и ветер не угонится, и мигом обратно.

— Попадешь как кур во щи. А ты вот что, прыгунок, — посоветовал стражник. — Забирайся на стену да и гляди, сколько душеньке угодно.

— И то дело, — согласился Иван и словно ветер помчался к ближайшей угловой башне.

Стражник глядел ему вслед, то ли неодобрительно, то ли восхищенно покачивая головой. Станный он парень, этот Иван Крашенинников.словно бес в ногах его сидит. Бегает так, что никто в округе за ним не угонится. Куда там! Кажется, Иван, захоти только, и коня доброго обгонит. А как он прыгает, как из лука тугого стреляет, как копьё мечет в цель — загляденье! И откуда что берется? Отец его, Петр, забитый мужик, стать у него самая что ни на ест обыкновенная. А у Ивана — любо-дорого посмотреть: стройный, в поясе узок, плечи широкие. Ходит — как по воздуху плывет. Не зря девки на него заглядываются.

По витой избитой лестнице, утопленной в башне, Иван между тем споро выбрался наверх. Миновал выщербленный зубец, вышел на открытый участок и, глянув вниз, застыл словно замороженный. Зрелище и впрямь было необычным.

Внизу на равнине теснился немирный пришлый люд, который торопился по-хозяйски устроиться у стен монастыря. Ставили палатки, разжигали костры, забивали скотину. Несмотря на ранний час, в стане противника царило оживление. Иногда до Крашенинникова долетали отдельные возгласы.

Все это людское месиво колготилось в сырой сентябрьской дымке, сбивалось в кучки, чтобы тут и в растечься ручейками, и очень напоминало издали муравейник.

Через несколько минут Иван заметил, как издалека, со стороны Благовещенской рощи, показалась группа воинов в одинаковых одеждах. Они сноровисто волочили по земле какой-то длинный предмет. Острые глаза юноши угадали в нем осадную лестницу, известную ему по рассказам Аникея, его приятеля, который слыл неугомонным выдумщиком и изобретателем всяческих поделок.

Иван смотрел на осадную лестницу, и сердце его еще тревожнее заколотилось. Только теперь он всей душой почувствовал, что впереди, в недалеком будущем, — осада, жестокие сечи...

Потянул ветерок, и Крашенинникову показалось, что это сам ангел смерти повеял своим крылом. Из рассказов беженцев он знал, что враг жесток и неумолим. Чего-чего, а пощады от него не жди!

Здесь, за стенами монастыря, находились все его близкие: и многочисленные друзья, и старые родители, и златокошая Наталья. Что ждет их в будущем?..

Несмотря на насупившееся небо, осаждающие продолжали суетиться, что-то кричали, размахивали руками. Вскоре появилась вторая осадная лестница, затем еще и еще. Крашенинников и счет им потерял. Среди всех лестниц выделялась одна, которая была почти

вдвое длиннее других.

Иван оглянулся, посмотрел на крепость, которая показалась маленькой и незащищенной перед несметными сонмищами врагов, и сердце его сжалось от тоскливого предчувствия.

Неужто им никто в крепости не поможет, неужто люди окажутся брошенными на произвол судьбы? И где же? Здесь, посередь Руси, собственной отчины.

До Москвы, ежели по мирным временам, рукой подать, а ныне — попробуй доскачи, доберись. Птицей не полетишь, хотя Аникей и говорил ему одна, что человеку можно приделать крылья, и тогда он поднимется в небеса, аки птица. Он даже рассказывал про какого-то стародавнего парня, которого звали Икар... Вроде этот самый Икар смастерил себе крылья, прикрепил перья воском да и полетел ввысь вместе со своим отцом, кап то мудрено его звали... Только дело плохо кончилось. Поднялся Икар слишком высоко, туда, где солнце жгло больно жарко, лучи его растопили воск, и перья выпали. Упал Икар в море и погиб. Тут и сказке конец. А может, не сказке?..

Крашенинников тряхнул головой. Нет, крылья не для него! Вот по земле бежать — дело другое. Тут он с кем хочешь потягаться может.

Как, однако, пробраться в Москву, чтобы попросить помощи? Может, глухой ночью на коне добром поскакать? Конь хороший найдется, да ненадежное это дело — конь. Заржет не вовремя — и враз попадешься. Иван глянул на людское месиво внизу и вздохнул: коня убьют под ним в два счета. Надеяться можно только па себя... На мгновение он прикрыл глаза, представив себе, как дерзко мчится там, внизу, лавируя между врагами, а те в растерянности никак не могут поймать его, только хватают руками пустоту. Они пускают в него стрелы, мечут копыя, да все мимо, мимо — настолько ловко увертывается от них Иван. Словно нынешней весной, когда они играли с ребятами в горелки на лугу...

Видение было настолько ярким, что Иван вздрогнул, когда кто-то неожиданно окликнул его снизу:

— Эй, Вань!

У подножья степы стоял Аникей Багров и, задрав вверх рыжую жидкую бороденку, весело смотрел на него.

— Заснул, что ли, стоя? — поинтересовался приятель.

— Наверде того, — не без смущения признался Крашенинников, улыбнувшись в ответ.

— Гляди, свалишься полякам прямо в котел. Знатная похлебка получится.

— Поднимайся сюда.

— И то.

Аникей, взобравшись на крепостную стену, тут же зашел за зубец, служащий защитой воинам от стрел врагов.

— Насилу разыскал тебя здесь, — произнес Аникей, едва отдышавшись от быстрого подъема по крутой лестнице. — Спасибо, стражник подсказал, где тебя искать, неугомонного. Чего тут деешь-то?

— На недруга смотрю.

— Охоронись, за камень стань. Неровен час, стрелой сшибут, моргнуть не успеешь.

Иван махнул рукой.

— Не до меня им, — произнес он. — Видишь сам, что там делается.

— Да уж вижу, — угрюмо ответил Аникей. Брови его нахмурились, вертикальная складка прорезала лоб.

— Подмогу нужно просить, и чем скорее, тем лучше, — сказал Крашенинников. — Сами, видать, не выдюжим.

— До бога высоко, до царя далеко, — ответил Аникей, приставив к глазам ладонь козырьком, чтобы лучше видеть.

— Ну уж далеко, — возразил Иван, — До Москвы-то рукой подать.

— Видят око, да зуб неймет, — усмехнулся Аникей, продолжая разглядывать несметные полчища врагов.

— А ты придумай чего-нибудь, Аникуша.

— Я?

— Кто же еще-то? Ты первый выдумщик в округе. Даже, говорят, с нечистой силой начал знаться...

— А ты, ежели друг мне, глупостей не повторяй! — резко оборвал его Аникей.

— Я шутейно...

— И шутейно не болтай.

— Нет, Аникей, ты не отказывайся, — не отставал Иван. — У тебя в избе диковинок полно — одна похлеще другой. Ты бы сделал мне крылья, а? Наверде как у того парня, про которого рассказывал.

— А полетишь?

— Полечу, так и быть. Где наша не пропадала!

— А вдруг враги стрелой сшибут, али сам сверзишься с поднебесья? Не побоишься?

— Не побоюсь, вот те крест, — торопливо проговорил Иван. Ему показалось, что Аникей спросил всерьез, а в том, что его приятель горазд на самые неожиданные выдумки, Ивану, да и не только ему, приходилось убеждаться не раз.

— Значит, в Москву полетел бы?

— В Москву, за подмогой.

Аникей стер тяжелую каплю дождя, упавшую на лоб.

Прятели помолчали. Дождь начал усиливаться.

— Ладно. Крылья — сказка, конечно, я понимаю, — развел руками Иван. — Но думаю, Аникей, я сумел бы и пешком до Москвы добраться.

— Это как же?

— Бегом. Никто меня не догонит.

— А ежели препятствие встретишь? Обоз, к примеру?

— Перепрыгну, что твой кузнечик. И добегу, — громко произнес он и тряхнул чубом.

— Меля в монастыре чудакom почитают. А ты, гляжу, чудак меня похлеще будешь.

— Думаешь, сил у меня не хватит?

— Силенок у тебя хватит, Ваня. Чем-чем, а этим тебя господь не обидел.

— Чего ж еще надо?

— Уменья.

— Уменья бегать, что ли?

— Вот именно. И прыгать тоже, — добавил Аникей.

Иван искоса бросил взгляд па приятеля: не шутит ли? Но лицо Багрова оставалось серьезным.

— Вроде умею я бегать да прыгать, Аникуша, — произнес с обидой Крашенинников.

— Да знаю я, что проворнее всех в округе, — хлопнул его по плечу Аникей, — что никто не догонит тебя. Но речь о другом веду: бегать и прыгать — великое искусство. И ему нужно учиться, как, например, грамоте. В древности оно ведомо было, а потом утрачено.

— Откуда знаешь?

— Да уж знаю.

— Кто сказал?

— Сорока на хвосте принесла, — рассмеялся Аникей.

Крашенинников задумался. Так что же это получается, люди добрые? Он бегаёт быстрее всех, прыгает выше и дальше всех — не зря же люди прозвали его прыгунком! — а приятель этак небрежно, походя замечает, что он толком не умеет ни бегать, ни прыгать.

А может, Аникей прав? Каждый раз, легко обгоняя других, Иван смутно ощущал, что способен на большее. Может, и впрямь уменья ему не хватает?

От всего этого вдруг повеяло жгучей тайной, но Иван в расспросы не стал вдаваться: как говорится, всякому овощу свой срок. Голова его теперь была занята совсем другим.

Дождь припустил сильнее, но приятели не обращали на него внимания. Монастырские

окрестности затуманились, затянулись косой сеткой.

Плотно сжав губы, Аникей вглядывался в даль, думая о чем-то своем. Казалось, он видит нечто, не видимое другим.

— Если ты провидец такой, то ответь на вопрос... — начал Иван.

— Ну?

— Удержим мы крепость али отдадим ее ворогу ненавистному? — голос Ивана задрожал от волнения.

— Того не ведаю, — покачал головой Багров. — Смотря как сражаться будем.

Снизу, с монастырского подворья, донесся жалобный плач, беженка тащила за руку орущего мальчишку, награждая его тумаками.

— Аникей, — взмолился Крашенинников. — Придумай, как супостатов истребить али от стен отогнать. Сожги их, али утопи, али еще чего сообрази. Ты все можешь! О прошлом годе вы со своим монашком придумали штуку, чтобы мужикам легче было бревна таскать да каменные глыбы ворочать.

— Думаю над этим, Ваня. Но силенок да знания не хватает мне...

Вверху, на пронзительном ветру, оба основательно продрогли. Миновав стражника, который спрятался от дождя в будку, они пошли вдоль крепостной стены: здесь народу было поменьше.

— Пойдем ко мне, — предложил Аникей. — Сбитнем горячим погреемся.

— Пойдем! — с радостью согласился Иван, прибавляя шаг. С тех пор как у Аникея появился новый приятель, пришлый монах, Багров крайне редко приглашал к себе Крашенинникова.

Жил Аникей бобылем, обслуживал себя сам, однако избу содержал в порядке.

В последнее время поползли упорные слухи, что-де Багров знается с нечистой силой. Архимандрит монастыря Иоасаф на всякий случай даже приставил к нему соглядатая, но тот исправно доносил, что Аникей держит себя скромно, тихо, ни дыма, ни тем паче адского пламени в подслеповатых окошках его избы не наблюдается. Правда, справедливости ради нужно заметить, что Аникей, раскусив соглядатая, щедро угощал его брагой.

Так или иначе, а всемогущий старец успокоился насчет Багрова и нечистой силы.

Чем ближе к центру пробирались Иван и Аникей по улицам, тем теснее и суматошной на них становилось. Не оставалось ни клочка свободного пространства — все было запружено беженцами. Ранние холода осложнили их и без того бедственное положение. Доносились обрывки разговоров.

— ...Хату спалили, детишек поубивали, мужик в ополчении сгинул. Осталась я одна на белом свете, сюда не знамо зачем прибежала, — рассказывала окружившим ее бабам молодайка в платке, вытирая слезы.

— И кой дьявол привел их сюда, недругов наших, — с ненавистью произнес Крашенинников, когда они сделали несколько шагов, удалившись от плачущей женщины.

— Привел их не дьявол, Ваня, а литовский гетман Ян Сапега, да с ним польский пан Александр Лисовский.

— Выходит, литвины да поляки? А я со стены вроде еще и других различал.

Багров отрубил:

— Изменщики.

— И я так думаю, — согласился Иван. Наконец добрались до места.

Избенка Аникея стояла в тихом переулке, по которому не то что телеге — пешему можно было пробраться чуть ли не бочком.

Крохотный участок, заросший чертополохом да бурьяном, был огорожен ветхим, покосившимся плетнем, потемневшим от времени и дождей.

По узкой, слабо протоптанной тропинке, подошли к избе.

Внутри было тепло и как-то покойнее. Согревшись сбитнем, Аникей и Иван разглядывали старые рукописные тексты. Их отыскал в монастырском подвале инок Андрей, новый приятель Багрова. Откуда Андрей пришел в монастырь, Крашенинников не знал.

В избе стало темно — хоть лучину зажигай. Осень, сумерки наступают быстро...

Оба воеводы, князь Григорий Долгоруков-Роща и Алексей Голохвастов, которые возглавляли защиту Троице-Сергиева монастыря, не могли не понимать, какая огромная ответственность ложится на их плечи. Если не предпринять какие-то чрезвычайные меры, причем немедленно, враг может захватить монастырь. Счет шел тут не то что на дни — на часы и минуты. Слишком велик был перевес у врага. Нужно было как-то упредить его, выиграть хоть немного времени, организовать оборону.

Под вечер, когда на улицах осажденной крепости стало помалоллюднее, князь Долгоруков вызвал к себе Крашенинникова, Багрова да инока Андрея.

— Пришла пора доказать, что вы в отряде ратном обучались не зря, — молвил им князь и рассказал о своей задумке.

Подземным ходом, о котором ведали только высшие власти, надлежало им выбраться за стены монастыря и выведать ближайшие планы врага.

— У нас ворот в крепости эвон сколько, — хмуро произнес Долгоруков. — Все сразу оборонить — силенок не хватит. Надлежит ведать, на какие ворота враг ринуться собирается. И еще одно: про ход подземный ни одна душа знать не должна. Прознает про него ворог — тогда погибни. Старшим тебя назначаю, — кивнул он Крашенинникову. — Зело, говорят, ты ратные науки превзошел.

— Когда выступать? — спросил Иван, вспыхнув от княжеской похвалы.

— Сегодня в полночь и пойдете, время не терпит, — сказал князь. — До хода подземного сам провожу вас.

Незадолго до полуночи они, крадучись, явились в княжеские покои. Князь, миновав просторные конюшни, привел их в помещение, где хранилась конская сбруя. Сдвинув в сторону хомуты да седла, он обнажил в полу прямоугольный дощатый люк. Не без труда приподняли его за заржавленное кольцо. Из черного провала повеяло сырым, застоявшимся воздухом.

Иван, Аникей и Андрей загодя придумали для себя одежду, чтобы поспособнее в ней было задание выполнять. Правда, кроме крестьянских свиток, порядком потрепанных, особого выбора не было. Зато тесаки да ножи Аникей наточил на славу, и каждый бережно спрятал их в складках одежды: враг, ежели попадетсЯ, не должен был обнаружить, что они вооружены.

— Шуму не поднимайте — дело делайте, — сказал на прощанье князь, держа в руках зажженную свечку. — Да постарайтесь возвратиться... хоть кто-нибудь. Ну, с богом! — заключил он и протянул Крашенинникову свечу.

Дубовая лестница, которая вела вниз, основательно подгнила. Когда Андрей, спускавшийся последним, ступил на влажную, осклизлую землю, люк сверху захлопнулся.

Кромешная тьма разгонялась только слабым, подрагивающим язычком свечи. В первое мгновение Андрею показалось, что он задохнется, однако вскоре притерпелся.

Иван двинулся вперед, словно ходил здесь не один десяток раз. Но и то сказать, идя подземным ходом, с пути не собьешься.

Через некоторое время ход начал сужаться, так что местами приходилось пробираться ползком. В одном месте земля обвалилась, и они руками прорыли себе проход.

Шли молча, изредка обмениваясь короткими репликами.

— Вода! — сказал Крашенинников и, остановившись, опустил пониже заметно подтаявший огарок свечи: у ног его застыла лужа. Вода в ней казалась черной. Капля за каплей струились по стене и, отрываясь, падали вниз.

— Речка, наверное, сверху, — высказал предположение Аникей.

Андрей вздохнул:

— Измажемся как черти.

— Тем лучше. Врог не распознает, — заметил Иван.

Подземный ход пополз кверху, сначала полого, потом круче и круче. Больше всех устал Андрей. Он тяжело и хрипло дышал, при каждом шаге задевал влажные, рыхлые стенки и больше всего на свете мечтал о глотке свежего воздуха.

Идущий впереди Крашенинников внезапно замедлил шаг, затем и вовсе остановился, так что Аникей и Андрей едва не ткнулись ему в спину.

Иван осторожными движениями начал подрезать землю. Возился он довольно долго, пока наконец тесак его не уперся в пустоту. В образовавшееся отверстие хлынул свежий воздух. Иван расширил ход до того, чтобы в него можно было пролезть бочком. Маленький отряд выбрался наружу, после чего они тщательно заложили лаз и заровняли его дерном, который вырезали теми же тесакими.

— Хоть рядом пройдет — не узнает никто, — заметил Аникей, любясь добротной работой.

— Если только не выследят нас, — хмуро добавил Крашенинников. — Вот кривая липа рядом, запоминайте... Ежели кому одному суждено возвратиться.

Лаз вывел их на берег реки. Местность была знакомой — именно здесь они летом постигали ратную науку, и никому тогда в голову не могло прийти, что в этом чахло-ивняке начинается потайной ход в крепость...

Стояло новолуние, и узкий серп луны давал мало света. Они прислушались, кругом было тихо, лишь изредка плескалась речная волна.

Быстро спустились к воде, разделись, каждый связал одежду в узелок.

— Плывайте потише, — сказал Крашенинников и первым вошел в реку.

Вода была ледяной, Андрея едва не скрутила судорога. Он припомнил летние занятия и несколько раз, чуть не хлебнув воды, вдохнул полной грудью, чтобы успокоить дыхание, потом с силой потер занемевшее место. Судорога отпустила, и он поплыл дальше, держа над самой поверхностью воды узелок с одеждой.

Воды в реке после осенних обложных дождей сильно прибыло, течение, особенно в середине русла, было стремительным. Замешкавшегося Андрея отнесло вниз. Ступив на берег, он наскоро оделся и подошел к товарищам, которые уже поджидали его.

Двинулись вдоль дороги, по пожухлой, мокрой осенней траве. Было холодно, моросил нудный дождик.

Послышался отдаленный шум. Иван припал ухом к дороге.

— Конный отряд, — сообщил он. Потом еще послушал и добавил: — Всадников с полдюжины. Ложись!

Они залегли за кустарником у дороги.

— Изничтожим их, — шепотом предложил Андрей. — Коней захватим, сподручнее будет передвигаться.

Багров напомнил:

— Их шестеро.

— Ну и что! Всего по два на брата! — горячо зашептал Андрей. — Сдернем по одному, на коней вскочим, а с остальными запросто расправимся. Не ждут ведь нападения поляки!

— Пожалуй, и справимся, — вступил в разговор Крашенинников, — но шуму зададим, а он нам ни к чему.

Неторопливый перестук копыт постепенно приближался.

Когда всадники оказались совсем рядом, Андрей не без удивления, смешанного с невольным восхищением, насчитал их ровно шесть. То, как Крашенинников определил по стуку копыт количество всадников, показалось ему чем-то сверхъестественным.

— Руки чешутся, — прошептал Андрей, когда звуки затихли.

— Успеешь еще врага бить, — положил ему руку на плечо Аникей.

Теперь пошли быстрее, широким воинским шагом, так, как ходили в учебные походы. Ходьбой и отогрелись немного.

Начало светать. На далеком востоке среди обложных облаков наметилась узкая, бескровно светлая полоска.

— А может, и зря мы поляков-то упустили, — вздохнул Андрей. — Взяли бы «языка», от пего все бы и вывели.

— Первый попавшийся вряд ли все знает, — возразил Крашенинников. — Нам нужно действовать наверняка.

День они переждали в чахлам лесочке — Андрей замерз отчаянно — и только к вечеру двинулись снова, стараясь не удаляться от дороги.

Едва оставили позади хутор, покинутый жителями, как в его сторону прогрохотала доверху груженная телега. Поклажа ее — массивный стол, добротные лавки, несколько крест-накрест перевязанных тюков — заинтересовала Ивана, он велел вернуться к хутору и организовать за ним наблюдение. Телега остановилась, солдаты принялись перетаскивать добро в дом. Вскоре из распахнутой настежь двери прямо в грязь полетела бедная ятварь, принадлежавшая, видимо, прежним хозяевам — горшки, ухваты и прочий немудрящий крестьянский скарб.

— Что-то готовят, — сказал Багров.

Чуть позже подошли к хутору и солдаты. Хорошо спрятавшиеся русичи видели, как они захопотали по двору. Некоторые наскоро принялись сооружать коновязь.

— На хутор нам нужно проникнуть, — тихонько произнес Крашенинников. — Пока охрану вокруг не выставили.

Андрей почувствовал, как заколотилось его сердце.

— А выставят — как обратно пробираться будем? — спросил Аникей.

— О том после подумаем. Вон сараюшка, — кивком указал Иван. — Туда и спрячемся пока, а там видно будет. Другого хода нет у нас.

Жутко любопытно было Андрею узнать, что задумал Крашенинников, однако спросить он не решился, да и времени на то не было. Ползком, а кое-где пригибаясь, если позволял кустарник, они двинулись к сараю. Дождались, когда солдаты, закончив коновязь, пошли в избу, и шмыгнули в чуть приоткрытую дверь.

В углу лежала большая куча соломы, и они зарылись в нее. Со двора доносились резкие, простуженные голоса. Изредка долетала русская речь. По стуку копыт было слышно, как во двор въехало несколько верховых.

— Думаю, други, поляки на хуторе совет держать собираются, — сказал негромко Крашенинников. — Послушать бы, о чем они будут толковать, — и, почитай, полдела сделано!

Сквозь просветы в соломе они видели, как в сарай вошел поляк. Андрею бросился в глаза

шрам, тянущийся через всю его щеку.

— Эй, есть тут кто-нибудь? — на ломаном русском языке крикнул он. Оглядев сарай и не дождавшись ответа, несколько раз ткнул саблей в солому. Андрей почувствовал, как совсем рядом прошло смертоносное лезвие.

— Холодина тут — зуб на зуб не попадает, — пробормотал Андрей, когда поляк вышел. Он мерз больше всех.

Прильнув к щелям сарая, они видели, как во двор все время прибывают новые люди. Судя по богато расшитым кафтанам, ото были не простые ратники.

Вокруг хутора поляки расставили караул. Ловушка, в которую добровольно попал малый отряд русских, захлопнулась.

Иван выжидал. Видимо, у него был план, которым он пока не поделился с товарищами.

В сарай вошел поляк, взял охапку мелко нарубленного хвороста, сваленного у двери, и, насвистывая, удалился. Через некоторое время из трубы избы повалили клубы дыма.

Чуть позже в сарай снова вошел солдат. Хвороста уже не было, и он взял для топки охапку соломы, в которой прятались русичи.

— Этак он скоро до нас доберется. Аида на чердак, — пробурчал Иван, и они, улучив момент, быстро по лестнице переметнулись наверх.

— Есть задумка, ребята, — произнес Иван и перешел на шепот...

Когда в дверь вошел солдат за очередной охапкой соломы, они замерли. Поляк подошел к остаткам в углу и нагнулся. Иван застыл над ним у жердей пастила, заранее раздвинутых. В следующую секунду он прыгнул па поляка. Сцепившись, они покатались по земляному полу. «Только бы не закричал», — подумал Андрей, но поляку от неожиданности такое, видимо, и в голову не приходило. Они яростно сражались, сверху оказывался то один, то другой. Андрей и Аникей сквозь щели между жердями напряженно наблюдали за схваткой. Они, конечно, ринулись бы на помощь, но Иван предупредил: «Первого, ежели он будет один, беру на себя».

Огромному поляку удалось повалить Ивана на спину, однако тот ловко вывернулся и в свою очередь набросился на врага.

— Пусти! — прохрипел поляк, выпучив глаза и едва сдерживая стон. Крашенинников вытащил из кармана загодя припасенную тряпицу и запихал ее поляку в глотку. После этого быстро стащил с него одежду. Затем накрепко скрутил ему руки за спиной ремнем, спутал ноги. Оттащил поляка в угол, спрятав в соломе так, чтобы он мог дышать.

Едва успел Иван забраться на чердак, как в сарай вошли еще двое, обеспокоенные долгим отсутствием товарища. С недоумением оглядели они полутемное пустое помещение. Затем один что-то сказал, другой хохотнул и оба подошли к остаткам соломы. В последнюю минуту один заметил тело, шевелящееся под соломой, и недоуменно посмотрел на другого. Этого мгновения оказалось достаточно: Аникей и Андрей по знаку Ивана бросились вниз на недругов. Андрею достался низкорослый и с виду ледащий, однако ловкий противник. Молниеносным движением инок перебросил его через себя и припечатал к полу.

Багрову пришлось потруднее. Ему удалось свалить противника, но тот зубами вцепился ему в ногу. Озверевший Аникей тут же оглушил его ударом по голове, и противник обмяк, на несколько мгновений потеряв сознание.

Скрутив обоих врагов и сунув каждому кляп, русичи присоединили их к первому.

Аникей и Андрей также переоделись. Затем все трое взяли по охапке соломы и направились в избу. Двор был пуст, лишь поодаль виднелся вражеский караул.

Первым шел Иван. Ударом ноги он отворил дверь и вошел в комнату. Посреди стояла русская печь, огонь в ней догорал. По обе стороны стола на широких лавках сидели люди, которые не обратили на вошедших ни малейшего внимания. Прислужники подбросили соломы, огонь заиграл, загудел, бросая веселые блики в начавшие сгущаться сумерки.

В летнем лагере ратников обучали польскому языку, но люди за столом говорили бегло, я многие слова оставались непонятными.

Русичи нарочно медлили, возились у печки: один сдвинул солому поближе к печному жерлу, другой аккуратно подметал освободившееся место. И вдруг... Неожиданно для всех троих прозвучала русская речь.

— А что думаешь об этом ты? — спросил ратник, сидевший во главе стола. Маленький юркий человечек, к которому он обратился, поспешно встал и зачастил:

— Ударить надо оттуда, где русские не ждут.

— Это откуда же?

— А с Клементьевского поля!

— Но лазутчики донесли, что там ворота самые крепкие, — возразил кто-то. — Ты что же, хочешь, чтобы войско наше лоб себе расшибло?

Все зашумела.

— Оставьте его, — произнес поляк в богатой одежде, и шум за столом мгновенно стих. — Он дело говорит. Войска у них мало, знаю. А главное, оно необученное. Сборище сиволапых мужиков да юродивых. А ты вот что, — обратился он к говорившему, даже не назвав его по имени, и что-то брезгливое мелькнуло в выпуклых глазах поляка. — Ты самолично поведешь наш первый отряд на приступ. И горе тебе, если случится что не так.

Человечек закивал и заулыбался, словно получил великую милость.

— Клементьевское поле уязвимо, — вновь послышалось возражение. — А что, если русские опередили нас и первыми ударят, сделают вылазку?

— Силенок у них на это не хватит. Да и ума тоже, — презрительно махнул рукой главный.

По незаметному знаку Крашенинникова все трое вышли из избы.

У коновязи кони похрустывали овсом. Охраны, к счастью, здесь не было — поляки были уверены в собственной безопасности.

Русичи торопливо отвязали трех неоседланных коней.

— Значит, так, — нарочито спокойно проговорил Иван. — Запомнили, что за столом говорилось?

Андрей и Аникей кивнули.

— Сейчас галопом на копытах к своим, — продолжал Крашенинников. — Авось хоть один до крепости доберется... А пока нужно караул миновать.

— Так мы ведь свои! — ткнул пальцем Андрей в польский кафтан, пришедшийся ему почти впору.

— Кони-то у нас не жолнежские, — усмехнулся Иван наивности инока. — Да неоседланные.

— И пароль у них, видать, есть, — добавил Аникей, вскакивая на коня. — Слово петушиное, коего мы не знаем.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — произнес Иван, и они рысью выехали со двора.

— Стой! Куда? — крикнул стражник, гревшийся у костра, и бросился им наперерез. Из палатки на окрик выскочили и другие.

Иван гикнул, ударил пятками коня и помчался вперед. Сзади, стараясь не отставать, скакали двое его товарищей.

Охранник успел копьём перегородить дорогу, но Иван свечой поднял коня в воздух и легко взял препятствие.

Крашенинников мчался, пригнувшись к гриве коня, и ловил ухом конский топот, доносившийся сзади. С ним поравнялся Андрей.

— Где Аникей? — спросил Иван.

— Конь под ним пал.

— Эх! Сам погибай, а товарища выручай! За мной! — крикнул Крашенинников и, круто повернув коня, помчался обратно.

Багров стоял в окружении врагов, которые, видимо, решили взять его живым. Они медленно сужали круг. Аникей, успевший выхватить у одного из поляков длинное копьё, размахивал им над головой, выкрикивая:

— Кто первый! Подходи! Проткну как козявку!

Силы, однако, были слишком неравны, и поляки понимали это. Внезапное возвращение двух русичей расстроило их планы. Минутного замешательства оказалось достаточно.

Крашенинников с налета прорвал вражье кольцо, подскакал к Аникею, нагнулся с копя, крепкой рукой охватил Багрова поперек туловища и, крикнув Андрею: «Прикрывай сзади!», помчался во всю прыть...

Когда они избавились от погони, совсем смерклося. Русичи пустили измученных коней шагом.

Подъехали к реке.

— Кони хорошие, жалко бросать, — вздохнул хозяйственный Аникей. — Да в подземный лаз их

не затащишь.

Они продвигались медленно, разыскивая потайное место. В спустившейся тьме это было непросто.

— Кто-то там есть, — вполголоса произнес Андрей, вглядываясь в противоположный берег.

Все трое остановились, пристально всматриваясь.

— Никого там нет, — сказал Аникей. — Показалось тебе, Андрюша.

Но в этот момент они увидели, как в кустах что-то завозилось и притаилось снова.

— То-то мне все время чудилось, что за нами кто-то скачет, — с досадой крикнул Крашенинников.

— Переплывем и схватим, — шагнул к реке Андрей, хотя у самого от холода зуб на зуб не попадал.

— погоди, — придержал его за рукав Иван. — Пока переплывешь, он десять раз убежит.

— Пальнуть бы в гада, да не из чего, — сокрушался Аникей, до рези в глазах вглядываясь в то место, где исчезла фигура неизвестного.

— Возвращаемся в крепость, — принял решение Крашенинников.

— А ход подземный? — спросил Багров.

— Ход завалим за собой, — вздохнул Иван. — Нельзя, чтобы враг воспользовался им. Не можем мы рисковать. Верно ли, други?

— Верно, — согласился Багров.

Андрей промолчал.

...Разведчики доложили результат тайной вылазки князю Долгорукову.

— Клементьевское поле? — переспросил он Крашенинникова. — А ты ничего не напутал?

— Нет, — сказал Иван.

— Гм... Ну что ж. Может, это и к лучшему. А как звать того предателя, не узнали?

— Нет.

— Ладно. А вы молодцы, ребята. Русь вас не забудет! — заключил князь.

Как раз перед тем, как отдать команду ударить по все колокола и назначить первую вылазку из осажденной крепости, между двумя воеводами состоялся весьма примечательный разговор.

— Не держи на меня сердца, князь Григорий, — сказал Голохвастов, когда, удалив ратных начальников и челядь, они остались в гриднице одни.

— Ты о чем, княже?

— Да об отряде, коему я противился.

— Ладно. Кто старое помянет, тому глаз вон.

— А кто позабудет — тому оба. Так, что ли? — усмехнулся Алексей Иванович.

— Не таков я.

— Сам теперь вижу — прав ты оказался, — продолжал князь Голохвастов, — и дело твое окупится, верю, сторицею.

— Верю и я.

Да, поначалу Голохвастов, елико возможно, противился необычной задумке Долгорукова — создать специальный отряд из молодых парней, живущих в монастыре и его окрестностях. Отбирать ребят самых сильных, ловких да сметливых, невзирая на сословные различия, — именно последний пункт вызвал особо яростное сопротивление Голохвастова. Отряд должен был собираться тайно, без лишнего шума, в пустынном месте, вдали от жилья. По мысли Долгорукова, это была бы школа ратного мастерства, где лучшие умельцы должны были обучать парней искусству скакать верхом с полным вооружением, стрелять из лука в цель, наводить пищаль, преодолевать препятствия, быстро бегать да ловко прыгать, — словом, научить всему, что необходимо ратнику в боевых условиях.

— Такой отряд даст нам костяк для войска на случай, если война к крепости подойдет, — настаивал князь Долгоруков.

— Одумайся, княже, — махал в ответ руками Голохвастов. — Рук крестьянских и так не хватает, хлеб убирать некому, а ты эвон размахнулся. Баловство это одно, а то и того похуже. Дадим крестьянским детям оружие да обучим их делу ратному, глядишь — из повиновения выйдут да нам же головы и снесут.

— Ежели голова дурная, не грех и потерять ее, — отшучивался Долгоруков.

— Да разве мыслимо это — столько здорового народу от дела оторвать, — горячился князь Голохвастов. — Война еще либо будет, либо нет, а мы столько денег на обучение наведем.

— Ратное дело, княже, сейчас самое важное, — вразумлял друга-супротивника Григорий Борисович. — Прихлынет враг под стены крепости — тогда поздно будет воинов-то обучать.

— Какой там враг, — отмахивался Голохвастов. — Откуда ему здесь взяться? Чать, не на границе обретаемся, а в самом сердце русском. Никогда врагу сюда не добраться!

— Говорят у нас в народе: от сумы да от тюрьмы не зарекайся, — произнес задумчиво князь Долгоруков. — Я бы добавил еще: и от войны — тоже. И не дай бог, ежели война застанет нас врасплох...

И настоял-таки князь Долгоруков-Роща на своем. За Терентьевской рощей, на крутом берегу быстрой Разины, был разбит большой ратный лагерь. Военное обучение в лагере хранили в тайне. Что же касается парней крестьянских, которым несколько месяцев назад посчастливилось попасть в ратный лагерь, то они и до сих пор вспоминали о том с упоением,

как о лучшем времени в своей жизни. Хотя пришлось им в лагере ох как нелегко. Люди, ведающие ратное дело, гоняли их до седьмого пота, от зари до зари. Владеть оружием учил их сам князь Долгоруков-Роцца, и был он строже всех прочих наставников.

Теперь парням предстояло доказать, что их не зря обучали ратному делу. Доказать не московским ратникам, которые приезжали по приглашению князя Григория Борисовича, не самому князю Долгорукову, строгому, но справедливому... Теперь их должен был испытать грозный и коварный враг, не ведающий, что такое пощада, вздумавший закабалить Русь. Чужеземное воинство окружило крепость, захватив ее стены, словно горло, в могучие тиски.

Князья знали, что вместе с убогими странниками и каликами переходящими немало проникло в монастырь и вражеских лазутчиков. Потому ратный отряд из обученных молодых воинов решено было рассредоточить, собирая его только по сигналу тревоги для боевых действий. Чем позже сведения о существовании боевого отряда достигнут вражеских ушей, тем лучше будет...

Все это припомнил князь Долгоруков и решительно произнес, обращаясь к Голохвастову:

— Ну что, князь, настал наш час!

— Настал, князюшка любезный.

— Ин быть по сему! Пусть звонари бьют во все колокола. Приступим, благословись, к вылазке.

Голохвастов тяжело поднялся.

— Посмотрим ино, на что твое воинство способно, — не преминул он уколоть Долгорукова.

— Не мое, а наше воинство, князь, — спокойно поправил его Долгоруков.

...Над монастырем тревожно гудели колокола. Тягучий перезвон плыл над потускневшими от осеннего дождя куполами, видными издалека, над взлохмаченными крышами курных изб, над перепуганными толпами беженцев, которые прибежали сюда из разоренных ворогом окрестных деревень в поисках пристанища и защиты.

Зычный голос глашатая перекрывал колокольный перезвон.

— Эй, люди добрые! — во всю мочь, надсаживаясь, кричал мужик, покрасневший от натуги. — Все, кто может оружие держать, все, кому дорога земля наша русская, все собирайтесь на площади! Вылазку будем готовить на Клементьевское поле. Вышлем жару ворогу лютому!

Когда Иван и Аникей добрались до площади, народу здесь было — не протолкнуться.

В этот момент на возвышение степенно взошел князь Долгоруков.

— Братие! — начал он зычным, чуть сиплым голосом. — Говорить здесь много нечего, времени на это у нас пет. Сами видите, как дело обстоит. А действовать нам надлежит так...

Голос князя дрожал.

— Волнуется, — прошептал Крашенинников, толкнув в бок Аникея.

— Сейчас мы все, кто способен держать оружие, Разобьемся на два отряда — конный и пеший, — продолжал Долгоруков окрепшим голосом, сумев справиться с волнением. — Собираемся у

главных ворот. Потом по сигналу выйдем из монастыря и дадим бой.

— Ах, славно! — сказал Иван.

Аникей промолчал, только сильнее сжал кулаки и воинственно приподнял рыжую бороду.

— ...Как за ворота выйдем — не разбредаться, — продолжал говорить князь вслед толпе, хлынувшей к воротам. — Клином держаться!..

Колокола, словно по команде, разом умолкли, и голос князя волнами прокатывался со быстро пустеющей площади.

Ивана и Аникея чуть не задавили, когда они, помогая себе локтями, продирались к месту, где формировался для вылазки пеший отряд.

— Эх, нам бы сейчас да тех коней, — посетовал Крашенинников. — Ужо мы бы погарцевали.

Багров только усмехнулся.

Оба, не сговариваясь, стали в первый ряд пешего отряда, который вскоре, повинуясь команде, нестройно двинулся в сторону ворот.

Большинство смердов не имело оружия, одеты были разномастно — кто во что горазд, но глаза людей горели решимостью.

Бабы, жавшиеся к избам да плетням, поглядывали на новоявленных ратников с жалостью, иные вытирали платками то ля слезы, то ли капли нудного дождя. Какая-то молодуха выла в голос, надрывно.

У самых ворот отряд приостановился, сломав и без того призрачный строй. Высокий востролицый человек, судя по рясе, из монастырской братии, раздавал оружие тем, у кого его не было: таких было большинство. Тут были топорики, крупные дубняки, бердыши, крючья, копья.

По дороге к воротам отряд успел разрастись подобно снежному кому. Поэтому Аникею и Ивану, чтобы получить оружие, пришлось выстоять длинную очередь, несмотря на то что они поначалу шагали в первом ряду.

Оружие, вытащенное из монастырских подвалов, было заржавленным, в большинстве своем казалось мало пригодным, а то и вовсе негодным для сражения.

— Таким копьём и курицу не проткнешь, — с досадой крикнул стоявший перед ними мужик, трогая пальцем затупленное острие протянутого ему копья.

— Ништо, злее будешь. Проходи давай, другие ждут! — прикрикнули на него. — Ишь, привереда!

Крашенинников взял предложенный ему топорик, провел ладонью по лезвию, покачал головой.

— Хоть наточить бы догадались, защитнички, — обратился он к монаху. — Таким топором и лучину не нащиплешь.

— И за такой спасибо скажи, смерд, — огрызнулся монах.

У Ивана заходили желваки.

— Но лезвием, так обухом, — улыбнулся Аникей, беря приятеля за руку и предотвращая готовую вспыхнуть ссору: он знал его характер.

Багрову оружие разрешили выбирать, и тот после некоторого раздумья взял острую, хотя и несколько варжавлепную пику.

Поставили наново строй. Затем по сигналу ворота со скрипом распахнули, и отряд, подбадривая себя криками, ринулся наружу. Тут же, вслед за пешим, рванулся вперед и конный отряд, с ходу врубившись в гущу растерявшихся от неожиданности врагов.

Лязг железа заглушал стоны раненых и умирающих, крики сражающихся.

Чувство ненависти к врагу захлестнуло Ивана, вытеснив все прочие. Позабыв об опасности, он в несколько прыжков отделился от своего отряда, легко перемахнул широкую яму, бог весть для какой надобности вырытую осаждающими, и очутился у них в тылу.

Натренированные мышцы работали четко, безотказно, как бы сами по себе несли сильное тело. Ох, как помогло ему учение в ратном лагере князя Долгорукова.

— Ванька! Ты куда? — услышал он чей-то крик. — Беги назад, сгинешь!

Но Крашенинников горящими глазами выискивал, какой бы вред побольше нанести врагу. Оглянувшись, отметил про себя, что отдалился от монастырских ворот на порядочное расстояние.

Внимание парня привлекала осадная лестница огромной длины, которую он уже видел с крепостной степы. Лестница покоилась на доброй дюжине подвод, составленных гуськом, и была доставлена к крепости, судя по всему, издалека.

«Пожалуй, ежели приставить, вровень со стеной крепостной будет», — мгновенно прикинул Иван, и ярость вспыхнула в сердце. Подскочив к середине лестницы, он изо всех сил принялся рубить ее.

Лестница была сработана на совесть, может даже и чужеземными мастерами, к тому же обита железными полосами, а топорик бойца невелик да и выщерблен. Но Крашенинников с такой злобой врубился в лестницу, что щепка брызнула во все стороны, словно рой разгневанных пчел.

Чтобы сподручнее было рубить, Иван вскочил на лестницу. И рубил, рубил ее, словно живого врага, забыв обо всем на свете.

Смельчака наконец заметили. Откуда-то сбоку к нему метнулся огромный детина с побелевшими от ярости глазами. Он что-то кричал на шипящем языке и сжимал пудовые кулачищи. В одном из них тускло сверкнул нож.

Соскакивая ему навстречу, Иван запнулся о перекладину почти перерубленной лестницы и выронил топорик, который отлетел далеко прочь.

Нападающий ухмыльнулся и носком сапога отбросил оружие врага еще дальше.

Ивану оставалось надеяться на собственные силы да ловкость. Мог он и убежать — враг бы его

едва ли догнал, — однако эта мысль и в голову ему не пришла.

Противник приближался медленно, выбирая момент, чтобы нанести удар наверняка. Но и Крашенинников был начеку. Далеко позади ему почудился голос Аникея, пробившийся сквозь гомон битвы, но он понимал, что оглядываться нельзя.

Со стороны соперники напоминали двух бойцовых кочетов, топчущихся по кругу. Поляку никак не удавалось применить нож, настолько ловко увертывался Иван.

В одно из мгновений враг коротко замахнулся, метя в грудь Ивана, но тот нырком ушел в сторону, и лезвие рассекло воздух. Улучив момент и быстро оглянувшись, Крашенинников убедился, что помощи ждать неоткуда: сотоварищи рубились далеко. И Аникея не видать...

Резким взмахом ножа противник задел его плечо, по руке побежала кровь.

— Сдавайся, скотина! — завопил поляк.

Тут Иван применил прием, который хорошо знал. Сделав вид, что падает, он в последний момент схватил противника за кисть руки, которая сжимала нож, и рванул врага на себя. Рука противника хрустнула, он взвыл от боли и рухнул на колени, но тут же вскочил с удесятеренной яростью. Через какое-то время можно было подвести первый итог поединка: Иван был ловчее, но враг превосходил его в силе. А тут еще начало неметь плечо.

Изловчившись, Крашенинникову удалось ударом ноги вышибить нож у поляка. Тогда тот начал молотить руками, словно оглоблями, и некоторые удары достигали цели.

Ивану казалось, что бой длится целую вечность, хотя прошло лишь несколько минут.

— Эге, вот где идет настоящий бой за Московию! — послышался сзади насмешливый голос. Это подошла группа из нескольких поляков, вооруженных бердышами и ножами. Они начали растягиваться, окружая место схватки.

Еще оставался узкий проход, чтобы попытаться убежать, пробиться к своим. Но нет, лучше погибнуть, чем покинуть поле боя.

Круг замкнулся. Враги начали медленно сближаться. В этот момент издали донесся звук барабана — сигнал к возвращению в крепость тех, кто участвовал в вылазке. Потом ворота захлопнулись, и Иван останется один в стане врагов...

Среди стихающего вдаль шума битвы Крашенинникову снова почудился голос Аникея, только гораздо ближе. Вскоре показался Багров. Он спешил на помощь приятелю, перескакивая через тела убитых и воинственно размахивая коротким копьём.

— Держись, Ваня! — издали прокричал Аникей, беря копьё наперевес. — Сейчас подмогну!

— Беги отсюда! — крикнул в ответ Крашенинников, продолжая увертываться от поляка. — Ворота захлопнут!

Аникей на бегу только бородой мотнул: мол, глупости не болтай!..

Пока Багров бежал, ситуация успела резко измениться: удачным приемом Ивану удалось свалить наземь грозного противника. Враги, стоящие вокруг, почему-то медлили вступить в борьбу. Упорство русского, который продолжал поединок в безнадежном положении, им было

непонятно.

— А, еще одна пташка в клетку прилетела. Добро пожаловать! — осклабился горбоносый литвин и посторонился, пропуская Аникея в круг.

Поляки явно забавлялись.

Иван и Аникей стали спиной друг к другу, чтобы держать круговую оборону. На несколько мгновений битва притихла — так на какое-то время сбрасывает пламя костер, в который подбросили новые сучья. Поверженный поляк, постанывая, поднялся на ноги.

Враги обменивались репликами.

— Возьмем живьем, — предложил кто-то.

— Живьем неплохо бы, — почесал горбоносый затылок. — Да получится ли? Эти москвиты — сущие дьяволы, не одного смогут изувечить.

— А мы их камнями для начала немного прибьем, смирнее будут, — ухмыльнулся первый.

— Своих бы не задеть.

— А мы осторожно! Дичь, слава богу, никуда от нас не денется, — решил горбоносый. Видимо, он был тут старшим.

Враги начали собирать камни.

Горбоносый прицелился в голову Ивану и умело отвел руку с увесистым камнем в сторону. Багров шепнул:

— Пригнись, браток!

Иван, однако, не шелохнулся, продолжая внимательно наблюдать за действиями горбоносого. И только когда тот метнул камень, Крашенинников неуловимым движением откатнулся в сторону, так что метательный снаряд пролетел мимо его уха. Сзади послышался вопль поляка, в которого угодил камень.

— Отменно! — заметил Иван, — Бей своих, чтобы чужие боялись.

— Недолго тебе прыгать, — прошипел горбоносый. У него был уже наготове другой камень. Второй его бросок оказался более метким — голыш угодил в колено Аникею.

Под радостные вопли поляков Багров, охнув, опустился на землю и выронил копье. Круг врагов сомкнулся еще теснее. Иван затравленно огляделся. Времени для принятия решения — он понимал — у него остается совсем немного, несколько жалких мгновений.

Обостренным взором Крашенинников заметил во вражьей цепи узкую брешь, которая образовалась, когда зашибленный поляк отбежал к обозу. Иван подхватил Аникея и ловким движением вскинул его на здоровое плечо.

Враги на миг растерялись от неожиданности. Этого оказалось достаточно, чтобы Иван со своей ношей выскользнул из вражеского кольца.

— Держи, держи его! — послышалось сзади. Вслед им полетели комья грязи, камни. Враги

попытались догнать Ивана, но где там! Он несся как ветер, несмотря на тяжелую ношу, и только мутная дождевая жижа брызгала фонтанами из-под ног.

Враги поотстали, продолжая швырять камни, и один достиг цели: он ударил в затылок, да так, что у Крашенинникова в глазах потемнело. Тем не менее он бежал, как никогда еще не бегал в жизни. Всю свою силу и волю вложил он в этот бег.

Вдали замаячили крепостные ворота, куда втягивались остатки участников вылазки. Размозженное колено Аникея сильно кровоточило. В какой-то момент тело его обмякло, и Иван понял — друг потерял сознание.

Впереди показалась яма, вырытая осаждающими, и в тот же момент крепостные ворота начали медленно затворяться. Враги ожесточенно сражались с арьергардом русских, пытаясь на их плечах ворваться в монастырь.

Яма приближалась с каждым прыжком. Бросив на нее взгляд, Крашенинников понял, зачем ее выкопали: на дне белели установленные торчком остро отесанные колья. Очевидно, поляки, предполагая возможность вылазки защитников крепости, решили сделать ловушку, волчью яму, но не успели ее закончить — покрыть сверху тонкими жердинами и дерном.

Иван несся огромными прыжками прямо ко рву. Враги притихли. Сейчас этот сумасшедший русский вместе со своей ношей рухнет в ров и погибнет на манер турецкого пленника, посаженного на кол.

Вот уже взбежал на пологий глинистый взгорок, образованный землей, выброшенной из рва.

Разогнавшись на коротком отрезке пригорка, Иван прыгнул. Натренированные мышцы, разогретые стычкой и бегом, совершили немислимое, и он по крутой дуге вместе со своей ношей взвился в воздух.

Невольные зрители как с той, так и с другой стороны на мгновение замерли.

— Не допрыгнет, — с досадой прошептал бородатый ратник, замешкавшийся перед крепостными воротами.

Через несколько бесконечно долгих мгновений полета Крашенинников приземлился на самом краю канавы, поскользнулся, но устоял.

Враги, сбросив оцепенение, ринулись за ускользящей добычей, но было поздно: их встретило грозно ошестинившееся оружие ратников.

Бойцы подхватили Ивана и Аникея и на руках внесли в еще остававшуюся узкую щель, после чего тяжелые ворота с лязгом захлопнулись.

Нескольких поляков да литвинов, которые сумели просочиться на монастырское подворье, добились здесь же, у ворот.

Крашенинников опустил Аникея на охапку кем-то принесенной травы, а сам без сил сел рядом. Их обступили дружески улыбающиеся ратники, возбужденные как удачной вылазкой, так и удивительным зрелищем прыжка. Затуманенный мозг Ивана ловил отдельные реплики:

— Ранены оба.

— Лекаря надобно.

— Послали уже.

От боли и огромной усталости Крашенинников видел окружающих как бы сквозь пелену, которая то редела, то вновь становилась почти непроницаемой.

— Ну-ка, ну-ка, расступись, народ честной. Где те добрые молодцы? Кажите раны, в бою полученные, — слышался неподалеку зычный голос лекаря.

Первые дни в монастыре только и разговоров было, что об удачной вылазке.

Осажденные приободрились. Архимандрит при великом стечении народа отслужил благодарственный молебен. Обращаясь к целебным мощам чудотворца Сергия, он дрожащим от избытка чувств голосом молил, чтобы всевышний послал им всем избавление от ненавистного врага.

Молитва, увы, действия не возымела. Тогда архимандрит задумал тайно отрядить кого-либо из бойцов за стены монастыря, чтобы поискать помощи у крестьян окрестных деревень, поскольку положение осажденных с каждым днем становилось все труднее. Ткнулись было в подземный ход, но он оказался заваленным.

Конечно, у окрестного люда едва ли хватит силенок, чтобы справиться с осаждающими, вызволять монастырь. Но какую-то часть вражьих сил они могли бы отвлечь на себя, организовав летучие отряды.

Старец знал наперечет лучших бойцов монастыря. Выбор его пал на Ивана Крашенинникова, и он велел разыскать парня и пригласить в свои покои.

Иван перешагнул порог, поздоровался и остановился, разглядывая высокие палаты.

— Проходи, чадо, — радушно пригласил архимандрит. — Присаживайся, в ногах правды нет. Плечо-то как?

— Заживает... — Крашенинников шевельнул сильным плечом, сел на широкую, отполированную до блеска лавку.

— А друг как? Багров? — продолжал архимандрит, пронзительно глядя на гостя.

— С ним похуже... Колено... хрящ задет. Монах один его пользует.

— Инок Андрей? — спросил архимандрит.

— Да.

— Хорошо пользует?

— Хорошо.

— Ну, ин ладно. Потолковать хочу с тобой, Иван, — начал архимандрит. — Но чтобы ни одна живая душа не проведала про то. Не зря бают: у стен есть уши. Внемлешь ли мне?

— Внемлю, отче, — кивнул Иван, хотя пока ровным счетом ничего не понимал.

— Ведаю, отрок ты хоробрый, — продолжал Иоасаф. — С ворогом зело добро сражался в вылазку, лестницу им подпортил — до сих пор починить ее не могут, чтобы штурм начать. И про то ведаю, что товарища своего спас. Не зря завещано отцами нашими: за други своя живот положиша... Но не о том я.

Иван ждал.

Архимандрит наклонился к Крашенинникову и жарко зашептал ему в самое ухо:

— Бегаешь ты шибче всех — никто за тобой не угонится. Прыгаешь дальше всех. Ловок как бес... тьфу, не к ночи будь помянут, — осенил себя Иоасаф крестным знамением. — А надобно, Иван, за стены монастыря тайком проникнуть.

Он встал, прошелся по покоям, зачем-то выглянул в мутноватое окно, затем ловко, словно рысь, подкрался к двери и рывком отворил ее: в коридоре никого не было.

— Будем поднимать людей на борьбу с ворогом. — Успокоенный Иоасаф вернулся на место. — Рати собирать

— Поговаривают об этом у нас, отче, — рискнул вставить Крашенинников, на ходу ухватывая замысел архимандрита. — Да где оружие взять?

— Оружие найдется, была бы охота. Вилы, дреколье — все в ход пойдет. А еще петух красный!

— Жечь?

— Жечь! — схватил Ивана за руку Иоасаф, ладонь его была горячей и липкой. — Жечь все, елико возможно: любое жильё, сарай всякий... А самим в леса уходить. Дело к зиме, пусть супостаты без крыши над головой останутся. Чтоб ни сна, ни роздыха не ведали, минутки спокойной не знали. Но для этого перво-наперво нужно из крепости выбраться.

— После вылазки нас так обложили — и мышь наружу не проскочит.

— Ведаю, чадо. Потому и позвал тебя.

— Сколотим ватагу из самых сильных и смелых да ринемся, благословись...

— И порубят вас всех, — докончил архимандрит. — А мне не смерть, мне жизнь ваша нужна.

— А может...

— Ну?

— Может, я один попробую вырваться на волю?

— Справился бы, пожалуй, ты и один. Народ — как порох сухой, только искры ждет. Верного человека я бы там, на воле, тебе дал... Только как вырвешься?

— Ночью.....

— Костры жгут до утра поляки, разве не знаешь? За воротами крепостными наблюдают. Вот ежели мог бы ты птицей обернуться, соколом сизым... Да господь оно не дал человекам.

У Ивана мелькнула сметная мысль. Он поднялся:

— Дозволь, отче, пойду я. Поразмыслю.

— Ступай, проводят тебя. Подай-ка колоколец. Через три дня придешь ко мне.

Аникей встретил рассказ Крашенинникова без того интереса, на который рассчитывал Иван.

— Что тут советоваться со мной? — сказал он после долгой паузы, когда Иван смолк. — Я не господь бог. Как за ворота вырвешься? Ужом и то не проползешь.

Багров неловко задел локтем больное колено, туго перебинтованное, поморщился от боли.

— Донимает?

— Ага.

— Лекарь был?

— Лекарь ничем помочь не может, — раздраженно произнес Алтеей. — Я наказал ему больше не приходить. Только Андрей спасает меня, пользует как нужно.

— Где он?

— Скоро придет. Обещал средство верное принести. Не знаю, травку какую, что ли.

Крашенинников прошелся по комнате, остановился перед Багровым:

— Как же быть-то?

— Придет Андрей — помаракуем, послушаем, что окажет.

Крашенинников нацепил лучину, зажег огонь. Пригорюнившись, долго смотрел на дрожащий язычок.

— О чем задумался? — прервал его мысли голос Алике я. — Небось о Наталье своей?

— А ты почто Наталью вспомнил? — подозрительно посмотрел на него Иван.

— На свадьбе твоей погулять охота. Не будь войны да осады — сыграли бы ее, свадьбу-то.

На крыльце слышались шаги. В избу вошел Андрей.

После того как он тщательно перевязал рану, Иван рассказал о разговоре, который состоялся у него сегодня с архимандритом Иоасафом.

— Дело нелегкое, — сказал Андрей, когда Крашенинников умолк.

— Хоть соколом сизым обернись, а пробейся на волю, так сказал мне святой отец, — припомнил Иван.

— Соколом? — оживился Андрей. — Что же, это мысль. Попробуем сделать тебе крылья, Ваня.

Иван и Аникей переглянулись.

— Объяснять потом буду, а сейчас за дело, други, — сказал Андрей. — Тебе, Ваня, задание. Бери нож, нарежь веток бузины, да потолще. Принесешь — разложи возле печки, пусть сушатся. Материал отменный, легкий и прочный...

Хорошо, что изба Багрова стояла на отшибе. Не было любопытных глаз, которые могли бы наблюдать необычную картину: Иван как угорелый носится, держа на бечевке змея детского воздушного, а Андрей, стоя на крылечке, наблюдает за ним. Время от времени он делает пометку угольком на заслонке, почти сплошь покрытой уже цифирью.

Змей был необычной формы, издали похожий на летучую мышь. Иногда по просьбе Андрея Крашенинников останавливался, змей послушно опускался к его ногам, и Аникей что-то менял в его конструкции. Затем все начиналось сначала.

— Долго еще гонять-то? — не выдержав, спросил Крашенинников. Несмотря на холодный дождь, временами переходящий в мокрый снег, пот лил с него градом, и парень то и дело вытирал свободной рукой лоб.

— Потерпи, потерпи, Ванюша.

Наконец Андрей хлопнул ладонью по гулкой заслонке

— Теперь кой-чего ясно стало, — сказал он. — Замерзла небось? Ну конечно, все, кроме Ивана! — улыбнулся инок. — Аида, погреемся в избе.

Они втроем расположились поближе к печке. От промокшей одежды валил пар.

— А я сегодня понял, какая сила змея в воздухе удерживает, — сказал Иван.

— Какая? — спросил инок.

— Ветер...

Днем приходила Наталья, истопила печь, стоговила варево, сказала на прощанье: «Не перегрызйтесь тут, бирюки», помахала рукой и убежала к себе: дел по дому хватало.

Тепло, которое веяло от печки, вконец разморило Ивана, глаза начали сладко слипаться. Пересилив себя, он поднялся, подхватил охапку бузины и двинулся к выходу вслед за Андреем и Аникеем.

— Дождь кончился, — сказал Иван.

Багров откликнулся:

— Жди заморозков.

Стоял вечер. В крохотные оконца сарая лился мягкий свет месяца. Монастырь спал.

Предупредив архимандрита, друзья на долгое время словно отгородились от всего мира. Андрей показывал, объяснял что да как, Иван и Аникей работали. Перво-наперво сколотили на легких сухих дощечек раму, потом переплели ее ветками бузины. Иван зачищал концы веток ножом, и свежий бузинный запах напоминал жаркое, хмельное лето. Затем принялись обтягивать сооружение плотной тканью, присланной Иоасафом.

Крашенинников, в кровь исколовший руки острыми срезами бузины, то и дело по детской привычке совал палец в рот, утишая боль. Андрей работал ровно, словно заведенный. Не отставал от приятелей и Аникей.

Постепенно под их руками все четче проступали контуры треугольного сооружения, которое по форме напоминало греческую букву «дельта». Это и были крылья — плод многодневного упорного труда.

Как и предположил инок, материи им не хватило. Но Иван вымолил у Натальи все, что девушка насобирала себе на приданое.

— Вот это да! Похоже, ты весь монастырь ограбил, — произнес Андрей, когда Иван ввалился в избу с огромным тюком.

Андрей завязал двойной узел на веревке, объяснил Ивану, как и куда ее следует потянуть, чтобы крылья в полете совершили необходимый маневр.

— Эх, о главном позабыли! — воскликнул вдруг Крашенинников посреди объяснения. — Как крылья-то отсель вытаскивать будем? Нипочем они в дверь сарая не пролезут.

— О том я допрежь тебя подумал, — сказал Аникей. — Развалим сарай — и все дела.

Какое-то время они работали в полном молчании, тщательно сшивая куски материи разной масти и размеров.

— Как одежда куклы цыганской, — заметил Крашенинников, оглядывая крылья.

— Лишь бы полетело, — заметил Багров.

Завершив работу, все трое, не сговариваясь, встали, молча оглядывая свое детище. У их ног лежала разноцветные крылья. Впрочем, пестрота не портила общего вида. Сооружение на вид получилось каким-то стремительным и легким.

Крашенинников перевел взгляд на петли, сплетенные из бечевок, которые в полете должны держать его под мышками, и парню почудилось, что он парит уже, летит там, в поднебесье...

— Чудо, — пробормотал Иван, не отрывая взгляда от диковинного сооружения.

— Какое же это чудо, други, ежели мы сами его сотворили, — тряхнул волосами Андрей...

...Наверху было гораздо холоднее, чем внизу. А может, во воем виноват ветрище, который здесь свободно гулял, как ему вздумается, не ведая преград в виде изб да плетней.

Во всяком случае, Крашенинников уже через несколько минут полета продрог так, что зуб на зуб не попадал.

Впрочем, в первые мгновения Ивану было не до холода. Он сразу же понял, что конь ему попался необъезженный, к тому же норовистый, с которым хлопот не оберешься. Хотя инок Андрей и показал ему на земле, что к чему, но хитрую науку полета парню пришлось осваивать, можно сказать, на ходу, точнее—на лету.

Порывистый ветер дул прямо в лицо, обвевая разгоряченные от волнения щеки.

Подтягивая веревки, Иван быстро набирал высоту. Вскоре он всем телом ощутил множество воздушных сил. Они вились, словно невидимый дым, поднимающийся из печных труб. Иные из этих сил помогали полету, дуя в крылья, словно в паруса, другие заходили откуда-то сбоку, норовя сбить, а третьи и вовсе прижимали к земле. В этой круговерти нелегко было разобраться. Но Ивану повезло, и он смог вырваться на стены осажденной крепости.

Что касемо любопытствующих, архимандрит решил так: говорить всем, что Иван опасно занедужил и лежит в монастырском лазарете. Проведать же его нельзя, поелику хворь заразная.

Темень вокруг поначалу была — хоть глаз выколи, уж такое времечко они подгадали для начала полета. Однако Иван начал кое-что различать далеко внизу.

Задумавшись о тех, кто остался в крепости, Крашенинников попал в нисходящий поток и едва не упал, однако, дернув нужную веревку, в последний момент успел выровнять крылья. Парня тряхнуло, как на хорошем ухабе, так что все косточки занули, а ляжки едва рук не вырвали, однако кверху он взмыл.

Крашенинников припомнил момент, когда он впервые оторвался от земли.

Перед эти они втроем развалили сарай Багрова, стараясь не поднимать шума. Затем вытащили крылья, которые на поверку оказались гораздо тяжелее, чем думал Иван.

Когда они находились на полпути к калитке, в полутьме за забором послышалось движение. Кто-то пробирался к дому. Трое замерли: случайный прохожий, хлебнувший бражки? Али какой лазутчик — говорят, их полно в крепости?

Шаги замерли у калитки. Затем кто-то осторожно постучал в нее.

— Эй, где вы там? — послышался приглушенный голос.

— Святой отец? — удивился Аникей, признавший голос архимандрита.

— Я, я это, — нетерпеливо подтвердил Иоасаф. — Отодвинь-ка щеколду.

Багров подбежал к калитке и отворил ее. В темноте, чуть-чуть разбавленной лунным светом, Иван увидел старца.

Инок сказал:

— У нас все готово.

— Вот и славно, — отозвался архимандрит. — Авось никого не встренем, улицы в сей час пустыньны.

Они вышли со двора и осторожным шагом направились, как было договорено, к монастырю.

— Неужто сие возможно? — прошептал архимандрит.

— При таком ветре должна взлететь, святой отец, — произнес уверенно инок.

— Значит, по ветру полетит Ванюша, аки пушинка малая?

— Против ветра, — поправил Андрей.

— Ну-ну, поглядим. Дивны дела твои, господи, — пробормотал архимандрит. — А и горазд ты на выдумки. Откуда у тебя это?

Инок промолчал.

— Ладно, про то поговорить еще успеем, — решил старец.

— Тьма египетская, — буркнул Аникей, споткнувшийся о какую-то корягу. После этого все четверо какое-то время шли молча.

Из-за тучи выглянул краешек луны.

— Ах, не вовремя, — с сердцем проговорил Крашенинников. Больше всего на свете юноша боялся, что неслыханный его полет по поднебесью может не состояться.

Багров спросил:

— А стража?

— Услал я ее, — сказал Иоасаф. — Ну, живенько!

Вчетвером они понесли аппарат к полуразрушенной древней часовенке, которая стояла на высоком холме, в самом конце обширного монастырского подворья. По пологому склону холма можно было разбежаться для прыжка.

Андрей послюнил палец и поднял его:

— Нужного ветра подождем.

Если бы теперь у Крашенинникова спросили, как дальше развивались события, он честно сказал бы: «Не могу вспомнить». Все происходило словно во сне. Смутно виделось, как вдевал он руки в лямки, как архимандрит перекрестил и благословил его на «полет неслыханный во славу божью», как Андрей подтолкнул сооружение... И вдруг Иван почувствовал, что летит! Летит точь-в-точь как птица.

— Веревки подтяни, высоту набирай! — донесся до него откуда-то снизу приглушенный голос Андрея.

Сказано было вовремя: еще несколько секунд, и зазевавшийся Иван врезался бы в стену. Он дернул веревку и пронесся над него, полоснув по верхушке ногами.

Крашенинников стремительно набирал высоту. Вскоре смутно освещивающие купола Троице-Сергиевого монастыря, а с ними и вся осажденная крепость, остались позади.

Теперь предстояло спуститься в каком-нибудь месте, а затем постараться разыскать там нужного человека...



Вскоре показалась деревенька. Дотянуть бы до нее. Невыносимо больно, особенно во время крутого подъема, резало под мышками, и Иван подумал, что надобно бы их переделать поудобнее. Впрочем, господь ведаёт, понадобятся ли ему еще когда-нибудь спи крылья, и ежели понадобятся, то когда? Перед вылетом Андрей затребовал, чтобы, приземлившись, Иван крылья тотчас уничтожил, лучше всего — сжег. «Почто? — возмутился Крашенинников. — Мы столько трудов на них положили!..» Инок, запнувшись, сказал, что ото трудно объяснить. «А, понимаю, — догадался Крашенинников. — Ты, видать, опасаясь, что враги могут использовать крылья? Дак не бойся, я так спрячу в чащобе — ни одна душа живая не отыщет». Андрей настаивал, но Иван уперся: он думал о приданом невесты, которое пошло на крылья. Сжечь?! Отдать огню то, что годами, кровавым потом мужицким наживалось... В конце концов Андрей скрепя сердце согласился с Крашенинниковым.

...Крылья зацепились за верхушки елей. Иван успел разглядеть внизу куст орешника и прыгнул в него, высвободившись из лямок. Ветви смягчили падение, но ушибся он прилично. «Кости целы, и ладно», — подумал парень, ощупывая ноги. Затем не мешкая отыскал полянку побольше, возвратился к месту приземления, забрался на ель и с превеликим трудом спустил крылья на землю.

Густой бор выглядел безлюдным, похоже, никто из людей сюда не захаживал. Посреди поляны проходил глубокий овраг. Иван вымел из него набившийся снег, спрятал крылья на дно и тщательно присыпал сверху землей, а потом для верности намел целую гору опавших листьев и колючей рыжей хвои.

Закончив, он решительно двинулся в сторону деревеньки, слегка припадая на зашибленную при прыжке ногу. Теперь ему надлежало разыскать соло Нижняя Константиновна, где, по словам архимандрита, был у него человек верный. С ним и посоветоваться, как поднимать мужиков против супостата.

Деревня встретила Крашенинникова дружным собачьим лаем. Псы по дворам бесновались, выходя из себя, почуяв чужака, и Иван на всякий случай выломал толстую палку. Кстати, и идти с ней оказалось гораздо легче.

У крайней избы он остановился, раздумывая, как действовать дальше. Вдруг в деревне поляки? Если начнут допрашивать, кто да откуда, можно с самого начала все дело загубить.

Но не рискнешь — не выиграешь!

Крашенинников поправил за плечами пустую суму и решительно двинулся к крайней избенке. Она выглядела победнее и поплоче остальных.

На стук долго никто не откликнулся, и Иван уже подумал было, что в избе никого нет, но тут дверь скрипнула, и на крыльце показалась подслеповато щурящаяся старуха.

— Кого еще нелегкая принесла с утра пораньше, — проворчала она простуженным басом и приставила ладонь козырьком к глазам, чтобы лучше рассмотреть незваного гостя, одетого в рубище. — Кто таков будешь?

— Погорельцы мы... — протянул Крашенинников таким гнусавым голосом, что самому противно стало.

— Ступай с богом, — махнула старуха рукой. — Самим есть нечего, все поляки повымели, язви их в душу.

— Ну, ин ладно, мамаша.

— Ишь, сыночек выискался!

— Побреду дале, — вздохнул мнимый погорелец, переступив с ноги на ногу. — В селе-то у вас поляков нет?

— Ушли, проклятушие. Все забрали, что можно, да к монастырю двинулись. Да не туда ли ты, парнишка, собрался? — всполошилась старуха.

— Пока не знаю.

— Али не слышал ничего? Монастырь поляки окружили, взять его хотят. Говорят, и птица оттуда не вылетит.

— Неужто возьмут?

— Подавятся, — сказала старуха и поправила платок на голове. — Сражения там идут — что твои страсти господни!.. На вылазку люд выходит, а впереди — добрый молодец, смелый да проворный, как архангел Гавриил. А ты поберегись, не ходи туда.

— Как же не ходить туда, — усмехнулся Иван. — А кто поможет тем, кто стены обороняет?

— Как им поможешь?

— Вилы да дреколье в руки — и всем миром на супостата! — пояснил Крашенинников.

— Не про нас то, милоч, — ответила старуха, испуганно оглядевшись. — Одни бабы с детишками остались здесь.

— А мужики где?

— Кого поляки угнали, кто в лесах попрятался. А кто и сам к супостату переметнулся, — понизила она голос.

— В Нижнюю Константиновну как попасть?

— Шесть верст отсюда Константиновка, — оживилась старуха. — Кума там у меня. Не знаю, жива ли... Вот по энтой дороге ступай, а за колодезем левее возьми. Да в бочагу не угоди, болота там! — крикнула старуха вдогонку.

Антип, зверовидный мужик с бородой, которой гребень, похоже, никогда не касался, встретил Крашенинникова с откровенным недоверием.

— Из монастыря, говоришь? — переспросил он, цепким взглядом окидывая пришельца, сильная фигура которого выделялась и под ветхим одеянием. — Ловок ты, парень, брехать, как я погляжу. Не знаю, кто тебя подослал, да мне это и неинтересно. А из крепости и мышь не выскочит.

— Но вот я же выскочил, — возразил Крашенинников. — И привет от архимандрита Иоасафа тебе принес.

— Проваливай, сосунок, — отрезал Антип. — Не на того напал. Много вас тут, таковских, шастает...

— И еще словечко молвить тебе велел святой отец, — пропуская реплику Антипа мимо ушей, продолжал Иван.

— Ну-ка? Что же передал архимандрит? — усмехнулся Антип.

— Спроси, говорит, у Антипа, не забыл ли, мол, как мы с ним в Киеве жили-поживали?

Слова Крашенинникова произвели сильное действие. Щеки Антипа налились свекольным румянцем, он с минуту помолчал.

— Теперь вижу, свой ты, — произнес Антип. — С того бы и начинал, парень. А то ходишь вокруг да около. А тут знаешь сколько нечисти... Что ж мы на пороге-то стоим? — спохватился Антип. — Заходи в избу, щец похлебаем, покалякаем.

— Один живешь?

— Один. Померла моя хозяйка, — вздохнул Антип.

Пока они ели подкисшие щи, Крашенинников помалкивал, хотя ему очень любопытно было: что скрывается за словами архимандрита о Киеве? Сам Иоасаф на сей счет ее молвил ничего.

Антип, отодвинув пустую миску, проговорил:

— Эх, и славные были деньки-денечки... Тогда, в Киеве-то. Молоды мы были... Иоасаф меня во всем наставлял-то... — Мечтательным тоном проговорил Антип и вдруг круто поменял тему разговора: — А как ты из крепости бежал?

Иван развел руками:

— О том сказать не могу.

— Почему?

— Иоасаф ее велел.

— Ладно, не говори, — согласился Антип, почесывая бороду. — Архимандрит знает, что делает.

Только теперь Иван разглядел, что Антип далеко не молод: больше чем наполовину борода его была седой.

Крашенинников сбросил котомку, прислонился к печке, наслаждаясь идущим от нее теплом и мысленно вновь переживая свой полет по поднебесью.

— Как дела в крепости? — сквозь полудрему донесся до него голос Антипа.

Иван встрепенулся:

— Тяжко. Помочь надобно, Антип. Иоасаф говорит, мужик ты дельный, люди к тебе прислушиваются.

— Чем можем мы помочь?

— Отряды сколачивать. Бить врага, не давать ему ни минуты передышки. На обозы нападать, на отсталых солдат.

— Вовремя ты пришел, паря. Мы уже начали промеж себя думать про это, да не знали, с какого конца начать. А как там Иоасаф? Всеми делами небось заправляет?

— Есть еще два воеводы осадных, князь Григорий да князь Алексей. А как дела здесь, но деревням? — спросил Крашенинников. — Правда, пока добирался к тебе, повидал кое-что...

Антип вздохнул:

— Укрепляются поляки, где только могут. Станы строят.

— Значит, уходить не собираются?

— Только если крепко попросим, — осклабил Антип в улыбке щербатый рот. — А недавно гетман Сапега да пан Лисовский разделили меж собой войско.

— В раздор впали? — обрадовался Иван.

— Не похоже.

— Зачем же им войско дробить? — недоверчиво произнес Крашенинников.

— Прикидывал я, паря. Думаешь, Антип горазд только на печи сидеть? Так им сподручнее, наверно, осаду вести. Ходили в разведку наши люди... Судя по всему, враги скоро подкоп начнут вести тайный. Но как об этом архимандриту сообщить?

— Ты куда? — спросил Иван, увидев, что Антип решительно поднялся с лавки.

— Пойду дружков скликать. Время не терпит, Отдыхай пока. Что с ногой?

— Жилу растянул.

— Болит?

— Болит, — признался Иван.

— Еще б не болело, столько верст неведомо по каким тропкам прошагать, — покачал головой Антип. — Сосни пока немного.

...Уже на следующую ночь дозорные, находившиеся па стенах крепости, радостными криками приветствовали зловещее зарево, разгоревшееся глубоко во вражьем тылу.

Нарочный доложил о том архимандриту да двум воеводам осадным.

— Услышал господь молитвы наши, — размахисто перекрестился Иоасаф. — Поднимается народ.

— Теперь и нам полегче станет, — обрадовались воеводы-князья...

Иван подружился с Антипом. Он оказался добрейшей души человеком, к тому же дельным и решительным. Крашенинников смог воочию убедиться, что для окрестных крестьян каждое слово его было законом.

Знал архимандрит, к кому направить своего посланца!

В течение двух-трех недель им удалось сколотить из мужиков несколько отрядов, направить разрозненные усилия тех, кто стихийно сопротивлялся врагу, в единое русло. Полякам пришлось оттянуть часть сил, занятых осадой крепости, на подавление крестьянского движения.

С каждым днем накапливались ценные сведения об общей численности врага, о расположении войск, вооружении и даже о намерениях. Их удалось выведать у поляков, захваченных мужиками. Но как передашь все это в осажденную крепость?

— Нужно в крепость пробиться, сведения собранные архимандриту сообщить, — чуть не каждый день тербил Антипа Иван. — Сколотим большой отряд — и клином...

— Силенок не хватит.

— Кабы поздно потом не было.

— Ты ж вот сумел выйти из крепости? — хитро улыбался Антип. — Вот и дуй тем же манером обратно.

— Говорил же тебе сто раз: не могу я раскрывать тот путь...

— Ладно, погоди, торопыга. Потерпи немного. У нас еще много дел не сделано. А там придумаем, как весточку архимандриту передать. Есть у меня задумка одна...

— Как?

Антип сощурился.

— Ты-то мне не говоришь, как из крепости выскользнул? Потерпи, узнаешь в свой час.

Крестьянское движение, сигналом к которому послужило прибытие Крашенинникова из осажденной крепости, продолжало неумолимо разгораться в тылу у врага, доставляя ему немало хлопот.

Одним из мужицких отрядов командовал сам Антип. Иван, нога которого к тому времени поджила, участвовал с ним в боевых операциях.

Когда выдавалась свободная минутка, Иван возвращался мыслями к тем, кто остался в крепости. И чаще всех думал он о Наташе. Выгонят поляков, вернется он на поляну, которую запомнил крепко, откопает крылья из-под земли да листа палого, спорет матерью. Даст бог, к тому времени не успеет погреть она. Каждую холстиночку почистит, отмое. Все Наташе верпет: шей снова сарафаны да платья, наряжайся, как цветок вешний!

Однажды, после жаркой стычки с арьергардным польским отрядом, Антип затеял разговор, которого давно и с нетерпением ждал Крашенинников.

— Славно бы весточку в крепость подать, — произнес Антип, почесывая бороду. — Как полагаешь?

— Давно пора.

— Грамоте знаешь?

Неожиданный вопрос поставил Ивана в тупик.

— Маркую немного. Приятель один обучил, — проямлил он.

— Добро. А из лука стреляешь?

— В цель за сотню шагов бью без промаха! Нас много чему перед осадой научили, — оживился Крашенинников.

— А я из лука стрелять не могу. Не мужичье ото дело, больше княжья забава.

— Да в кого ты стрелять-то собираешься? — начал терять терпение Иван.

Замысел Антипа оказался остроумен и в то же время прост. Он сводился к тому, что нужно нацарапать на имя архимандрита Иоасафа грамотку, в которой изложить все о враге. Грамотку свернуть в трубку и привязать к стреле. Далее под видом перебежчиков проникнуть в лагерь осаждающих.

— А потом совсем просто, — заключил Антип. — Улучить момент да послать стрелу с посланием, чтобы через мену в крепость перелетела.

— А как там догадаются, что стрела не простая, с гостинцем? — вслух подумал Иван.

— Сделаем на стреле отметинку, и вся недолга.

— Какую?

— Да хоть бечевкой перевяжем, чтоб в глаза бросилась, — сказал Антип.

Крашенинников хлопнул его по плечу и проговорил с улыбкой:

— Есть у меня два друга. Там остались. Оба такие выдумщики — не приведи господь. И ты, Антип, им бы в масть был. Придет час — сведу вас...

К вечеру Антип притащил откуда-то отменный лук, и они вдвоем двинулись в путь, одевшись поплоче.

Чем ближе к крепости, тем больше вражьи застав попадались на дорогах. Иван предложил обходить их, но Антип отверг это предложение:

— Все путем делать должно, чтобы комар носу не подточил. А то поляки невесть что про нас подумают. Нужно, чтобы они нам поверили.

— Верно, — согласился Иван,

Пока везло: враги их пропускали, признавая за перебежчиков.

— Спешите, мужички, — напутствовали их па одной заставе. — Там много таких, как вы, требуется.

— А когда крепость возьмут, нас допустят туда добычу делить? — спросил Антип.

Вражеский солдат усмехнулся и ничего не ответил, только рукой махнул.

Когда до крепости оставалось совсем немного, их перехватил патруль, предводительствуемый седоусым поляком.

— Стой! — крикнул он.

По они и не думали бежать. Покорно подошли к дюжине солдат. Вороной под пожилым поляком гарцевал от нетерпения, всхрапывал, грыз удила.

— Куда путь держите, мужики? — спросил старший на ломаном русском языке.

— Туда, — махнул рукой Антип в сторону монастыря, стены которого виднелись издали.

— Зачем?

— Участвовать в осаде хотим, — сказал Антип.

— Сказывали, крепость на три дня отдадут тем, кто будет брать ее, — добавил Крашенинников.

Польские солдаты смотрели на обоих отщепенцев с нескрываемым презрением.

— Где же вы раньше были? — строго спросил старший. — Пока мы кровь проливали, по болотам да чащобам прятались? А теперь, когда дело к концу подходит, с ложками к столу явились?

Антип и Иван молчали.

— Вяжу, однако, люди вы серьезные, основательные, — продолжал поляк. — Со своим оружием к нам идете, — бросил он мимолетный взгляд на лук, перекинутый через плечо Крашенинникова. — Так и быть, найдем вам дело по душе. Следуйте за вами! — усмехнулся офицер.

Вскоре они миновали крохотную — в несколько курных изб — деревеньку, покинутую жителями. Никакой живности не было видно. Многие двери распахнуты настежь, несмотря на холод. Кое-где на снегу виднелись пятна крови.

Сердца обоих мужиков сжались при мысли о том, что здесь произошло.

— Бунтовщики. Сами виноваты, — проворчал поляк, словно угадав их думы. — Такая судьба ждет каждого, кто не подчинится войску нашего великого короля.

Они шли, и монастырь выростал на глазах. Когда показались знакомые зубчатые контуры крепостных стен, Крашенинникова охватило волнение. Каменные языки строго темнели на фоне хмурого свинцового неба. Вон памятное место на стене, на котором они стояли с Аникеем в утро, когда вражеские отряды окружили монастырь. А вот и ворота, из которых шли они па первую вылазку.

С тех пор многое здесь изменилось. Враги обосновались прочно. Соорудили земляные укрепления, подтянули осадные орудия. А там, подальше, за леском — отсюда не увидеть, — по сведениям, которые имелись у Ивана и Антипа, готовились делать подкоп под стену. Главная же тайна военная хоронилась в Терентьевской роще.

Двух захваченных на дороге мужиков седоусый поляк подвел к какому-то начальнику, и они о чем-то коротко переговорили. Затем тот повернулся к русским и махнул шпагой, указывая, куда следует идти.

Их впихнули в небольшой дворик, на скорую руку огороженный частоколом. Здесь были такие же, как они, мужики, которых набилось, как сельдей в бочку.

Кто-то бросил:

— Нашего полку прибыло.

— Что за птицы будете? — спросил другой. — Из каких мест вас пригнали?

Оба, однако, молчали, привыкая к неожиданному обороту событий.

Антип огляделся — знакомых лиц, к счастью, не было. Что касаясь Крашенинникова, то и подавно никого здесь не знал, поскольку люди были не из крепости, а из окрестных деревень.

— Молодой совсем парнишка, — пожалел какой-то согбенный дед Ивана. — Как же ты-то попался? В лес надо было уходить, в лес, где отряды наши собираются. Оплошал, что ли?

Иван пожал плечами.

— А теперь всем нам одна дорога, — заключил Дед.

— Это куда же? — спросил Антип.

— А к богу в рай, — пояснил дед. — Али не знаете?

Из разговора выяснилось, что за частокол поляки согнали людей, которые завтра в качестве передового отряда, играющего роль прикрытия, двинутся па очередной штурм крепости.

— Вот это попали, — прошептал Крашенинников, поправляя лук на плече.

Антип, не потерявшей присутствия духа, отозвал его в уголок, к забору.

— Держись, паря, — сказал он, оглянувшись. — Как штурм начнется, придумаем что-нибудь.

— Придумаем.

— Лук да стрелу пуще глаза береги!

Откуда-то вынырнув, к ним приблизился юркий мужичонка неприметной наружности с бегающими глазками.

— Аль байки рассказываете?

— Самое время для баек, — отрезал Антип.

Иван добавил:

— Думаем, как бы не околеть до завтра.

— Не околеете небось. У мужика кость крепкая, — ухмыльнулся юркий и отошел. Издали до них донеслось: — А и околеете, невелика беда.

— Я тебе, гад! — рванулся к мужичонке Иван, сжимая крепкие кулаки, но Антип остановил его:

— Побереги силенки. Завтра пригодятся.

Люди сбились в кучу, словно овцы, тщетно стараясь согреть телами друг друга. Ближе к рассвету мороз заворачивал круче. Повалил снег.

Крашенинников услышал, как кто-то безнадежно произнес в темноте — судя по голосу, давешний старик:

— Куда ни кинь — все клин.

На зубчатой стене крепости изредка появлялись фигуры часовых, которые расхаживали, пользуясь каменным прикрытием. Догадываются ли там, в крепости, о предстоящем штурме? Не застанут ли их поляки врасплох?

Под утро сквозь дыры в частоколе можно было наблюдать, как, словно повинувшись единой команде, лагерь ожил, зашевелился. Послышались короткие команды, отдаваемые приглушенными голосами, тяжелое сопение людей, тащивших грузы. Это были осадные лестницы и прочее снаряжение, необходимое для штурма крепостных стен.

— Вот и наш черед пришел, — вздохнул старик, когда послышался шум отодвигаемого засова.

Скрипнув, отворилась калитка, в проеме показался знакомый Антипу и Ивану седоусый поляк:

— Выходи!

Мужики, понурившись, гуськом потянулись к выходу.

— Давай на всякий случай попрощаемся, — произнес Антип я крепко обнял Ивана.

Мужиков наскоро построили и под усиленным конвоем погнали в сторону крепостной степы. Пар от дыхания мешался с белесой утренней дымкой. Снег перестал идти так же внезапно, как начался. Повсюду, словно открытая рана, чернела земля, разрытая копытами коней и колесами доверху груженных телег.

Они прошли сотни две шагов, когда у Крашенинникова созрело решение. Он понимал, что важно не упустить нужный момент. Прежде было слишком рано, а через минуту может оказаться поздно: на войне ситуация меняется мгновенно. Иван прикинул взглядом расстояние до стены и, выйдя из зыбкого строя, решительно подошел к старшему поляку.

— Чего надобно? — спросил тот, покручивая усы, и с подозрением окинул взглядом ладную фигуру юноши.

— Просьбицу имею, ваша милость, — смиренно проговорил Крашенинников.

— Говори.

— Дозвольте, ваша милость, часового из лука подстрелить, — указал Иван на крепостную стену, из-за зубца которой показался мерно вышагивающий охранник.

— Ты так метко стреляешь?

Иван пожал плечами:

— Утку прежде сшибал на лету.

— Что ж, а теперь сшиби соотечественника, раз у тебя руки чешутся, — милостиво разрешил

поляк. Он что-то сказал конвою по-польски, и те расхохотались.

Крашенинников расправил плечи.

— Сшибешь — тебе это зачтется... где следует, — улыбнулся старший.

Опасаясь, что седоусый раздумает, Иван проворно шагнул в сторонку. Он спустил с плеча лук, достал из-за пазухи заветную стрелу, загодя перевязанную красным лоскутком. Затем крепкой рукой натянул тетиву и сделал вид, что тщательно прицеливается в часового, который, ни о чем не подозревая, успел повернуть и шагнул в обратную сторону.

Мужики и поляки из конвоя с любопытством наблюдали за Крашенинниковым.

— Что у тебя к стреле прилипло? Покажи-ка, — проговорил вдруг поляк.

В тот же момент Крашенинников спустил тетиву. Стрела, описав крутую дугу, высоко взмыла над острым зубцом стены и полетела в крепость, не причиняв часовому никакого вреда.

— Под руку сказали, ваше благородие, — с досадой произнес Иван и отшвырнул в сторону ненужный уже лук.

— Стрелок из тебя, холоп, неважнецкий, — покачал головой поляк. — Да и то сказать, из хама не выйдет пана. А ну, марш в строй! — Он грубо схватил Крашенинникова за шиворот и подтолкнул в сторону отряда.

Иван и Антип обменялись быстрым взглядом, подумав об одном: дойдет ли письмо до адресата?

— Эй, пся крев! Стой! — послышался вдруг сзади резкий окрик.

Голос показался Крашенинникову знакомым. Он обернулся и в первое мгновение опешил: перед ним стоял здоровенный детина — вражеский солдат, с которым он осенью, во время вылазки, сошелся в поединке.

— В гости, значит, к нам пожаловал?! — зловещим тоном произнес солдат.

Иван молчал.

— Что ж, милости просим! В прошлый раз мы, кажется, не довели беседу до конца, — воскликнул поляк и схватил Крашенинникова за руку.

Подошел старший.

— В чем дело?

— О тот хлоп из осажденной крепости, — горячо заговорил солдат.

— Что ты мелешь чепуху? — усмехнулся старший. — Это один из сотен мужиков, взятых во время прочесывания.

— Говорю вам...

— Я сам с патрулем подобрал его вчера на дороге, — перебил седоусый. — А сегодня... — не договорив, он кивнул в сторону отряда русских мужиков.

— Нет! Это будет большой ошибкой. Ему надлежит сохранить жизнь.

— Как он мог выбраться из крепости?

— Не знаю.

— Не знаешь, а говоришь.

— Да ведь это «летающий москвит»!

— Что?..

— Да, это тот самый «летающий москвит», о котором у нас в стане столько разговоров, — с торжеством повторил солдат.

Когда Крашенинников услышал «летающий москвит», сердце его упало: неужели все старания сохранить в секрете его полет оказались напрасными? Неужели враги проведали о прыжке по поднебесью? Но как?..

— С чего ты взял, что это тот человек? — спросил солдата старший.

— Я узнал его. Сначала схватился с ним за обозом, когда он почти успел перерубить главную осадную лестницу, которую привезли из-под самой Варшавы. Ну а потом он перепрыгнул через волчью яму такой ширины, что это было выше всяких сил человеческих, да еще держа на плечах своего раненого товарища.

— Неужели это тот самый, «летающий»? — все еще не веря в свою удачу, переспросил старший поляк.

— Готов присягнуть!

Услышав объяснение, почему враги прозвали его «летающим москвитом», Крашенинников вздохнул с облегчением. Значит, речь идет о его прыжке через волчью яму, а тайна крыльев осталась врагу неизвестной.

— Эге, дело здесь нечисто, — в раздумье произнес поляк. — Не зря этот хлоп рвался под стены крепости. Других пришлось на аркане тащить, а этот с дружкой сам напросился... Отвечай, чего тут искал? — обратился он к Крашенинникову.

Иван молчал.

— Ничего, заговоришь! — тонкие губы поляка растянулись в торжествующую улыбку. — Слышала про тебя, «летающий москвит». Знатная птичка попалась. Заодно расскажешь, как из крепости улизнул, что там за ходы-выходы имеются. Взять его, а заодно в вот этого, — ткнул он пальцем в сторону Антипа, обращаясь к страже.

Солдаты проворно вытащили Антипа и поставили его рядом с Крашенинниковым.

Офицер распорядился:

— Обоих доставить в мою палатку.

— В Терентьевскую рощу? — бойко переспросил угреватый поляк, донельзя довольный тем, что ему не придется принимать участия в штурме.

— Ну да, в Тере... сам черт язык сломит, — выругался офицер. — Беречь их — глаз не спускать. Если что случится — голову сниму. А еще лучше — выдам тебя москвитам, они сами с тебя шкуру спустят за твои художества.

Побледневший поляк промолчал, только крепче сжал длинное копьё.

Услышав слова «Терентьевская роща», Антип и Иван незаметно переглянулись: они знали, что с этим местом связана важная военная тайна поляков. О ней Крашенинников тоже написал в грамотке, которую несколько минут назад, к счастью, удалось с помощью меченой стрелы переправить в крепость. Может, грамотку в эти мгновения успели обнаружить и переправить архимандриту Иоасафу?..

— Вперед! — махнул тем временем рукой старший поляк, и отряд мужиков под остриями наведенных на них копий двинулся на приступ.

Дробно стучали барабаны. Осадные орудия грохотали так часто, что от порохового дыма стало трудно дышать.

Ивана и Антипа вражеский конвой повел к Терентьевской роще, прочь от крепости. Их провожали завистливые взгляды пленных мужиков, шедших на верную смерть.

— Гибель их ждет, — вздохнул Иван, посмотрев на понуренных мужиков, которые нехотя переставляли ноги.

— Нас, паря, думаешь, другое ждет? — откликнулся Антип. — Гляди, им еще позавидуем.

— Эй, разболтались, черти, — замахнулся на них попьём угреватый.

— Выслуживается, — прошептал Антип, но сержант услышал и ударил его по плечу так, что пленник едва не упал.

— Из-за таких, как вы, негодяев крепость никак не возьмем! — зло выкрикнул сержант. — Давно бы уж осада кончилась, а тут мерзни как собака.

Разношерстный конвой сочувственно загалдел.

— Не видать вам крепости как своих ушей, — сказал Иван твердо.

Угреватый размахнулся копьем, но раздумал.

— Ладно, «летающий», с тобой разговор будет особый, — ухмыльнулся он. — Ты свое получишь.

Звуки осады стали глуше.

— Знать бы хоть, что сгинем недаром, — прошептал Антип.

Небольшой отряд свернул в рощу, монастырь исчез из виду.

Судьба послания Ивана Крашенинникова, к счастью, оказалась доброй.

Бесстрашные и вездесущие мальчишки, которых даже вражеский приступ и градом сыпавшиеся метательные снаряды не смогли разогнать по домам, нашли на огородной грядке,

припорошенной снежком, странную стрелу с красным лоскутком: они заметили ее, еще когда стрела перелетала через крепостную стену.

Обнаружив, что к стреле привязано послание — кусок бересты с нацарапанными на ней буквами, — решили снести его на монастырское подворье: грамоте никто из ребят не был обучен, а на подворье многие владели письмом.

Вскрости послание Крашенинникова попало в руки архимандрита Иоасафа, который убедился, что обрывок бересты содержит ценные сведения: здесь было все, что удалось вызнать крестьянским повстанцам за дни, проведенные Иваном во вражьем тылу. И численность отдельных осадных отрядов, и строение войска, и расположение пищалей осадных, и даже общее их количество — шестьдесят три. Было здесь рассказано и о тайне Терентьевской рощи, тайне, которую противник берег пуще глаза.

...В высокой монастырской гриднице шел военный совет. Князя Григорий Борисович Долгоруков Роща и Алексей Иванович Голохвастов принимали людей, выслушивали их и отдавали распоряжения.

Воеводы оживленно расспрашивали какого-то воина в окровавленном шлеме, когда скорым шагом вошел архимандрит.

— Куда запропастился, отче? — обратился к нему князь Долгоруков. — Решать надо, что делать. Напирают поляки на главные ворота.

— Может, вылазкой ответим? — добавил Голохвастов. — Кого присоветуешь, отче, во главе поставить?

Ничего не ответив, архимандрит обратился к воину, который все еще тяжело, словно после бурного бега, дышал:

— Каково там, у враг?

— Тяжко, отче, — произнес воин, блестя белками глаз. Почерневшее лицо его, обожженное порохом, казалось страшным. — Пристрелялись поляки, метко бьют ядрами. Особливо одна пушка донимает, спасу нет.

— Трещера?

Воин кивнул:

— Как ахнет, окаянная, ажник трещины по стене ползут. Знали бы, где расположена, подавили бы ядрами своими.

— Мне ведомо, где Трещера, — сказал архимандрит.

— Где? — спросил воин.

— Запомни: на горке, в роще Терентьевской, — ответил архимандрит.

— Видение, что ли, было у тебя, святой отец? — насмешливо спросил Долгоруков.

— Послание получил, — спокойно сказал Иоасаф, не обращая внимания на язвительный тон князя, и поднял правую руку с куском бересты.

Голохвастов ухмыльнулся:

— С неба?

— Угадал, Григорий Борисович, — произнес архимандрит. — Одначе не время сейчас шутки шутить.

С этими словами он бережно расправил бересту и положил ее на столешницу. Воеводы, нагнувшись, несколько минут изучали бересту. Воин только молча переводил взгляд с одного на другого.

— Кто он, благодетель наш?! — воскликнул князь Долгоруков, нарушив молчание.

Иоасаф коротко рассказал, как к нему попало это послание. При этом он, правда, умолчал, каким образом проник Иван Крашенинников на вражескую территорию и самое имя его не упомянул: считалось ведь, что Иван обретается в монастырском лазарете, маясь тяжелой и заразной болезнью.

— Может, выдумка вражья? — покачал головой Голохвастов. — Подкинули нам, чтобы с толку сбить.

— Либо отряд нага на растерзание выманить, — вздохнул тяжело Долгоруков.

— За истинность послания ручаюсь, — отрезал архимандрит.

— Много берешь на себя, отче! — взорвался Алексей Иванович. Он был порока вспыльчивого. — Откуда ведать можешь? Сам знаешь, ни на волю, ни с воли и мышь не проскочит.

— Не будем, воеводы, время терять, — тихо произнес Иоасаф.

— Что-то таишь ты, недоговариваешь, отче, — покачал головой князь Григорий Борисович, оказавшийся более проницательным. Он вперил тяжелый, мутноватый взгляд в архимандрита, но тот не отвел глаза. — Бог тебе судья. Ты к нему поближе, чем мы, грешные. Чего присоветуешь?

— Немедля вылазку.

— Куда вылазку? — спросил Голохвастов.

— В Терентьевскую рощу, лучшими силами, — твердо сказал архимандрит. — Трещеру нужно уничтожить, иначе она крепостную стену развалит.

Присутствующие посмотрели на Долгорукова: последнее слово было за ним. Князь, видимо, колебался. Он несколько раз подносил кусок бересты к близоруким глазам, разглядывал письмена, словно принимался к ним. Наконец Григорий Борисович медленно и величаво покачал головой.

— Да почему, князь? — с досадой спросил архимандрит.

— Риск зело велик, — пояснил воевода. — Лучшие силы поляки перебьют, с чем тогда останемся? Бери нас голыми руками?

— Не рискнем — удачи не увидим, — стоял на своем архимандрит.

— Дозвольте слово молвить, — произнес неожиданно ратник, о котором в пылу спора вес успели позабыть.

— Говори, — велел Долгоруков.

— Мы разобьем Трещеру и без вылазки.

— Это как же? — поинтересовался князь.

— Знаем ведь, где она теперь, Трещера отаянная. Из затинных пищалей ахнем по ней — и вся недолга.

— Ох, темнота, темнота, — покачал головой князь. — Да ведь Терентьевская роща со стен не видна. Ты это разумеешь?

Ратник шагнул к столу.

— Разумею, князь, — смело произнес он. — Одначе мы умеем теперь наводить пушку и палить по цели невидимой, только знать надобно, в каком месте она располагается.

— Это кто — мы? — спросил второй князь.

— Пушкарки, — пожал плечами ратник.

Долгоруков нахмурился:

— Кто научил?

— Аникей Багров.

— Да разве сие возможно — палить по цели невидимой? — повысил голос князь Долгоруков. — Стреляете в белый свет как в копеечку. А у нас ядер, пороху не хватает. Может, он — лазутчик польский, Аникей Багров?

— Кто дозволил ему с пушкарями дело иметь? — вступил в разговор другой воевода.

— Знаю я хорошо Аникушку Багрова, — погладил бороду архимандрит.

Долгоруков перевел взгляд на Иоасафа.

— Наш Багров, троиче-сергиевый, — снова погладил бороду архимандрит. — Столярную работу для обители делал. Придумал, как мужикам бревна легче таскать...

— Слышал про сие, — подтвердил Долгоруков. — Ладно, ежели ручаешься за него — действуйте. А ты передай пушкарям, — повернулся он к ратнику, — Трещеру не подавите — головы всем поотрываю.

— Трещеру, — машинально поправил ратник.

— Мне все едино, — ответил князь. — Ступай с ним, отче.

В другое время архимандрит вспылит бы: еще потягаться, чья власть в крепости выше — духовная либо светская? Но теперь не до тяжб было — каждая минута промедления могла

дорого обойтись. Иоасаф не смирился, но решил отложить спор до лучших времен.

Когда архимандрит и ратник подошли к двери, снаружи послышался шум, дверь приотворилась.

Воеводы переглянулись.

— Что там?! — крикнул Долгоруков.

— Посланца от поляков привели, — доложил стражник с алебардой, появившийся в дверном проеме.

— Веди, — велел князь.

В гридницу вошел человек с бегающими глазками, в туго подпоясанной поддевке.

— Толмача, — подал голос Голохвастов.

— Не надо. Я по-русски говорю, — произнес посланец и достал из-за пазухи письмо. Говорил он чисто, без всякого акцента.

Архимандрит, который не успел уйти, присел на краешек скамьи, решив узнать, с чем пожаловал посланец. Глаза Иоасафа загорелись ненавистью: он догадывался, что это перебежчик.

— А скажи-ка, кто ты таков... — начал князь Алексей Иванович.

— Погоди, — бесцеремонно оборвал его Долгоруков и обратился к посланцу: — Читай, что там у тебя, да поживее!

— Послание от гетмана Сапеги и пана Лисовского!..

— Пропусти начало, — перебил нетерпеливо князь Долгоруков.

— Главное читай!

— «Пишет к вам, милуя и жалуя вас, — продолжал посланец, заметно сбавив тон. — И предлагаем покориться и сдать крепость...»

Иоасаф усмехнулся:

— Губа не дура.

— «...Если же не сдадите сами, — читал далее посланец, — то знайте, что не затем мы пришли, чтобы, не взяв монастыря, прочь уйти. К тому же сами знаете, сколько городов ваших московских взяли. — В этом месте посланец возвысил голос. — И столица ваша Москва... в осаде... Помилуйте сами себя. Если поступите так, будет милость и ласка к вам. Не предавайте себя лютой и безвременной смерти. А мы царским словом заверяем, что не только наместники в крепости останетесь, но и многие другие города и села в вотчину вам пожаловано будет. Если же не покоритесь, все умрут алою смертью», — закончил посланец и опустил бумагу.

Глаза Долгорукова налились кровью:

— Все?

— Есть еще одно послание.

— Читай.

— Оно архимандриту Иоасафу.

— Вот он, счастливый случай, — усмехнулся князь, — и архимандрит как раз тут, — указал он кивком.

Посланец развернул второй свиток и начал:

— «А ты, святитель божий, старейшина монахов, архимандрит Иоасаф, вспомни пожалования царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича, какой милостью и лаской он вас, монахов, богато жаловал. А вы забыли сына его царя Дмитрия Ивановича. Отворите крепость без всякой крови, иначе всех перебьем». И еще здесь...

— Довольно, — оборвал посланца Долгоруков. — Эти песни мы уже слышали. Что ответим? — обвел он всех взглядом.

Голохвастов опустил взгляд.

— Будем стоять до последнего, — ответил за всех архимандрит. — А этот... — с презрением кивнул он на перебежчика, — пусть отправляется к своим подобру-поздорову, жаль, нельзя на дыбу его.

Долгоруков усмехнулся:

— Кровожаден ты, отче.

Архимандрит не ответил, скрестил руки па груди. Посланец потупился и отвернулся.

— Эй, выведите гостя за ворота, — крикнул князь страже, сжав кулаки. — Передай своим хозяевам: будем драться до последней капли крови! — крикнул он вдогонку посланцу.

Едва затих звук шагов, Иоасаф поднялся.

— Пойдем Трещеру давить, — сказал он ратнику.

Трудно было Аникею. Размозженное колено, еще окончательно не поджившее после вылазки, саднило так, что силушки никакой не было, но Багров не показывал виду, крепился из последних сил.

Инок Андрей переселился к Аникею. Поначалу, сразу после исчезновения Ивана, к ним часто заходила Наталья. Сокрушалась, что за горе-злосчастье с Ваней приключилось, да как он чувствует себя сейчас в лазарете монастырском.

— Почему не оставил его у себя, Аникей? — спрашивала она, вытирая глаза. — Зачем в чужие руки отдал? Я бы сама его выходила.

— А ежели хворь заразная? Половина крепости вымрет — кто защищаться будет? — оправдывался угрюмый Аникей, который терпеть не мог всякой неправды, а теперь вынужден был лгать Наталье.

Девушка всхлипнула:

— Там он в мешке каменном...

— Там его вылечат, Наташа, — веско произнес Андрей.

А через несколько дней она пришла в избу к Багрову и с плачем рассказала, что пыталась пробиться на монастырское подворье, проведать Ивана. Шанежек напекла, молока раздобыла. А стража не пустила ее дальше ворот.

— Терпи, Наталья, — погладил ее Аникей по золотистой косе. — И жди своего сокола.

— Такая уж судьба женщин на Руси — соколов своих ждать, — тихо добавил Андрей. — А что слышно в крепости?

— Все по-старому... Голод, холод... — рассеянно ответила Наташа. — Мужики баяли, враг нажимает. Особливо его пушки донимают.

— Пушки? — переспросил Андрей.

— Ну да. Поляки наловчились их закрывать кустами да лапником рубленным. Наши пушкари и не знают, куда целить, — пояснила девушка.

Когда она ушла, Аникей и инок долго думали а решили, как помочь пушкарям. Многое узнал за время странствий Андрей. Нашел выход и здесь...

Аникей все время, с утра до ночи, проводил у крепостных стен, с пушкарями. Учил их орудия наводить на цель невидимую, ежели только ведомо было, в каком месте она находится, сколько сажень до нее.

«И откуда что берется? — удивлялись пушкари. — И на видимую цель наводить — дело хитрое. Здесь не только сноровка да глазомер потребны, но и навык изрядный». Вскорости ядра, посылаемые с паводки Аникея, начали ложиться точно в цель, вызывая панику в рядах противника.

...Нынче в стане врага спозаранку наблюдалось необычное оживление: тащили к стенам осадные лестницы и сооружения для штурма, подтягивали отряды.

Готовилась атака.

Зоркие пушкари, сгрудившиеся на смотровой башне, заметили вдали группу, которая под конвоем медленно и нестройно двигалась в сторону главных крепостных ворот.

— Наших мужиков гонят, — определил самый глазастый.

— Смертники.

— Прикрытие.

— Бедняги, — вздохнул кто-то из пушкарей, потирая озябшие руки.

— Эх, самое время угостить супостата ядереками, — заметил Аникей. — Вдарить по ним, задать шороху. Целей-то у нас поднакопилось!

Пушкари томились в бездействии, с опаской поглядывая вниз, на приготовления противника. Приказа стрелять сегодня не поступало, воеводы медлили.

Неожиданно за дальним лесом что-то ухнуло, застонало. Это был утробный, низкий звук, казалось, небо лопнуло, расколосось.

— Трещера! Все вниз! Ложись, братцы! — закричал старший пушкарь.

Мужики скатились вниз в заранее вырытые ложбинки близ пушек, глядящих тупыми носами в крепостные проемы.

Звук стремительно нарастал, становился выше, и вдруг тяжкий удар потряс стену до основания. Сверху посыпались обломки. Кто-то закрыл голову руками и протяжно застонал.

Когда пыль улеглась, первым вскочил Аникей, бросился к крепостной стене. За ним подбежали остальные. Их взорам открылась тонкая трещина, прочертившая основание стены.

— Худо дело, братцы, — нарушил молчание старший пушкарь, трогая пальцем острую закраину.

— Еще два-три десятка таких ударов, и пролом появится, — согласился Багров.

Кто-то сгоряча поджег фитиль и бросился к загодя заряженной для залпа по пехоте пушке, нацеленной вниз, на площадь перед крепостью.

— Брось, дура, — строго сказал старший, вырвав трут и ткнув его в снег. — Своих побить хочешь?

— Я б навел как надо...

— Все равно без приказа нельзя. Неведомо тебе, что ли? — бросил старший.

— Да и не дело нам людишек разгонять, — вступил в разговор Аникей. — Для живой силы у нас меткие стрелки имеются. Трещеру бы разбить — дело другое.

— Как ее разобьешь? — почесал в затылке пушкарь. — Упрятали ее поляки неведомо куда.

Все напряженно ждали следующего выстрела грозной Трещеры, но вражеская чудо-пушка молчала: видимо, чтобы зарядить да навести ее, требовалось немало времени и усилий.

Вскоре пушкари заметили архимандрита, который спешил в их сторону. Подойдя к ним, Иоасаф оглядел всех, словно искал кого-то глазами, спросил:

— Где Багров?

— Здесь я, — подошел Аникей, вытирая о штаны запачканные землей руки.

— Слава богу, посылать за тобой не надо. Ну как, мужики, не скучаете? — обратился он к пушкарям.

— Застоялись, — ответил за всех старший. — Как отцы-воеводы, отдадут приказ палить ай нет?

Иоасаф неожиданно подмигнул:

— Привез я приказ.

Люди, не дожидаясь команды, бросились к пушкам.

— Стойте! — остановил их архимандрит. — А куда палить-то собираетесь?

— По врагу, само собой, — пожал плечами молодой парень.

— Должны мы, братцы, Трещеру разбить, — сказал Иоасаф.

— Да где ж она спрятана? Трещера-то? — спросил старший пушкарь.

Архимандрит бережно достал из кармана обрывок бересты:

— Вот эта штука поможет вам, ребяташки.

Люди сгрудились вокруг, разглядывая бересту с нацарапанными на ней письменами. Кто-то сказал:

— Заговор?

— Мудрят воеводы, — с досадой произнес старший пушкарь. — Палить ее, что ли, бересту?

Иоасаф вместо ответа подозвал Багрова, тот поспешно подошел.

— Настал твой час, Аникуша! — молвил архимандрит. — Покажи свое умение палить в цель невидимую.

— Неужели от него?.. — побледнел от волнения Аникей, разглядывая клочок бересты.

Архимандрит еле заметно кивнул.

— Вот здесь, в Терентьевской роще, она спрятана, крестиком помечено, — показал он пальцем.

— А сколько верст да аршинов до нее, легко вызнать: я грамотку из монастыря прихватил.

Пока Аникей что-то прикидывал, пушкари с архимандритом подошли к амбразурам. Вдали, почти у самой линии горизонта, синела Терентьевская роща. Ранее ничем не примечательная, она теперь притягивала их жадные взоры: ведь где-то там скрывалась смертоносная Трещера.

Старшему пушкарю что-то очень хотелось спросить у архимандрита, но он сдержался. Вскоре подошел в Аникей.

— Великовата роща-то, — обратился к нему старший пушкарь.

— Не беда! — весело отозвался Аникей. — Пойдем к пушкам, буду говорить, куда их надобно наводить.

Само гобой получилось, что командование пушкарями взял на себя Багров.

Пушкари истово и слаженно, как в мирное время справляли свой мужицкий труд, принялись за дело.

— Пали! — крикнул наконец Аникей, и первые ядра с воем унеслись в неизвестность. Пушкари напряженно ждали результата, но ничего не последовало, лишь над рощей всплыло несколько несомых белых клубков потревоженного снега.

Сделали еще несколько залпов — с тем же результатом.

Багров почесал затылок.

— Тут до аршина не считаешь, — сказал он наконец, отвечая на вопросительные взгляды.

— Как же быть? — озадаченно произнес старший пушкарь.

— Ты в шахматы играешь, отче? — неожиданно спросил Аникей у архимандрита.

— В шахматы? — удивился тот.

— Да.

— Играю маленько. А зачем тебе, сынок, шахматы понадобились?

— Будем обстреливать рошу во квадратах, — сказал Багров. — Всю эту часть вокруг крестика, — указал он на бересте. — Никуда от нас Трещера не денется, если только она там!

Пушкари, которые не имели представления о шахматах — боярской забаве, молча смотрели на квадратики, рисуемые Аникеем на снегу.

— Братцы, да это же навроде невода получается, — осенило вдруг старшего пушкаря.

— Но времени на это уйдет немало, — покачал головой архимандрит, что-то прикинув. — И сил, и пороха, и ядер...

— Другого выхода нет, — ответил Аникей.

Обстрел Терентьевской роши длился уже более часа. Защитники крепости успели отбить не одну вражескую атаку. Трещера не умолкала — она произвела еще несколько выстрелов, правда, менее удачных, чем первый.

Архимандрит, стоя в сторонке, молча наблюдал за Аникеем. Тот, распарившись, распахнул на груди армяк, лицо его, как и у других пушкарей, было чумазым от пороховой копоти и гари. Время от времени Багров смахивал ладонью грязный пот. Чуть прихрамывая, переходил он от орудия к орудию, делал новую наводку, дотошно проверял угол прицела и командовал:

— Пали!

Озябшему Иоасафу подумалось, что Багров только из-за упрямства не хочет прекратить обстрел роши. Он несколько раз собирался сам сделать это, но что-то останавливало его. Быть может, отрешенное и в то же время отчаянное выражение лица Аникея.

Погрузившись в собственные невеселые мысли, архимандрит засмотрелся на Терентьевскую рошу а вдруг заметил, как над нею быстро начал вспухать легкий дымок. Пушкари, занятые своими орудиями, ничего не видели. Дымок разрастался, сгущался. Вскоре издали донесся гул. То ли дрогнула земля под ногами, то ли архимандриту почудилось. Мужики глянули на рошу, сообразили, в чем дело, и закричали, швыряя в воздух разномастные шапки.

Между тем дальше облако над Терентьевской рошей начали подсвечивать снизу длинные языки пламени, после чего долетел утробный взрыв.

И осаждающие, и осажденные на несколько мгновений замерли, задрвав в небо головы: гроза,

гром? Да откуда они в эту-то пору?

— Не иначе, аккурат в склад пороховой попали, — произнес удовлетворенно Аникей.

Пламя росло, издали казалось, что оно охватило всю рощу.

— Конец Трещере! — выразил кто-то общую мысль.

— Выходит, знатная это штука — шахматы, — улыбнулся Аникей.

Усталые до смерти мужики присели кто на бревно, кто па чурку, а кто и просто на землю. Кто-то сбегал принес воды, и все по очереди принялись жадно пить. Последним испил водицы и архимандрит.

— Спасибо, чада, за службу, — произнес он, вытерев рот меховым рукавом. — Не будет больше пищаль вражья стрелять, крошить стены да убивать детей и женок наших. А тебе спасибо особое, добрый молодец, — вдруг в пояс поклонился он Багрову.

— Что ты, отче, — пробормотал Аникей, вконец сконфуженный. — Вот им всем спасибо, — указал он на пушкарей. — Да еще... эх, скорей бы осаде проклятой конец! — не договорив, воскликнул Багров.

Откуда было ведать Аникею, что в то время, как он с пушкарями обстреливал Терентьевскую рощу, его друг, Иван Крашенинников, находился именно там.

Ивана и Антипа вели долго. Позади остались военные порядки поляков, затихли в отдалении крики и возбужденные голоса.

Когда они вошли в рощу, Крашенинников невольно вздохнул полной грудью: он с детства любил запах зимнего леса. Все, что удалось пережить-переделать за последние дни, навалилось вдруг свинцовой усталостью. Разгром вражских складов, стычки с арьберггардными отрядами... Красный петух тоже доставил полякам немало беспокойства. «И — пожары, пожары, пожары на святой деревянной Руси», — мысленно повторял он слова, невесть откуда пришедшие в голову.

— Пошевеливайся, скотина! — крикнул угреватый и ткнул его копьём в спину. Крашенинников даже не глянул на него, только шагу прибавил, хотя острый наконечник пронзил ветхую одежку и больно кольнул спину. Теперь-то, однако, не все ли равно?..

Оба пленника не смотрели по сторонам, хотя зимний лес был чарующе красив. Ели и лиственницы держали на раскинутых лапах ветвей шапки пушистого снега. Безмолвие, царившее в роще, казалось почти осязаемым.

Крашенинников обратил внимание на дорогу, по которой их вели. Широкой она была — шесть копей могли проехать здесь в ряд. Зачем такое понадобилось? Еще одно подтверждение сведениям, которые они получили от пленного поляка. Вдоль дороги-временки лежали поваленные деревья: казалось, буря над ними покуражилась. Посреди дороги шла глубокая борозда, словно тащили по ней волоком что-то необычайно тяжелое. А в остальном дорога как дорога: конские яблоки, следы копыт и сапог — следы вражеского нашествия. Сколько повидал их Иван, гуляя с Антоном но тылам!

Не обращая внимания на окрики конвойных, Иван внимательно смотрел теперь по сторонам, словно что-то разыскивая. Антип глядел тоже, но Крашенинников первым узрел огромную

машину, высившуюся в стороне от дороги. По форме она отдаленно напоминала холм с удлинённой и заостренной верхушкой. Видно, это и есть та самая Трещера, которая успела принести защитникам крепости столько бедствий. Разглядеть ее подробнее не удалось — пицаль со всех сторон была обложена срубленными ветками и даже целыми деревьями.

— Видишь? — показал глазами Иван.

Антип кивнул.

С широкого тракта они свернули на узенькую, еле заметную тропку и вскоре добрались до офицерской палатки, верх которой был припорошен снегом, отчего она казалась сказочным теремом.

Солдат откинул полог. Ратник, опознавший в Иване «летающего москвитя», так толкнул в спину пленника, что тот, не удержавшись, рухнул на пол. Затем поляки впили в палатку и Антипа.

Весело переговариваясь, конвойные расселись где попало, потирая озябшие руки.

— Начнем, пан, пленников допрашивать? — угодливо спросил угреватый.

— Не лезь не в свое дело, — отрезал высоченный плечистый ратник, и угреватый стушевался.

Воин прошелся по тесному помещению-временке. Здесь было немного теплее, чем снаружи, — по крайней мере, плотная материя спасала от сырого пронзительного ветра.

Посреди палатки стояла черная жаровня с давно остывшими углями.

— Распалить бы огонек, — сказал ратник, задумчиво глядя на жаровню. — Будет неплохо, если мы пока проведем предварительное дознание.

Он чувствовал себя героем дня. Еще бы! Сумел опознать в этом оборванце лазутчика москвитов. Наверняка за это последует награда, а может быть, и повышение в чине.

Он подошел вплотную к поднывавшему с пола Крашенинникову и долго смотрел ему в глаза, наслаждаясь полной властью над этим дьявольски ловким и сильным парнем, из-за которого у него после вылазки русских было столько неприятностей.

— Я не обознался? — вкрадчивым голосом спросил ратник. — Быть может, мои глаза обманывают меня?

— Не обманывают, пан.

— Не отпираешься, славно. Люблю храбрых, — продолжал ратник. — А как зовут тебя?

— Иван.

— Врешь небось. Это нехорошо, — проворчал ратник. — Все у вас тут, в Московии, Иваны,

Иван молчал.

— Ну?

— Больше я ничего не скажу, — произнес Крашенинников твердо.

— Скажешь. Все скажешь! И дружок твой заговорит, — сжал кулаки ратник. — Связать обоих!
— крикнул он конвойным.

Те продолжали сидеть.

— Кому сказано? — повысил голос ратник.

Двое, что-то проворчав, поднялись с мест и нехотя подошли к пленным.

— Нечем вязать, — сказал один конвойный. — Веревки нет.

— Бее учить вас! Пояса снимите да скрутите москвитов! — прикрикнул ратник, чувствующий себя почти офицером.

Конвойные, переговариваясь по-польски, принялись связывать пленных.

Ратника обуяла жажда деятельности. О, он покажет, на что способен!

— Что стоишь как пень? — обратился он к угреватому.

— Что прикажете?

— Жаровню разжигай. Сами погреемся, да и гостей дорогих погреем, — осклабился верзила.

Угреватый добыл из кресала огня, затем, став на колени, принялся раздувать угли. Между тем конвойные крепко связали русских.

Сбегав наружу, угреватый принес еловых веток, наломал их и положил на уголья. Ветки начали потрескивать, в палатке запахло дымом и смолой.

— Начнем с тебя, хлоп, — ткнул ратник в грудь Крашенинникова. — После вылазки тебе удалось улизнуть в крепость, я видел это собственными глазами. Так? Так, — продолжал он, не дожидаясь ответа от пленника. — Из монастыря выхода нет. Как ты здесь очутился? Ну? Молчишь? Память отшибло? Ладно, сейчас развяжем твой поганый язык.

Ратник нагнулся к жаровне, вытащил из нее пылающую ветку и несколько раз ударил ею наотмашь Ивана по лицу.

— Ну?!

Иван усмехнулся.

Обозленный воин отбросил чадящую ветку и с кулаками набросился на Крашенинникова. Мучительно стараясь разорвать стягивающие его путы, тот упал, а враг принялся топтать его коваными сапогами, приговаривая:

— Ты у меня заговоришь!

Неожиданно неподалеку что-то оглушительно грохнуло, почва заходила ходуном. Истязатель остановил занесенную ногу, лицо его расплылось в улыбке:

— Заговорила, родненькая! Кажется, вы, москвиты, называете ее Трещерой? Теперь вашим

несдобровать.

Издали до них донеслось эхо радостных криков: это ликовала осадная армия.

— Теперь поняли, дурачье, что конец близок? — обратился ратник к пленным. — Еще дюжина добрых плевков Трещеры, и вашей крепости конец. Говори, Иван, и я дарую тебе жизнь. Будешь молчать — сожгу заживо.

Ратник снова потянулся к жаровне, достал толстую ветку, наполовину обгоревшую, и раскаленным концом принялся не спеша жечь ладони Крашенинникова, извивающегося от боли. В палатке отвратительно запахло паленым мясом.

— Сначала руки, потом глаза тебе выжгу, — пообещал ратник. — Ну, заговоришь?! Ты еще будешь умолять, чтобы я тебя прикончил.

В этот момент послышался топот копыт, и через несколько минут, откинув полог, в палатку вошел поляк. Лицо его сияло радостью.

— Друзья мои, — объявил он солдатам, — вражеская стена дала трещину.

Конвойные ответили нестройными криками.

— Через полтора-два часа пролом будет готов, и тогда наши войска начнут генеральный штурм, — продолжал поляк. — Но к этому времени недурно знать потайные ходы в крепость, чтобы воспользоваться ими...

Только теперь он обратил внимание на обожженного Крашенинникова, рукав которого тлел.

— Кто посмел самовольничать?! — взревел поляк, обводя всех грозным взглядом. Верзила побледнел и шагнул назад.

Воцарилась пауза.

— Ты? — с угрозой проговорил поляк. — Прости его, москвит. Как там тебя, «летающий»? Я примерно накажу негодя. А ты мне быстренько скажи, где расположен подземный ход. Зря время не тяни. Может, ты скажешь? — обратился он к Антипу. — Спасешь жизнь себе и товарищу. Клянусь богом, ваша жизнь висит на волоске.

Не дождавшись ответа, старший сказал солдатам:

— Разожгите как следует жаровню. Нет, веток не нужно. Только дрова. Мы устроим сейчас преисподнюю. Поджарим наших гостей.

За это время громогласная Трещера успела ахнуть еще несколько раз.

Накрепко скрученные ремнями Иван и Антип лежали рядом, следя за постепенно раскаляющейся жаровней.

— Прощевай, брат. Извини, если чем обидел, — еле слышно прошептал Антип, с трудом шевеля опухшими изуродованными губами: до прихода старшего ратник и с ним успел «потолковать».

— И ты прости, — просипел в ответ Крашенинников. — Эх, ежели бы послание наше дошло... — не договорив, он умолк.

Антип глянул — глаза Ивана закатились, он потерял сознание. Это заметил и старший, который в течение некоторого времени с беспокойством прислушивался к каким-то звукам, похожим на взрывы.

— Встать, падаль, — пнул он Крашенинникова носком сапога.

Иван не пошевелился.

— Вытащить обоих на снежок, — распорядился встревоженный офицер. — Нам они нужны пока живыми.

На снегу сознание возвратилось к Крашенинникову. Он со стоном повернул голову и начал жадно глотать белое месиво. Снег пах хвоей, еловыми шишками, дымком курных изб, еще чем-то бесконечно близким и родным. Попалась хвоинка, Иван долго разжевывал ее, и сладкой показалась ему ее кислота...

Из палатки вышел угреватый.

— Жаровня готова, пан, — доложил он, угодливо вытянувшись.

Неожиданно Крашенинников услышал, как неподалеку что-то грохнулось оземь, взметнув ввысь облако снега, промерзшей земли и щепок.

— Ядро! — сказал он.

— Никак, наши палят по Терентьевской роще, — добавил Антип, подняв голову.

— Но это же значит...

— То и значит, — договорил Антип, и слабая улыбка тронула его губы. — Грамотку получили, знают, куда стрелять...

В эти мгновения ни один из них ко думал, что подвернется смертельной опасности. Они прислушивались, не летит ли еще ядра со стороны крепости. Но было тихо.

Офицер смотрел, как медленно оседает облако, поднятое ядром, выпущенным из русской пушки.

— Шальной выстрел, — сказал он. И, посмотрев на пленников, добавил: — Видно, ваши пушкари с перепугу совсем разучились стрелять.

— Жалко, ежели так, — прошептал Антип, снова опустив голову. — Лучше погибнуть от своего снаряда, чем от руки супостата.

Где-то в роще снова упало ядро, на сей раз далеко от них.

— Замерзли, хлопы? Сейчас будем вас греть, — сказал офицер и шагнул в палатку, видимо, чтобы отдать распоряжения.

В этот миг послышался звук ядра, со свистом рассекающего воздух. Офицер инстинктивно нырнул в дверной проем, под призрачную защиту. В этом была его ошибка. Снаряд задел верхушку палатки и мигом обрушил ее. Изнутри послышались отчаянные крики. Однако выбраться не удалось никому. Материя, упав на раскаленную дорользя жаровню, задымила,

начала тлеть, через минуту воздух потряс взрыв, и остатки палатки вспыхнули, превратившись в костер.

— Бочонок с порохом там был, я его сразу заметил, — сказал Крашенинников.

— Он и грохнул, — добавил Антип.

Они лежали, стараясь как можно глубже вдавиться в снег. Вскоре пламя, лишенное пищи, опало, скукожилось и медленно сошло на нет. Обугленный остов палатки постоял какое-то время, словно раздумывая, и упал на трупы задохнувшихся солдат. Обгоревший офицер так и остался лежать возле дверного проема.

Помогая друг другу, Иван и Антип кое-как поднялись.

— Развязаться надобно, — прохрипел Крашенинников.

— Легко сказать, — произнес Антип. — Они скрутили нас на совесть.

— Сообразим что-нито.

— Стой, ты куда?

Иван подошел к догорающему островку пламени, который остался на месте палатки, и, морщась от боли, сунул руки в огонь. Через какое-то время ему удалось пережечь ремни, связывающие кисти. Остальное было просто. Он отыскал в кармане одного из конвойных нож и мигом освободил от пут Антипа.

Они стояли рядом, разминая затекшие члены, и обсуждали, думали вслух, что же делать дальше.

— Ударим по врагу с тылу, пока он не ожидает, — сказал Крашенинников и потрянул головой.

— Вдвоем-то? — охладил его пыл Антип.

— Н-да, силенок у нас маловато, — согласился Иван. — Тогда вот что, — оживился он после короткого раздумья. — Давай Трещеру отыщем да взорвем ее. Сами погибнем, зато крепость спасем. Вишь, наши-то палить по роще перестали...

— Где-то здесь пицаль, а как отыщешь ее?

— Искать будем.

— Ин быть по-твоему, — согласился Антип. — Пользу отечеству принесем.

— Сначала на дорогу большую выйдем, тогда легче будет Трещеру найти.

Они двинулись наугад по глубокому снегу: тропинку, ведущую к палатке, завалило взрывом.

На рощу снова начали обрушиваться русские ядра. Но падали они как-то странно: то вблизи, то поодаль.

— Никак не пойму, куда они целят, — проговорил Крашенинников. — Впрямь, что ли, палить разучились?

— И то, — согласился Антип.

Они брели и брели, а дорога не показывалась — похоже, с пути сбились. Начался уклон. Снегу сюда намело поболее, и идти стало тяжелее.

— Овраг, что ли? — сказал Антип.

— Разиня.

— Чего-чего?

— Да не тебе я, — улыбнулся Крашенинников. — Речка так называется здешняя, к ней мы вышли.

...Первым не выдержал Антип.

— Не могу боле, Ваня. Так можем трое суток искать Трещеру, роща-то большая, а мы и к дороге не вышли. — С этими словами он присел, пробил почерневший от пороховой гари наст и принялся глотать снег.

Иван опустился рядом. Русские пушки продолжали палить по роще, и он подумал, что такое упорство неспроста.

Внезапно вдали, за оврагом, по дну которого пролегалась насквозь промерзшая Разиня, послышался адский грохот. Над ними засвистели осколки камней. Не лежи в этот момент Иван и Антип на снегу — пришибло бы их сразу. Затем послышался второй взрыв, третий...

— Попали-таки в Трещеру! — обрадованно воскликнул Крашенинников.

— Зелье пороховое занялось, — подтвердил Антип.

Он приподнял голову, чтобы оглядеться, и тут же уронил ее на снег. На виске Антипа показалась кровь. Иван подполз к нему, приложил к ране горстку снега, однако кровь остановить не удалось. Голова безвольно болталась.

— Антип, — позвал Крашенинников, но ответа не получил. Не обращая внимания на мороз, он снял рубаху, располосовал ее и сделал не очень умелую, но крепкую повязку.

В этот миг тяжелое ядро грохнулось совсем рядом. Словно рой разъяренных ос впились в Ивана осколки раздробленного камня, и он без крика повалился рядом с Антипом.

После взрыва трещеры в стане врага на какое-то время воцарилась паника. Защитники монастыря видели с крепостных стен, как поляки бестолково бегали, побросав фашины и осадные лестницы.

Архимандрит чувствовал себя именинником. Воеводы наперебой поздравляли его с уничтожением зловредной трещеры. Однако Иоасаф отвечал, что в том заслуга многих: и пушкарей, и Аникея Багрова, и безвестного инок Андрея.

На коротком военном совете решено было, воспользовавшись смятением врагов, развить успех и немедленно учинить вылазку.

Под дробный стук барабанов быстро выстроились ряды ратников. Месяцы осады не прошли даром. Люди обучались и строй держать, и оружием владеть, и стрелять метко.

По сигналу ворота распахнулись, и отряд с криками ринулся на врага. Часть была конных, часть — пеших. Аникей вырвался вперед на рыжем жеребце.

Нынче главных задач было поставлено две. Первая — вывести из строя побольше вражеских пушек, которые наряду с Трещерой в последнее время начали донимать защитников. Вторая — пополнить запасы продовольствия, в котором осажденные нуждались. В выполнении обеих задач помогла грамотка Крашенинникова, поскольку в ней было указано как расположение вражеских пушек, так и несколько замаскированных складов продовольствия.

Ошеломленные осведомленностью противника, еще не пришедшие в себя после взрыва Трещеры, осаждающие не сумели оказать должного сопротивления. Московиты заклепали несколько десятков вражеских пушек, погрузили на захваченные фуры и телеги мороженные туши волов, мешки с пшеницей и овсом, сало и благополучно пригнали обоз в крепость.

Аникей отделился от остальных и поскакал в глубь вражеских порядков.

— Куда ты?! — кричали ему.

— В Терентьевскую рощу. Хочу Трещеру поглядеть. Вернее, что осталось от нее. Мигом обернусь.

Вскоре Багров, нахлестывая жеребца, углубился в рощу. Скача по широкой дороге, посреди которой тянулась углубленная борозда, он быстро отыскал нужное место: здесь было всего чернее и сильно несло гарью.

Разбитая трещера являла собой внушительное зрелище. Взрыв порохового склада довершил работу русских ядер. Убитая прислуга лежала рядом — видимо, от страшного взрыва не спасся никто. Трупы успели уже заколоться.

Аникей подошел к покореженной пушке и долго рассматривал ее, пытаясь запомнить, как она устроена. Не вечна же осада, отброшен будет враг. Хорошо бы научиться делать такие пищали, чтобы недругу неповадно было соваться на Русь.

— Воистину царь-пушка была... — пробормотал восхищенный Багров, разглядывая ствол чудовищного диаметра. Уроки Андрея не прошли даром — он запомнил впрок, на будущее, самое главное, то, что отличало Трещеру от других пушек.

Обратно Аникей ехал, отпустив поводья. Издали увидел большой, выжженный огнем круг. Подъехав поближе, догадался, что здесь была разбита палатка. Внутри круга валялось несколько трупов, один — у самого входа, вернее — у места, где прежде был вход. Посреди круга находилась чугунная массивная жаровня, угли в которой еще тлели.

Аникей спешил и медленно двинулся, ведя коня в поводу. Его томило неясное предчувствие.

Почерневший наст сочно хрустывал под сапогами. «Пора возвращаться», — подумал Багров, но тут взгляд его остановился на прерывистом следе, который тянулся прочь от сгоревшей палатки. Аникей решил выяснить, куда он ведет. Жеребец беспокойно всхрапывал и вскидывал голову, косясь налитыми глазами на хозяина.

Дорога пошла под уклон, идти стало легче. И вдруг... В первое мгновение Аникей не поверил своим глазам. Перед ним на снегу лежал Иван, рядом — какой-то незнакомый мужик. Возможно, Крашенинников пытался тащить его, пока не свалились оба. Они пострадали, нужно полагать, при взрыве трещеры о пороховом складом.

— Ваня, — позвал Багров. Крашенинников не отозвался.

Убедившись, что оба дышат, Аникей положил их поперек крупа жеребца и поспешно направился в крепость...

Как ни старались крепостные лекари и инок Андрей, вернуть к жизни Антипа они не смогли: он скончался от раны в висок, не приходя в сознание. Но еще до этого, прослышав о двух раненых, доставленные в крепость, их, к великому удивлению окружающих, самолично пришел навестить архимандрит.

Едва Иоасафу доложили, что один из раненых — Иван Крашенинников, Иоасаф в сопровождении небольшой свиты направился к избе Багрова.

Войдя в дом, он подошел к полатам, на которых лежал Крашенинников, и тихо позвал его.

— Отойдите, святой отец. Ему нужен покой, — сказал инок Андрей.

— Как смеешь ты, — замахнулся на Андрея кто-то из свиты.

— Не трогайте его, — остановил архимандрит.

— А разве сей холоп не в больнице лежал монастырской?

— В больнице, в больнице, — с рассеянным видом ответил Иоасаф.

— Как же он очутился за стенами крепости? — не отставал любопытный.

— Господь даровал ему исцеление, — пояснил архимандрит. — И мы направили его на вылазку. Кан он, выживет? — спросил архимандрит у Андрея.

— Выживет, — сказал инок.

— Уж постарайся. Мы не оставим тебя своей милостью, — важно произнес Иоасаф.

— Со вторым дело похуже, — продолжал Андрей. — Боюсь, ничего сделать нельзя.

— Кто он, второй? — спросил архимандрит, оглядывая избу.

— Сие неведомо, святой отец, — выступил вперед Аникей. — Думаю, он не из крепости, а с воли.

— Желаю его видеть.

— Пожалуйте сюда, святой отец, — указал Аникей.

Архимандрит пошел за Багровым в другую часть избы.

— Антипушка! Голова непутевая! — через мгновение донесся возглас Иоасафа.

Когда архимандрит вернулся к свите, глаза его были красны.

— Я готов употребить все свое искусство... — важно выступил вперед пузатый лекарь, пользовавшийся обоим воевод и привезенный Иоасафом специально для Ивана.

— Ему уже ничем не помочь, — дерзко перебил его инок.

В избу с криком вбежала Наталья:

— Где, где он?!

Заметив Ивана, лежащего без сознания, она оттолкнула Андрея, кого-то из архимандритовой свиты и припала к груди Крашенинникова.

— Сокол мой ясный! — запричитала она. — Только в себя пришел, только хворь одолел — и снова в бой ринулся. Не уходи, не покидая меня!

— Пить! — прохрипел Иван.

Наталья метнулась к ведру с водой.

— Нельзя, — остановил ее Андрей. — Он в живот ранен. Глотнет — сразу помрет.

— Птица, птица, — продолжал бредить Крашенинников. — Птица... в небо меня несет...

— Бредит, — сказал лекарь.

— Простите меня, гости высокие, но раненому покой полный нужен, — в пояс поклонившись, произнес инок Андрей. — Иначе помрет, не спасти его.

— Дело говорит он, — сказал архимандрит и, подавая пример остальным, первым направился к выходу.

Комната быстро опустела. Наташа стояла у изголовья Ивана с полными слез глазами.

— Иди-тко и ты, Наталья, — мягко произнес Аникей. — Слезами горю не поможешь. Приходи уже завтра, авось очнется твой богатырь.

Только глубокой ночью Крашенинников пришел в сознание.

— Теперь мы с тобой квиты, Ваня, — весело сказал Аникей, который возился у печки, что-то стряпая.

— Ты о чем? — спросил Крашенинников. Он сидел за столом, каждой клеточкой ощущая блаженное тепло, струящееся от гудящей печи.

— Допрежь ты меня вытащил из полымя, а теперь я тебя, — пояснил с улыбкой Аникей.

— И верно, — подтвердил Андрей. — Он ходил эти дни за тобой лучше, чем мать родная.

Наталья прибежала к ним несколько раз на дню. Ухаживала за Иваном, меняла повязки, подавала целебное питье, приготовленное Андреем...

Разъяренный неудачами, враг продолжал наседавать на крепость. Однако главная опасность — грозная Трещера — перестала существовать.

Через некоторое время Иван встал на ноги — могучий организм взял свое.

Немного поправившись, он рассказал друзьям, как ходили они с Антипом по вражеским тылам,

как сколачивали отряды, поднимали мужиков на борьбу с поляками. Очень печалился, что Антип погиб.

— Нам бы теперь три пары крыльев собрать, — развивал свои планы Крашенинников, — да снова в тыл вражий броситься. Я там знаю кой-кого. Всыпали бы перцу полякам!

— Посмотрим. С Иоасафом посоветуемся, — отвечал Аникей. — А ты как думаешь, Андрей?

— Полагаю, дел и в крепости хватит. А там, в тылу вражьем, вы разожгли с Антипом пожар, Ваня. Его теперь никому не погасить.

Начав выходить на улицу, Иван первым делом попросил:

— Хочу на могилу Антипа сходить.

— Что ж, сходим, — откликнулся Аникей.

— Я дома посижу. Косится на меня монастырская братия, — произнес Андрей. — А тут еще лекарей местных против себя восстановил...

— Ну, посиди б избе. Пойдем вдвоем, — решил Аникей.

На улице было морозно. Кружился редкий пушистый снежок. Крашенинников пошатывался от слабости. Он жадно глядел на подслеповатые оконца, покосившиеся плетни, лица встречных, худые от голода. И все показалось таким родным и близким, что за него, ей-богу, и жизнь не жаль было бы отдать.

Они пересекли центральную площадь, подошли к монастырскому подворью. Аникей что-то сказал стражнику негромко — Иван только разобрал слова «по повелению архимандрита», — и калитка перед ними распахнулась.

Подошли к часовенке, при виде которой сердце Крашенинникова заколотилось: отсюда он полетел на чудных крыльях в ту памятную ночь...

— Вот здесь, — указал Аникей на маленький неогороженный холмик близ часовни. Неровно выбитая надпись на камне гласила, что тут похоронен раб божий Антип, положивший живот свой в борьбе против лютого врага, чтобы жила Русь святая.

— С почестями похоронили. Такова была воля архимандрита Иоасафа, — произнес Аникей после долгого молчания.

— Прощай, Антип, брат мой названный, — молвил Крашенинников и снял шапку.

Выглянуло после долгого перерыва солнце, и улица, на которой они возвращались, была оживленной. Люди повеселели, словно светило обещало близкое избавление от мук осады, йлые улыбались им, подходили поздравить Ивана с исцелением.

Когда до дома оставалось не так уж далеко, Аникей вдруг остановился:

— Гарью тянет.

— Обычное дело. Вражье ядро домишко либо сарай подожгло, — сказал Крашенинников.

Люди в крепости давно привыкли к непрерывному обстрелу вражеской артиллерии. Научились

ловко пожары тушить. Созданы были специальные отряды тушителей, оснащенные баграми, крючьями да песком.

— Моя изба горит! — закричал вдруг Аникей и побежал.

Изо всех щелей приземистого дома валил дым. Багров рывком отворил дверь. В избе стоял чад — не продохнуть, но он смело ринулся внутрь.

Видимо, дом загорелся снаружи. Влажные бревна нехотя тлели.

Вдвоем они кое-как ликвидировали пожар, который не нанес большого урона. Крашенинников вышиб окошки, и дышать стало полегче.

— Андрей! — крикнул Аникей. Никто не откликнулся. «Задохся», — обожгла мысль. Вместе с вошедшим Иваном они обшарили все углы и закоулки — Андрея не было. Он исчез бесследно, и больше его в крепости никто не видел.

Вскоре на крепость надвинулись грозные события, заслонившие все остальное. Враг, видя, что орешек оказался не по зубам, все более осящая пламя партизанской войны, разгорающееся в тылу, решил предпринять отчаянный штурм монастыря, бросив в бой все резервы.

Отдельным отрядам удалось преодолеть стены и порваться в крепость. Завязались яростные схватки за каждую улочку, каждый дом. Сражались все — и боевые ратники, и мирные люди. В первых рядах были Крашенинников, Багров и, несмотря на почтенный возраст, архимандрит Иоасаф.

Через несколько часов рукопашной недруг был отброшен, и на его плечах защитники крепости ворвались во вражий стан.

Хотя полякам удалось защититься, день сей стал переломным. Пыл осаждающих начал угасать. Неверные людишки, примкнувшие к ним в чаянии близкой и обильной поживы, начали откалываться и в одиночку, и целыми группами, несмотря на заградительные кордоны поляков.

На очередном военном совете архимандрит заявил, что грех было бы не воспользоваться смятением врага. Оба воеводы с ним согласились, в результате чего вылазки защитников крепости участились. Враг совсем хвост поджал, не сумел даже задержать партизанский обоз, который вели вооруженные мужики. Защитники получили продовольствие и боеприпасы. Помимо мороженых туш, пороха да ядер обоз привез добрую весть: захватчиков изгнали из недалекого Переславля, побили нечестивцев великое множество и оттеснили оставшихся до самой Александровской слободы. Измученные защитники монастыря чувствовали: спасение не за горами.

Каждый день теперь приносил новости, и все они были добрыми. Враг уже мыслил не о том, чтобы крепость взять, а чтобы подобру-поздорову ноги унести.

И настал день радости.

12 января — через шестнадцать месяцев после начала осады — Сапега и Лисовский снялись с места и двинули свое войско, изрядно потрепанное и оголодавшее, в сторону Дмитрова. Это было скорее не отступление, а беспорядочное бегство. На пути следования враг не находил ни фуража, ни припасов, ни крыши хоть захудалой, чтобы отогреться и отдохнуть.

Убедившись, что враг ушел, осажденные распахнули настежь крепостные ворота. Народ праздновал свое освобождение.

Владислав Романов

ИСТОРИЯ ПОДВИГОВ ДОВМОНТА,

КНЯЗЯ ПСКОВСКОГО

1. Некоторые сообщения об орденах Ливонском,

Тевтонском и Литве

В

1075 году папа Григорий VII обнародовал необычный документ, состоявший из 27 пунктов и называвшийся «Диктат папы», в котором утверждался примат папы над светской властью. Первым, кто принял этот документ, был король Германии Генрих IV. Событие это прошло для России почти незамеченным, как, впрочем, и последующие, когда преемник Григория VII папа Урбан II объявил летом 1095 года поход на «врага христовой веры», положивший начало многочисленным крестовым походам. Германия первой на себе почувствовала новый «диктат», когда уже в последующем 1096 году в прирейнских городах от рук крестоносцев погибло почти 36,5 тысячи евреев.

Церковь брала под крыло своих божьих воинов. Они освобождались от всяких платежей в пользу светской власти, и им разрешалось убивать, грабить с легкой душой, ибо не только никакого греха в этом не было, а наоборот, убийства эти очищали душу христианина.

Россия в это же время изнывала от княжеских распрей, и о крестоносцах пока еще слыхом не слыхивала.

Первый гром грянул в 1204 году, когда крестоносцами был завоеван и ограблен Царьград, столица Византии, откуда пришло на Русь христианство. Страшные явления отмечали в ту пору летописцы: «...и метеоры сверкали в воздухе и снег имел цвет крови». Лишь разрушение Царьграда, как на Руси именовала Константинополь, столицу Византии, заставило по-иному взглянуть россиян па новую грозную силу.

Альберт, епископ ливонский, основавший в 1200 году Ригу, через год учредил свой орден — орден Христовых воинов, или меченосцев, которых благословил новый папа Иннокентий III. Крест и меч стали символом сего ордена. Епископ Альберт оказался политиком зело премудрым. Он особо мечом не размахивал и с завоеванием русских северных земель не спешил, хоть и жадно к ним приглядывался. В первой же стычке с князем полоцким Владимиром он легко переиграл последнего тактически, правда, не без помощи датчан, но эти детали уже чисто военной премудрости.

Чуть позже поляк Конрад Мазовецкий зазвал в Восточную Европу рыцарей Тевтонского ордена, с трудом всевавших в жаркой Палестине. Историк С.Соловьев так обрисовывает их облик и Устав: «Новые рыцари носили черную тунику и белый плащ с черным крестом на левом плече; кроме обыкновенных монашеских обетов, они обязывались ходить за больными и биться с врагами веры; только немец и член старого дворянского рода имел право на вступление в орден. Устав его был строгий: рыцари жили вместе, спали на твердых ложах, ели скудную пищу за общею трапезой, не могли без позволения начальников выходить из дому, писать и получать письма; не смели ничего держать под замком, чтоб не иметь и мысли об отдельной собственности, не смели разговаривать с женщиной. Каждого вновь вступающего брата встречали суровыми словами: «Жестоко ошибаешься, ежели думаешь жить у нас спокойно и весело; наш устав — когда хочешь есть, то должен поститься, когда хочешь поститься, тогда должен есть, когда хочешь идти спать, должен бодрствовать, когда хочешь бодрствовать, должен идти спать. Для ордена ты должен отречься от отца, от матери, от брата и сестры и в награду за это орден даст тебе хлеб, воду да рубище».

Такое житие воспитывало злых и отчаянных воинов, способных решать очень сложные стратегические задачи.

Конрад зазвал поначалу крестоносцев для борьбы с пруссаками и защиты от них поляков, и через пятьдесят два года Пруссия полностью оказалась завоеванной орденом Тевтонским. Образовалась таким образом вместе с Ливонским орденом грозная сила, которой требовались новые походы и новые земли, а впереди на Восток лежала огромная Русь, и но случись нашествие татар в 1237 году, россиянам пришлось бы хлебнуть лиха от крестоносцев, впрочем, они и без того немало попили русской кровушки, о том речь еще впереди.

И первым за два года до нашествия татар обратил на эту силу Даниил Галицкий, сказавши: «По годится держать нашу отчизну крестовым рыцарям». Он хотел воевать против них, и успешно.

Нашествие татар на Россию, их проникновение в Нижнюю Силезию и Моравию на некоторое время укротили воинственный пыл крестоносцев, тем более что здесь, на востоке Европы, проживало немало язычников, коих следовало обращать с помощью меча в веру Христову.

Одним из таких народов были литовцы. Историки пишут, что до IX столетия в Европе о литовцах не слышала. Первыми проникли к ним норманны, а затем русские. С последними литовцы более всего подружились, и некоторое время оба народа жили как братья. Большая половина литовцев говорила по-русски, а русские, еще будучи язычниками, ездили даже поклоняться их богам. Завязывалась дружба у литовцев и с соседними поляками, но после того как король Болеслав III Кривоустый в 1100 году страшно опустошит литовскую землю, истребив много литовцев, дружба эта надолго распалась. С немцами у литовцев дружбы никогда и не появлялось. Немецкие племена то и дело грабили, нападая на соседних литовцев, обращая их в рабов, а с учреждением Ливонского ордена и соединением его с Тевтонским это «истребление, — как пишет Н.Костомаров, — стало носить более регулярный характер». Разрозненность жизни литовских князей мешала им противостоять жестокой силе орденов, и лишь к началу XIII века литовскому князю Миндовгу удалось создать единую литовскую землю и успешно бороться с немцами.

2. О князе Миндовге и его хитростях

Князь Миндовг стал первым, как уже говорилось, единовластителем Литвы. Летописцы и историки пишут о нем, как о человеке жестоком, хитром и коварном. Так, воспользовавшись нашествием Батые и разорением русской земли, литовцы под шумок пограбили и русских

земель немало. Однако не всегда их походы бывали успешными. В 1246, а затем и в следующем, 1247 году они уходили с русской земли битыми крепко, что па время их остепенило.

В 1252 году Миндовг, помня чувствительные удары русских, послал своего дядю Выкынта и двоих племянников — Тевтивила и Эдивида — воевать к Смоленску, объявив им: «Что кто возьмет, тот пусть и держит при себе». Однако вовсе не за сокровищами Отправил Миндовг своих родичей. Ему нужно было захватить их владения, отобрать имущество, а чтоб убить самих их, он послал догонщиков. Но князья разгадали злодейство и убежали к Даниилу Галицкому, который был женат на сестре Эдивида и Тевтила. Миндовг, прознав, где приютились племянники, потребовал, чтоб Даниил им не покровительствовал, на что Даниил, не любивший жить по чужой указке, рассердился и стал собирать союзников, чтоб идти воевать против Миндовга.

Поляки быстро согласились идти войной на коварного Миндовга. Последний, однако, был силен, и союза с поляками было еще недостаточно, чтоб разгромить князя литовского. Тогда Даниил послал Выкынта к ятвагам, в Жмудь, и к немцам, в Ригу. Посольство ого оказалось удачным, многие согласились, и что особенно было важно — меченосцы, сила которых, как уже говорилось, внушала опасения многим народам.

Заручившись такими союзами, Даниил Галицкий с братом выступил в поход против Миндовга. Немцы в назначенный час не выступили, и Даниил послал к ним снова Тевтивила. Тот, прибыв в Ригу, дабы склонить орден к походу, принял крещение там, и это ободряюще подействовало на немцев. Орден стал готовиться к войне с Миндовгом.

Великий князь литовский не на шутку испугался. Драться с Даниилом Галицким и с орденом он одновременно не мог, поэтому надо было искать спасительный выход. А где его найдешь?.. Ехать искать союзников уже поздно, да и не к кому. Литовцы своей ми дерзкими набегами порушили дружбу со многими. Рядом были сильные города Псков с Новгородом, но в 1240 году литовцы вместе с лифляндцами ходили воевать на Псков, брали его, грабили и только благодаря Александру Невскому были биты и выгнаны из древнего города, младшего брата великого Новгорода, посему долго придется уговаривать псковичей на союз, да и не пойдут они против ордена и Даниила Галицкого. Поэтому спасение надлежало искать в чем-то другом. А так как Миндовг отличался хитроумием необыкновенным, выход он все же нашел.

Он тайно послал в орден посланника с дарами. Тот привез их целый воз прямо магистру Андрею фон Штукланду, пообещав еще вдвое, втрое больше, если магистр откажется и выгонит Тевтивила. Выход простой и грубый, но не следует забывать, что Миндовг был все же правителем литовским, правителем сильным, и чтобы победить его, требовалось еще немалое ратное искусство, а заполучить целый народ вот так, без кровопролития, ордену показалось весьма выгодно. Поэтому Андрей фон Штукланд ответил, что разговор такой возможен ланп при одном условии: если Миндовг примет крещение. Через несколько дней после возвращения посланника, Миндовг уже сам просит свидания с магистром, а встретившись с ним, соглашается на крещение. Так язычник, правитель литовский, становится католиком, отчего папа римский в неопишемом восторге. Миндовга коронуют королевским венцом, а Литву уже механически заносят в список своих провинций. «Крещение его было льстиво, — цитирует летописца С.Соловьев, — потому что втайне он не переставал приносить жертвы своим прежним богам, сожигал мертвецов; а если когда выедет на охоту, и заяц перебежит дорогу (это одна из литовских примет. — В.Р.), то уж ни за что не пойдет в лес, не посмеет и ветки сломать там». Каким-то чудом Миндовг сумел подольститься и к Тевтивилу, а тот уже от Миндовга приехал с дарами к Даниилу Галицкому просить, чтоб Даниил отдал своего сына

Шварна за дочь Миндовга, да Тевтивил к тому еще и сообщил, что Миндовг подкупил ятвагов, и последние в поход, вместе с Даниилом на Миндовга не идут. Так расстроился весь поход, а через два года уже мир и дружба между Даниилом и Миндовгом, Шварн Даниилович женат на его дочери, а старший брат Роман княжит в Новогрудеке, бывшем городе литовском.

Все эти события важны были, чтоб приступить, наконец, к главному герою повествования, к рассказу о его судьбе, о славных деяниях, литовскому князю Довмонту, ставшему защитником Пскова и земли русской.

3. Князь Довмонт — князь литовский и псковский

Начав рассказ свой, сразу оговорюсь, что написание имени Довмонт во многом условное. Его литовское имя — Даумантас, в русских же летописях его называют по-разному. В Первой Псковской летописи он Домант и Домонт. Во Второй Псковской — Домонт и Довмонт, в Новгородской Первой — Довмон и Домонт, в Новгородской Четвертой — Домонт, в Софиской Первой — Домонт и Домант, в Степенной книге — Домант. Историки Соловьев и Карамзин называют его Довмонтом, Костомаров — Даумондом, так и среди них общей точки зрения нет. Чтобы не особенно расходиться с основными «Историями» — Карамзина и Соловьева, я тоже буду называть своего героя Довмонтом, как это стало принято и в дальнейших исторических трудах.

Мы не знаем сегодня дату его рождения. У литовцев к тому времени своей письменности еще не было, князя а люди родовитые пользовались русским письменным языком, а в летописях русских дата рождения Довмонта не записана.

Хорошо и более подробно известна вторая половина жизни князя Довмонта, когда в 1266 году он был избран князем псковским. Он добре совестно княжил 33 года — факт удивительный, если не сказать еще более — необыкновенный, поскольку князя русские подолгу на своих княжеских местах не удерживались. Чаще всего они бывали убиты в результате междоусобных войн и распрей, частенько, как это происходило в Новгороде или в Пскове, где все решало народное вече, их с позором прогоняли. И никакие заслуги прошлые тут их не спасали, коли князя зазнавались и начинали чрезмерно злоупотреблять властью.

К псковскому княжению мы еще вернемся и попробуем понять, каков же был «благочестивый и храбрый князь Довмонт», как звали его псковичи. Умер он в 1299 году, будучи уже старцем, то есть в возрасте примерно восьмидесяти лет. Поэтому можно лишь предположить, что родился он в 1219–1220 годах и к 66-му году имел лет 46, не больше, поскольку именно в эти годы он провел еще девять военных походов, в коих храбро сражался и во всех победил.

Расходятся историки и в том, кем был князь Довмонт в Литве. Н.Костомаров называет его сыном Миндовга, Н.Карамзин — одним из его родственников. «Преосвященный Филарет называет Доманта князем Нащальским и говорит: «Миндовг, великий князь литовский, заманив к себе жену Доманта, заставил ее разделить с ним ложе...»

По Ипатьевской летописи значится, что жена Довмонта приехала на похороны своей сестры, которая была замужем за Миндовгом, и тот передал ей просьбу умершей жены своей, которая посоветовала взять ему в жены свою сестру. Так деликатно пишет летописец, хотя между строк так и читается: принудил, насильно сделал своей женой.

Далее Филарет продолжает: «Домант по совести языческой решился убить за то Миндовга. Отправясь вместе с войском Миндовга за Днепр па войну, он вдруг объявил: «Волшебство мне но позволяет идти о вами» (то есть был знак, знамение, чтобы воротиться. — *В.Р.*), и, воротясь,

напав на беззащитного Миндовга, Довмонт убил его и двух сыновей его. Это было осенью 1263 года. Вслед за тем в Литве началась резня, один князь убивал другого, желая быть главным, а сын Миндовга, Воишелг, достав себе престол отца, качал страшно мстить за смерть его...»

Историк С.М.Соловьев придерживается такого же толкования событий, связанных с появлением на Руси Довмонта. Эта же версия приведена и в «Истории княжества Псковского» митрополита Евгения.

При этом вполне возможно, что Довмонт и состоял в дальнем родстве с Миндовгом, а не был князем Нащальским, как утверждает Филарет. Ранее мы уже убедились на примере истории с Тевтивилом и Эдивидом, как Миндовг относился к родственникам, а так как многие знатные князья литовские состояли в родстве друг с другом, то почему бы и Довмонту не быть с Миндовгом в дальних родственных отношениях. Зная уже характер Миндовга, вполне можно предположить, что он, пользуясь правом сильного и властительного правителя, забрал жену Довмонта к себе, коли она ему приглянулась.

В отличие же от Миндовга Довмонт, судя по своим дальнейшим поступкам, был более прямодушен, открыт и обладал недюжинной силой и храбростью. Рассматриваемый нами период времени относится еще к «детству» славянских пародов. И здесь уместно вспомнить детство эллинов. Вспомним, что, когда властный Агамемнон в «Илиаде» отобрал у Ахилла его любимую деву, Бризеиду, Ахилл отказался воевать на стороне греков и только смерть любимого друга Патрокла смягчила его гнев. Для нас важна здесь не столько достоверность излагаемых Гомером событий, сколько очень точная психологическая характеристика героя того времени. У многих из них острое, почти болезненное чувство справедливости. Распри и войны вспыхивают из обид ничтожных. Порой одно слово меняет смысл событий на противоположный.

Вспомним того же Тевтивила. Узнав, что Миндовг хотел его смерти, он восстает против него, объединяясь с Даниилом Галицким. Но стоило Миндовгу сменить гнев на милость по отношению к нему, как он уже едет уговаривать Даниила Галицкого заключить мир с Миндовгом. И тот же Даниил, еще вчера готовый выступить против Миндовга, завтра, уже задобренный, легко заключает с ним мир.



В 1255 году Новгород, спасенный Александром Невским, едва последний успел выехать оттуда, изгоняет вдруг сына Невского, Василия. Изгоняет, польстившись на сладкие посулы родного дяди Василия и брата Александра Невского Ярослава. Александр Невский снова едет в Новгород, раздосадованный столь вероломным поступком брата своего. Ярослав бежит на Новгород. В Новгороде смута. Один из новгородцев, некто Михалко, «гражданин властолюбивый», как называет его Карамзин, чудом спасенный от разъяренной толпы посадником Ананием, первым встретив Александра Невского, описывает ему Анания как первого мятежника. Посол великого князя требует выдать изменника. Народ же новгородский, зная всю правду и любя Анания, посылает к Александру архиепископа Далмата и тысяцкого Клима, чтобы разуверить Невского, заверяя, что Ананий «есть добрый гражданин». Александр уже ничего не хочет слушать, он, как безумный, требует головы изменника. «Нет, — ответил народ, — если князь верит новгородским клятвопреступникам более, нежели Новгороду, то бог и святая София не оставят нас. Не виним Александра, но будем тверды». Они три дня стояли вооруженные. Наконец, князь велел объявить им, что он удовольствуется сменой посадника. Тогда Ананий сам с радостью отказался от своего верховного сана, а коварный Михалко принял начальство...»

Вот что мешало Александру Невскому устроить дознание, усомниться в словах первого встречного жителя новгородского?.. Он принял эти поносные слова на веру и потом словно считал их своими и чуть ли не пошел войною на собственных ратников. Народ хоть проявил себя в этом случае мужественно, но перед этим изменил Александру, прогнав его сына и поверив лести Ярослава.

Таким образом, Довмонт, как и в приведении к выше примерах, мог вполне ожесточиться и поднять руку на своего властителя, Миндовга, чувствуя себя оскорбленным. И спасаясь от мести Воишелга, он предпочел скрыться, сбежать в Псков, где шила к тому же его тетка Ефросиния, будучи замужем за псковским князем Ярославом. Вероятно, Довмонт и раньше бывал во Пскове, был знаком со многими псковичами.

Это знакомство вполне могло состояться в 1262 году, когда был заключен мир с литовцами. Ибо в том же 1262 году — за четыре года до начала княжения Довмонта во Пскове — русские князья: новгородский Дмитрий Александрович со псковичами, смоленский Константин, тверской Ярослав Ярославович вместе с полоцким князем Тевтивилом, племянником Миндовга, — ходили вместе на ливонцев, взяли Дерпт, но ненадолго, после ухода русских воинов ливонцы забрали его обратно. Вполне вероятно, что вместе с Тевтивилом ходил и Довмонт со своей дружиной и мог Слизко сойтись с псковичами, понравиться им своей храбростью и характером.

После убийства Миндовга, когда, собрав полки, сын его Воишелг пришел мстить в Литву, то оттуда бежали многие. Летописи сообщают, что еще в 1265 году триста семей литовских нашли убежище во Пскове, ибо в это же время в Новгороде нашел спасение сын Тевтивила, спасаясь от рук убийц Миндовга, и новгородцы не захотели вследствие этого принимать литовцев у себя, многие из которых, как они считали, запятнались в подлом убийстве.

Разобраться в этих кровавых переплетениях весьма непросто, ибо многие поступки попросту непостижимы, если подходить к их объяснению с помощью привычных логических мотивировок.

Вот тому еще один пример: казалось, недавно брат Невского, Ярослав, с позором бежал из Новгорода, когда туда возвратился Александр. Вскоре после этого князем в Новгороде стал Димитрий Александрович, другой сын Невского. Но не успел Невский окончить свои дни, в

1263 году, как новгородцы (тот гнусный посадник Михалко к тому времени был уже убит «меньшими людьми», не ладившими с Александром), прогоняют князя Димитрия Александровича и снопа зовут Ярослава. Какое здесь найдешь оправдание? Чем все объяснить?.. Важную роль играли в таких неожиданных перемещениях пристрастия кланов, интересы посадников, разумное в справедливое направление самого князя и т.д. Безусловно, немалую роль в воцарении Довмонта на псковском престоле сыграло и то, что в том же 1265 году умер прежний князь псковский, сын Ярослава Святослав, и Псков как бы оказался без твердой руки, без защиты. Важно и то, что Довмонт пришел в Псков не один, а со своей боевой дружиной и всем родом своим. Важно и то, что он принял христианское крещение из рук псковичей, новое имя Тимофей, и все это не могло не расположить народ к будущему князю своему. Немалую роль сыграла и слава о литовских князьях как об отважных и храбрых воинах. А псковичам уже надоело обороняться, надоело постоянно нести урон от лифляндцев, от поляков и шведов.

Все это и перетянуло чату весов в сторону избрания на псковский престол литовского князя Довмонта, нареченного Тимофеем.

4. Первый подвиг Довмонта, князя псковского

Не успели отзвонить в колокола в честь нового князя псковского Довмонта-Тимофея, как в Новгород с полками уже пришел Ярослав, идти против новоявленного литвина. Ярослава оскорбило, что псковичи посадили на престол чужого, иноземца, ведь до того княжил тут его сын, Святослав, а значит, они должны были испросить разрешения на престол у него, Ярослава. Однако здесь снова новгородцы проявили себя как мужи мудрые, воспротивившись этой безумной затее. «Прежде переведайся с нами, а йотом ужо поезжай во Псков», — заявили они Ярославу, и последний не дерзнул пойти против мнения народного, остепенился, затих, хотя к Довмонту любви до кончины своей не питал.

И прежде чем перейти к рассказу о подвигах и добрых деяниях славного Довмонта на псковском престоле, познакомимся немного с самим городом, его общественной жизнью.

Поначалу Псков, как стольный город Труворов, был независим от Новгорода. Лишь по смерти Трувора главный город изборских кривичей подчинился брату его, Рюрику, занимавшему свой стол в Новгороде, который и стал как бы главным во всей стране, признавший своим князем Рюрика. И стали звать Псков младшим братом великого Новгорода. Надо сказать, что постепенно эта зависимость ослабевала, и неопределенность отношений «старших» и «младших» городов ощущалась постоянно. И к тому времени, о котором ведется рассказ, Псков не очень-то чувствовал себя в «младших», и сам, как видим, назначал себе князей.

Как и в Новгороде, во Пскове все дела решались па Вече, Сходился народ под звон колоколов на площадь, собиралось народное собрание, и наместник вместе с посадниками докладывал Вече, что произошло и как теперь быть, что делать. От самых малых вопросов — рассмотрения жалоб и доносов псковичей — до самых главных — быть или не быть войне, править нынешнему князю или не править — все решалось на Вече, всем народом. И трудно было скрыть правду, навести ложь, коли тысячи глаз и ушей ловят каждое слово посадника и князя, видят все их дела и поступки. Здесь же назначались посадники, тысяцкие, здесь их наказывали при всем собрании — вплоть до смерти и разграбления домов — здесь же меняли Закон, коли он устаревал или больше не подходил для жителей.

Естественно, что такие собрания длились подолгу, вел их, как правило, князь или его наместник, и если не хватало одного дня, то переносили собрание на второй.

Основные беды и раздоры терпел Псков от лифляндцев, они чаще всего нападали на крепость, и, может быть, поэтому псковичи взяли в князя инородца, который хорошо знал нрав меченосцев, их слабые места и мог противостоять им.

Едва вступив на престол, Довмонт сразу же, взяв 270 избранных ратников, пошел на Литву. Летописцы не объясняют нам причину этого столь спешного похода Довмонта, да еще в свои пределы. Остается лишь догадываться, что великий князь литовский Гердень, на кого ходил Довмонт, был в числе его кровных обидчиков. Самого князя и его приближенных он дома не застал. Жена Герденя приходилась Довмонту родной теткой. Пленив ее и детей, порушив дома, захватив в плен немало других литовцев, Довмонт двинулся обратно.

Переправившись через Двину, он приказал разбить шатры. Оставив при себе всего девяносто ратников, а остальных отпустив с поклоном во Псков, Довмонт стал дожидаться погони. Собственно и полон он захватил, чтоб сразиться с Герденем и литовцами. То ли хотел расквитаться за старые обиды. Ни одна летопись своих объяснений не дает, кроме того, что Гердень-князь был одним из захудалых и ранее о нем мало кто слышал.

Погоня не замедлила прибыть. Только, видно, не рассчитывал Довмонт, что Гердень соберет столь великое число ратников. Семьсот человек пришло из Литвы (по другим летописям, даже 800), готовых растерзать девяносто ратников-псковичей. Приуныл, не ожидая увидеть такой грозный отряд, Довмонт. Поблагодарив дозорных, литовцев Давида и Луву, он уже хотел отпустить их во Псков, ибо трудно было устоять с девяноста ратниками против такой силищи. Но не захотели бросать своего князя дозорные. «Не уйдем отсюда, хотим умереть со славой и кровь свою пролить с мужами-псковичами за святую Троицу и за все церкви святые. А ты, господин и князь, выступай быстрее с мужиками-псковичами против поганых литовцев».

Растрогали эти слова дозорных Довмонта, собрал он всех и сказал тогда ратникам своим: «Братья мужи-псковичи! Кто стар, тот отец, а кто молод, тот брат! Слышал я о мужестве вашем во всех сторонах; теперь перед нами, братья, живот и смерть: братья мужи-псковичи! Потянем за святую Троицу и за свое отечество!»

Эти слова, запавшие в память каждого псковича из той легендарной дружины, потом были записаны летописцем, и стали они на долгое время клятвой ратного русского люда во Пскове, если выпадала на его долю тяжелая битва с врагом. И, как пишет летописец: «И ехав князь Домон с мужи псковичи, Божьей силою и св. Леонтия одним девяносто семь сот победы».

Надо сказать, что тогда такая победа вмиг стала легендой. Только обладая недюжинной духовной силой, пассионарностью, если пользоваться термином Льва Гумилева, можно было сокрушить такое войско. Каждый ратник в такой дружине Довмонта стоил десятерых литовцев, которые тоже слабиной не отличались.

Сказался в этом первом бою и полководческий талант Довмонта. Литовцы стояли на другом берегу Двины, и Довмонт умело, с выгодой для себя использовал эту водную преграду. Мне думается, что скорее всего он вызвал литовцев на себя, и опытные стрелки-псковичи немало положили ратников Герденя прямо в воде, да и с теми, кто выбрался, драться было легче, ибо много сил они потратили, чтобы в тяжелых доспехах преодолеть Двину, потеряв прежнюю ловкость. Использовал наверняка Довмонт и рельеф прибрежный, чтобы сразить противника. Так или иначе, но летописцы сообщают факт уникальный: если литовцев погибло большинство, то со стороны псковичей погиб лишь один Онтон Лочков. Такой бескровной победы при таком соотношении сил не удавалось одержать еще никому в мире. Ни один полководец не может похвастать столь успешной битвой.

С тех пор литовцы не ходили больше до конца дней Довмонтовых на Псков, столь внушительной была эта победа, стоившая псковичам не одно десятилетие покоя со стороны литовцев. Да и слава Довмонта в миг один выросла, авторитетным стало слово князя псковского на всей русской земле.

Всего девять походов и браней совершил псковский князь Довмонт. Девять ратных подвигов на его счету. Но этот, первый, оставался самым ярким и великим.

Первый поход этот происходил летом 18 июня 1266 года. Герденю тогда удалось спастись, 18 июня во Пскове праздновали память воеводы святого Леонтия. И возвратившись во Псков, Довмонт еще раз порадовал сердца псковичей, приписав сию победу заступничеству святого Леонтия. И пошла с того дня молва о набожности князя псковского, что особенно было приятно наблюдать псковичам, зная, сколь недавно принял князь их веру христианскую.

В том же 1266 году в честь победы этой заложил князь Довмонт церковь святого мученика Тимофея Газского, в честь кого нарекли его псковичи. И это деяние не могло не отозваться благодарностью в сердцах славных жителей Пскова.

Да в том же 1266 году, не дожидаясь, пока убежавший Гердень соберет новое войско на псковичей, уже зимой снова пошел Довмонт на Литву. Всю ее прошел, все крепости разрушил, всякое сопротивление подавил, нашел Герденя и в одной из стычек убил его. Литва была покорена окончательно. Оставался лишь один теперь враг у Пскова и Новгорода — Ливонский орден. «Божьими дворянами» называли ливонских рыцарей, подчинивших всю свою жизнь только одному — набегам и войнам. С ними впереди и ожидалась главные битвы.

5. Битвы с лифляндами

Долгое время в главном соборе Пскова — Большом Троицком — лежал меч Довмонта. Поражала прежде всего его длина — 31 вершок, более 1 метра 30 сантиметров. Чтобы фехтовать таким мечом, отражать удары, требовалась немалая сила.

В следующем, 1267 году князь Довмонт уже пошел вместе с новгородцами в Эстляндию. Осадив город Раковор, или Везенберг, ратники русские долго держала его затворенным, но взять его им так и не удалось. Город этот был подвластен датчанам, стоял крепко, стены такие, что голыми руками их не возьмешь, а стенобитных орудий ни псковичи, ни новгородцы тогда еще не имели. Возвратившись домой, новгородцы нашли искусных мастеров и велели построить им такие орудия. Изготовив, уже снова решили выступить, как пожаловали послы немецкие от Риги, Дерпта и Феллина. Заявив о своей дружбе, объявили они, что не будут помогать датчанам, а посему просят считать их друзьями своими, дав в том истинную клятву. Не поверили было новгородцы, отправили боярина своего к епископам немецким и чиновникам «дворян божьих», но и те присягнули им в том же.

Обрадовались псковичи и новгородцы и с легким сердцем двинулись на Везенберг, уже мысленно празднуя победу — одни датчане, без союзников, остались.

Встав на берегах реки Кеголи, уже хотели войска наши пойти на приступ Везенберга, как вдруг увидели против себя немецкие полки, коими руководил сам магистр ордена Отто фон Роденштейн и епископ дерптсткий Александр. Нарушив таким коварным способом клятву, пришли «божьи дворяне» на помощь датчанам, задумав наголову разбить русские полки. Довмонт псковский вместе с Димитрием Александровичем, сыном Невского и Переяславля, да Святославом, сыном Ярослава, брата Невского, стояли на правом фланге. Сошлись две силы разные 18 февраля 1268 года.

«Ни отцы, ни деды наши, — писал летописец, — не видали такой жестокой сечи». Хуже пришлось левому флангу, который лицом к лицу встретился с закованными в железные доспехи немецкими рыцарями. Выстроившись «свиньей», таранили они железом и тяжестью своей русские полки. Целыми рядами падали новгородцы на левом фланге; успешнее дрались Довмонт с Димитрием и Святославом на правом. Долго длилась сеча, но у россиян терпения оказалось больше, они не только выстояли, но и стали теснить меченосцев. Последние дрогнули, и гнали их псковичи с новгородцами и переяславцами семь верст до самого Везенберга.

Вернувшись, увидели россияне еще один полк немецкий, «свиньей» врезался он в обозы наши. Стемнело тем временем, и чтоб не биться в темноте и друг друга мечами не порубить, решили россияне подождать до утра. Однако, воспользовавшись тьмой, немцы быстро убрались восвояси.

«Три дня стояли россияне на костях, то есть на месте сражения, в знак победы, и решились идти назад: ибо, претерпев великий урон, не могли заняться осадой города... Ливонские историки пишут, что на месте сражения легло 5000 наших и 1350 немцев; в числе последних был и дерптский епископ».

Трупов было столько, писали наши летописцы, что конница не смогла пройти через них. Новгородцы с переяславцами двинулись домой, а Довмонт, воспылав победным пылом, все же прошелся с дружиной своей по Ливонии, опустошив ее до крайности, много взяв пленных. Он прошел аж до самого моря и только тогда вернулся домой.

В ту же зиму «лифляндцы во множестве, — сообщали летописцы, приходили ко Пскову, но Довмонтом прогнаны...»

В эти годы Довмонт занимается укреплением Пскова. До княжения его Псков был полностью деревянный. Довмонт строит вокруг Пскова каменный вал, который вошел в историю Пскова под названием «Домантовой стены», делает различные стенобитные орудия.

Стараясь укрепить отношения между княжествами, Довмонт едет в Эстляндию. Летописец ничего не говорит о его переговорах там, но, судя по тому, что эстляндцы больше не приходили на Псков вместе с лифляндцами, Довмонту удалось договориться с ними о мире.

В 1269 году лифляндцы вновь напали на Псковскую область, заняли несколько сел и, разорив их дотла, попытались без потерь уйти.

Довмонт, заняв пять лодок, на которые погрузил 60 ратников, догнал меченосцев на реке Мироповне и разбил наголову 800 человек.

Часть лифляндцев укрылась на одном из островов, поросших сухим камышом. Довмонт приказал поджечь камыш, выгнал таким способом засевших там меченосцев и добил их, не дав никому уйти живым.

В ознаменование этой победы по возвращении Довмонт заложил церковь Георгия Победоносца.

Наконец, в 1272 году (у Карамзина и Соловьева эта битва зафиксирована в 1269 году, псковские же хроники указывают на 1272-1273 годы) лифляндский Орденмейстер, или магистр Отто фон Роденштейн, сам пришел ко Пскову на судах и с конницей, приведя 18 тысяч воинов. Сжег Изборск, осадил Псков, вздумав разорить дотла ненавистную ему землю.

18 тысяч воинов у Довмонта не было. Поэтому, осмотрев огромные полчища немецкого

магистра, князь псковский послал за подмогой в Новгород, к князю Юрию Андреевичу, сидевшему там наместником Ярослава.

Второй раз судьба посылала Довмонту почти смертельное испытание. Первый раз девяносто псковичей сражались против семисот литовцев, в этот раз соотношение было почти такое же, только враг стоял пред воротами Пскова в десять раз сильнее и опытнее. Война для «божьих дворян» являлась делом повседневным, они были закалены и испытаны в битвах.

Мы не знаем точно, сколько ратников было в дружине Довмонта, но в летописи говорится, что перед битвой мужественный Довмонт привел всю дружину в собор святой Троицы. Вместимость соборов древних была такова, что в них собиралось несколько тысяч людей, не более. Поэтому дружина Довмонта могла насчитывать две или три тысячи ратников.

То, что Довмонт привел свою дружину в собор и, положивши меч свой пред алтарем, долго молился с ратниками, наверняка произвело в каждом из них свое особое действие, изгнало трусость и вселило надежду.

«Господи Боже сил! — со слезами па глазах молился Довмонт. — Мы люди и овцы пажити твоей, имя твое призываем, смилуйся над кроткими и смиренных возвысь, и надменные мысли гордых смири, да не опустеет пажить овец твоих...»

Сам соборный игумен Исидор препоясал меч Довмонту, благословив на новые подвиги. Далее историки расходятся. Карамзин пишет, что «десять дней бился (Довмонт. — В.Р.) с немцами». Соловьев же — «10 дней стояли немцы под городом и с уроном принуждены были отступить».

Разница существенная в описании событий. Рискну предположить, что Довмонт в открытый бой не вступал, занимая все же оборонительные позиции, но вылазки делал и удары ощутимые по врагу наносил. Это могло происходить ночью, под утро, в те часы, когда враг наименее всего ожидал псковичей. Так бы поступил всякий опытный полководец, имея войско числом во много раз меньше. Иначе поражения не избежать. А Довмонту важно было сберечь город, не пустить врага за городские степы. Кроме того, важно было дожидаться подмоги новгородцев, за которыми послал Довмонт. И во всей видимости, удары, наносимые Довмонтом, были столь умелы и столь чувствительны для меченосцев, что те не посмели идти на приступ Пскова и даже вынуждены были отступить за реку, ибо в одной из таких схваток Довмонт ранил самого магистра Отто фон Роденштейна, и после этого враг дрогнул. Подоспевшие на помощь новгородцы нанесли такой удар, что отошедшие за реку меченосцы запросили мира, который и был заключен на условиях, продиктованных новгородцами, от коих последние еще и выиграли. Немцы обещали никогда ко Пскову и Новгороду не заглядывать, что какое-то время и соблюдалось последними.

Ярослав, князь новгородский, придя в Новгород и узнав о всех событиях, был очень недоволен тем, что врага до конца не разбили, а более всего тем, что ратная слава миновала его имя. Он стал собирать войска, чтобы идти на датчан, на Ревель, но датчане и немцы, ослабленные последней неудачей, немедленно запросили мира, добровольно уступив часть своей территории — берега Наровы, чем и удовольствовался Ярослав, стяжав тем самым себе славу и почет за счет храброго Довмонта, которого он, однако, не любил.

Новгородцы уже по своим причинам вскоре выгнали Ярослава с княжения, просили идти к ним Димитрия, сына Александра Невского, но тот не захотел, и путем долгих уговоров Ярослав все же заставил покориться новгородцев себе.

Все это происходило уже в 1270 году. В новгородской летописи под этим годом записано, что

«великий князь Ярослав Ярославович при отъезде из Новгорода во Владимир дал псковичам князя Айгуста».

Псковские летописи тем не менее об этом факте умалчивают, и, вероятно, Ярослав лишь потребовал, чтобы псковичи покорились его указанию и взяли себе этого князя, но псковский народ ярославова князя не захотел принять, оставив у себя Довмонта. «От добра добра не ищут» — гласит русская пословица, а псковичи любили Довмонта и никого другого и не мыслили на престоле.

В 1272 году князь Ярослав умер по пути из Орды, куда то и дело ездил, дабы не прерывать дружбу с монгольскими ханами. В том же 1272 году Довмонт закладывает во Пскове новую церковь — имени Федора Стратилата, радуя сердца псковичей столь ревностным служением Христу.

Примерно в этих же годах, после смерти Ярослава, которого князь Дмитрий Александрович, племянник его, слушался и вряд ли бы согласился на этот брак, зная отношение Ярослава к Довмонту, князь псковский женился на дочери Дмитрия, Марии, внучке Александра Невского. Этот брак еще больше породнил князя Довмонта с главным российским родом князей и еще больше упрочил авторитет князя псковского в делах российских.

Надобно сказать, что с 1272 года прекращаются войны Пскова с немцами и другими народами. Лишь однажды чужд лифляндская набежала на Псков, но Довмонт, рассердившись, прогнав сей народец, сходил в Чудь и почти всю разорил ее. Есть в «История княжества Псковского» хроника войн — это войны в основном с лифляндцами, орденом Меченосцев, лишь с Литвой было одно сражение, то знаменитое, когда «девяносто седьм сот победили». Остальные же сражения были только с орденом. Вот эта хроника по годам: 1188, 1190, 1191, 1192, 1212, 1213, 1217, 1222, 1224, 1232, 1233, 1240, 1242, 1253, 1266, 1268, 1269, 1272... (год 1266 отмечен мною как начало княжения Довмонта во Пскове. — В.Р.)». И последний год, когда Довмонт оборонял Псков, — это год 1299! Двадцать семь лет не приходил враг ко Пскову, не осаждал его. Двадцать семь, благодаря силе и храбрости Довмонта, псковичи жили в мире и счастье. Одно это делает имя Довмонта легендарным среди русских князей, ибо другого такого примера найти на Руси, среди русских князей, трудно. И после 1299, после этого сражения, следующая дата прихода врага па Псков стоит год 1323, снова 24 года не знали псковичи бед и разорений военных.

Чтобы хоть как-то понять, представить себе, сколь жаждали псковичи мира, достаточно вспомнить начало 1240 года, когда немцы, захватив Изборск, сожгли окрестные села и посады, подступили к Пскову и целую неделю стояли у его стен, подожгли деревянный город, принудив псковичей исполнить все их требования и выдать заложниками детей знатнейших граждан. И после этого унижения не кончились. Гнусный изменник, прихвостень немецкий Твердило Иванович вместе с ними пировал во Пскове, грабя села псковские и новгородские. Стон и плач стоял в обугленном, черном от пожаров Пскове, и только ненависть полыхала в груди псковичей. Поэтому так радостно было им видеть мир на своей земле. Горе и страдания научили псковичей ценить тишину полей и отсутствие набатных призывов, научили ценить и уважать того, кто способствовал наведению мира и тишины. Поэтому и не хотели во Пскове никого видеть князем, кроме Довмонта.

Окружив город каменной стеной, прозванной «довмонтовой», псковичи чувствовали себя уверенно. Не в обиду памяти русских князей того времени будет сказано, но Довмонт и жизнью своей и подвигами превзошел многих из них, запятнавших житие свое распрями и борьбой за власть. Немногим удалось прожить жизнь свою без интриг, измен, своевластья, угодничества перед ханами монгольскими, прожить жизнь, отдавая все свои силы народу

своему. То и дело читаешь в исторических хрониках, как одного, другого именитого князя и мужа выгоняет народ псковский или новгородский с престола за своеволие, тиранство и дурь княжескую. Многие из них завистливы, жадны и не в силах устоять перед искушением власти. И уж совсем немного великих князей русских были отважными и талантливыми полководцами. Пожалуй, что после Александра Невского, умершего в 1263 году, вслед за ним таким полководцем можно назвать Довмонта, князя псковского. Недаром в хрониках и сказаниях летописцев той поры вслед за «Сказанием об убиении в Орде князя Михаила Черниговского и боярина Федора, воеводы первого в княжестве его», кто не стал поклоняться идолам монгольским, а сохранил верность вере христианской, стоит «Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра Невского», а за ней и «Сказание о благоверном князе Довмонте и о храбрости его».

«Сей князь, — писано в «Сказании», — не только одной храбростью отмечен был от бога, но отличался боголюбием, был приветлив в мире, и украшал церкви, и любил священников, и все праздники достойно соблюдал, наделял необходимым священников и чернецов, был милостив к сиротам и вдовицам».

Народ зорек в отношении героев своих и выбирает для сказаний и назидания потомкам лучших из лучших.

6. Деяния и последний подвиг Довмонта

Как уже было сказано, Довмонт женился на дочери князя Дмитрия Александровича, второго сына Невского. Став старшим, присоединив к себе Владимирское и Новгородское княжества, Дмитрий заложил в Копорье, бывшем новгородском погосте, небольшом военном поселении, захваченном в 1240 году немцами, свою, сначала деревянную, а потом каменную крепость, завел боевую дружину в той крепости и никого туда не пускал, считая ее своей собственностью. Последнее не на шутку рассердило новгородцев, потому что Копорье издавна числилось за Новгородом, там, по обычаю, жили их сборщики дани и стоял небольшой отряд. Копорье был выходом новгородцев на Балтийское море, оттого как важна была городу эта маленькая крепость. Немцы, ранее захватив ее, построили там свой город, хозяйничая уже чуть ли не по всей реке Луге и доходя до села Тесово, что находится в сорока километрах от Новгорода. Поэтому и Александр Невский, изгнанный и призванный вновь новгородцами в 1241 году, пошел на Копорье, взял крепость штурмом и разрушил ее до основания, вернув эти земли опять новгородцам.

И когда сын Невского устроил там свою крепость, то новгородцы, рассердившись на Дмитрия, послали владыку с просьбой уговорить князя вернуть им Копорье. Князь Дмитрий, расвирепев от таких просьб, пришел с войском па землю новгородскую и сильно опустошил ее. Тогда в спор ввязался младший брат — Андрей Александрович, князь костромской, который, лишившись Владимира, только и ждал удобного случая, чтобы ввязаться в войну с князем Дмитрием. Андрей при помощи боярина Семена заручился помощью Орды. В этот военный союз включились князь Святослав Ярославович, тверской, и Даниил Александрович, московский, и вот эта многочисленная рать вместе с новгородцами подошла к Копорью, где на стороне Дмитрия выступил лишь его зять Довмонт. Перед этим новгородцы захватили в имении Дмитрия на Ладогe его двух дочерей и бояр. Довмонт, выйдя из крепости, неожиданно пришел в имение Дмитрия и дочерей с боярами освободил. Однако сопротивляться столь сильному войску не было никакой возможности, и Копорье пришлось сдать. Новгородцы, воспользовавшись этим, снова срыли ее до основания.

Таков был один из эпизодов будничной жизни князя Довмонта, который единственный раз

выступил против новгородцев, защищая, однако, честь своего тестя, и новгородцы это в вину ему не поставили.

Летописи сообщают также, что в 1293 году князь Димитрий, тесть Довмонта, «целый год жил с дружиною в Пскове, убегая от татар и от великого князя Андрея Александровича, у коего оспаривал он великокняжеский Владимирский престол».

Эпизод любопытный в двух отношениях. Во-первых, кормить в поить тестя, да еще с дружиною, весь год — расход немалый, но тут псковичи князя своего не винили, хотя, вероятно, и ее одобряли. Да кто станет одобрять распри сыновей великого Александра Невского, которые как петуха дерутся из-за кормушки ее одно десятилетие, бегая к тому же за помощью то к татарам, то к ногайцам в Крым, кои только посмеивались над барской спесью двух великорусских князьков. Думается, неодобрительно относился к этому и Докроит. Вместо того чтобы объединиться да татарам отпор давать, князья меж собой передрались. Тем не менее для Довмонта это был его тесть, родной отец его жены, и он свято выполнял свой родственный долг, что тоже не могло ее вызвать уважения со стороны псковичей, А раз Довмонт укрывал тестя у себя, значит, случись Андрею с другими князьями да татарами вздумать идти на Псков, то тут они встретились бы не только с Димитрием и его дружиной, но и с Довмонтом, слава о доблестях которого была велика. Может быть, это и останавливало строптивного Андрея Александровича.

Летописи сообщают также о приеме Довмонтом митрополита Киевского, Максима, добавляя «и принят с честью». По всей видимости, Довмонт хотел подружиться со стольным Киевом и держать с ним прочную связь.

В 1290 (а по некоторым данным, еще в 1279) году псковичи вместе с новгородцами вступили в Ганзейский торговый северный союз. Причем псковичи развернулись быстрее: Довмонт разрешил северным немецким городам заводить свои торговые конторы во Пскове, пытаясь экономически обособиться от «господина великого Новгорода», самим торговать повсюду. Псков быстро богатеет. Довмонт сам следит за исправностью судопроизводства и управления. Рискну предположить, хоть историки и относят Псковскую Судную грамоту на счет Александра Тверского, начавшего княжить там в 1327 году, что многие ее положения были уже выработаны и применялись еще Довмонтом и его сыном Давидом, которые немало сделали для Пскова в плане оживления его экономической деятельности и судопроизводства.

Помимо трех церквей, о которых я уже упоминал, Довмонт построил еще женский монастырь Рождества Богородицы и Святогорский монастырь. Последний был выстроен на самом высоком месте на берегу реки Великой, где она имеет крутой поворот, и суда, идущие по ней к Пскову на парусах, должны обязательно делать задержку, чтобы вступить в новый подветренный путь. Вследствие этого можно было легко препятствовать проходу враждебных судов и предотвращать внезапное появление неприятеля.

Ливонские «божьи дворяне» сразу же раскусили сию хитрость монастыря как грозной крепости для себя. Напав на монастырь, они убили его настоятеля игумена Иоасафа с братией, а монастырь сожгли. Открыв таким образом себе путь на Псков, они приступили и к нему, подожгли посады, никого не щадя: ни детей, ни взрослых.

Довмонт уже к тому времени — а случилось сие 5 марта 1299 года — имел преклонный возраст.

«Подобием сед, брада аки Григория Богослова, главою малоплешат, ризы на нем княжеские, шуба багряная, в руке тапка княжеская... власы на главе аки Илии Пророка...» — так

описывали летописцы его иконописное изображение.

Несмотря на преклонные лета, Довмонт сам поднял свою дружину, сел на копя, двинулся на врага. Сражение происходило на берегу реки Псковы, против церкви Павла и Петра. Было оно большое, по с яростью бросился Довмонт па меченосцев, тотчас смял их, отбросив к воде. Ливонцы бежали в страшном смятении, бросив оружие и самого командора ордена, который чудом спасся в этой мясорубке.

Собрав пленных, Довмонт отослал их к своему князю, чтобы те рассказали о всех ужасах, которые ждут обидчиков старинного Пскова. И этот милосердный жест не остался без ответа. В том же 1299 году, через месяц, ливонский магистр и рыцари на сейме в Дерпте постановили не начинать самим войны ни с новгородцами, ни с псковичами, а кто если начнет, то за того не вступаться.

В том же году нашел мор на Псков. Сотни жизней унес он, не пощадил и благоверного князя Довмонта. 20 мая, заболев, князь Довмонт псковский, нареченный Тимофеем, умер.

Похоронили его, как народного героя, в главном соборе Пскова, соборе святой Троицы, похоронили как воина вместе с мечом его, отдав ему великие почести. Сразу после смерти Довмонт был причислен к лику псковских святых, и имя его, занесенное в святые книги, каждый год поминается прихожанами.

«И провожали его всем собором, игумены и чернецы, и многие люди оплакивали его, и положили его в св. Троице с похвалами и песнопениями духовными. И скорбели в Пскове мужи, и жены, и малые дети о добром господине, благоверном князе Тимофее, ибо много он потрудился, защищая дом. святой Троицы и мужей псковичей».

Жена Довмонта Мария, внучка Александра Невского, от горя безутешного постриглась в монахини под именем Марфы, но и там долго не прожила, умерев через год после кончины супруга своего.

Карамзин написал о нем в своей «Истории»: «Довмонт, названный в крещении Тимофеем, хотя и родился и провел юность в земле варварской, ненавистной нашим предкам, но, приняв веру Спасителю, вышел из купели усердным христианином и верным другом россиян; тридцать три года служил богу истинному и второму своему отечеству добрыми делами и мечом; удостоенный сана княжеского, не только прославлял имя русское в битвах, но и судил народ право, не давал слабых в обиду, любил помогать бедным...»

Я бы добавил, что многим русским князьям он мог послужить примером истинного служения народу своему, многому у него они могли бы научиться.

Современники по достоинству оценили житие храброго Довмонта. Еще при жизни его сравнивали с Владимиром Мономахом, лучшим из русских князей и правителей.

После смерти Довмонта псковичи единодушно избрали на престол его сына Давида. При строптивом характере новгородцев и псковичей это был больше акт великого уважения к покойному князю, нежели реальное осознание достоинств Давида в качестве будущего князя Псковского. И последний, точно осознавая это, большую часть времени проводил у своих родственников в Полоцке, этим княжеством литовские князья начали управлять с 1242 года, а последним князем был сам Довмонт вплоть до своей кончины. Тем не менее, несмотря на редкие наезды Давида в Псков, псковичи от него не отказывались, как бы признавая за сыном Довмонта такое неотъемлемое право. Была и вторая причина. После некоторого перерыва

немцы, почувствовав, что Довмонта более нет, начали беспокоить псковичей частыми вылазками. Русские князья, в особенности новгородские — Псков все еще был как бы подведомствен владыке новгородскому и положение «младшего брата» еще сохранялось, — занятые своими междоусобицами, борьбой с шведами, не могли уделять брату меньшему большого внимания. Поэтому, когда в 1322 году немцы перебили на озере и реке Нарове много псковских купцов и разграбили часть Псковской области, псковичи послали за помощью не в Новгород, а в Литву, за князем Давидом. «Пошли с ним за Нарову и опустошили землю до самого Ревеля», — пишет С.Соловьев. Видимо, случай сей был в конце января — начале февраля, потому что в марте того же 1322 года немцы снова пришли под Псков, осадили его, но продержалась осада всего три дня, и они вынуждены были с позором убраться восвояси. Однако в мае они снова нагрянули — теперь уже и на кораблях, и по суку, со стенобитными орудиями, «подвижными городками, и многим замышлением. На первом приступе убили посадника: стояли у города 18 дней, били стены машинами, придвигали городки, приставляли лестницы...»

Вот столь серьезный был предпринят штурм Пскова. Гонец, которого псковичи послали за Давидом, не возвращался. Много гонцов уже летало в Новгород за помощью, но новгородцы молчали, идти не спешили, и псковичи совсем уже было приуныли, «как вдруг явился из Литвы князь. Давид с дружиною ударил вместе с псковичами на немцев, прогнал их за реку Великую, машины отнял, городки зажег, и побежали немцы со стыдом; а князь великий Юрий и новгородцы не помогли, прибавляет псковский летописец».

Вот как заботился о наследственном Пскове и сын любимого псковичами Довмонта.

Имя Довмонта и дальше помогало псковичам в борьбе с иноземцами, приходившими воевать Псков. В 1480 году, когда сотысячные полчища меченосцев подошли к городу, то, согласно легенде, святой Довмонт явился одному из жителей и сказал: «Возьмите одеяние гроба моего и со крестами обойдите три раза около города; молитесь и не бойтесь!» Псковичи все исполнили в точности, начали битву, смяли немцев, прибывших на судах, многие из них погибли, а остальные разбежались.

Псковские летописи сообщают, что в 1530 году у гроба святого Довмонта исцелился слепой.

В 1581 году во время осады Пскова польским королем Стефаном Баторием враг был отбит благодаря молитвам и заступничеству святого Довмонта. В 1615 году огромная армия шведов под началом Густава-Адельфа стала осаждать Псков, и псковичи, запершись в городе, охраняемые довмонтовой каменной стеной и его незримым заступничеством, выдержали осаду, и шведы снова вынуждены были отступить и согласно договору с Михаилом Федоровичем, первым из Романовых, вернуть ему все города и области, занятые во время смуты.

Род Домонтовичей (потомки его стали носить фамилию Домонтович) еще немало послужил российскому Отечеству. Сегодня псковичи вспоминают Ивана Довмонтовича, жившего во времена Алексея Михайловича Романова и занимавшего должность Генерального судьи при его дворе. Современники отмечают его великую честность и преданность России.

В гербе рода Довмонтов главное место занимает меч на голубом фоне с двумя полумесяцами как символ храбрости к мужества всех Довмонтов.

III. ВРЕМЯ РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ

Валерий Сафонов

(Николай Кузнецов — Карл Мюллер)



Николай Иванович Кузнецов... Герой Советского Союза... Человек из легенды... О нем написано большое количество книг. Ему посвящены песни, спектакли, кино-и телефильмы. Казалось, биография этого легендарного разведчика уже изучена полностью и в ней нет места так называемым «белым пятнам». Но вот совсем недавно в архивных материалах Комитета госбезопасности СССР выявлены документы, которые нам по-новому раскрывают образ этого человека. И только теперь начинаешь сознавать, что Николай Иванович Кузнецов к началу войны был уже сложившимся разведчиком и имел почти все необходимое для этой трудной и опасной работы. Не в этой ли его предвоенной подготовке заложена тайна успеха в тех славных героических делах, которые он под видом гитлеровского офицера Пауля Зиберта совершал в стане противника. Развернувшаяся в органах КГБ СССР перестройка, гласность позволяют донести эти новые, неизвестные факты из жизни Кузнецова до массового читателя.

Москва. Апрель 1941 года. По многолюдным улицам весело журчали многочисленные ручейки, а над пригретым булыжником мостовых курился парок. В расстегнутом пальто, размахивая шляпой в руке, Кузнецов быстрым шагом шел вниз по Кузнецкому мосту и не замечал ни наступления весны, ни повеселевших лиц москвичей, дождавшихся наконец солнечных дней. Он был весь под впечатлением от только что состоявшейся встречи и предложенного ему очередного задания.

Сегодня он узнал много нового. Начальник одного из главных управлений НКГБ СССР познакомил его с многочисленными документами о развернувшейся в последнее время активной шпионской деятельности сотрудников германского посольства в Москве. Полуистлевшие п совсем новые листки с русским и немецким текстом рассказали ему много неизвестного о противнике опытном, хитром и коварном. Если о военной разведке фашистской Германии (абвере) он знал и до этого, то о деятельности шестого управления Главного управления имперской безопасности (РСХА) читал впервые. Оказалось, что еще до прихода Гитлера к власти в фашистской партии существовало несколько разведывательных органов. Свои разведывательные службы имели охранные отряды (СС), штурмовые отряды (СА), «Национал-социалистический автомобильный корпус» (НСКК), а также молодежная организация «Гитлерюгенд». Наиболее сильная разведывательная организация была создана Гиммлером при охранных отрядах в виде службы безопасности (СД). Возглавил ее ставленник Гиммлера Гейдрих. В 1934 году СД была признана единственной разведывательной службой фашистской партии, а впоследствии — политической разведывательной организацией фашистской Германии.

В 1939 году эта организация стала именоваться Главным управлением имперской безопасности. Она состояла из семи управлений. Шестое управление РСХА являлось зарубежной разведывательной службой СД. Начальником этого управления был крупный нацист, один из приближенных Гиммлера бригадефюрер СС Иост. Под видом сотрудников

германских дипломатических миссий, корреспондентов, представителей торговых, промышленных и других фирм и учреждений СД занималась шпионажем во многих странах Европы. Германское посольство в Москве не было исключением.

— Итак, Николай Иванович, что бросается в глаза в документах, относящихся к «работе» так называемых немецких дипломатов в Москве? — спросил хозяин кабинета, когда Кузнецов захлопнул папку с материалами.

— Судя по имеющимся документам, можно сделать вывод, что одно из главных действующих лиц в германском посольстве, на мой взгляд, третий секретарь посольства Мюллер.

— Верно. Профессионал, кадровый сотрудник шестого управления РСХА, у нас в этом нет никаких сомнений. И вам предстоит заняться им вплотную.

Начальник управления достал из сейфа еще одну папку и положил на стол, в ней были собраны дополнительные материалы на Мюллера. Николай Иванович увидел фотографию человека лет тридцати пяти с волевым, энергичным лицом. Из документов он узнал, что Карл Мюллер родился в 1907 году в Тильзите, небольшом прусском городке, в семье отставного пехотного капитана Ганса Мюллера. В 1934 году он окончил Берлинский университет, после чего прошел курс специального обучения в Кенигсберге.

После этого Мюллер работал в посольствах Германии в Чехословакии, Польше, Венгрии. В июне 1940 года находился во Франции, о чем свидетельствовала фотография, где он снят с группой эсэсовских офицеров у Эйфелевой башни. На этой фотографии Мюллер был запечатлен в форме гауптштурмфюрера СС.

В июле 1940 года Мюллер появился в Москве в качестве третьего секретаря германского посольства. Месяца два он вел довольно тихий образ жизни, ходил гулять только с женой, ни с кем не встречался, зная прекрасно русский язык, се завязывал связей с советскими гражданами. Но после окончания «акклиматизации» развернулся. Его неоднократно замечали в районах расположения военных объектов в Подмоскowie. Он присутствует при беседах с посетителями посольства, под благовидным предлогом вмешивается в разговор.

С разрешения наркомата иностранных дел Мюллер в начале 1941 года ездил в Черновицы. Причину поездки объяснил стандартно: ознакомление с достопримечательностями. Настоящая причина его вояжа пока не установлена.

По сообщению черновицких чекистов, Мюллер останавливался в гостинице, один раз посетил городской музей, ходил по кабачкам, которых в то время было довольно много в Черновицах, но пил мало, часто посещал магазины, покупая разные безделушки. Были зафиксированы многочисленные контакты с местными жителями, но больше трех минут он ни с кем не разговаривал. Каких-либо передач с той или иной стороны замечено не было. Все зафиксированные встречи Мюллера, как сообщили Николаю Ивановичу документы, проверялись местными работниками областного управления. Однако, чтобы проверить такое большое количество людей, нужно много времени. Кузнецов понимал всю сложность задачи и знал, что времени у органов всегда мало.

В самом конце дела маленький, исписанный от руки листок сообщил Николаю Ивановичу интересный факт. Мюллер просил разрешения вторично посетить Черновицы. Опять его интересовали достопримечательности этого тихого по тем временам украинского городка. И тут Кузнецов стал догадываться, что явилось причиной сегодняшнего вызова в НКГБ. Ведь он тоже собирается в Черновицы по заводским делам.

Начальник управления не стал ждать его вопросов.

— Я вижу, вы догадались, Все верно, Николай Иванович, нужна ваша помощь. На днях Мюллер на центральном почтамте получил письмо из Черновиц, мы, конечно, его предварительно прочитали, однако содержание его пока ничего нам не дало. В письме речь идет о покупке различных предметов домашнего обихода и больных тетушках автора. Подписано письмо было: «Твой Франц». По всем данным, — продолжал старый чекист, — письмо зашифровано, но пока ключ к разгадке наши специалисты не могут подобрать. Обратного адреса автор письма не написал. Мы думаем, что оно и явилось причиной его просьбы вторично прокатиться за 1450 километров от Москвы. Мы должны знать, зачем опять собирается в этот тихий украинский город Мюллер. Здесь что-то нечисто... Вы с успехом выполняли наши задания. Это будет потруднее, но есть все основания считать, что и оно будет выполнено...

На оперативном совещании специалистов по немецкой линии начальник управления поставил перед ними вопрос: «Как Кузнецову найти подход к Мюллеру?»

Предложений было много, обсуждались они горячо и долго. Сошлись на предложении старшего оперуполномоченного Егорова Д.Г. Было решено, что Кузнецов поедет с Мюллером в одном купе. О нем было известно, что он, представляясь собеседнику Львом Николаевичем, ищет любых поводов для знакомств с советскими гражданами. Поэтому он должен обратить внимание на Кузнецова. Тем более Мюллер обязательно заинтересуется инженером московского авиазавода. На время поездки Кузнецов должен стать Шмидтом Рудольфом Вильгельмовичем и в дальнейшем разговоре сообщить Мюллеру, что он является по национальности немцем, родители которого осели в России в конце XIX века. Дальше Николай Иванович должен действовать по обстановке.

Кузнецову задание и предложение пришлось по душе. Он согласился, и мысли его были уже всецело заняты деталями новой операции. Поэтому его не застал врасплох вопрос начальника управления:

— Ну, как, Николай Иванович, справишься? Сумеешь сыграть другого человека? Немца? Может, даже придется играть человека, близкого по духу врагам нашего общества...

Все повернулись в его сторону и внимательно смотрели на Кузнецова. Он встал, подтянулся и про себя подумал: сумеет ли он? Сможет ли стать другим, быть человеком в маске? Так выполнить взятую на себя роль, чтобы этот профессиональный разведчик, сотрудник СД, не почуял фальши. Будет, конечно, трудно. Но теперь он уже не тот новичок, каким был три года назад. У него есть определенные знания и опыт чекистской работы. На него надеются, и он сделает все возможное, чтобы выполнить задание.

Кузнецов, слегка волнуясь, произнес:

— Постараюсь все сделать как следует. С заданием справлюсь.

— И я так думаю, — улыбнулся начальник управления. — Справишься... Главная твоя цель — постараться узнать замыслы Мюллера, его связи по Черновицам, цели его поездок — словом, всю подноготную. Мы решили принять все меры, чтобы максимально проконтролировать поездку Мюллера. Поэтому с вами поедет наш сотрудник, постоянный ваш партнер Дмитрий Григорьевич Егоров. Вы расположитесь в разных купе, связи между собой не поддерживайте. Вижу по глазам, что довольны своим напарником. Полагаю, все ясно?

— Да, товарищ комиссар государственной безопасности 3 ранга, мне все ясно.

— Тогда присядем по русскому обычаю на дорогу и в путь...

Рано утром Кузнецов был на вокзале. Когда осталось минут 10 до отхода поезда, он вошел в вагон. В купе женщина и мужчина средних лет разбирали сумку с продуктами. Николай Иванович поздоровался, поставил чемодан на полку и вышел в тамбур. Мюллер явно не торопился.

Только когда поезд медленно двинулся вдоль платформы, мимо Кузнецова, кутившего в тамбуре, прошел высокий, плотный, моложавый человек в черном коротком пальто и шляпе. В руках у него был небольшой саквояж. Фотография, которую он видел вчера в наркомате госбезопасности, дала ему ответ. Это был Мюллер. Игра началась...

«Итак, он уже в купе, — подумал Николай Иванович. — Скоро я должен столкнуться с фашистским разведчиком, который, прикрываясь дипломатическим паспортом, едет в Черновицы с каким-то секретным заданием. Там у него наверняка есть единомышленники. О них, о их замыслах должны знать чекисты. Поэтому небрежность, неосторожность, какая-либо ошибка с моей стороны может окончиться провалом, срывом задания. И враг на некоторое время останется безнаказанным...»

Кузнецов заметил, что он много думает о порученном задании. Он понимал, что неотвязные мысли о нем, всякие сомнения, тревоги — все это было непродуманной тратой нервной энергии. Поэтому он заставил себя быть только командированным. Он целиком отдался созерцанию проплывающих мимо деревень, весеннего леса и начавшихся полевых работ. Так он простоял в тамбуре около часа.

Вернувшись в купе, он поздоровался с Мюллером, который, разговаривая с женщиной, что-то искал в своем саквояже. Тот ответил ему кивком и продолжал горячо рассказывать сидящей около окна женщине о картинах Рембрандта.



Николай Иванович вытащил из кармана пальто журнал «Огонек» и принялся за довольно забавный кроссворд. Через некоторое время Мюллер и Лидия Ивановна, так к ней обращался Мюллер, замолчали. Заметив, что Лидия Ивановна пытается достать с полки тяжело набитый баул, Кузнецов встал и помог ей. Она поблагодарила его. Вытащив из баула лото, она пригласила их в соседнее купе к знакомым, где находился и ее муж. Кузнецов вежливо отказался от игры, а Мюллер пообещал зайти через некоторое время.

Воцарилось молчание. Николай Иванович продолжал заниматься кроссвордом, а Мюллер смотрел в окно вагона. Затем он встал, вытащил из саквояжа миниатюрные, великолепной работы шахматы и сказал:

— Давайте знакомиться. Меня зовут Лев Николаевич, работник культуры. Как мне вас называть?

— Рудольф Вильгельмович, авиационный инженер. Еду по делам службы в Черновицы.

— Прекрасно. Мы едем до конца вместе. Садитесь поближе к окну. Сыграем, Рудольф Вильгельмович?

Николай Иванович был прекрасным шахматистом, и ему не стоило больших трудов выиграть первую партию. Мюллер же играл совсем слабо. Однако во второй партии Кузнецов сделал с ним ничью. «Не стоит его расстраивать», — решил он.

Так в игре за шахматами подошло время обеда. Николай Иванович пригласил Мюллера в ресторан. Тот с удовольствием принял приглашение. Заказали бутылку коньяку и сытный обед. После нескольких рюмок Мюллер оживился. Разговор шел о театре, кино, литературе. Кузнецов заметил, что Мюллер искоса изучает его. Заказали еще выпить. И тут Мюллер, посмотрев по сторонам, тихо спросил Кузнецова, почему у него такое имя и отчество.

Николай Иванович, притворившись захмелевшим, заплетающимся языком произнес:

— Немец я, фамилия моя... Шмидт. Мать и отец живут в Свердловской области. Прибыли в Россию еще в конце прошлого века.

Мюллер откинулся на спинку стула, несколько секунд вглядывался в Николая Ивановича, словно хотел проникнуть в его сокровенные мысли, потом медленно проговорил:

— Пора кончать трапезу. Мы засиделись. Уже поздно.

Николай Иванович расплатился за двоих. Мюллер даже не стал ему предлагать деньги. В купе он быстро разделся и лег спать. Кузнецову ничего не оставалось делать, как последовать его примеру.

Утром Кузнецов и Мюллер были в ресторане, выпили по две чашки кофе и вернулись в купе. Много играли в шахматы. Мюллер выглядел спокойным, веселым, рассказывал сметные анекдоты. Уже перед самыми Черновицами он пригласил Кузнецова выйти покурить в тамбур. Присев на откидной стул, Мюллер глубоко затянулся. Выпустив дым, он произнес:

— Рудольф Вильгельмович, а не встретиться ли нам в Москве? У вас есть телефон? Я позвоню. Весело отпразднуем нашу встречу.

Кузнецов уже признавался себе, что он пока мало преуспел в своих планах, и его даже начали

одолевать сомнения: «Правильно ли я веду себя?» Поэтому он обрадовался предложению Мюллера и дал ему номер своего телефона.

На вокзале в Черновицах они тепло попрощались и договорились встретиться через три дня в ресторане гостиницы «Палас», не дожидаясь возвращения в Москву. Это было уже что-то.

Устроившись в гостинице, Николай Иванович на следующий день отправился по командировочным делам. Переходя маленькую, кривую улицу, он почувствовал, что за ним кто-то ведет наблюдение. Задержавшись на углу якобы для того, чтобы завязать шнурок на ботинке, Кузнецов увидел, как Мюллер — а это был без сомнения он — бросился в подъезд небольшого дома. У Николая Ивановича стало легко на сердце: «Кажется, все в порядке. Мюллер заинтересовался мной».

Но дальше случилось непонятное. Егоров, поддерживавший связь с местными чекистами, сообщил ему, что Мюллер следил за Кузнецовым до тех пор, пока тот не вошел в бюро пропусков. После этого он постоял минут 20 и довольный отправился бродить по городу. Вечером Мюллер зашел в железнодорожную кассу и купил обратный билет до Москвы. Утром следующего дня он уехал.

Кузнецов, Егоров, оперативные сотрудники УНКГБ по Черновицкой области были смущены и озадачены таким поведением германского дипломата. «Не за тем же Мюллер ездил в Черновицы, чтобы только погулять по городу», — недоумевали они. Еще и еще раз анализировали свои действия, но ошибок не находила. И тем не менее... Что означал столь скорый отъезд?

— Ничего, подождем до Москвы. Он обязательно позвонит мне, — уверенно произнес Кузнецов.

Пошла вторая неделя, как вернулся Кузнецов из командировки. С утра Николай Иванович уходил и а работу, а вечерами много читал, занимался немецким языком и ждал... ждал звонка. Ему звонили часто, но Мюллер молчал. Терпение Кузнецова было почти на пределе. Надежда начала постепенно таять. Его мозг сверлила одна и та же мысль: «Задание не выполнено. Что же делать? Может, случайно встретить его на улице? Нет. Это может вызвать подозрение. Да и руководство главка НКГБ не разрешит пойти на этот шаг. Нужно ждать».

Вечером того апрельского дня Кузнецов после прогулки вернулся домой, сел в любимое кресло и раскрыл «Жизнь Клим Самгина». Через некоторое время раздался телефонный звонок. Это был Мюллер. После взаимных приветствий они договорились встретиться на следующий день у парка «Сокольники».

— Добрый вечер...

Мюллер как-то неожиданно появился из толпы прохожих и, подхватив Николая Ивановича под руку, увлек его в сторону Маленковской улицы. Они много петляли по различным закоулкам, переходили улицы со стороны на сторону, потом вдруг резко поворачивались и шли обратно. Все это делалось в целях проверки. Николай Иванович делал вид, что не замечает ухищрений Мюллера обнаружить слежку. Наконец тот успокоился и пригласил Кузнецова в кафе.

В маленьком уютном павильоне они выпили по рюмке водки. Затем Мюллер издали, как бы невзначай, завел разговор о советском самолетостроении, о заводе, на котором работал Кузнецов. По вопросам Николай Иванович понял, что Мюллер — профессионал высокого класса.

Еще перед поездкой в Черновицы Кузнецову были предоставлены некоторые данные о наших самолетах, которые можно было сообщить «дипломату». Секретов эти сведения уже не представляли, а о некоторых технических данных даже готовились публикации для открытой печати, и он безбоязненно выдавал «тайны». Мюллер слушал внимательно. Наигранно выражал удивление и восхищение советскими самолетами, подбадривал Кузнецова к дальнейшим рассказам. «Искусством незаметного выпрашивания, — написал после этой встречи Николай Иванович в донесении руководству главка НКГБ СССР, — Мюллер владеет великолепно. Это очень серьезный противник».

Полученной информацией Мюллер остался очень доволен. Он придвинулся к Николаю Ивановичу, улыбнулся, протянул руку и прошептал:

— Рудольф Вильгельмович, давайте встретимся еще раз. Когда? Я вам позвоню. Сегодняшняя встреча мне доставила большое удовольствие. Вы — милый человек. Скоро я сообщу вам интересную новость. А сейчас я прощаюсь. Мне нужно по делам службы срочно в одно место. До встречи...

Однажды Николай Иванович умышленно выронил свой паспорт. Мюллер рванулся вперед, опередил Кузнецова, нагнулся и с улыбкой поднял его. Затем быстрым движением открыл первую страницу и тихим голосом произнес: «Шмидт Рудольф Вильгельмович. Немец».

Паспорт Николаю Ивановичу на эту фамилию был специально выдан для того, чтобы помочь в игре с Мюллером.

Кузнецов искоса посмотрел на него. Если до этого Мюллер выглядел несколько озабоченным, то теперь, казалось, внутри у него сработал невидимый переключатель. Он с какой-то радостью передал ему паспорт. Остальное время улыбался, шутил. Николай Иванович почувствовал, что это еще больше расположило Мюллера к нему...

И вот в том же парке «Сокольники», в тихом, уединенном месте, Мюллер назначил встречу Кузнецову, как он выразился по телефону, для очень серьезного разговора. Николай Иванович прибыл точно в назначенное время. Мюллер сидел на лавочке и курил. Поздоровались. Мюллер выложил на лавку сигареты.

— Закуривайте.

Кузнецов взял сигарету и закурил. Воцарилось натянутое молчание. Затем Мюллер глубоко затаился ж проговорил на немецком языке:

— Рудольф Вильгельмович, а я немец. Сотрудник германского посольства...

У Николая Ивановича дрогнули брови. Изобразив оторопь, он, почти заикаясь, произнес:

— Что? Вы... немец?.. Разыгрываете меня?..

— Нет. Я вас не разыгрываю. Мы с вами представители великой нации. Нации, которая будет править воем миром. Мне кажется, что вы не питаете вражды к Германии и нашему фюреру. Вы желали бы возвратиться на родину?..

Некоторое время Николай Иванович молчал, пальцы его нервно мяти сигарету. Затем он поднял на Мюллера взгляд, в глазах его была растерянность.

— Я, признаться, ничего не могу сейчас вам ответить. Для меня ваше превращение явилось большой неожиданностью. Я не могу этому поверить. Я... сомневаюсь, что вы немец..

Мюллер, забавляясь произведенным аффектом, улыбнулся, вытащил дипломатический паспорт и передал Кузнецову.

Николай Иванович тщательно перелистал документ.

— Вот теперь другое дело. Я хотел бы звать о цели вашего внимания ко мне. Вы понимаете, что это для меня очень важно.

— Это уже деловой разговор, — бросив окурок, сказал Мюллер. — Я буду с вами откровенным. Советской власти скоро конец. Германия на тропе войны с СССР. Пройдет немного времени, и немецкий солдат будет в Москве. Русские и их государство обречены на уничтожение. Немецкая раса, как сильнейшая раса в мире, будет править Россией. В эту минуту вы должны выбрать себе путь. Вы должны помогать фюреру в осуществлении его идей. Только посла этого Германия примет вас.

Николай Иванович с отвращением слушал этого фашистского маньяка. Он заставил себя улыбнуться и быстро спросил:

— Я должен давать вам информацию о своей работе?

— Да. Вы будете сообщать нам все, о чем мы будем просить. О работе, о Советских Вооруженных Силах, о внутреннем положении страны. Все и обо всей. У вас нет другого пути.

Николай Иванович сидел неподвижно.

— Не согласны? А куда денетесь? Вы, дорогой Рудольф Вильгельмович, у нас «на крючке». Все ваши красочные рассказы о советском самолетостроении уже в Берлине. Но копии у нас остались. В одно прекрасное время они могут оказаться в НКГБ. Конечно, это крайний случай. Вы умный человек и понимаете, что это значит. Вам, немцу по национальности, «вышка», как говорят русские, будет обеспечена. Но до этого, надеюсь, не дойдет. Вы представляете для нас большую ценность. Поэтому, если возникнут какие-нибудь шероховатости с Чека, мы сумеем переправить вас в Германию. Возможности у нас в этом плане большие. О вас уже знают посол фон Шуллерберг и военный атташе генерал Кестринг, а значит, и Берлин.

Николай Иванович поломался для виду и согласился.

— Главным для нас будет связь, — продолжал Мюллер. — Договоримся, что если я позвоню и передам: «Елена больна и прийти в «Метрополь» не сможет», то, значит, я обнаружил за собой слежку и встреча отменяется. И дальше, если я скажу, что через два дня она поправится, то, значит, встреча назначается спустя эти дни.

— Понятно.

После этого Мюллер протянул руку.

— Встречаемся послезавтра в 8 часов вечера. Вам удобно?

— Конечно.

— Где бы вы меня ни увидели, мы друг друга не знаем. До свидания. Фюрер ждет от вас

работы.

«Жди, господин Мюллер, сведений и переправляя их своему фюреру, — подумал Кузнецов. — Дезинформационных материалов у пас хватит».

Связавшись с руководством главка, Кузнецов получил одобрение своим действиям. Игра с фашистской разведкой началась...

С Мюллером Николай Иванович теперь встречался часто. Прогуливаясь, «дипломат» учил его правилам конспирации, рассказывал о том, как быстрее уходить от слежки. Несколько раз он приносил с собой фотоаппарат, чуть больше спичечной коробки, которым научил пользоваться Николая Ивановича.

— Это нужно для съемок самолетов, — сказал он приказным тоном Кузнецову.

Сведениями, которые поставлял Кузнецов, Мюллер был доволен. Неоднократно он передавал ему благодарности от посла и военного атташе.

Однажды Мюллер пришел к Николаю Ивановичу на квартиру. Он принес ему речь Гитлера в Мюнхене, опубликованную в газете «Германская общая газета» от 26 февраля 1941 года, и немецкий журнал «Орел». Сели играть в шахматы. В этот вечер он много говорил об исключительности немецкой расы и ее фюрера. Проиграв очередную партию, Мюллер встал, подошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу.

— Рудольф Вильгельмович, — проговорил он, подойдя к Кузнецову. — Я очень доволен вами. При встречах в сквере у памятника Пушкину и в кинотеатре «Метрополь» вы держались совершенно естественно. Своим спокойствием вы удивляете меня. Из вас со временем выйдет первоклассный разведчик. Однако я призываю вас к осторожности. Осторожность — мать порядка. Учитесь у меня. Ваш телефон зашифрован мною в записной книжке в виде сложения крупных денежных сумм. Не только чекисты, но и ни один черт не расшифрует эти записи. Или вот еще пример. Сегодня я сменил три трамвая, три станции метро, побывал в гостиницах. Потом снова бегал и прыгал с трамвая на трамвай, пересаживался в метро и только после этого пришел к вам. Такова наша работа, Рудольф Вильгельмович.

Николай Иванович молча встал и растроганно поблагодарил его за уроки конспирации.

Затем Мюллер достал из кармана какую-то коробочку, взял руку Кузнецова и торжественно произнес:

— Сегодня у вас необычный день. Родина дарит вам значок национал-социалистской партии. Это большая честь для каждого немца.

И он приколот к пиджаку Николая Ивановича значок, на котором был изображен орел со свастикой в когтях. Потом Мюллер встал по стойке «смирно», выбросил руку вперед и рявкнул: «Хайль Гитлер!»

Кузнецов едва сдержался от того, чтобы не рассмеяться. Но он заставил себя принять не только подарок, но и поблагодарить «великую Германию» за столь высокую оценку его работы.

— Рудольф Вильгельмович, — продолжал Мюллер, — через несколько дней вы должны представить мне свою фотографию. Мы сделаем удостоверение, что вы являетесь сотрудником германского посольства. Если у нас, прогуливающих, когда-либо решат проверить документы, то это удостоверение даст вам гарантию от ареста.

«Что ж, — решил про себя Николай Иванович, — задумано неплохо. Голова у него работает». Он заверил, что его фотография у Мюллера будет через неделю. Запасной выход, как сказал он Мюллеру, ему очень нужен.

В конце встречи Мюллер, как всегда, задал Кузнецову ряд вопросов, па которые тот должен ответить к следующей встрече. На этот раз немецкая разведка интересовалась денежным содержанием младшего офицерского состава Красной Армии, расходом бензина в полете у бомбардировщика и причиной гибели испытателя самолетов Афанасьева...

Последний вторник апреля выдался дождливым. Николай Иванович, не доезжая квартала до Пушкинской площади, отпустил такси. Сегодня в маленьком уютном кафе напротив сквера у него очередная встреча с Мюллером.

Кафе было почти пустым. Он занял в углу столик, с которого можно было наблюдать за происходящим в зале, заказал бутылку пива, закуску, горячее и стал ждать.

Минут через пятнадцать появился Мюллер. По его улыбке Николай Иванович понял, что он в настроении. Мюллер постоял в дверях, осмотрел зал и радостно произнес:

— Рудольф!.. Рудик!.. Сколько лет!.. Сколько зим!..

Он быстро подошел к Николаю Ивановичу, крепко обнял его и, садясь к столу, стал задавать вопросы. Со стороны эта сцена выглядела как случайная встреча двух давно не видевшихся друзей.

«В этом человеке, — подумал Кузнецов, — был заложен талант большого артиста».

Принимая игру Мюллера, Николай Иванович с таким же радостным возбуждением отвечал па его вопросы о каких-то Петре Ивановиче и Клавдии Павловне, о десятке других якобы их знакомых. Мюллер громко смеялся и вдруг, притянув к себе Кузнецова, поцеловал его в губы и подбородок.

— Рудольф!.. — проговорил он, задыхаясь от смеха. — Рудик!.. А помнишь?.. Нет, ты, наверно, это забыл...

И он громко начал рассказывать очередную историю их походов во время совместной учебы в институте. Так около получаса они вспоминали не существующих своих знакомых. Затем заказали бутылку вина. Выпили. Мюллер несколько поостыл.

— Рудольф, — держа поднятую рюмку, сказал он тихим, спокойным голосом, — нет ли у вас возможности съездить в Черновицы? По одному очень важному для нас делу...

Кузнецов насторожился. «Наконец Мюллер заговорил об этом тихом украинском городке», — подумал Николай Иванович и даже вздохнул с облегчением. Затем он перевел взгляд с Мюллера на стол и снова на Мюллера. Он «думал». Потом спокойно сказал:

— У нас, вообще-то, готовят бригаду для поездки во Львов. Мне предлагали съездить в эту командировку, но я пока не дал согласия. Мне кажется, можно будет выбраться па денек и в Черновицы.

— В командировку нужно ехать обязательно. Это приказ, — твердо произнес Мюллер. — Теперь внимательно слушайте о задании. В Черновицах, на улице Мирона Костица, в доме 11а,

проживает старый немецкий агент Кустнер. Еще во времена первой мировой войны он оказал Германии ряд неоценимых услуг. После войны Кустнер по заданию германских разведывательных органов осел в этом городе, где быстро разбогател. Через некоторое время он уже был владельцем фабрики и двух ювелирных магазинов, стал желанным гостем у самых высокопоставленных лиц Северной Буковины. Результатом таких встреч являлись агентурные донесения Кустнера, которые высоко ценились в Германии. В работе ему много помогали два завербованных им агента. В прошлом году Северная Буковина с Черновицами, как вам известно, вошла в состав Украинской ССР. С этого времени связь с Кустнером и его людьми была потеряна. И вот несколько месяцев тому назад он нашел нас. Я дважды ездил на встречу с ним, но встретиться не смог. Первый раз мне показалось, что за мной следили. Пришлось уехать. Во второй раз он не пришел на встречу. Я дважды ходил на условленное место, по безрезультатно. Недавно в зашифрованном письме он сообщил, что лежал в больнице: ему вырезали аппендицит. Кустнера знают и высоко ценят адмирал Канарис и шеф РСХА Гейдрих. Имеется указание — перебросить его в Германию. Он уже стар и на нелегальный переход границы его может не хватить. Поэтому мы думаем переправить его в Германию под видом немецкого специалиста, возвращающегося из Советского Союза. Кроме того, этот человек ценен Германией не только как разведчик. Являясь владельцем ювелирных магазинов и фабрики, он в свое время сколотил большое состояние. В письме он намекает, что хотел бы переправить спрятанные им ценности — бриллианты, золото и валюту — в Германию и передать их фюреру.

Николай Иванович внимательно слушал Мюллера. Временами кивком соглашался с этим шпионом-дипломатом, который замолкал лишь тогда, когда подносил к губам рюмку. А выпив, снова тихим неторопливым голосом продолжал рассказ.

— Встреча с Кустнером должна состояться у него на квартире. Вы представитесь ему немецким дипломатом Рудольфом Фальке. Он передаст вам анкеты на получение загранпаспортов и кое-какие ценности. Вот письмо к Кустнеру, которое откроет вам сердце этого разведчика. Можете его прочесть...

Николай Иванович не спеша вытащил из конверта маленький, вчетверо сложенный листок и прочитал: «Дорогой Кустнер! Имейте доверие к подателю этого письма. Я ему все рассказал. Передайте ему все, что вы хотите сдать на хранение». Далее шла неразборчивая подпись.

— Кроме письма, — продолжал Мюллер, — вы должны запомнить пароль к Кустнеру. Вы скажете ему: «Мы познакомились с вали в Галиции». Он ответит: «Да, кажется, это было в 1915 году».

— Все ясно. Только прошу... — Николай Иванович несколько замялся, якобы подыскивая нужное слово.

— Говорите, говорите. Я вас слушаю, — быстро произнес Мюллер.

— Я прошу не забыть моих услуг для «великой Германии» и ее фюрера.

— Дорогой Рудольф Вильгельмович! Берлин многое знает о вас. Ваша поездка санкционирована руководством немецкой разведки. Гордитесь этим доверием. Фюрер не забывает своих верных сыновей. Скоро он отблагодарит вас за безупречную работу.

Кузнецов после этих слов, конечно, выразил благодарность за оказанное доверие. Вскоре они прощались.

— Успеха вам! — коротко пожелал Кузнецову при расставании Мюллер. Затем, улыбнувшись,

добавил: — Ни пуха ни пера... Вроде так говорят русские.

На следующий день Николай Иванович был в НКГБ СССР. В обстановке, похожей на генеральную репетицию в театре, была досконально отрепетирована его новая роль — роль немецкого дипломата. «Актером» Кузнецовым «режиссеры» из Наркомата госбезопасности остались довольны.

На заводе Николая Ивановича с удовольствием включили в группу специалистов, отправлявшихся по служебным делам во Львов.

Через два дня в И часов Кузнецов и Егоров в разных купе прибыли в Черновицы. Николай Иванович взял извозчика, которых в то время было довольно много на привокзальной площади. Темно-серый в яблоках рысак домчал его до гостиницы «Палас», где ему быстро оформили номер.

В 15 часов Кузнецов появился на улице Мирона Костича, нашел небольшой домик под номером На и позвонил. Ему открыл среднего роста, плотный мужчина в синем костюме. Николай Иванович по описанию Мюллера узнал Кустнера. На вид Кузнецов дал бы Кустнеру лет пятьдесят пять, но от Мюллера он знал, что ему пошел шестьдесят второй год.

Кузнецов снял шляпу и поздоровался.

— Что вам угодно?

Николай Иванович отрекомендовался германским дипломатом Рудольфом Фальке, следующим в Москву. Затем он сообщил ему пароль и передал письмо.

Не задавая больше вопросов, Кустнер быстро прочитал письмо Мюллера и, радостно взмахнув руками, пригласил снять пальто и проводил Николая Ивановича в комнату.

В комнате был страшный беспорядок. Чувствовалось, что хозяин готовится к отъезду. Сели к столу. Кустнер хотел было поставить бутылку водки, но Кузнецов отказался.

— Господин Фальке, — проговорил Кустнер, — Мюллер сообщил мне о вашем приезде. Я ждал вас с нетерпением. Мне нужно отсюда бежать. Я много сделал за свою жизнь для Германии. Волею судеб я очутился в этой страшной стране. Десять месяцев, которые я прожил здесь, показались мне вечностью. Я не скрываю это от вас. Я боюсь за свою жизнь, боюсь за свои ценности, боюсь этих новых порядков в Северной Буковине. Бежать, бежать... И быстрей.

Кузнецов заверил Кустнера, что фюрер делает все, чтобы перебросить его в Германию. Тот кивнул и произнес:

— Я знаю. Мой опыт нужен немецкой разведке...

Николай Иванович посмотрел на него с некоторым почтением, в глазах у него сверкнула зависть. Кустнер заметил это. Он встал, выпрямился и уже в тоне приказа сказал:

— Отсюда вам нужно будет захватить часть моих ценностей. В Германии я передам их фюреру на борьбу с коммунистами. Сегодня в 18 часов мы встретимся у главного почтамта. Там все и завершим...

В архивных материалах Наркомата госбезопасности СССР имеются интереснейшие документы за подписью чекиста Егорова Д.Г. Находившийся в то время в Черновицах, он подробно

докладывал руководству главка НКГБ о всех происшедших встречах Кузнецова с Кустнером. Они показывают нам Николая Ивановича как прекрасного разведчика, успешно справившегося с порученным ему заданием. Вот выдержки из этих документов:

«...По всем данным, внешность и апломб Кузнецова произвели на Кустнера очень сильное впечатление и это помогло ему в будущем.

Вторая встреча состоялась в тот же день. В 17 часов 30 минут Кузнецов, направляясь к центральной почте, встретил Кустнера. Как незнакомые, пошли на почту, где Кустнер на ходу, незаметно, передал Кузнецову шифрованное письмо для Мюллера, пакеты с золотыми вещами, бриллиантами и иностранной валютой...

Третья встреча Кузнецова с Кустнером произошла на следующий день в 21 час в номере гостиницы «Палас», где он передал Николаю Ивановичу разных вещей на несколько десятков тысяч рублей и анкеты на получение заграничных паспортов.

Смысл зашифрованного письма заключается в том, что Кустнер передает свои ценности Фальке (Кузнецову), а также, что в Черновицах имеются очень богатые люди, мечтающие выбраться за границу...

Прощание Кузнецова с Кустнером носило весьма теплый характер».

После этого Николай Иванович отбыл из Черновиц во Львов. Успешно завершив там командировочные дела, он вернулся в Москву. А Кустнером и его связями занялось Управление НКГБ по Черновицкой области. Нужно было установить агентов, помогавших ему в шпионской работе до присоединения Северной Буковины к Украинской ССР. Нужно было разобраться в людях, «мечтавших выбраться за границу».

Встреча Кузнецова с Мюллером состоялась в один из теплых майских вечеров в Сокольниках. Как было условлено по телефону, Николай Иванович принес ему письмо и анкеты. Он спокойным тоном, подробно доложил Мюллеру о результатах поездки в Черновицы. Тот был им доволен.

Подойдя к Кузнецову, он похлопал его по плечу, затем обнял.

— Дорогой Рудольф Вильгельмович! Вами совершен подвиг. Вы достойный сын великой Германии, — тихо проговорил он.

Они долго бродили по слабо освещенным аллеям весеннего парка. Мюллер ходил восторженный, праздничный. Остановившись у маленькой, полностью распустившейся березки, он сорвал несколько листков, подбросил их вверх и произнес:

— Смотрите! Вот так разлетаются под напором германского оружия страны Европы. Этот листок — Польша. Она разбита. Этот — Франция. Она также разбита. Этот — Греция. Армия ее сдалась. Этот — Югославия. И она побеждена. Этот... Этот... — продолжал Мюллер.

Николай Иванович почти не слушал его. Он с удовольствием вдыхал чистый весенний воздух и думал о родной деревне Зырянке. Как хотелось ему сейчас очутиться там, подальше от ненавистного этого фашиста. «У нас березки только начинают распускаться», — подумал Кузнецов.

— А этот лист, — воскликнул Мюллер и сорвал с березки самый большой листок, — этот —

Советская Россия! — Высоко подбросив его, он продолжал: — С Россией, конечно, будет потруднее. — Но за месяц мы и с пей справимся. Гений фюрера завоюет нам весь мир!

Наконец Мюллер успокоился. Несколько минут они гуляли молча. Прощаясь, он сказал:

— Теперь о драгоценностях Кустнера. Пусть они полежат у вас. За ними я приду через несколько дней.

Николай Иванович кивнул, давая согласие на такое решение вопроса. Он знал, что наиболее ценные вещи уже переданы в фонд государства. А некоторую часть, чтобы не вызывать подозрений у немецкой разведки, решено было передать Мюллеру.

Но все произошло по-другому. В начале июня Кузнецову позвонил Мюллер и сообщил, что его вызывают в Берлин, поэтому за драгоценностями придет Гайнц Флегель, сотрудник посольства. На следующий день он действительно уехал.

Флегель появился у Николая Ивановича поздним вечером. Это был высокий, плечистый верзила с довольно тупым лицом. Вел он себя развязно, нахально. Кузнецов знал, что он является простым охранником посольства. Никакого интереса он для советской контрразведки не представлял, поэтому Николай Иванович, не стал с ним церемониться.

— Драгоценности, — сказал Кузнецов, закрывая дверь перед носом Флегеля, — я передам Мюллеру, когда он вернется из Берлина...

До Великой Отечественной войны оставалось всего две с половиной недели. В первый же день Кустнер и его агентура были обезврежены органами госбезопасности. А впереди была война... Война жестокая... Беспощадная... С небывалыми жертвами. Впереди были легендарные подвиги Николая Ивановича Кузнецова, вошедшие в историю нашей страны. И скоро, совсем скоро он напишет: «...я люблю жизнь, я еще очень молод. Но если для Родины, которую я люблю как свою родную мать, нужно пожертвовать жизнью, я сделаю это... Пусть я умру, но в памяти моего народа патриоты бессмертны...»

ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Редакторы *И.В.Черных, Г.М.Некрасов*

Художественный редактор *Т.А.Тихомирова*

Технический редактор *В.А.Шестернева*

Корректор *Г.И.Гагарина*

ИБ № 4412

Сдано в набор 24.05.91. Подписано в печать 16.10.91.

Формат 84×108/32. Бумага тип. Гарн. обыкн. новая.

Печать высокая. Печ. л. 14. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр. — отт. 23,52.

Уч. — изд. л. 23,93. Тираж 100 000 экз. Изд. № 15/6821. Зак. 275.